

The book cover features a stylized illustration. On the left, a large red bull's head with white horns and blue eyes is shown in profile, looking towards the right. The background is split into a dark blue upper half and a light blue lower half. The light blue area contains several circular ripples, each with a small, colorful fish-like figure inside. A green, abstract, elongated shape, resembling a hand or a branch, extends from the bottom right towards the bull's snout. The bottom of the cover is a textured brownish-gold color.

Юрий Кувалдин

Счастье

повести

Юрий
Кувалдин

Счастье

повести

Издательство
Книжный Сад
Москва
2011

ББК 84 Р7

К 88

Оформление художника Александра Трифонова

*На передней стороне переплета воспроизводится фрагмент картины художника Александра Трифонова "Солнечный бык", холст, масло, 80 x 100 см, 2008 г.
На задней стороне переплета: писатель Юрий Кувалдин.*

Кувалдин Ю.А.

К 88

Счастье: повести. - М.: Издательство "Книжный сад", 2011. - 448 с.

В книгу писателя Юрия Кувалдина «Счастье» вошли написанные в разные годы 8 повестей: «Станция Энгельгардтовская», «Сплошное Бологое», «Счастье», «Юбки», «Графоман», «Казнь», «Выхожу из школы», «Свои». Юрий Кувалдин сосредоточенно передает не внешнее действие, а психологическое развитие характеров, проникает в разные социальные слои, не чуждаясь самых темных, и отовсюду с последовательной методичностью выносит ворохи бесценных художественных наблюдений.

ISBN 978-5-85676-137-4

ББК 84 Р7

© Юрий Кувалдин, 2011

СТАНЦИЯ ЭНГЕЛЬГАРДТОВСКАЯ

Рядовому Виноградову бросился в глаза распластанный на стене красный щит с белым, как и положено в армии, текстом. Виноградов из любопытства напрягся и медленно, с улыбкой удивления прочитал: “Излишнее многословие способствует распространению цивилизации и культуры”. Но ничего не понял в этой чудовищной ахинее. В учебной части, располагавшейся в красном замке какого-то бывшего польского магната, он видел лозунг: “Болтун - находка для шпиона”. Коротко и ясно! А тут! Виноградов подозрительно огляделся: куда это он попал? И для разрядки чуть слышно запел:

Снова замерло все до рассвета,
Дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь,
Только слышно - на улице где-то
Одинокая бродит гармонь...

Виноградов любил петь, и пел хорошо, у него был отличный слух и приятный голос. Бывало, в деревне, в престольный праздник, да и так, без повода, сядут за стол, как следует, выпьют и запоеют, затают что-нибудь родное, а Виноградов - солирует. И вся жизнь ему представлялась застольем с песней. А без застолья глагол “петь” сиротел, нужна ему была пара - “пить”, тогда и петь хотелось, и никакой там сиротливости не возникало.

Станция между тем была пустынна. Виноградов вышел из единственного вагона, прицепленного к тепловозу. В этом странном вагоне были мягкие кресла, кремовые шторы на окнах, витал запах кофе, и на каждом столике - розы в хрустальных вазах. Смущенный этим антуражем, Виноградов, дабы не пачкать сидений, спал в проходе на бушлате, сапоги не снимал, портянки на голенищах не развешивал. К сапогам не привыкать, всю жизнь проходил в сапогах, иначе нельзя - грязь.

Когда уезжал из учебной части, командир роты, кривоногий толстяк, тоже деревенский, свой, понимающий, пропустив стакан и, обняв Виноградова, который выпил уже два стакана, сказал, что направляет Виноградова для прохождения дальнейшей службы в лучшую строевую часть: на станцию Энгельгардтов-

скую! Виноградов несколько раз повторял это название, чтобы оно улеглось в его памяти, хотя память у него была крепкая. И в Брянске повторял, где делал пересадку с киевского поезда. В Брянске видел красивый дом с белыми колоннами и был на шумном рынке, где сообразил в палатке у какого-то молдаванина четыре стакана “красенького”, похожего на уксус. Потом его угощали какие-то усатые запорожцы. Потом пил с узбеками, сидя на дынях и закусывая этими дынями. Потом с вологодскими откушивал мутный самогон и запивал огуречным рассолом. Потом долго искал рюкзак и скатку на том же рынке. Подарил какому-то цыганенку звезду с шапки, отколол и отдал; на шапке осталась на сером фоне тень от звезды. Затем в пьяном угаре плясал русского. Кто-то принес рюкзак, кто-то скатку. Ноги от изнурительного пьянства волочились. Последнее, что Виноградов смутно помнил, это как его вобрал в себя какой-то серебрястый сгусток света овальной формы с очертанием небольшого купола наверху.

Когда тепловоз подходил к станции, Виноградов сквозь болезненное похмельное состояние как бы видел надвигающийся на него из темноты яркий луч прожектора, в котором кружились снежинки. Виноградов стоял в тупике в свете надвигающегося тепловоза с басовитым гудком и тяжелым фырканием. Потом увидел самого себя, выходящего из единственного вагона. Снег не ложился на платформу: уклонялся в сторону, словно какая-то воображаемая крыша не давала ему этой возможности. И что особенно поразило Виноградова - по всей платформе была раскатана бордовая ковровая дорожка. Ждали, что ли, кого? Боязно было ступать сапогами по ней, однако, Виноградов тут же заметил вращающиеся мохнатые щетки автомата для чистки обуви, подошел и с удовольствием начистил свои кирзовые сапоги.

Голова гудела, как тепловоз. Вот бы сейчас выпить и поесть солений: рыжиков, груздей! И потом спеть с чувством что-нибудь. Виноградов старался что-то припомнить, но припоминалось только одно - что, кажется, вчера он ходил вприсядку перед цыганенком, во лбу которого ярко горела красная звезда. Виноградов покопался в карманах и среди семечек набрал рубль мелочью. Огляделся в поисках станционного шалмана. В застекленной будке сидел благообразный, горбоносый, как Наполеон, офицер и увлеченно читал книгу. Специально высоко держал ее,

чтобы Виноградов заметил название. Но Виноградов и не взглянул на книжку. Никогда ему на ум не приходило почитать книгу.

- Товарищ капитан! - обратился Виноградов к дежурному, сосчитав маленькие звездочки на погонах. - Где тут у вас магазин?

Офицер снисходительно улыбнулся, разглядывая Виноградова: его огромные синие глаза, с прелестью вечного недоумения в них, подпольного проказничества и смелости, румяные щеки, белый вихор, выбивавшийся из-под шапки, надетой задом наперед, так что содранной звезды не было видно. И чем-то Виноградов походил на жеребенка. Офицер строго сказал:

- Разве вы не видите, что я читаю "Цветы зла" Бодлера?

- Не-а, не вижу...

- Повторите за мной вслух: "Цветы зла", и голова ваша пройдет.

- "Цветы зла", - произнес Виноградов и почувствовал невероятное просветление, как будто вышел на зорьке косить траву.

- Вот и прекрасно, - сказал офицер. - А то вы своим магазином хотели сразу поставить меня на одну ступень с вами, по всей видимости, полагая, что дежурный станционный офицер тоже, как и вы, не в состоянии овладеть всем богатством поэзии. Это не так. За многие годы службы я перечитал всю мировую поэзию...

У Виноградова на лице постепенно появлялась пугливая улыбка от непонятных речей офицера.

- Да я что, - сказал Виноградов, озираясь, - читайте, если делать нечего...

Офицер чмокнул губами, вытянул по-лебединому шею, встал (он был строен и подтянут), согнал складки гимнастерки назад и сказал:

- "Цветы зла" вы должны выучить здесь же, на станции. Иначе вас придется отправлять в другую часть.

И протянул Виноградову книжку. У того от напряжения выступила испарина на лбу. В другом бы месте он бы сам дал почитать кому следует! Так бы дал, что грамотку окончательно бы забыл. А здесь была армия. Нужно было подчиняться старшему по званию. Что в уставе записано? Правильно. Виноградов боязливо, как горячий утюг, взял книжку и отошел в сторонку, косясь на придурочного офицера. Тот сел и взял другую книжку, уперев в нее восхищенные глаза. Виноградов даже сплюнул в сердцах. Как ни направлял на Виноградова обложку офицер, Виноградов читать название новой книжки не стал. Бочком отошел и сел в

кресло. Кресло стояло под пальмой в кадке. Виноградов расслабленно откинулся к спинке, вздохнул. Почему-то вспомнились нити сушеных грибов на косяке двери, а в углу - большой образ Спаса, с горящей лампадой. Мать ухватом вынимает из печи чугуна с картошкой в мундире. И все-то кругом в деревне деревянное, по-русски, не то что здесь! Еще даже не раскрыв эти самые "Цветы зла", Виноградов заметил за кадкой лыжи. Мелькнула мысль сбегать в самоволку. Что за прелесть для солдата - самоволка! В захолустном украинском городке, где располагалась учебная часть, Виноградов через день бегал в самоволку. К Зинке и за самогоном. Доску в заборе за складами отодвинешь - и ты среди хат и мазанок!

Виноградов затаился и почувствовал дрожь во всем теле от предвкушения самовольной отлучки. Раскрыл книжку, сделал вид, что читает, встал, надел лыжи и, держа книжку перед глазами, пошлепал на лыжах по ковровой дорожке в конец платформы. Там съехал под уклон по снежку, и пошел вдоль линии железной дороги. Серебрились рельсы, ясное небо сияло звездами. Хорошо было идти на лыжах по морозцу. Но, не пройдя и ста метров, Виноградов с изумлением обнаружил конец железнодорожного пути. Рельсы обрывались перед тупиковой полосатой шпалой. Дальше было голое заснеженное поле и черный лес вдалеке.

Виноградов смотрел на тупиковую шпалу и никак не мог понять, откуда же он сам приехал в вагоне. Развернулся и пошел назад, по своей же лыжне, обследовать путь. Может, где-нибудь ответвление прозевал. Но путь был прям, как линейка. На Виноградова смотрели два красных глаза концевое и единственного вагона! Елочкой поднявшись на платформу, Виноградов на лыжах прошлепал мимо офицера в будке, уже не показывая, что он что-то там читает, а, сунув книжку в карман шинели, прошлепал сосредоточенно в другой конец платформы. Уклона для съезда на лыжах здесь не оказалось. Здесь было ограждение. Внизу, в конце пути, такая же тупиковая полосатая шпала в ярком луче прожектора тепловоза. Черное, белое, черное, белое.

Виноградов сначала очень испугался безвыходности положения, но потом подумал, что это, должно быть, очень засекреченная часть, мол, для шпионов - кругом тупики, а для наших - есть выход, только нужно освоиться, не спешить, войти в курс

дела. Может, этот самый тепловоз под землей тут как ходит? Мало ли что. Недаром же нас весь мир страшится. Понапридумывали черт знает что, свои-то никак не разберутся. С этими мыслями Виноградов подошел на лыжах к креслу, сбросил их и поставил на место за кадку с пальмой. Достал из кармана Бодлера и сел в кресло. Приступил к заучиванию стихов, прочитав по слогам первое четверостишие первого стихотворения под названием "Вступление":

Безумье, скарედность и алчность и разврат
И душу нам гнетут, и тело разъедают,
Нас угрызения, как пытка, услаждают,
Как насекомые и жалят и язвят...

В этот момент тепловоз дал гудок и тронулся, содрогая землю. Куда он, там же тупик, нет пути? Виноградов уронил книжку на колени, во все глаза наблюдая, как тепловоз миновал тупик и исчез в чистом поле. Виноградов хотел от невероятности происходящего выдать трехэтажно на врожденном языке что-нибудь, но против воли чеканно выпалил начало:

Безумье, скарעדность и алчность и разврат...

Офицер из застекленной будки видел, как Виноградов произнес это наизусть и подумал, что минут через двадцать вся книжка Бодлера будет освоена. Виноградов тоскливо икнул и заговорил стихами. Эх, назад бы, в учебку! Думал об учебке, а рот говорил стихами. С нежностью вспоминалась тусклая казарма, двухэтажные койки, мрачная столовая с длинными столами, клуб, где давали "фильму"... А рот все говорил и говорил стихами этого самого Бодлера, страница мелькала за страницей, пока, наконец, не произнес последнее четверостишие книжки:

Обманутым пловцам раскрой свои глубины!
Мы жаждем, обозрев под солнцем все, что есть,
На дно твое нырнуть - Ад или Рай - едино! -
В неведомого глубь - чтоб новое обрести!

Не понимая, отчего это так развилась у него тяга к стихам, Виноградов доложил офицеру, что всю книжку вызубрил. Офицер

навскидку проверил закрепленный материал из разных мест книжки, и на все-то вопросы получал от Виноградова чеканные цитаты.

- Поздравляю, что и вы подтянулись по строевой поэзии! - похвалил офицер.

- Почему "строевой"? - удивился Виноградов.

- Потому что под Бодлера мы ходим строем на завтрак, обед и ужин!

Виноградов болезненно поморщился и подумал о том, что лучше уж уголь разгружать и бревна ошкуривать, как в учебке, чем тут с вами дурью маяться.

- Куда же мне, товарищ капитан, идти теперь? - спросил он. - Стишки-то освоил я.

- Теперь прямой дорогой, в штаб гвардейского полка! - сказал офицер, указывая за кадку с пальмой, откуда начиналась дорога в гарнизон, которую раньше Виноградов как бы и не замечал.

Хорошая дорога, асфальтовая, снежок убран в аккуратные кучки, фонари светят как днем. Впереди - синие ворота с красными звездами. Будка часового. На часах - строгий усатый солдат, вроде чеченца, в белом полушубке, с автоматом.

- Пароль? - спрашивает.

- "Цветы зла"! - бодро отвечает Виноградов.

- Проходи! - разрешает часовой через окошечко и механически открывает огромные ворота со звездами.

Виноградов увидел широкий бульвар со строем заснеженных лип, со скамейками, тоже заснеженными, с памятником. Памятник - это как положено. По углам фонари из прошлого века так и сияют. И голова у памятника склонена, тоже как положено по уставу. Чтоб знали, кому этот памятник, подписали: "Бодлер", - прочитал Виноградов. Вот он, значит, какой такой будет этот Бодлер, взгляделся в золотисто-зеленоватый огромный монумент Виноградов. Справа и слева бульвара тянулись двухэтажные желтые дома, некоторые с пряничными белыми колоннами, барельефами, атлантами, поддерживающими балконы. Который дом из них штаб гвардейского полка? Бульвар и дома вдоль него уходили в такую далекую перспективу, что Виноградов растерялся, где этот самый штаб искать. Пуст был бульвар. Виноградов решил заглянуть в первый попавшийся подъезд. В фойе за барьером сидела полная женщина, с маленькими накрашенными

губками, в военной форме, в звании лейтенанта. Виноградов смутился, но все же спросил:

- Разрешите обратиться, товарищ лейтенант?!

- Извольте, сударь, - машинально сказала женщина, продолжая что-то то ли читать, то ли писать за своим барьером. А от нее запах французских духов так и бьет в нос Виноградову.

- Мне нужен штаб гвардейского полка!

- Бульвар Бодлера, дом сто сорок восемь, - так же машинально сказала женщина-лейтенант, не поднимая глаз.

Виноградов еще раз с удовольствием вобрал в себя запах французских духов и вышел из теплого фойе на мороз, и на углу дома повстречал первую колонну. Это шла в ногу, чеканя шаг, какая-то рота, вся в белых полушубках. Над ротой зависла строевая песня на слова Бодлера:

Какой напиток в трепкой пене
Я залпом выпью,
Какие звезды упоенья
В туман просыплю!

Это из "Танца змеи", узнал слова Бодлера Виноградов и зашагал вперед, поглядывая на номера домов. Вдруг взгляд обожгла вывеска: "Военторг". Рука в кармане нащупала рубль мелочью. Смело вошел в магазин. За прилавком - грудастая блондинка с выщипанными бровями, в звании старшины, в пилоточке. А выбор! Выбор на полках! И "шипр", и "тройной", и "цветочный" по двадцать восемь копеек!

- "Цветочный" и конфетку! - бодро попросил Виноградов, высыпая мелочь на прилавок.

Грудастая блондинка отсчитала длинными наманикюренными ноготками нужную сумму, остальное отодвинула в сторону. Виноградов тут же эту сторону ссыпал назад в карман, принял с ликованием "цветочный" и карамельку. Блондинка подозрительно как-то взглянула на него и рассмеялась. Виноградов не обратил внимания на этот смех, выскочил на улицу, скрутил пробку с флакона, и тут же, на ходу, каплю за каплей, горлышко узкое, льется плохо, влил в себя весь флакон. Однако закусывать конфеткой не пришлось: сладок был одеколон, сладок, как лимонад! В злобе Виноградов взгляделся в этикетку и прочитал: "Эн-

гельгардтовская фабрика безалкогольных напитков"! Вот паразиты! Свинство всегда торжествует. Голова была ясная, не болела, а выпить, вот что интересно, хотелось! Подумав, Виноградов вернулся в военторг.

- А "шипр" покажите? - смущенно попросил он.

Блондинка, как ни в чем не бывало, протянула ему "шипр". Нормальная зеленая жидкость. Взгляд на этикетку - та же самая надпись, тем же самым шрифтом! Виноградов переступил с ноги на ногу, посопел.

- Мне бы чего-нибудь со спиртиком, прижечь фурункул на колене, - сказал он.

- Со спиртиком у нас ничего не бывает, - сказала блондинка.

- А с фурункулом - в медсанчасть, пожалуйста, господин!

- Какой я такой господин! - обиделся Виноградов. - Что вы придумываете обо мне, товарищ старшина!

- Так положено по уставу, - сказала блондинка.

- Давайте лучше познакомимся, - сказал Виноградов и протянул руку к груди продавщицы.

Та, казалось, никак не отреагировала, но как только Виноградов сжал крепкую грудь под гимнастеркой, тут же получил удар по уху, резкий такой, отрывистый.

- А вот драться не обязательно! - крикнул он.

Блондинка сняла с полки книжку и положила ее на прилавок.

- За то, что вы взяли меня за неприкосновенную часть моего драгоценного тела, вы должны купить устав.

Виноградов, потирая горячее ухо, прочитал на обложке:

"Устав истинного учения по несению гарнизонной жизни".

- У меня денег нет, - сказал он.

- Есть. Цена устава две копейки.

Виноградов покопался в кармане, высыпал мелочь на прилавок, продавщица острым ноготком выловила двушку, тут же раскрыла книгу, а Виноградов, как дурак, против воли, стал читать написанное вслух:

- Истинное учение научает людей высшему добру - обновлению людей и пребыванию в этом состоянии. Чтобы обладать высшим благом, нужно 1) чтобы было благоустройство во всем народе. Для того чтобы было благоустройство во всем народе, нужно 2) чтобы было благоустройство в семье. Для того чтобы было благоустройство в семье, нужно 3) чтобы было благоу-

ройство в самом себе. Для того чтобы было благоустройство в самом себе, нужно 4) чтобы сердце было чисто. Для того чтобы сердце было чисто, нужна 5) правдивость, сознательность мысли. Для того чтобы была сознательность мысли, нужна 6) высшая степень знания. Для того чтобы была высшая степень знания, нужно 7) изучение самого себя.

Текст кончился, книга закрылась. Виноградов облегченно вздохнул. Блондинка протянула ему книгу. Виноградов нехотя сунул ее в карман и обреченно покинул военторг. Одеколоны без спирта, уставы какие-то... Да, совершенства нет на земле! В раздумье вспомнилось из Бодлера:

Будь мудрой. Скорбь моя, и подчинись Терпению.
Ты ищешь Сумрака? Уж Вечер к нам идет.
Он город исподволь окутывает тенью,
Одним неся покой, другим - ярмо забот.

Из груди Виноградова вслед за стихами вырвалось отчаянное:
- Неужели мне в этой дыре два года трубить?!

Скрипнул зубами, смахнул слезу и зашагал проворнее. Вон дом двадцать мелькнул, двадцать два, двадцать четыре... Черт знает что! Подвез бы кто-нибудь, что ли?! И как раз в этот момент сзади послышался шум мотора. Виноградов неуверенно проголосовал. "Козел" притормозил, приоткрылась дверца. За рулем сидел маленький, тощий, с кудрявыми бакенбардами сержант в дубленке.

- Подбрось, корешок, до сто сорок восьмого дома, - попросил у него Виноградов.

- Так я в ту степь и еду, - весело сказал сержант какими-то незнакомыми словами, но Виноградов их понял. - Садитесь, пожалуйста. Новичок?

- Да вот, сегодня прибыл, - сказал Виноградов, забираясь в машину.

- Откуда?

- Да с учебки.

- Нет, я не об этом, сударь. Родом откуда будешь?

- Деревенский я... С-под Рязани...

- Не слышал, - сказал сержант.

- Чего, Рязани не слышал? - удивился Виноградов.

- Нет.

- Ну, ты, корешок, даешь! - воскликнул Виноградов, оглядывая проплывающие по сторонам, бульвара дома. - Рязань! Дурья твоя голова!

- Да не слыхал я такого названия! - очень серьезно сказал сержант. - Где это?

- Так, - сказал сам себе Виноградов. - Понятно. Разыгрываешь. Эта, блондинка, продала какой-то устав за две копейки...

Виноградов полез за ним в карман, а шофер тут же сказал:

- Да это она тебе Конфуция подсунула... Китайцы выпустили двести миллионов экземпляров и все никак реализовать не могут. Там же иероглифы, по-китайски напечатали...

- Это что ж получается, - раскрыл книгу Виноградов и, действительно, обнаруживая иероглифы, - я по-китайски читал?!

- А чего такого, - усмехнулся шофер.

- Сам-то ты откуда? - спросил Виноградов.

- Из-под Парижа, - сказал сержант. - Версаль слыхал?

- Не-а, не слыхал... Ты кто? - вдруг сообразил Виноградов. - Француз, что ли?

- Ну не китаец же! - воскликнул сержант. - Дембель через месяц!

Виноградов отупело уставился на дорогу. Что ж это такое? Как это такое может быть, чтобы русский и француз в одной армии служили?! Виноградов вполголоса, будто что-то вспоминая, запел:

Сегодня в доках не дремлют французы,
На страже мира докеры стоят.
Мы не допустим военные грузы!
Долой войну! Везите смерть назад!

Это он вспомнил "Песню французских докеров", которую часто заводили по радио в детстве.

- Хорошо поешь! - похвалил француз.

- А как же ты по-русски выучился говорить? - осторожно спросил Виноградов.

- Я и не учился. Говорю всю жизнь по-французски.

- Как это - по-французски? Я же тебя понимаю...

- То-то и оно! Сам в толк не могу взять. Без малого три года отбабахал здесь, а ничего не понимаю! - воскликнул сержант. - Тут ребята с Америки есть, с Германии, с Китая в роте охраны... И все в одном гарнизоне...

- М-да, - недоумевая, вздохнул Виноградов и тут же вспомнил и бодро запел:

Русский с китайцем братья навек.
Крепнет единство народов и рас.
Плечи расправил простой человек,
С песней шагает простой человек,
Сталин и Мао слушают нас!
Слушают нас!
Слушают нас!

Припев грянули вместе с французом:

Москва - Пекин!
Москва - Пекин!
Идут, идут вперед народы,
За светлый труд,
За прочный мир,
Под знаменем свободы!

Подъехали к штабу гвардейского полка, белоколонному особняку. “Козел” с французом порулил дальше, а Виноградов вошел в автоматически открывшиеся перед ним стеклянные двери. На месте дежурного сидел майор с профессорской бородкой и, паразит, читал “Цветы зла”! Рядом устав этого самого козла Конфуция! У Виноградова так всё внутри от этого и опустилось. Рот сам открылся и проскандировал:

Я - трубка автора стихов.
Я - деревянная фигурка
С головкой кафра или турка:
Знать, у поэта вкус таков.

И вытянул руки по швам. Майор, почесав бородку, удовлетворенно кивнул и сказал:

- Очень рады вам, господин Виноградов! С прибытием в inferнальный гвардейский полк!

- Служу Советскому Союзу! - заорал как положено Виноградов.

- Молодцом, молодцом! - похвалил бархатистым голосом майор и поднес к уху радиотелефон. - Так, вас, господин Виноградов, направляю в ТЭЧ! Дом восемь по переулку Второму Бодлеровскому!

- А что такое, товарищ майор, ТЭЧ? - с легким испугом спросил Виноградов.

- ТЭЧ - это ТЭЧ! Теоретическо-эстетическая часть! Идите!

- Слушаюсь! - сказал Виноградов и, повернувшись через левое плечо, вышел на улицу.

К подъезду подкатил тот самый "козел", подбросивший Виноградова. Из машины вышел упитанный, маленького роста, генерал в папаче, с красными лампасами на великолепно отглаженных брюках. Виноградов от страха застыл по стойке "смирно" и приложил руку к виску.

- Вольно, - детским голоском добродушно проговорил генерал и похлопал Виноградова по плечу. - Как там звучат заключительные строки из сонета "Красота"?

Виноградов моментально процитировал:

Я - строгий образец для гордых изваяний,
И, с тщетной жаждою насытить глад мечтаний,
Поэты предо мной склоняются во прах.

Но их ко мне влечет, покорных и влюбленных,
Сиянье вечности в моих глазах бессонных,
Где все прекраснее, как в чистых зеркалах.

- Прекрасно! - воскликнул генерал, и лицо его приняло возвышенное выражение. - Однако замечу, что датировка этого сонета вызывает споры. Иногда называется начало 40-х годов. Но формальное совершенство сонета и его редкая у Бодлера концепция красоты в неподвижном говорит, что сонет должен относиться к периоду 50-х годов, когда Бодлера искушала эстетика Готье и парнасцев.

Виноградов пытался внимать генералу (настоящего генерала он видел впервые), но ничего не понимал. Генерал, видимо, это почувствовал и сказал:

- Не смущайтесь, ничего, ничего. Я в ваши годы ни писать, ни читать не умел. Куда вас распределили?

- В ТЭЧ, товарищ генерал!

- Хорошо. Очень хорошо. Думаю, вам удастся определить точную дату "Красоты", - сказал генерал и, подумав, спросил: - Откуда родом?

- С-под Рязани...

- Не слышал... Ну да ладно, ступайте в ТЭЧ. Лучшее у нас под-
разделение.

И ушел в подъезд. При слове "лучшее" Виноградова передер-
нуло, он внезапно икнул, сердце стукнуло, пропало, чтобы через
секунду вновь объявиться. Француз выглянул из окна "козла" и
сказал:

- Генерал-то наш душа-человек! С Новой Зеландии... Везде
есть хорошие люди...

- Где эту ТЭЧ-то искать? - спросил Виноградов обреченно.

- Да вон, за угол, четвертый дом справа, - сказал француз и
уехал.

С горестным чувством Виноградов пошел за угол, и чтобы
развеесться, запел негромко свою любимую:

Где найдешь страну на свете
Краше Родины моей?
Все края земли моей в расцвете,
Без конца простор полей!

И чуть громче - припев:

Светит солнышко
На небе ясное,
Цветут сады,
Шумят поля
Россия вольная,
Страна прекрасная,
Советский край, -
Моя земля!

Правильно говорили старики в деревне, что в армии уму-ра-
зуму научат. Не думал Виноградов, что здесь могут быть такие
чудеса. А что делать? Бежать? Поймают, посадят! Будь проклята
эта служба! Работал бы да и работал в колхозе, пользу прино-
сил. Нет, обязательно нужно было призывать на действитель-
ную военную службу. Этого козла Бодлера учить! Пропали он
пропадом! Генерал с Новой Зеландии, шофер с Франции! Эх,
знать, сильна страна Советов, что всех в кулачок взяла. То-то ре-
бята в учебке поговаривали об особых частях, мол, есть в стра-

не такие части, что не приведи Господь! Весь, мол, земной шар опутали сетями шпионажа. Неужто и я угодил в самую секретную?! Почесав затылок, Виноградов вошел в желтобокое, с белой лепниной - грудастые какие-то девицы с венками и кубками, - здание ТЭЧ.

Из-за стола дежурного поднялся аккуратненький старший лейтенант в пенсне, как только Виноградов отдал ему честь и по форме доложил о своем прибытии. Книжке Бодлера "Цветы зла", которую заметил на столе, не удивился.

- Тэк-тэк, - сказал старлей, оглядывая Виноградова, и нажал кнопку на щитке приборов.

Тут же явился бодренький старшина, правда, лысый, и молча повел Виноградова в подвал. А там был комфортабельный склад. Старшина выдал Виноградову все новое, даже сапожки, кожаные, легкие. Но верхом совершенства была белая дубленка. Никогда и не мечтал Виноградов о таких полушубках, легких, с золотистым ярлыком на зашивке: "Мэйд ин Энгельгардтовски".

- Вы знаете, износу не будет, - сказал старшина. - Все натуральное, никакой синтетики.

- Надо бы того, обмыть, что ли, - неопределенно сказал Виноградов, вспоминая, что каждую новую вещь в деревне положено было обмывать.

- Как это "обмыть", одежда же новая? - не понял старшина.

Виноградов даже повторяться не стал, понял, что старшина не местный, хотя, черт его знает...

- Товарищ старшина, а вы откуда, разрешите поинтересоваться, родом будете?

- Я местный.

Виноградов несказанно обрадовался.

- Так давайте выпьем!

- Я энгельгардтовский, - пояснил старшина, - и мы все тут - непьющие. Согласно Конфуцию. Нам нельзя. Сгорит заслонка.

- Какая заслонка?

- Это не нашего ума дело...

- А чьего ж ума?

Старшина выставил вверх указательный палец и поднял глаза на потолок, мол, там наш распорядитель. И только тут Виноградов догадался спросить:

- А Энгельгардтовская где находится?

- Как где? - удивленно переспросил старшина. - На Бодлере!
- и рассмеялся, так для него был очевиден ответ. И для убедительности проскандировал:

Мне факты кажутся какой-то ложью шумной,
Считая звезды в тьме, я попадаю в ров...
Но Голос шепчет мне: "Храни мечты, безумный!
Не знают умники таких прекрасных снов..."

- Этого же нет в "Цветях зла"! - отреагировал Виноградов.

Старшина снисходительно улыбнулся, в его карих глазах блеснули дьявольские искорки, и сказал:

- Эх, салажонок! Ничего, наверстаешь. Это - из дополнений, из "Книги обломков"... Пойдем в сауну!

Тут же, в подвале, через дверь от склада, в прекрасном предбаннике, где кипел ароматный чай, Виноградов сбросил с себя кирзу и х/б, прожарился в сауне на полированной полке и обмылся в голубой огромной ванне. Надев чистое вискозное белье и шерстяную форму, пошел в сопровождении старшины на второй этаж, полагая, что попадет в казарму, но попал в номер 23, отдельную однокомнатную квартирку, с деревянной кроватью, креслами, письменным столом, на котором, разумеется, лежала книжка Бодлера "Цветы зла"... Чувствуя с дороги усталость, Виноградов прилег на кровать поверх одеяла, хотя знал, что в неположенное время это делать запрещается. Однажды в учебке, когда он вот так же прилег, старшина вlepил ему наряд вне очереди. И пошел Виноградов на кухню, в этот ад, мыть посуду. Пять тысяч курсантов в учебке, стало быть, пять тысяч железных тарелок, пять - кружек, а уж ложки - без счета. Пять ванн с кипятком, а в нее - засыпаешь горчичный порошок. Грудами кидаешь в ванны тарелки, кружки, ложки. Пар застилает взор. Потный, разбухший, с красными руками, вылавливаешь посуду из ванн и бросаешь ее на конвейер машины посудомоечной, в ней крутой кипяток. Едва к обеду успеваешь перемыть посуду с завтрака. И опять грязную несут! Без передышки. Так спрашивается, стоило ли в неположенное время ложиться на кровать? Но здесь никто не видел, что он прилег. Можно было чуть-чуть отдохнуть до отбоя. А когда отбой? Только подумав об этом, Виноградов почувствовал сильный прилив головной боли. Эта боль преследовала его лет с двенадцати, с тех самых пор, как впервые напился на свадьбе сестры. Жених, - бывший матрос,

налил ему полстакана... Ну и понеслось! То в овраге проснется, то в хлеву, то в МТС под колесным трактором - и вперед, похмеляться, с одной мыслью: как бы уклониться от работы. Так до самой армии. А уж провожали с таким грохотом, что очнулся только в бане учебки. И из учебки точно так же проводили. Вот и очнулся!

Голова просто стала раскалываться. Виноградов резко поднялся, так резко, что огненно-зеленые круги поплыли перед глазами. Он стоял у окна и тупо смотрел в темное небо, по которому плыли зеленые круги. Потом эти круги уменьшились, и цвет изменили - стали серебристыми. Голова перестала болеть, а серебристые точки с неба не исчезли. Это ж, звезды, решил Виноградов, но тут же отказался от этого решения, поскольку точки плавно и быстро двигались из левого верхнего угла окна в правый нижний. Красиво, ничего не скажешь! Виноградов пропел проникновенно:

Далеко-далеко,
Где кочуют туманы,
Где от легкого ветра
Колышется рожь,
Ты в родимом краю
У степного кургана,
Обо мне вспоминая,
Как прежде живешь...

Вдруг послышался чей-то голос:

- Построение на ужин!

Виноградов заученно согнал складки гимнастерки под ремнем назад, надел шапку и выскочил в коридор. Подразделение быстро строилось в две шеренги. Виноградов, как это бывает с новичками, замешкался: куда ему вставать? Смущенно прикинул соотношение своего роста с ростом других солдат и нерешительно втиснулся третьим слева во втором ряду. Появился старшина, в шапке, оглядел личный состав и сказал:

- Рядовой Виноградов!

- Я! - испуганно выкрикнул Виноградов, краснея от столь поспешного внимания к своей персоне.

- Два шага вперед!

- Есть! - Виноградов положил руку на плечо впереди стоящему солдату, тот сделал шаг вперед и шаг в сторону, пропуская Виноградова.

Виноградов, выпячивая грудь, вышагнул из строя, лицом к старшине.

- Встаньте лицом к строю! - приказал старшина.

Виноградов, весь красный от волнения, довольно-таки уверенно выполнил команду "кругом", как и положено по уставу - не Конфуция, разумеется! - а внутренней службы, повернулся через левое плечо и со стуком приставил ногу, вытянув руки по швам и еще заметнее выпятив грудь. Старшина глазами одобрил движения и, выдержав малую паузу, сказал:

- Представляю пополнение: Виноградов, рядовой и... - Старшина на некоторое время замешкался, потом заглянул в шпартгалку и дополнил: - С-под Рязани.

Виноградов стоял столбом, видя, что его заинтересованно разглядывают "старики". Разглядывали так, будто он был каким-то чудом диковинным. Послышался шепот:

- С-под Рязани? Не слышали...

- Разговорчики в строю! - крикнул старшина.

Воцарилось молчание.

- Встаньте в строй! - сказал старшина Виноградову, и для всех: - Разойдись! Одеться! Построение на улице!

Все бросились по своим квартирам за дубленками. Надев ее, Виноградов столкнулся в коридоре с соседом из 22-го номера, быстро спросил:

- Что тут по небу летает?

Сосед рассмеялся над этим вопросом, сказал:

- Ночные полеты начались. Первая эскадрилья сегодня летает.

- На чем летает?

- Ну, ты даешь! - удивился сосед, и его сросшиеся густые черные брови совсем соединились в одну черту над глазами. - Тебя чему в учебке учили-то?!

Они спускались по мраморной лестнице, устланной ковровой дорожкой. Перила - в стиле модерн.

Чему? Виноградов начал вспоминать и ничего не вспомнил: потому что опять сильно заболела голова.

- Бодлероиды летают, дурья твоя голова! Со скоростью миллиард мыслей в секунду! Миллион солнечных систем проходят за час! - сказал сосед, выходя на улицу.

Виноградов про себя прошептал: "Цветы зла". Бодлер", - и голова тут же прошла.

Старшина, расставив ноги и убрав руки за спину, стоял у беседки, засыпанной снегом, наблюдал, как подразделение самостоятельно строится в колонну по три. Виноградов оказался в третьем ряду, как раз возле соседа из 22-го номера: росточком они были одинаковые.

- С песней "Парижский сон" ша-агом марш! - крикнул старшина. Подразделение грянуло в ногу:

Пейзаж чудовищно-картинный
Мой дух сегодня взволновал:
Клянусь, взор смертный ни единый
Доныне он не чаровал!

Когда прошли вдоль фасада казармы, старшина подал команду:
- Левое плечо вперед!

Колонна, не нарушая рядов, свернула, выгибаясь как змея, направо и зашагала по переулку, оглашая его "Парижским сном". Остановились перед ярко освещенным величественным зданием. По одному вошли в фойе, с фонтаном посередине, с бронзовыми женскими фигурами, держащими в высоко поднятых руках матовые стеклянные шары светильников. "Старики" привычно сдавали полушубки гардеробщикам, которые все были прапорщиками. Виноградов отдал свою дубленку, подождал, когда ему дадут номерок. Но ждал напрасно, номерков никому не давали.

- А как же я узнаю свою? - спросил Виноградов у прапорщика.

- Скажешь: "23" - я и отдам, - удивленно ответил прапорщик.

Виноградов помедлил и еще спросил:

- А до меня кто был двадцать третьим?

- Он надысь дембельнулся. В Турцию свою уехал, - сказал прапорщик.

Пожимая плечами, Виноградов пошел за всеми в огромный зал со сводчатым потолком, расписанным в русском стиле богатырями в кольчугах и русалками чешуйчатыми. На сцене играл симфонический оркестр человек в полтораэта: скрипки там разные, виолончели и прочее. Даже барабан большой увидел Виноградов. А в зале с роскошным паркетным полом, поблескивающим как стекло, стояли столики на четверых с белыми скатертями, с живыми красными, розовыми, опаловыми розами в хрустальных вазах. И аромат струился такой, как в оранжерее.

- Виноградов, чего застыл, давай к нам! - позвал его 22-й.

Виноградов робко сел на краешек мягкого стула, обнаружил перед собой несколько тарелок саксонского фарфора одна на одной, пару ножей справа от тарелок, пару вилок и пару ложек слева. Тут же возле тарелок фужер из толстого стекла. И, конечно, салфетки, свернутые конусом. Виноградов напряженно сообщал: так, нормально, чего делать? Сосед заметил растерянность Виноградова, успокоил:

- Не бойсь, ща покормят! Расслабься. Меня Рафаилом зовут, - представился сосед и, кивнув сначала на одного, затем на другого сотрапезников, представил: - Это Тадеуш, а это Ивар.

- А ты откуда? - спросил Виноградов у Рафаила.

- Я с Варшавы, слышал?

- С Польши, что ли? - переспросил Виноградов.

- Ну да! А вон Тадеуш с Кракова.

- А Ивар? - спросил Виноградов, успокаиваясь в разговоре.

Рыжеволосый Ивар сам пробасил:

- Я с-под Лиепаи.

- А-а! С Эстонии! Это я знаю! - воскликнул Виноградов.

- Да не с Эстонии, а с Литвы, - поправил Рафаил.

- Да не с Литвы, чайник! С Латвии! - обиженно пробасил Ивар.

- Это не страны, а блохи какие-то, черт, все время путаю! - извинительно проговорил Рафаил.

К их столику официант в черном фраке, в бабочке, на фраке погоны старшего сержанта, подкатил коляску с серебристыми кастрюльками. Из первой он выложил на тарелки шипящие, фыркающие маслом, только что с огня, эскалопы в грибном соусе, из второй - отварной картофель в сметане, присыпанный укропчиком, из третьей - тушеные с морковью и специями баклажаны. Фужеры наполнил темным искристым напитком. Виноградов торопливо схватился за фужер и жадно выпил его. То ли кофе, то ли лимонад, непонятно, но вкусно.

- Чего это я засадил? - спросил удивленно Виноградов.

- Кока-колу, - пояснил Ивар.

- Не слышал! - сказал Виноградов.

Официант, наблюдавший за Виноградовым, спросил:

- Вам еще чего-нибудь?

Виноградов, конечно, в другом бы месте заказал себе бутылку водки, но тут этот номер, он понимал, не проходил, поэтому поинтересовался:

- А вы, товарищ старший сержант, откуда родом?
- Я с-под Падуи, слышали?
- Не слышал, - сознался Виноградов, поражаясь, сколько всяких разных городов существует.

Вмешался Рафаил:

- Так то ж с Италии!
- А я думал с Украины, - сказал Ивар.
- Не "с" Украины, а "из" Украины, - поправил Тадеуш.
- Вот тебе раз! Я всегда говорю так: еду на Украину, приезжаю с Украины. Ведь говорим же - еду на Кубу...
- Это остров, - сказал Тадеуш. - А все страны на островах под это правило подходят. Например, еду на Мадагаскар, или на Гаити. Понял?

- Понял, - сказал Рафаил. - Но Украина же не остров...

- Вот ты и сам ответил. Правильно, не остров. И не часть СССР!

- Ты спятил! - вскричал Виноградов.

- Я не спятил, - спокойно сказал Тадеуш. - Просто вы отстали от жизни. Украина - самостоятельная страна. Поэтому говорим: еду в Украину. Если Кубань станет самостоятельной, то перестанем говорить: еду на Кубань, а будем - еду в Кубань!

- Точно, - сказал официант и сообщил по секрету, что скоро Италия будет в составе СССР и все будут говорить: еду на Италию. Потом добавил: - На завтрак будут настоящие спагетти!

- Чего? - не понял Виноградов.

- То есть - макароны, длинные такие, тоненькие, как нитки, - пояснил официант.

- Так бы и говорили сразу, - обидчиво произнес Виноградов и принялся откусывать от целого эскалопа.

- Э, э! Стоп, динозавр! - остановил его Рафаил. - Положи мясо на место.

Виноградов недоуменно опустил вилку с наколотым на нее эскалопом на тарелку, вопросительно посмотрел на Рафаила.

- Так, - сказал Рафаил и принялся учить Виноградова, в какой руке держать вилку, в какой нож, как резать мясо и так далее.

Виноградов, державший вилку в деревне только по большим праздникам, да и то только до третьей рюмки - дальше закусывал руками, - довольно быстро освоился, поглядывал то на Рафаила, то на Ивара, то на сторонника независимости Украины Тадеуша,

как они ловко пользовались вилкой и ножом. Конечно, неудобно было использовать левую руку, но ничего не попишешь - армия! Как говорится, всему научит. Что говорил Конфуций? Правильно. Виноградов ел и все про себя думал: ладно, если так кормят рядовой состав, то как же питаются офицеры?! А генералы? Уму не постижимо.

После ужина, когда одевались в гардеробе, Виноградов спросил у Рафаила:

- А теперь чего будем делать?

- Как чего, щас строим - в оперу! Сегодня дают "Парижский сон". Закачаешься! - и он, приставив пальцы к губам, причмокнул.

- Так "Парижский сон" строевая ж песня!

Бодлер неисчерпаем! - резюмировал Рафаил.

- Бод-лер, - повторил значительно Виноградов по слогам.

- Это наш генерал либретто заделал! - сказал Рафаил.

- А когда ж личное время? - огорчился Виноградов.

- Опера и есть - личное время, - спокойно пояснил, Рафаил, надевая дорожку дубленку.

Виноградов вспомнил, как в деревне мать сразу же выключала радио, когда начинали передавать оперы, приговаривая: "Ну, завели канитель".

- Двадцать три, - сказал Виноградов гардеробщику-прапорщику и получил свою белую, с белым же подбоем дубленку, погладил даже ее нежно, как гладил в детстве козу Машу.

Старшина, тоже одетый в дубленку, напоминая гриб-боровик, переминался с ноги на ногу на морозце. Мигали огоньки гирлянд на заснеженных деревьях.

- ТЭЧ! Становись!

Дружно, находясь во власти родного стадного чувства, построились в колонну по три, толкали друг друга плечами, смеялись.

- Равняйся! Смирно! Ша-агом а-а-арш! Раз, два, раз, два, левой, левой! За-апевай! Правое плечо вперед!

Художник, в гений свой влюбленный, -
Я прихотливо сочетал
В одной картине монотонной
Лишь воду, мрамор и металл...

Впереди, на площади с фонтаном, показалось величественное здание с колоннами, освещенное теплым розоватым светом.

Виноградов увидел, что со всех сторон гарнизона к зданию стекаются ровные марширующие колонны разных подразделений. Ни толкотни, ни давки. Все ходят строем. Ровно, поочередно, культурно, взаимно, на одного линейного дистанция, вежливо. И все-то для Виноградова ново, монументально, музейно, каменно! Главное - все из камня. Не то что в деревне: покосившиеся избенки, сараи, плетни... Эх, мать моя родина, вот всю бы тебя превратить в такой великолепный гарнизон! Прав был капитан в учебке, что говорил о лучшей части. Это не часть, а какой-то рай Господен! Вернусь в деревню, расскажу - ведь, козлы, не поверят, где мне угораздило служить!

- Комсомолец Виноградов!

- Я!

- Вы выписали "Комсомольскую правду"?

- Так точно, товарищ старшина!

Перед входом пестрели афиши под стеклом: "Бодлер. "Парижский сон". Опера в 10-ти действиях, 120 картинах. Либретто генерал-полковника Новозеландского. Симфонический оркестр Энгельгардтовской филармонии. Главный дирижер генерал-лейтенант Альдебаранов. Опера идет без антрактов"... Как и положено, сияла люстра, поблескивали логи, а уж о паркете и нечего говорить! Так и расстился, так и расстился... Виноградов был ни жив, ни мертв. Это и понятно. Человек с-под Рязани первый раз удостоил театр своим посещением. Погас свет, вспыхнула рампа, бросив на низ тяжелого, шитого золотом занавеса красноватый отблеск. Начали перечислять действующих лиц и исполнителей. Виноградов то мимо ушей пропустил, но только до: "Зодчий сказочного мира - артист-рядовой Виноградов"! Виноградов не знал, верить ли ему ушам своим или не верить. Бывало, по радио, в деревне, услышит - Козловский там, Лемешев... А тут! Рафаил толкнул его локтем, мол, давай, нечего за спинами отсиживаться, ступай на сцену. Виноградов с огромным волнением встал, и на деревянных ногах пошел. Шел и видел, что с разных уголков огромного зала на сцену стекаются исполнители.

Он взглянул в зрительный зал и замер от страха: на него были направлены тысячи биноклей! А под биноклями - погоны. Вот, прямо, у всех бинокли, и у всех на плечах погоны. Что же Виноградову делать? Он растерялся. Но тут заиграла музыка, близ-

ко, внушительно, пробирая до печенок. Какой-то капитан, загримированный под негра, затынул:

Когда же вновь я стал собою...

Виноградов сосредоточился и голосом Шаляпина запел:

Зелеными просторами
Легла моя страна
На все четыре стороны
Раскинулась она.

Все, кто были на сцене, - как по команде, грянули припев:

А над ней стальные соколы
И день и ночь парят,
И огни ее высокие
Над всей землей горят.

Виноградов оглянулся. За спиной стоял могучий краснознаменный ансамбль имени песни и пляски, амфитеатром уходил к колосникам, все в парадных мундирах, с погонами рядовых, с аксельбантами. Дирижер спросил у Виноградова:

- Вы слышали, что ЦСКА проиграл "Ротору" из Волгограда на его поле?

- Не слышал, - сказал Виноградов, но спросил: - С каким счетом?

- Ноль - два?

Оркестр заиграл позорный похоронный марш для ЦСКА. Из зала понеслись негодующие возгласы:

- Конюшня!

Публика в зале заволновалась. В кулисах стали переглядываться и пожимать плечами. Виноградов услышал голос старшины:

- Сбой программы!

На сцену вышел простолицый, он был из народа, министр обороны одной из планет и, разведя руки в стороны, сказал:

- А я хотел сделать их одним парашютно-десантным полком!

Дикий хохот поднялся в зале, кто-то уже вложил пальцы в рот и пронзительно засвистел. Старшина, покраснев, еще раз крикнул:

- Сбой программы!

Тут в глазах у Виноградова мелькнули зеленые круги, голову сдавила невыносимая боль, но он тут же вспомнил “Цветы зла” Бодлера, и боль как рукой сняло. Ему протянули свежий выпуск газеты “Красная звезда”, которая вся была забита знакомыми стихами Бодлера Шарля. Виноградов поспешно сунул газету в карман и допел свои “Зеленые просторы”. Дальше опера шла без сучка, без задоринки. Потому что мать, только что вошедшая в избу с подойником, козу подоила, выключила штепсель радио - черной тарелки, висевшей возле иконы Спаса, - и больше не включала эти “Зеленые просторы”. Там пели хором. Россия - страна хоровая. А ведь, бывало, маленький Виноградов любил слушать радио, когда его провели в деревню. Виноградову было три года, как раз в 53-м году, словно к смерти Сталина приурочили, мол, Сталин умер - теперь пусть все что угодно треплют! Закончив свою партию, Виноградов ушел за кулисы, передохнуть. Спросил у пожарника в звании младшего лейтенанта:

- Вы знаете, кто был Сталин?

- Знамо дело, - сказал усатый пожарник в серебристой каске:
- Сталин - наша юность боевая!

У артиста, которому нужно было выходить, спросил о том же.

- Знамо дело, - сказал тот, спеша на сцену: - Сталин - нашей юности полет!

Следом сам Виноградов вышел на сцену. Остался один в свете прожектора. Ногу выставил вперед, вскинул руку. Оркестр торжественно вступил. Виноградов запел:

На просторах Родины чудесной,
Закаляясь в битвах и труде,
Мы сложили радостную песню
О великом друге и вожде.

Сталин - наша слава боевая,
Сталин - нашей юности полет.
С песнями, борясь и побеждая,
Наш народ за Сталиным идет.

Вспыхнул свет. Женский батальон в парадной форме - все женщины в чине сержантов, в пилоточках, в юбках цвета хаки, в лаковых сапожках - пронес огромный портрет Сталина. У одной женщины на голове была кастрюля, и женщина отчаянно стуча-

ла по кастрюле ложкой. Вернувшись за кулисы, Виноградов поинтересовался у пожарника, откуда тот.

- С-под Мадрида, - сказал пожарник.

Виноградов не выдержал, вскричал:

- Ну что вы все тут иностранцы какие-то!

К нему подошел патруль с красными повязками на рукавах.

- Ваши документы!

Виноградов покопался в карманах, нашел военный билет, предписание. Начальник патруля был в чине майора. С ним два сержанта. Майор долго читал документы, потом сказал:

- Все правильно. Вам на поезд "Орел - Рига", до станции Энгельградтовская!

И взял под козырек. Козырнул и Виноградов.

- А сейчас я где? - спросил Виноградов.

- Как где? - удивился майор. - В театре!

На улице шел снег. Старшина приказал строиться. Виноградов уже привычно занял место рядом с Рафаилом. Тронулись с песней:

От Кремля ведут дороги
Прямо к пашням и садам,
И заботливый, и строгий,
Вождь приедет в гости к нам.

Поглядит из-под ладони
На бескрайние поля;
В золотом пшеничном звоне
Встретит Сталина земля...

- Сбой программы! - крикнул старшина.

И тут же, у казармы, песню окончили. Поднялись на второй этаж, разбрелись по квартирам. Виноградов снял дубленку, сбросил шапку, заодно расцепил ремень с латунной пряжкой и бросил его на кровать. Хотел присесть, но из коридора донесся голос дневального:

- Выходи на вечернюю поверку!

Виноградов устало взял ремень, подпоясался и вышел в коридор. Старшина с папочкой уже стоял перед строем, то хмурясь, то язвительно усмехаясь, то неодобрительно поджимая губы.

- Поживей, поживей, господин Виноградов! - прикрикнул он.

Виноградов протиснулся на свое место.

- Равняйся, смирно! - крикнул дневальный и, строевым шагом, дубася каблуками паркет, подойдя к старшине, доложил: - Товарищ старшина, ТЭЧ на вечернюю поверку построена!

- Встаньте к тумбочке, - сказал старшина дневальному.

Дневальный, со штыком на поясе, послушно отошел на место к тумбочке, на которой стоял черный телефон без диска и лежала амбарная книга записей разрешенных отлучек личного состава ТЭЧ и Управления. Старшина зычным и ясным голосом начал переключку:

- Английский?

- Я! - откликнулся рыжий, в конопушках, англичанин из второго отделения.

- Французский?

- Я! - откликнулся худощавый, с впалыми щеками француз.

- Мацумото?

- Я! - откликнулся коренастый японец с жестким, как проволока, ежиком волос.

- Баджио?

- Я! - откликнулся смуглый итальянец с Сицилии.

- Виноградов?

- Я! - крикнул Виноградов с внутренней интернациональной радостью.

- Бодунов?

- Я! - хрипло отозвался детина с прыщавым лицом.

После поверки уже ничего не хотелось. На ватных ногах Виноградов ушел к себе на квартиру, кое-как разделся и завалился под одеяло. Голова не болела. Сон был легким, приятным, без пробуждений. Утренний, самый сладкий и крепкий сон нарушил голос дневального:

- Подъем!

Первыми пришли в голову Виноградова "Предрассветные сушки":

Казармы сонные разбужены горнистом
Под ветром фонари дрожат в рассвете мгlistом...

Виноградов выглянул в окно: фонари в переулке действительно дрожали. Было еще темно, пять пятьдесят утра. Светили звезд

ды, и эти паразиты бороздили небо, катились из левого верхнего угла окна в правый нижний. Виноградов широко зевнул, ни о чем не задумываясь, как бессмертный, и потянулся до ломоты в суставах. Пошлепал босиком по гляцевому узорному паркету, ни пылинки, в туалет умываться. Всюду - кафель, никель, медь, пахнет лавандой, вода горячая и холодная, ваннные комнаты - пожалуйста, принимай ванну с шампунями, поливайся душем! Почистил зубы "блендамедом", побрился бритвой "жилетт" с плавающими ножами. Проверил подворотничок на гимнастерке - еще белый.

- На построение выходи! - донесся голос дневального.

Ремень - на пояс, шапку - на голову, бегом, в строй.

Перед строем - старшина, румяный, утренний, свежий, с папкой, зачитывает:

- Английский?

- Я!

Виноградов и свое "я" выкрикнул бодро: состояние было какое-то приподнятое, радостно было стоять в едином строю в великолепной казарме, более подходящей на кремлевский президентский дворец - потолки слепили белизной, люстры сияли и, казалось, графический портрет Бодлера на стене весело подмигивал. После переключки старшина отдал команду одеваться и выходить на улицу строиться на завтрак. Все делалось быстро и слаженно. Утренний морозец бодрил. С песней "Душа вина":

В бутылках в поздний час душа вина запела
"В темнице из стекла меня сдавил сургуч,
Но песнь моя звучит и ввысь несется смело
В ней обездоленным привет и теплый луч!.." -

дошли до столовой. Все, как и вчера, да и итальянец-официант не соврал, притащил свои макароны, залил их таким чудесным соусом, что солдаты смели их в минуту. Под завтрак симфонический оркестр играл вариации из вчерашней оперы генерал-полковника Новозеландского. Иногда давали солировать роялю, иногда скрипке. Всю эту музыку Виноградов про себя называл "балалайкой", но не выключишь же ее как радио штепселем. Тут серьезное дело: армия!

- Они с музыкальной части, что ли? - спросил на всякий случай Виноградов у Рафаила.

- Не-е, - сказал тот. - Они в наряде. И ты туда попадешь.

- Я ж ни бум-бум на музыкальных инструментах! - удивился
Виноградов.

- Это тебе только так кажется. Я сначала тоже думал, что скрипку от табуретки отличить не смогу. А как первый раз пошел в наряд в оркестр, так заиграл на гобое как миленький!

- Выходи строиться! - крикнул старшина.

- А сейчас куда? - спросил Виноградов.

- По бабам! - воскликнул Рафаил, поблескивая глазами.

- Как "по бабам"? - совершенно не понял Виноградов.

- Очень просто... Увидишь...

Построились, выполнив команду "равняйся", затем "смирно". С левой ноги начали движение, запели "Парижский сон". Остановились у дома номер 98.

- По избранницам разойдись! - крикнул старшина.

Все бросились в подъезд. Виноградов стоял, не зная, что делать.

- Мне куда?

- 23-й номер, - подсказал старшина.

- Это ж мой номер...

- Номера совпадают.

Виноградов вошел в подъезд, спросил у швейцара с галунами, где 23-й номер, тот подсказал, что на втором этаже. Мраморная лестница, белая, изгибаясь, вывела Виноградова на второй этаж. В коридоре витает запах французских духов. Дубовая филенчатая дверь с медной табличкой "23", бронзовая ручка в виде головы льва. Постучал, вошел. А там блондинка с выщипанными бровями, с военторга, голая! Стоит голая на роскошном ковре и лыбится. Груды с мутными сосками выставила и даже вьющиеся волосы на лобке не прикрыла рукой. Вот это наглость! А дальше - и рассказывать стыдно.

От дома номер 98 двинулись в совершенно другую сторону, куда-то на зады, по шоссе. Виноградов, отходя от любовных утех, заволновался, в перерыве между песнями спросил у Рафаила:

- Куда это нас опять погнали?

- На работу, - шепнул Рафик и с некоторым ехидством добавил: - Ты что думал, что тебя здесь задарма кормить и предоставлять баб будут?!

Слева от шоссе Виноградов увидел железнодорожную ветку, платформу, на которой стояли какие-то контейнеры, за платфор-

мой, высокую кирпичную башню наподобие водонапорной. Сигналя, колонну обогнал “козел” типа “джип” с мигалкой на крыше. Мелькнуло в окне лицо генерала. Подразделение чеканило шаг по очищенному от снега шоссе. Неслась песня:

Мир фантомов! Людской муравейник Парижа!
Даже днем осаждают вас призраки тут,
И, как в узких каналах пахучая жижа,
Тайны, тайны по всем закоулкам ползут...

Это из “Семи стариков”, подумал Виноградов, еще громче вплетая свой мощный голос в другие голоса родного подразделения. Справа, вдалеке, виднелись дома бульвара Бодлера. Шоссе забирало влево, куда уходил железнодорожный путь. Впереди показалось огромное здание необычной формы. Вроде стадиона, подумал Виноградов, и начал волноваться по мере приближения к этому феноменальному сооружению, потому что по мере этого приближения, сам себе казался маленьким, уменьшающимся на глазах, как, впрочем, все солдаты и старшина уменьшались.

- Чего мы маленькими такими становимся? - спросил Виноградов.

- Микробы вселенной! - выдохнул Рафаил и добавил: - Это ж ТЭЧ!

- Так ТЭЧ же там, откуда мы пришли!

- Там казарма, - пояснил Рафаил, - а тут мастерские.

Тут мало-помалу к Виноградову стала возвращаться память об учебке, вспомнились самолеты, реле, контакторы, вольтметры, отвертка-крестик, паяльник... Подразделение обогнуло здание с левой стороны и оказалось перед полуоткрытыми огромными алюминиевыми воротами ангара.

- Стой! Раз, два! - скомандовал перед воротами старшина. - По рабочим местам - разойдись!

Все пошли в ангар, один Виноградов замешкался, спросил у старшины:

- А мне куда?

- К начальнику ТЭЧ.

- А кто он?

- Полковник Фицджеральд.

Виноградов пошел в ангар. В воротах на него приятно дунуло горячим воздухом из щели ветродуя. В ангаре был полумрак. Стояли какие-то расстыкованные самолеты: плоскости в одном месте, двигатели в другом, колпаки кабин откинута, тут и там - кресла-катапульты. Справа по стене шел ряд дверей, в которых исчезали солдаты. На дверях таблички типа "Концепция сонета", или "Перекрестная рифма". Одним словом, черт знает что! На встречу попался светловолосый капитан.

- Разрешите обратиться, товарищ капитан?

- Вольно, - добродушно сказал капитан. - У нас тут не принято солдафонить...

Виноградов от недопонимания этой реплики пожал плечами.

- Да я из ШМАСа, новенький, - пояснил он.

- Из ШМАСа? Не слышал?

Ну, опять снова-здорово, подумал Виноградов, но все же объяснил:

- То ж школа младших авиационных специалистов, из Украины! - памятуя о самостоятельности этой страны, вставил Виноградов "из" вместо "с".

- Не слышал... Ну ладно, не волнуйтесь, - сказал капитан. - Сам я из Ольстера, слышал?

- Не слышал...

- У нас тут, - универсальность, вселенская постановка проблем, свойственная "Цветам зла", понимаете? - сказал капитан по-английски, с ирландским акцентом, но Виноградов, разумеется, все понял.

Однако пропустил мимо ушей, спросил, где можно найти полковника Фицджеральда. Капитан указал на застекленное полутемное помещение вдали слева. Козырнув по привычке, Виноградов направился туда. В застекленном помещении нашел еще дверь, открыл, там было светло. За столом сидел полковник и рассматривал какую-то огромную карту звездного неба.

- Разрешите обратиться? - спросил Виноградов.

Полковник поднял на него усталые глаза, видно, уж очень перетруился над этой картой, и разрешил.

- Для дальнейшего прохождения службы рядовой Виноградов прибыл!

- Вольно! - сказал полковник, задумался и не спеша произнес:

Упорен в нас порок, раскаянье - притворно;
За все сторицею себе воздать спеша,
Опять путем греха, смеясь, скользит душа,
Слезами трусости омыв свой путь позорный...

Только сейчас Виноградов заметил, что один глаз у полковника был как бы разрезан: шрам на веке и на самом глазном яблоке. Полковник перехватил взгляд, сказал:

- 23-го февраля выпили хорошо. Шел домой, деревья какие-то, ветки бьют по лицу, потом из темноты на меня пошел штaketник, и прямо в глаз... Лежал, в госпитале. Глаз починили, но видит неважно, как через полиэтиленовый пакет...

- Вы ж тут не пьете! - вырвалось у Виноградова.

- Конечно, не пьем... Но выпиваем. Начиная со звания полковника, когда заслонку снимают.

Виноградов понял, что ему стать полковником не грозит, поэтому сник. Помолчав немного, полковник сказал:

- Ну, что ж, будете обслуживать "Красоту"... Идите к майору Лондону в группу вдохновений... Седьмая комната.

- Слушаюсь! - отчеканил Виноградов, повернулся кругом и вышел.

В седьмой комнате было жарко от самодельного обогревателя: на короткую асбестовую трубу была намотана толстая спираль, от напряжения светившаяся белым светом. У верстака сидела молодая, симпатичная женщина в звании сержанта, с тремя лычками. Густые темные волосы были собраны в пучок. Виноградов смутился. Он стоял в дверях и переступал, как конь, с ноги на ноги. Наконец женщина подняла на него глаза и улыбнулась. Виноградов сразу же влюбился. Эта была гораздо приятнее, чем та грудастая бесстыдница, которую выделили ему для отправления физиологических потребностей.

- Меня направили... к вам... к майору Лондону, - с волнением сказал Виноградов.

- А Лондон сегодня в полетах, - сказала сержант. - Полетел рассматривать город Лондон.

Виноградов не обратил внимания на это пояснение и, "как бывалыча", сказал:

- Девушка, давайте познакомимся!

Он подошел к ней и положил руку на плечо. Она прикрыла глаза. Он стал смелее, погладил ее по шее и, наклонившись, прикоснулся к ее горячей щеке.

- Отвали! - крикнула вдруг она и так стукнула его локтем в переносицу, что из глаз посыпались искры.

А она, сменив моментально тон, как ни в чем не бывало, рассмеялась, сказала:

- Вы закреплены за 23-й, а я закреплена за 736-м... А вы вчера хорошо пели на сцене. Я заслушалась. Что это за песня "Зелеными просторами"?

- Это я в детстве по радио слышал и запомнил, - потирая нос, сказал Виноградов. - Сам я с-под Рязани...

- С-под Рязани? Не слыжала...

- Ладно, не беда. Вот женюсь на вас и увезу с собой. Тогда увидите! А вы откуда?

- Я местная. Надя меня зовут.

- Энгельгардтовская? - мрачновато поинтересовался Виноградов.

- Да.

- С заслонкой?

- Конечно!

В руках у Нади была маленькая отвертка, и она что-то отвинчивала в черном приборе. Этих приборов было на верстаке видимо-невидимо!

- Что это? - спросил Виноградов, взяв одну коробочку.

- Реле вдохновения, - сказала Надя.

- И что же оно делает?

- Управляет двигателем подъема вдохновения.

- А мне что делать? - спросил Виноградов.

- Регламентные работы на помпе "Красоты".

- Как это?

- Вот берите чемоданчик и - вперед, к бодлероидам, на улицу! - вроде как приказала Надя и, склонившись под верстак, достала фибровый чемоданчик.

Виноградов поднял его, раскрыл, обнаружил никелированные инструменты: пассатижи, щипчики, паяльник, отвертки, вольтметр, запчасти и прочее.

- А свидание вам можно назначить? - спросил Виноградов, собираясь на улицу.

- Никак нет. Размножение у нас строго регламентировано. Да вы и не сможете овладеть мною, заслонка не позволит...

- А сломать ее нельзя?

- Бесплезно... Да вы и сами все поймете... Я же не "я", и вы не "вы"... Мы - биороботы, способные к самовоспроизводству...

- А как же быть с любовью?

- А что это такое? Не слыхала...

Виноградов объяснять не стал, потому что сам толком не знал, что это такое. Молча пошел с чемоданчиком отыскивать бодлероиды на улице. По пути спрашивал, где тут бодлероиды по части "Красоты". Все кивали куда-то за бугор. На бугор, который располагался метрах в ста от ворот ангара, шла асфальтовая тропинка. Поднявшись на этот бугор, Виноградов замер от восхищения перед открывшимся простором. То была широкая и, казалось, бесконечная взлетно-посадочная полоса, выложенная огромными шестигранными бетонными плитами. По полосе ползали оранжевые машины с красными мигалками, с вращающимися уборочными щетками. На круглых площадках, прикрепленных к полосе, стояли какие-то серебристые волчки типа самолетов, только без крыльев, с красными бортовыми номерами. У первого волчка Виноградов против воли воскликнул:

- Е-мое, шагнул же разум человека! А ведь в ШМАСе о новом вооружении ни слова не говорили, паразиты! Кругом секреты!

С чего было начинать, Виноградов не знал. Огляделся, увидел сбоку на площадке щит какой-то. Подошел. Там надпись: "Зона "Красоты" 23-го номера".

- Это ж моя зона! - радостно воскликнул Виноградов и нажал первую кнопку, откинув с нее красный колпачок.

Сразу на площадке стало тепло. Виноградов снял свою дубленку, повесил у пульта на крючок, надел белый халат, висевший там же. Из щели пульта вылезла инструкция: "После слов "В лазури царствую" - вскройте люк под лазерным объективом". Виноградов с инструкцией прошел под волчок, размером с легковую машину, на четырех шасси, как табурет. Увидел объектив, возле - люк с четырьмя крестообразными насечками на винтах. Достал отвертку-крестик, вывинтил эти винты, открыл люк. Справа нажал кнопку, опустилась лестница, встал на нее, снова нажал кнопку, поехал в кабину. Красота, да и только! В уютной кабине - мягкое вертящееся кресло, тепло, обзор через прозрачный колпак на все четыре стороны. Снял две заглушки со щитка приборов, просунул в отверстия руки и на ощупь вывинтил из помпы пару щеток, медно-графитных, измерил штангенциркулем. Сте-

сались, паразитки! Взял из чемоданчика новые, проверил зазор, попробовал на сжатие пружинки и поставил их на положенное место. Откинул красный колпак кнопки холостого вдохновения, нажал. Все вокруг посветлело, как будто только что выпил сто грамм водки и закусил соленым рыжиком. Запахло черемухой, вишневый сад расцвел, соловьи запели, солнышко засияло, речка голубая показалась вдали, бережок, лодочка, журавли к родным местам вернулись, пчелы жужжат, трава вымахала в рост человека: васильки там, ромашки, ну и рожь, конечно, так и колосится, так и колосится! На щитке зажглась надпись: "Вторая строфа". Рот Виноградова сам собой проговорил:

В лазури царствую я сфинксом непостижным;
Как лебедь, я бела, и холодна, как снег,
Презрев движение, люблюсь неподвижным;
Вовек я не смеюсь, не плачу я вовек

Надпись погасла. Виноградов собрал инструмент, спустился на землю, задраил люк и подошел к следующему бодлероиду. Оказалось, что за ним закрепили их двадцать три штуки. Когда шел к седьмому волчку, увидел в дальней части взлетки серебристый сгусток света с куполом, который легко и быстро оторвался от шестигранных плит и пошел в небо. За ним - второй, третий, четвертый. В наушниках прозвучало: "Вторая эскадрилья пошла!".

На обед строились перед воротами ангара. И когда старшина скомандовал: "Запевай!", Виноградов прежде всех вылез со своим оперным голосом:

У нас в подразделении
Отличный есть солдат...

- Отставить! - крикнул старшина и сам напомнил, что нужно петь:

В объятиях любви продажной
Жизнь беззаботна и легка,
А я - безумный и отважный -
Вновь обнимаю облака.

У столовой попалась встречная колонна дошкольников из детского сада. Маршировали карапузы ничуть не хуже взрослых и все были в черной форме с красными погончиками, как суворовцы. Маленькие сапожки у всех были до зеркального блеска начищены. Детсадовцы пели:

Авеля дети, дремлите, питайтесь,
Бог на вас смотрит с улыбкой во взоре.

Каина дети, в грязи пресмыкайтесь,
И умирайте в несчастьи, в позоре!

Виноградов не мог оторвать взгляда от детей и глубоко задумался. Машинально сдал прапорщику дубленку, прошел в залитый светом зал к своему столу, сел, сунул край салфетки за ворот гимнастерки. Оркестр на сцене играл что-то до-мажорное. Суп из осетрины Виноградов съел без всякого аппетита. Все думал о марширующих детях. Жалко ему было детей. Они-то тут при чем? Кровавый ростбиф с хрустящим картофелем ел так же без особого вдохновения. Задумчиво намазывал белый хлеб сливочным маслом и зернистой икрой. Изредка отпивал из фужера боржомом.

- Чего загрустил? - спросил Рафаил.

- Детей жалко, - сказал Виноградов.

- Чего их жалеть! - воскликнул Рафаил. - Это ж - биороботы.

Плоды совокуплений с избранницами, сплошная физиология, без поэзии.

- Они же Бодлера поют?!

- Магнитофон тоже поет... Их в летчики готовят. Потому что летают только местные.

- Других летчиков, что ли, нет по стране?

Рафаил как-то странно улыбнулся и прошептал:

- Тут стран других нет.

Старшина закричал от дверей:

- ТЭЧ! Выходи строиться!

Виноградову строиться не хотелось. Надоело. Целый день - стройся, расходись, стройся, расходись! Черт знает что! Конфуций говорил: изучай самого себя. А чего я себя изучать буду, если я такой же биоробот, как эти малыши! Сказано же в уставе - оплодотворенный мужским семенем в женском лоне есть биоробот! Вот тебе и так, и восьмое марта и двадцать третье февраля!

Построились. С левой ноги по команде старшины тронулись, запели Бодлера, но пошли не в столовую, а на взлетно-посадочную полосу. Виноградов по пути спросил у Рафаила:

- А кто же тогда люди, если все мы биороботы?!

- Да вот, хоть Бодлер. Книгу-то его никто в лоне не оплодотворял.

- Значит, все писатели - люди?

- Не все. Только те, которые переживают свое время, то есть биологическую сущность...

Остановились у застекленной высокой башни командного пункта. Подошли другие подразделения. Застыли по команде "смирно". Оркестр ударил "Прощание славянки". И вдруг с неба посыпались крылатые то ли биороботы, то ли люди, черт их знает, все у Виноградова перепуталось в похмельной голове.

- Это кто? - испуганно спросил шепотом Виноградов у Рафаила.

- Не бойсь, - успокоил Рафаил обыденным голосом. - Это ангелы.

Ангелы приземлились, выстроились в длинную колонну, у всех на плечах были погоны младших лейтенантов, крылья сложили за спиной, как рюкзаки, по пятьдесят ангелов в шеренге, и так выразительно промаршировали по взлетке, что Виноградову показалось, что это идет по Красной площади сводная колонна военно-политической академии имени Ленина. А в это время на трибуне появился лысый с ободком белых волос пузатый человек. На плечах погоны, да такие ослепительные, что звания не разобрать, но, наверняка, не ниже генералиссимуса.

- Это кто? - отказываясь понимать происходящее, спросил Виноградов.

- Да этот, с Ерусалима, Бог, - равнодушно сказал Рафаил. - Щас доклад на пол-Библии зашпандорит...

- Как поп в церкви? - спросил Виноградов.

Но Рафаил не успел ответить, поскольку сам Бог с трибуны, вроде как мавзолея, обратился к Виноградову:

- Виноградов, вам особое приглашение требуется?!

Виноградов беспокожно заворочался и почувствовал, что у него болит бок. Отлежал, наверное. Сначала он подумал, что на него летит сияющий ангел, но, присмотревшись, обнаружил перед собой плафон голубоватого цвета. Голова опять загудела. Он вспомнил "Цветы зла", но голова и не думала проходить.

- Виноградов, вам сколько раз можно повторять! - вновь донесся голос Бога, но уже не с трибуны, а откуда-то снизу.

Виноградов завибрировал от страха. Он лежал в шинели на верхней полке. Под голову был положен бушлат. Бросив мутный взгляд вниз, Виноградов увидел за столиком незнакомых людей, улыбнулся и болезненно закрыл глаза, точно ему все это снилось. Потом снова открыл и свесил голову с полки.

- Где я? - задал идиотский вопрос.

- В поезде, - усмехнулся бородатый человек. - Спускайтесь. Самочувствие поправите. Это ж надо так напиться! Как вас только патруль не арестовал! Хорошо, мы вмешались и уговорили отпустить.

Эта новость побежала из головы по всему телу холодными мурашками, и Виноградов поежился. Пошевелив ногами в тяжелых кирзовых сапогах, провел ладонью по колючей щеке - два дня не брился, собрался с силами, сердито выдохнул из груди весь воздух, поднялся, ударившись головой о близкий потолок, и кое-как слез с верхней полки. Он был какой-то померкший. Все качалось перед глазами. В сумраке купе плавали зеленые круги. Но они тут же пропали, как только среди бутылок и закусок Виноградов увидел книжку Бодлера "Цветы зла".

- Бодлер, Бодлер! - заорал в ужасе Виноградов, пятясь к двери.

- Ну и что? - удивился второй пассажир, гладко бритый молодой человек с сильными залысинами. - Чего ты испугался? Садись, выпей.

Виноградов ощущал, да не просто ощущал, а видел, как у него разрасталась голова, с треском ломая череп, чтобы остановить этот процесс, Виноградов сдавил голову руками и застонал. С этим стоном сел поближе к столику. Бородатый, пассажир тут же налил ему в тонкий стакан коньяку. Виноградов привычно, не размышляя, выпил. Понюхал дольку лимона и застыл, чтобы не расплескать выпитое.

- Где мы? - чуть более уверенно спросил Виноградов минут через пять.

- К Талашкино подъезжаем, - сказал лысоватый.

- Тебя не Рафаилом зовут? - вдруг спросил Виноградов.

- Точно так, усмехнулся Рафаил.

- А тебя? - спросил Виноградов у бородатого.

- Ивар.

Виноградов с некоторым успокоением сказал:

- Понятно. "Цветы зла". Бодлер. Читали?

- Читали.
- О биороботах говорили?
- Говорили...
- Все понятно. Наливай.
- Бодлер - великолепный поэт. Полет на одном вдохновении!
- Это я знаю, - вполне определенно сказал Виноградов и выпил налитое.
- Что же ты пьешь-то так! - с горечью в голосе воскликнул Рафаил.
- Я больше не буду, - сказал Виноградов, грустнея, и спросил, кивая на книжку: - Значит, "Цветы зла" на самом деле существуют?
- Они-то, вне всякого сомнения, существуют. А существуешь ли ты?
- Существую! - твердо сказал Виноградов, ощущая прилив бодрости.
- Ну и мы существуем, - сказал Ивар. - Едем в Ригу на научную конференцию по Бодлеру. Мы - филологи. Изучаем творчество Бодлера.
- Он, когда жил, был биороботом, а потом книгой превратился в человека, - пояснил Виноградов.
- Пассажиры переглянулись.
- Доклады свои зачитаем, - сказал Рафаил. - Мало еще изучен Бодлер.
- То-то мне все Бодлер снился. Даже памятник ему в гарнизоне поставили!
- Рафаил усмехнулся и сказал:
- Цветы зла - это люди, так сказать, во всей полноте интертекстуального звучания. Ты понимаешь, Виноградов, что ты - цветок зла?
- Понимаю, господа биороботы! Наливайте!
- Пассажиры переглянулись. Но налили. Настроение у Виноградова улучшилось. Всякая загадочность постепенно исчезала, как бы холодно говоря, что в жизни возможно все, что угодно. И это все - становилось ясным, понятным, объяснимым. Но почему-то Виноградов вдруг проскандировал ни с того ни с сего:

Безумье, скарედность и алчность и разврат
И душу нам гнетут, и тело разъедают;
Нас угрызения, как пытка, услаждают,
Как насекомое, и жалят и язвят.

Ученые с заметным интересом взгляделись в солдата.

- Неужели ты это во сне запомнил? - спросил Рафаил.

- Вот это память! - воскликнул Ивар. - Я вроде бы негромко читал, а, смотри, уловил и запомнил. Это говорит о том, что у тебя определенный талант. Дорожи этим талантом. Хотя талант - рок. Какой-то опьяняющий рок.

- Да ладно, - махнул рукой Виноградов. - Чего там запоминать-то! Бывало, в детстве, радио послушаю и сразу - запоминаю. И без предупреждения громко запел:

Зелеными просторами...

Его несколько грубоватый, но все же прекрасный природный голос поразил ученых, которые от восхищения смотрели певцу прямо в рот. В общем, хорошо было. И хорошим был перестук колес поезда. И хорошим было звездное небо за окном. Закончив песню, Виноградов осторожно взял со столика книжку Бодлера, раскрыл и уставился на портрет.

- Вот он какой! - через некоторое время воскликнул Виноградов.

- Такой, - сказал Рафаил. - Сумел дать лик своей эпохи и самого себя в этой эпохе, художественно и обобщенно полноценно, полнозвучно. Сумел - значит, классик!

- Понимаю, - кивнул Виноградов.

- Молодец! - похвалил Ивар. - Как говорили классики, мы не по думанью любим, а по любви думаем, даже и в мысли - сердце первое!

- А Бодлер этот с Франции? - спросил Виноградов.

- Из Франции, - поправил Рафаил.

Это "из" для Виноградова было непривычно, как "из" Украины. Но он тут же произнес как полагается:

- Вы говорили, что там будут ребята из Америки, из Китая, а генерал - прямо из Новой Зеландии? Да еще ангелы маршируют строем и Бог с Ерусалима на трибуне?

Ученые переглянулись.

- Где?

- На Энгельгардтовской!

- Да нет! Это тебе приснилось. Мы болтали, конечно, и о божественном, и об ангелах, и о конференции. Действительно, на

ней будут представители из Америки, из Франции, из Польши, из Китая, из Новой Зеландии...

- Он был несчастным? - вдруг спросил Виноградов.

- Как ты все схватываешь! - удивился Рафаил. - Конечно, Бодлер был глубоко несчастен. И это наложило на него свою печать. Отсюда его раздражительность, его пьянство, его вызывающее поведение, его озлобленность - в творчестве и в жизни.

- Такой же, как я, - спокойно резюмировал Виноградов.

- Сколько тебе еще служить? - спросил Ивар.

- Два года.

- Не теряй времени зря, - сказал Рафаил. - Занимайся самообразованием. Хочешь, мы тебе список книг набросаем? Ведь должна же быть в части библиотека?!

- Это обязательно, - согласился Виноградов. - В учебке эти чудики... москвичи, все туда ходили... Вы Бодлера обязательно запишите! Это ж надо - летать на одной силе поэтической мысли!

- И ты - полетишь! - рассмеялся Ивар и принялся на листочке писать имена и названия.

Виноградов пребывал как бы в двух измерениях: он еще всею душой был там, на странном Бодлере, и здесь - тоже не в очень привычном обществе. Какой, оказывается, странной может быть жизнь во сне, в воображении. Странной и прекрасной! И под обложкой книжки - жизнь, иная, загадочная и вдохновенная. И достаточно прочитать книгу, погрузиться в нее, даже раствориться в ней, чтобы почувствовать, что твоя собственная жизнь стала полнее, как будто ты прожил еще одну жизнь. А если прочитать десять книг? То, значит, проживешь еще десять жизней. А сколько книг существует в мире? Страшно подумать. Собственной жизни не хватит, чтобы и малую часть прочитать. Виноградов представил огромную библиотеку, которая суть бесчисленные другие жизни, и поразился самому себе, что прежде никогда не задумывался над этим.

- Читать книги - это жить другие жизни? - спросил он для подтверждения собственных догадок. Ивар поднял на него удивленные глаза.

- Конечно, - сказал он. - В книгах - бессмертная жизнь, со своими законами и своею реальностью. Слова, произносимые нами, умирают, не будучи записанными. А будучи зафиксирован-

ными с определенным талантом, обретают единственную реальность, бессмертную реальность. Ты же не знаешь, кто были твоими предками, допустим, в десятом веке...

- В десятом?! - восхитился Виноградов.

- Именно. Ведь, посуди, чтобы ты родился, цепь твоих предков не была прервана. Ты как лампочка в елочной гирлянде, вроде как сам по себе горишь, но на самом деле - в цепи человечества. Но все - дело в том, что память гаснет, человек гаснет, хотя и другой рождается, но незаписанное - исчезает. Поэтому не реальная жизнь составляет историю, а книжная, составленная из слов. И эта книжная жизнь не похожа на обыденную, книжная - богаче, безграничнее, величественнее. И если жизнь есть твое представление, то оно в соприкосновении с книгами - уходит в бесконечное бессмертие... В общем, там, где включаются слова, там начинается совсем другая реальность...

- Я в ней побывал, - вздохнув, сказал Виноградов.

В купе заглянула сонная, помятая проводница, сказала:

- Солдат, давай на выход! К твоей Генгардовой подъезжаем!

Это перевернутое название кольнуло неприятно Виноградова. Он поправил:

- Энгельгардтовская!

Проводница равнодушно зевнула и молча ушла.

- А ты знаешь, как можно перевести это название? - спросил Рафаил.

- Как?

- Ангельский сад.

- Это вот почему ангелы снились...

Виноградов взял рюкзак и перевязанный веревкой грязный бушлат (в нем он плясал на рынке в Брянске и упал в лужу), грустно вздохнул, попрощался, даже расцеловался с учеными, и пошел в тамбур. В непонятной тоске, разъедающей душу, он прижался лбом к стеклу и попытался что-нибудь разглядеть во тьме. Но ничего не видел, кроме звезд. И одна вдруг заскользила из левого угла и плавно пошла в правый. Проскользнула мысль, что он может оказаться дома гораздо раньше срока.

И - всё.

Поезд остановился. Проводница открыла дверь и отбросила заглушку лестницы, заскрипевшую, как несмазанная в деревенные телеги. Виноградов подавленно спустился на безлюдную, плохо

освещенную платформу: повесишься тут - снять некому будет. Ни тебе ковровых дорожек, ни пальм в кадках, ни офицера с "Цветами зла". Станционная бабка в сером платке (зачем они только эти платки носят, ведь лица и так у них серые, как асфальт!) указала дорогу через пути. Обследовать эти пути Виноградов не стал: и так было очевидно, что они были без тупиков, что вели от полустанка к полустанку, от городка к городку, от одной войсковой части к другой, и что по ним идут поезда, и что в них едут люди в погонах. И что идет снег и земля пуста. Зато синие ворота со звездами были на месте. На КПП дежурил ефрейтор с грубым мужицким лицом, в замызганной шинели, от которой пахло мокрой овчиной. Посмотрел документы Виноградова, потом спросил:

- Поддать ничего нету?

- Не, все выпил дорогой, - сказал Виноградов с тоской во взоре.

- Ладно, солобон, иди в штаб гвардейского полка.

Виноградов, не обидевшись, пошел. Слабо светили фонари. Справа и слева показались двухэтажные дома, больше похожие на бараки. Думал ли он о чем-нибудь, пока шел? Синие его глаза в красных веках не смотрели теперь ни на что внимательно, ни на чем подолгу не останавливались. Вошел в тот подъезд, в котором, как и говорил ефрейтор на КПП, стоял на посту у знамени (само знамя было за стеклом, как на витрине) часовой, с узкими глазами, как китаец, в парадном мундире, с карабином у ноги. Направо и налево шел полутемный коридор. Виноградов отдал честь часовому. Тот кивнул налево. Виноградов пошел на кивок, открыл обшарпанную дверь. Тут сидели дежурные радисты, пили из железных кружек что-то. Он спросил у них, где найти дежурного. Подсказали: дверь напротив. Дежурный, капитан с рыхловатым бабьим лицом, оглядел Виноградова, вздохнул, но ничего не сказал по поводу нетрезвости. Вызвал посыльного и приказал отвести Виноградова в ТЭЧ.

- Теоретическо-эстетическая часть? - попытался развеселить капитана Виноградов.

- Чего? - не понял капитан.

Повторять Виноградов не стал. Когда шли по темной аллее, посыльный спросил:

- Сам-то откуда?

Виноградов сначала хотел сказать, что "с-под Рязани", но потом небрежно бросил:

- Из-под Бодлера.
- Не слышал, - сказал посыльный.
- Еще услышишь! - себе на уме сказал Виноградов.

Казарма оказалась самой обычной: дощатый пол, надраенный красной мастикой, стены, выкрашенные в цвет детского поноса (может быть, он называется "хаки", но Виноградов подумал о детском поносе), койки с серыми одеялами, штук сто. В другой стороне: за решеткой - оружейная комната с карабинами, за - застекленной двухстворчатой дверью - Ленинская комната, у комнаты - самодельное объявление: "В субботу в библиотеке конференция по роману С.Бабаевского "Кавалер Золотой Звезды". Виноградов обрадовался при упоминании библиотеки. Далее была курилка, где стояли банки с черным жиром для смазки сапог, и сортир с чугунными нужниками на десять посадочных мест, с разъедающим глаза запахом хлорки. Далее - в торце у окна, отгороженная барьером - бытовая комната, с рядом небольших зеркал, с электрическими розетками (это у кого из солдат есть электрические бритвы и для парикмахерской машинки). Виноградов пришел в тот момент, когда солдаты готовились к отбою: бродили в галифе и в нательных рубашках. Старшины не было. Его замещал сержант срочной службы с изъеденным оспой лицом и африканскими кудряшками Эрик Гофман, как он сам представился.

- Замена! - заорал он, как только Виноградов доложил ему о прибытии.

Солдаты сгрудились вокруг Виноградова, заинтересованно разглядывали его, как необходимый материал (как цемент или кирпич на стройке), обеспечивающий демобилизацию Эрику Гофману.

- Скоро и нам замена прибует, - мечтательно вздыхали они.

Виноградов сначала подумал, что сон в лице Эрика да еще Гофмана продолжается, и даже с улыбкой спросил:

- Вы с Германии, что ли, товарищ сержант?

Воткнул все-таки по забывчивости это колхозное "с", но затем быстро поправился:

- Из Германии?
- Да нет, Старик, что ты! Я с Одессы!
- А-а, - неопределенно отреагировал Виноградов.
- А ты откуда?

- Из-под, - медленно произнес Виноградов, - Рязани.

Эрик опять заорал на всю казарму:

- Шматриков! Иди сюда! Земляк прибыл!

Из толпы вышел какой-то маленький, коренастый, в очках в тонкой металлической оправе на простецком лице, Шматриков.

- Здорово, земля! - воскликнул этот Шматриков и принялся обниматься с Виноградовым.

- Ты откуда? - спросил он.

- Из деревни Епихино, - сказал Виноградов.

- А я из Скопина! - сказал Шматриков так, как будто был с Бодлера.

- Слышал, - сказал Виноградов.

Гофман едва отодрал Шматрикова от Виноградова, сказал:

- Дайте моей замене отдохнуть! Устал ведь с дороги человек!

Глаза сержанта Гофмана были полны восторга, а в голове пульсировала одна и та же сладостная мысль - через два дня домой, в Одессу, дембель! Дождался своего спасителя! Виноградов попытался охладить пыл Гофмана фразой:

- А вы слышали, что Украина отделилась от СССР?

Но никто, разумеется, всерьез это не воспринял. Виноградову показали свободную койку; место в общем шкафу для бушлатов-шинелей; в фанерной тумбочке, которая стояла между койками, место на верхней полке, нижнее отделение принадлежало соседу. Виноградов разделся до рубахи, разулся, долго разглядывал и нюхал портянки, затем надел свои шлепанцы, сшитые из кирзы, пошел со всеми в курилку. Закурил. Все тоже закурили и с поблескивающими глазами ждали рассказов Виноградова. Мол, как добрался, и всякое разное по ходу дела? Виноградов, поднимая на расспрашивающих воспаленные синие глаза, кое-что рассказывал, особенно отмечая, как здорово поддал в Брянске и как чуть не забрал его патруль, но ученые отбили.

- Какие ученые?

- Бодлероведы, - как о само собой разумеющемся сказал Виноградов.

- Метеориты, что ли, изучают? - спросил Гофман.

- Во-во, - не стал разубеждать Виноградов. - Вроде того. На одной силе поэтической мысли летают!

От тумбочки дневального донесся зычный голос:

- Управление, отбой!

Виноградов вскочил с лавки.

- Не бери в голову, - сказал Гофман. - Эти пажоны с Управления дисциплинку свою показывают!

- Из, - подчеркнул, - какого Управления? - спросил Виноградов, не поняв.

- У нас казарма - на два подразделения, - пояснил Гофман. - Справа от входа - ТЭЧ, слева - Управление.

Управленцы (писари, штабисты, дешифровщики, радисты) погасили свет на своей половине, слышались их недовольные голоса:

- Тэчеры, гасите свет!

Пошла, зевая, потягиваясь, почесывая бока, и ТЭЧ укладываться. Виноградов только донес голову до подушки - сразу заснул. Причем, ничего ему в эту ночь не снилось. Утром, в пять пятьдесят, при команде "подъем", военнослужащие поднимались без суеты, не как в учебке, лишних движений не совершали, все делали как-то по-домашнему, словно никуда не спешили, никуда не опаздывали. Виноградов умывался. Рядом - иностранная речь.

- Вы откуда? - удивленно спросил Виноградов.

- С Эстонии, - сказал рыжий верзила.

- Из Эстонии, - поправил немного смущенно, будто сам над собой посмеиваясь, Виноградов.

"Иностранцы" переглянулись и молча отошли в сторонку. Виноградов чистил сапоги. Опять рядом - иностранная речь, восточная какая-то.

- Вы откуда?

- С Таджикистана.

- Из Таджикистана, - поправил Виноградов, оглядывая ребят с задумчивым любопытством.

- Ну да, - сказал крепыш с раскосыми глазами. - С Душанбе.

Виноградов брлся в бытовой комнате. Рядом опять - иностранная речь.

- Вы откуда, ребята?

- С Латвии.

- Из Латвии, - поправил Виноградов.

Латыши на всякий случай отошли в сторонку. Появился старшина: ноги колесом, как у кавалериста, нос картошкой, лицо блином, в шапке, офицерской, каракулевой.

- ТЭЧ! Становись! - крикнул он и, подумав, добавил: - В головных уборах.

В две шеренги выстроились. Виноградов, прикинув свой рост, встал третьим во вторую шеренгу. За спиной старшины на стене он увидел щит с моральным кодексом строителя коммунизма, который вчера не заметил. Старшина начал переключку:

- Абельсон?

- Я!

- Блезенблаттер?

- Я!

- Вайнштейн?

- Я!

- Гофман?

- Я! - крикнул Эрик.

- Друнискайтенис?

- Я!

- Енбергалиев?

- Я?

- Жупенко?

- Я!

- Зуппе?

- Я!

- Игнатов?

- Я!

- Крупп?

- Я!

- Керимов?

- Я!

- Козлов?

- Я!

- Лиепиньш?

- Я!

- Мормышкин?

Тишина.

- Где Мормышкин?

От тумбочки дневального донеслось:

- В наряде!

- Зубов?

Тот же голос дневального:

- На губе!

Старшина вставил, отвлекаясь от списка:

- Норму не знает, пьет, как этот... Когда речь дошла до Виноградова, старшина приказал ему сделать два шага вперед, представил подразделению, а дневальному приказал сбегать в штаб и поставить Виноградова на довольствие, потом, дочитав, список личного состава, сказал, чтобы выходили строиться на улицу, в бушлатах. Виноградова же приостановил, завел в оружейную комнату и закрепил за ним карабин СКС № 36795, боевой, незаряженный. Затем Виноградов схватил свой бушлат, а он весь в каких-то ржавых пятнах.

- Где это вы, рядовой Виноградов, унавозились? - спросил старшина.

- В Брянске, товарищ старшина! - доложил Виноградов.

- Хорош был?

- Так точно, товарищ старшина!

- Вот это я люблю, - усмехнулся старшина. - Правду я люблю!

Зайди вечерком в каптерку, - и подмигнул.

На улице построились в колонну по три. Старшина стоял у беседки, засыпанной снегом, командовал:

- Равняйся! Смирно! Ша-агом а-арш! Запевай, ВВС!

Кто-то звонким тенором повел:

Там, где пехота не пройдет,
Где бронепоезд не промчится,
Тяжелый танк не проползет -
Там пролетит стальная птица...

Подразделение поддержало:

Пропеллер, громче песню пой...

В столовой стоял полумрак. Длинные столы, покрытые выцветшей клеенкой. Пахнет вымытым полом и селедкой. Железные миски. Котел - на центр стола. Виноградову, как самому молодому, поручили "разводящую", по-простому - черпак. Накидал всем поровну пшенки и по куску жирной селедки. Налил всем по железным кружкам чаю из огромного алюминиевого чайника. Сам взял алюминиевую ложку с перекрученным черенком...

- ТЭЧ! Выходи строиться!
Надели бушлаты, подпоясались. Построились.
- Равняйся! Смирно! Ша-агом а-арш! Запевай!
Тот же тенорок начал:

Мы рождены, чтоб сказку сделать былью...

Между казармами вышли на шоссе. Слева потянулась железнодорожная насыпь. Платформа. На ней - какие-то контейнеры. За платформой - высокая круглая кирпичная башня, наподобие водонапорной. Над башней - стая ворон. Шоссе уходило влево. Казармы, уменьшаясь, отдалялись вправо. Подразделение обогнал "козел". Мелькнуло заспанное лицо майора. Впереди показался авиационный ангар. Солдаты заметно уменьшались по мере приближения к нему. Остановились перед приоткрытыми воротами.

- Стой! Раз, два! - скомандовал старшина. - По рабочим местам - разойдись!

На площадке перед ангаром стояли самолеты с откинутыми колпаками кабин. С горки на площадку ехал, рыча как трактор, огромный тягач с красной кабиной, тащивший на регламентные работы очередной самолет. А ангаре стоял полумрак. Лишь в бомболюке расстыкованного самолета ярко горела переноска и луч пятном лежал под ним на цементном полу. С Эриком Гофманом Виноградов зашел в отдел электрооборудования. На стенах - наглядная агитация. На полу - самодельный обогреватель: на асбестовой трубе - раскаленная толстая спираль. За верстаками сидели механики в комбинезонах. И среди них - женщина, крупная, во вкусе Виноградова. Одному механику Эрик доложил:

- Товарищ капитан, вот замену привел...

- Ну что ж, (непечатное), Эрик, давай, иди, (непечатное), в штаб, оформляйся, - сказал капитан и обратился к новичку: - А тебя, (непечатное), как зовут?

- Рядовой Виноградов! - отчеканил тот, не сводя глаз с женщины.

- Это (непечатное), понятно. У нас тут, (непечатное), не принято солдафонить. Вот, (непечатное), что, (непечатное), Виноградов... Бери чемодан, (непечатное), - Эрик тут же выдвинул из-под верстака свой фибровый чемодан с инструментами и передал Ви-

ноградову, а капитан продолжил: - И давай, (непечатное), побыстрому и "23-му", (непечатное)... Смени щетки, (непечатное), на помпе подкачки и замени, (непечатное), в двигателях реле запуска... Чтoб управился за полчаса, (непечатное)! Потом, (непечатное), покaтим на взлетку, (непечатное) В час дня, (непечатное), ему в полеты, (непечатное)... Понял, (непечатное)?

- Так точно! - выкрикнул Виноградов, поражаясь частоте всяких разных выражений капитана.

- Слушай, (непечатное), перестань тут так кричать, пугаешь, (непечатное)... Иди, работай, (непечатное)

Виноградов опустил руки и, пожав плечами, пошел на улицу. Эрик проводил до самолета, сказал:

- Душа-человек капитан, хоть и ругается как сапожник.

- Там же женщина, - сказал Виноградов.

- А женщина, что, не человек?

Сначала Виноградов решил заменить реле. Отверткой оттолкнул держатели облицовки двигателей. Потом голову сунул, как в бочку, во входное воздушное отверстие, обхватил руками эту обшивку и попятился с нею, поставив затем ее на землю. Делал, работу и про себя повторял:

Пейзаж чудовищно-картинный
Мой дух сегодня взволновал;
Клянусь, взор смертный ни единый
Доныне он не чаровал!

Появилась мрачная рожа Енбергалиева.

- Давая поскорее, - сказал он. - Давая двигателя мне починять!

- Ты кто? - спросил Виноградов.

- Моя - двигателиста.

Виноградов ловко поменял реле. Перешел в бомболюк. Едва размонтировал помпу, показалась физиономия Лиепиньша.

- Корей, корей тафай... Мне нато пиропатрон пломпировать...

Руки у Виноградова замерзли. Пальцы плохо слушались. А тут этот, иностранец, над душой стоит. С трудом поменял щетки, закрутил заглушки. А за Лиепиньшем уже Жупенко лезет с какой-то дрыной.

- Гарно, гарно, - говорит. - Тикай!

- Чего спешишь? Ты уже отделился от СССР! - бросил ему Виноградов.

Он все свое закончил, пригнулся, вышел из-под самолета. Жупенко, ошарашенный юмором, как он это воспринял, новичка, исчез с железякой под самолетом. Виноградов пошел докладывать капитану.

- Перекури, (непечатное), - сказал капитан, что-то паявший на верстаке.

Механик-сержант Гриша держал это что-то пассатижами. В теплой курилке сидели взрослые механики из других отделов. Сплошь сержанты-сверхсрочники. Виноградов смущенно присел в уголочке на ящике. Один говорит:

- Три часа вчера мочалил свою и так и не кончил...

Другой говорит:

- У дочки в детском саду карантин. Ветрянка.

Виноградов подошел к говорящим.

- Это что... Все делается по уставу Конфуция не так... Там, значит, на сцене - симфонический оркестр человек в полтора года...

- Где?

- Да на Бодлере... Это вам не столовая, это вам - ресторан. На потолке, высоченном; богатыри в кольчугах, русалки там разные... И дают то осетрину, то икру красную, столики на четырех... Я в белой дубленке ходил...

Виноградов не стал дожидаться реакции, и так заметил, что на него стали как-то подозрительно смотреть, бросил окурочек в урну и пошел в отдел. Капитан уже собирал с Гришей самодельный торшер.

- Ну, (непечатное), как? - спросил он у Виноградова, кивая на торшер.

- Красиво, - сказал Виноградов, оглядывая поблескивающие латунные трубки, плексигласовые столик и подставку, широкий абажур из парашютного шелка. - Только когда у голых женщин матовые шары светильников в поднятых руках - то красивее!

- (Непечатное, непечатное, непечатное)! - сказал капитан.

Потом на руках, как телегу, катили самолет, облепив его, как мухи, на взлетку. Бросили под колеса, чтобы не покатылся, специальные башмаки. Капитан залез в кабину. Подъехал ЗИЛ-электрозарядчик. Воткнули тяжелую вилку кабеля в розетку на бор-

ту самолета. Капитан запустил двигатели. Виноградов тут же оглох. Даже бетон под ногами завибрировал. Из сопл двигателей вырвался огонь. Погазовав минут пять, капитан выключил двигатели. Наступила тишина, но свист в ушах продолжался. Виноградов побежал в отдел. Так и есть - женщина-механик была одна.

- А вас я знаю как зовут! - с порога выпалил он.

- Как? - удивилась женщина.

Взгляд ее был неподвижным, как у проснувшегося человека.

- Надя!

Он подошел к ней и положил руку на плечо. Надя молчала, только подбородок ее дрогнул. От нее шло тепло, как от обогревателя. Затем погладил ее шею и, склонившись, вдыхая запах пудры и волос Нади, прижался щекой к ее щеке, но тут же получил удар локтем по носу. Свист в ушах продолжился. Совсем он исчез, когда строились перед воротами ангара на обед.

- Равняйся! Смирно! Ша-агом а-арш! Запевай!

Абельсон затынул:

Путь далек у нас с тобою...

Где-то против водонапорной башни песня кончилась. Виноградов, не глядя на старшину, шагавшего сбоку, затынул:

Мы люди большого полета,
Взрастил нас геройский народ,
Орлиное племя - пилоты,
Хозяева синих высот...

Он пел до самой столовой.

- Хорошо поешь! - похвалил старшина.

Виноградов смущенно опустил глаза. Потом сказал:

- Я другие песни знаю. Бодлера, например.

- Не слышал, - подумав, сказал старшина.

Виноградов привычно орудовал "разводящей", наливал мутный суп из перловки, потом разбрасывал по мискам перловую же кашу с почками, и наконец, разливал по кружкам компот из сухофруктов.

- Становись! Равняйся! Смирно! Ша-агом а-арш! Виноградов?

- Я! - отозвался бодро Виноградов.

- Запевай!

На только ему известный мотив ритмичного марша Виноградов запел:

О смертный! как мечта из камня, я прекрасна!
И грудь моя, что всех погубит чередой,
Сердца художников томит любовью властно,
Подобной веществу, предвечной и немой...

У ворот ангара старшина с недоумением во взоре спросил:

- Что это ты пел?

- "Красоту", - сказал Виноградов.

- Хорошо, - вздохнул старшина. - Но непонятно. Ты пой чего-нибудь поближе к народу...

- Это сначала непонятно, - сказал Виноградов. - Потом - поймете. Ведь, на одной силе поэтической мысли все летает!

- Ну, иди, иди, - неопределенно сказал старшина, пристально глядя на Виноградова, - работай.

Механики занялись другим самолетом на улице перед воротами.

- Чефой ты пель? - спросил Лиепиньш с некоторым испугом.

- "Красоту" Бодлера, - сказал Виноградов. - Я же из спецчастей прибыл, там стран никаких нет, только одна страна, а ребята есть с Америки, с Франции, с Польши, а в роте охраны - с Китая, - вмазывал специально, с удовольствием это "с" Виноградов.

Лиепиньш, побледнев, молча полез под самолет.

- Ну, ты даешь! - только и сказал Жупенко. - Ты кто? Интеллигент, что ли?

- Нет, инопланетянин.

Виноградов менял свои щетки и реле. На него уже почему-то никто не покрикивал, не торопил. Терпеливо ожидали, когда он закончит свои операции. Капитан заметил это, крикнул под самолет:

- Ну что ты, (непечатное), как этот (непечатное), прости господа, (непечатное)!

В пять часов рабочий день закончился. Старшина скомандовал:

- ТЭЧ.

Виноградов поддержал:

- Теоретическо-эстетическая часть!

Да так громко поддержал, что наступило тягостное молчание. Наконец старшина тихонько одернул, искоса глядя на него:

- Становись, становись в строй, Виноградов.

Виноградов встал в строй, чувствуя, что жизнь обманывает всех нас своим мнимым реализмом; только чувствуя это, но не облекая это чувство словами типа "реализм".

- Техническо-эксплуатационная часть, - на всякий случай, глядя на Виноградова, произнес подробно старшина, - становись! Равняйся! Смирно! Ша-агом а-арш!

В казарме было тепло. Виноградов повесил бушлат в шкаф. Хотел зайти в ленинскую комнату, полистать газеты. Старшина отозвал его в сторонку, сказал:

- Кто тебя этому научил, как его?

- Бодлеру?

- Во-во... Бодлеру кто научил?

- Американцы и эти... инопланетяне... Из правого верхнего угла светящиеся сгустки света в левый нижний идут... Бодлеровиды летают. А стран, товарищ старшина, честное слово, там нет! Все в одной части служат: и ребята из Америки, и из Франции, и, как у нас, с Эстонии, с Латвии... И ангелы, - Виноградов оглянулся на всякий случай, - летают, и Бог выступал с трибуны. Оказывается, он настоящий, лысый. На Бодлере живет и по всему небу летает. А чего такого? На одной силе поэтической мысли! Ангелы, между прочим, все с погонами, в чине младших лейтенантов... И у Бога с Ерусалима на плечах погоны! А что вы думали! Там и дети все в форме ходят, как наши суворовцы. Они - биороботы! Да, вот так вот. Правда, я не разглядел, сколько звезд на погонах у Бога с Ерусалима...

Старшина с испугом ухватил Виноградова под руку и повел к себе в каптерку, прикрикнул на каптенармуса Грачева, чтобы тот исчез. Сели под полками с личными вещами солдат (чемоданами и рюкзаками) на топчан из реек. Старшина спросил:

- А почему с Америки-то?

- Да это ж inferнальный полк, товарищ старшина! Командир полка - генерал с Новой Зеландии! - рассмеялся Виноградов.

- Ну-ну, - часто заморгал старшина.

- Он на "джипе" типа нашего "козла" ездил! Они все там сплошь ученые, конференции созывают! А, слышали, что Украина от СССР отделилась?

Тут старшина вздрогнул, совсем как-то обмяк и прошептал:

- Идите, Виноградов, идите... Разрешаю в неположенное время полежать на кровати...

Виноградов пожал плечами и вышел. Лежать ему не хотелось. Он послонялся по казарме, почитал моральный кодекс строителя коммунизма. Спросил у Гофмана, который пришивал свежий подворотничок к парадному мундиру:

- Сейчас личное время?

- Личное, - покосился на него Гофман, про себя думая, что за мудака к ним еще прислали.

- А там в личное время, - сказал Виноградов, присаживаясь рядом с Гофманом на табурет, - в оперу все строем ходят!

Гофман застыл с поднятой иголкой в руке и, не моргая, уставился на Виноградова.

- Где, не понял?

- На Энгельгардтовской, - простодушно пояснил Виноградов, разглядывая на мундире Гофмана значки "Гвардия", классного специалиста, ГТО, комсомольский...

Гофман вдруг покраснел и закашлялся.

- Старичок, у нас нет оперы, - сказал он. - Ты что-то перепутал.

Виноградов улыбнулся загадочно, встал с табурета, вытянул руку, отставил ногу и громко, на всю казарму, объявил:

- "Зелеными просторами". Слова М. Исаковского, музыка В. Захарова. Исполняет солист оперного театра Энгельгардтовской филармонии рядовой Виноградов!

И запел (текст песни дается полностью):

Зелеными просторами
Легла моя страна
На все четыре стороны
Раскинулась она

А над ней стальные соколы
И день и ночь парят,
И огни ее высокие
Над всей землей горят

Гремят победной песнею
Заводы и поля,

станция энгельгардтовская

И мы, страны ровесники,
Проходим у Кремля.

Наше знамя, шелком шитое,
Пылает в вышине
И лежат пути открытые
Для нас по всей стране.

Куда б ты ни поехал,
Куда б ты ни пошел,
Повсюду наша молодость,
Повсюду комсомол.

Все мы Сталиным воспитаны
В родном своем краю,
Все проверены, все испытаны
В работе и в бою.

И мы проходим с песнями
Во всех концах страны, -
Мы все - ее ровесники
И верные сыны.

И пускай друзья и недруги
Увидят в этот час,
Что на свете нету юности
Счастливей, чем у нас.

Гофман был бледен. Вокруг собрались любопытные, столь же бледные. Гофман оглядел всех испуганно. Трудно было измерить глубину молчания, воцарившегося в казарме. А Виноградов, царственным взором окидывая собравшихся, спросил торжественно:

- Может, скажете, что и Бодлера у вас нет?

- Бодлера у нас... нет, - нетвердо сказал Гофман и добавил: - Крупн есть, Енбергалиев есть, даже Жупенко есть, а вот этого... как его?

- Бодлера...

- Вот... Бодлера - нет.

- А это что?! - воскликнул Виноградов и с подъемом проскандировал:

Пейзаж чудовищно-картинный
Мой дух сегодня взволновал;
Клянусь, взор смертный ни единый
Доныне он не чаровал!

Виноградов с каким-то победоносным видом блеснул глазами и, подойдя к стене, крикнул:

- Вот он Бодлер-то! Чудаки, смотрите! - и указал на графический портрет в рамке.

Из толпы выглянуло лицо старшины.

- Дневальный!? - страхась самого себя, позвал он.

- Я!

- Отведите рядового Виноградова в санчасть!

Виноградов пожал плечами, сказал:

- Я здоров. Зачем мне в санчасть?

Потом вспомнил про спиртик и нехотя согласился. На улице уже стемнело. Качались на ветру тусклые фонари. Дневальный шел молча. Сначала держал Виноградова за локоть. Потом, видя, что тот сам шагает бодро, отпустил. Виноградов чуть слышно напевал:

Мы люди большого полета,
Взрастил нас геройский народ,
Орлиное племя - пилоты,
Хозяева синих высот...

Вошли в одноэтажное кирпичное здание медсанчасти. Дежурный лекарь-сержант выслушал дневального, отойдя с ним на неслышное расстояние. Дневальный ушел. Виноградов снял бушлат и с лекарем пошел в палату, в которой стояло четыре пустых койки.

- Разденься и ложись, - сквозь зубы сказал лекарь.

- Слушаюсь, товарищ сержант! А у вас тут библиотеки нет?

- Нет?

- Бодлера бы почитать, - мечтательно произнес Виноградов.

Лекарь кашлянул и молча ушел, но вскоре вернулся с мездуркой.

- Давай-ка выпей.

- А чего это? - покосился Виноградов на жидкость.

- Не твоего ума дело!

Виноградов послушно выпил. Повспоминал в приятной истоме Энгельгардтовскую. Потом задремал. Утром в палату зашел майор в накинутом на погоны халате. Один погон со звездой между двумя синими полосами был виден.

- Итак, рядовой Виноградов, как ваше самочувствие?

- Отличное, товарищ майор! - доложил, приподнимаясь на локтях, Виноградов, разглядывая красноватое лицо майора.

- Так, значит, ангелы - лейтенанты?

- Младшие лейтенанты, все как один!

- И у Бога - погоны?

- Точно!

- А генерал откуда, говорите?

- С Новой Зеландии, товарищ майор!

- Понятно. А что там летало?

- Серебристые сгустки света, товарищ майор! - попытался с волнением объяснить Виноградов и для доходчивости добавил: - Бодлероиды. Они без крыльев. Летают на одной силе поэтического вдохновения!

- Вы не волнуйтесь, - сказал майор. - Я понимаю. Летают без крыльев. Как ракеты?

- Да нет, что вы! Они как волчки!

- Понятно.

Но Виноградов по лицу майора понял, что тот ничего не понимает. Поэтому Виноградов заговорил:

- Да это же на Энгельгардтовской! Понимаете? Там ребята с Америки, с Франции, с Польши... А в роте охраны - ребята с Китая! Официант с Италии! Там стран никаких нет! Всего одна страна! Понимаете? По уставу Конфуция все идет, мол, главное, изучай самого себя! - заволновался Виноградов, вспоминая, как его вобрал в себя на рынке в Брянске серебристый сгусток света, и произнес чеканно:

В мозгу моем гуляет важно
Красивый, кроткий, сильный кот
И, торжествуя свой приход,
Мурлычет нежно и протяжно...

- Ну ладно, - сказал майор, вставая, - отдыхайте. Все пройдет.

- Бодлер не может пройти! - с чувством сказал Виноградов и восторженно покрутил головой. - Он классик, такой же, как и я! А, слышали, что Украина отделилась от СССР?

Майор не просто застыл, но задеревенел в дверях.

- Ну-ну... - сказал он и хотел что-то добавить, но вдруг замолчал, побледнел и удалился.

Принесли завтрак. Пюре с котлеткой. Как на Энгельгардтовской почти что. Виноградов с удовольствием съел "порцовку". Затем с не меньшим удовольствием выпил стакан какао с белым хлебом и сливочным маслом. Могли бы, конечно, красной икры положить. Заглянул лекарь. Виноградов попросил:

- Принесите мне Бодлера почитать.

- Поинтересуюсь в клубе, - более вежливо, чем вчера, сказал лекарь.

Вошел медбрат со шприцем. Сделал укол. Виноградов уснул до обеда. Когда проснулся, то ощутил всю кожей страшную пустоту армейской жизни. Какой-то солдатик в халате протянул ему книгу. Виноградов взглянул. "Цветы зла". На самом деле существует! И затрепетал от восторга. Подали борщ со сметаной в фарфоровой глубокой тарелке. Солидный кусок мяса плавает в борще. На второе - жареный картофель с антрекотом. Чай. Виноградов жадно принялся за "Цветы зла", минут за двадцать освоив десять страниц, но тут сделали еще один укол и Виноградов заснул. Проснувшись, он приподнялся и долгим взглядом смотрел в окно на небо, на садящееся солнце. Потом принесли ужин: запеканка из манной каши с клубничным вареньем! С улицы донесся отдаленный грохот Виноградов догадался, что вторая эскадрилья начала полеты. На другой день он проснулся поздно, когда уже солнце по-зимнему дымно било в окно, и свет от него, расчерченный переплетом рамы, ложился золотым квадратом на пол. Вошел новый дежурный, старший сержант, с темным, заветренным лицом, сказал.

- Собирайся. В госпиталь на обследование поедешь.

- Вот чудак! - усмехнулся Виноградов. - Чего меня обследовать, ведь я здоров!

- Это не тебе решать! - хмуро сказал старший сержант.

У подъезда стоял коричневый фургон с красным крестом на боку. Виноградов залез в него. Старший сержант - следом. "Цветы зла" Виноградов на всякий случай прихватил с собой. Вдруг да там не окажется библиотеки. Старший сержант долго смотрел на него молча. Потом спросил:

- Ты чего, с американцами, что ли, служил?

- А чего такого! Там были ребята с Франции... А в роте охраны - с Китая! Но главное - генерал с Новой Зеландии! Мне приказал изучать "Красоту" Бодлера. Вот я и изучаю! - Виноградов придвинул обложку "Цветов зла" к самому лицу старшего сержанта.

За окнами проплывали заборы и сараи какой-то деревни, через которую шло шоссе.

- Думаешь, комиссуют? - вдруг ехидно спросил тот, отодвигая от себя книгу.

- Чего? - не понял Виноградов.

- Ладно, сиди, придурок!

Виноградов снес молча оскорбление. Чтобы не заострять на этом оскорблении внимание, процитировал, не торопясь, вслух:

В провалах грусти, где ни дна, ни края,
Куда Судьба закинула меня,
Где не мелькнет веселый проблеск дня,
Где правит Ночь, хозяйка гробовая...

- Я - цветок зла, - сказал задумчиво Виноградов.

- Ты же ведь деревенский, - рассудительно сказал старший сержант. - Откуда всё это?

Солнце ударило в лицо, на мгновение ослепив Виноградова.

- С Энгельгардтовской, - спокойно ответил он.

- Ну, давай-давай, наяривай! Вошел в роль, придурок!

Виноградов опять не обиделся. Ну что обижаться на тех, кто не знает Бодлера.

СПЛОШНОЕ БОЛОГОЕ

И надо мной - бессмертных звёзд Руси,
Спокойных звёзд безбрежное мерцанье...

Николай Рубцов

I.

Зеленков продолжал косить глазом на Мацера, затем перевел взгляд на бутылку, как бы давая понять, чтобы Мацера в столь ответственный момент не митинговал, а терпеливо ожидал очереди, когда ему дадут слово, точно так же, как и другие умные люди ожидают своего слова.

Пестрая детсадовская беседка, заваленная снегом, в старом дворе. Один пьет, второй ожидает. Но будет ли второй пить? О! Это вопрос вопросов.

Напротив трамвайной остановки стоит еще с XVIII-го века дом (особняк) в три этажа. Это было подворье какого-то богатого купца, с меблированными комнатами, лавками, трактирами - типичный для изрезанной переулками старой Москвы дом-муравейник, в котором богатство хозяина сочеталось с нищетой жильцов-съемщиков. Теперь дом реконструирован и выглядит как новый. В снежные дни он особенно красив, эдакий печатный пряник.

Если пройти под арку во двор, заставленный легковыми машинами, и войти в единственный подъезд, то обнаружится загадочная дверь с "волчком" без табличек и надписей. Но мы-то должны знать, что здесь размещается общество анонимных алкоголиков. Минуту назад охранник в форме омововца, с подвешенной на поясе дубинкой, выпустил из этой двери Игоря Васильевича Мацера, полного красивого блондина в очках.

Он уже собирался садиться в машину, но заметил в беседке пьющего из горла человека. Странное явление! До беседки было не более пяти метров, поэтому Мацера, приглядевшись, узнал в пьющем Славу Зеленкова, которого не видел лет восемь, но узнал бы и через двадцать лет. Никто так не пил из горла, как это делал Слава Зеленков. Рот открыт воронкой, бутылка отставлена на

вытянутую руку, струя, звонко напевая: “льбу-для-буль”, как из-под крана винтом, едва касаясь разверстого горла, устремляется в желудок.

На ходу надевая шапку и недоумевая, откуда тут мог взяться Зеленков, Мацера медленно подошел к беседке. Зеленков, тощий, маленький, в истертом драповом пальто, скосил на него глаза, но процесса не прекратил. В тени беседки блеснули белки глаз, кончики рыжих усов заискрились от винных брызг.

- Господин, распивать в общественных местах спиртные напитки запрещается! - голосом сержанта милиции начал Мацера. - Придется пройти в отделение и составить протокол! - закончил Мацера, нарочито мрачно, чтобы не расхохотаться.

Ополовинив посуду, Зеленков так трагически выдохнул, что Мацера от скорби отвернулся.

Сколько раз в жизни Мацера сам таким же образом делал выдох!

- Дружественным жестом Зеленков протянул бутылку Мацере.

- Тащи, Игорек, - срывающимся голосом сказал он и покачал головой, что главным образом означало, что ему плохо, очень плохо, даже слишком плохо.

Бахус долгое время водил их по жизни неразлучно. Выпускники философского факультета МГУ - где они только ни работали! Последнее место - трест “Спецдальконструкция”. Мацера - начальник планового отдела. Зеленков - главный бухгалтер (это с философским-то Дипломом!). Весь трест - какая-то дремучая фикция в подвале с десятью комнатами. Не пили в этом тресте только тараканы. Но пришла новая женщина-директор и по одному стала выщелкивать на улицу алкоголиков. В кабинете Зеленкова она дернула дверь шкафа, из которого со звоном посыпались пустые бутылки. То же обнаружила в кабинете Мацеры, правда, не в шкафу, а в письменном столе и в сейфе. Первым вылетел Зеленков, при этом с “волчьим билетом”, потому что огрызнулся. Мацера - по собственному желанию, ибо был корректен.

- Тащи! - повторил гостеприимно Зеленков, но рука с бутылкой вяло опустилась к полу беседки.

- Портвейн не употребляю, - отшутился Мацера.

Зеленков оживился, встал, откинул голову, так что свалилась облезлая кроличья шапка, обнажив заметную лысину, поднял

бутылку и направил струю в рот. Выпив до дна и выдохнув, он уже не столь трагично, сказал:

- Как рыба об лед!

- Понимаю.

Мацера помнил, что это было излюбленное выражение Зеленкова в период пьянки. Мацера рассматривал Зеленкова как давно ушедшую, и, казалось, никогда не бывшую жизнь. Зеленков стоял перед Мацерой, как призрак пивной "На семи ветрах", лысоватый, щуплый, едва ли в нем было росту 160 см, на высоких каблуках (эти каблуки, помнится, в редкие дни трезвости набивал сам Зеленков, дабы выглядеть повыше), как укор не желающей сдаваться прошлой жизни на троих.

- Как рыба об лед! - еще раз выдохнул Зеленков. - Та-ак, кажется, приживается. А я-то думал - обратно пойдет. Ничего, перебором и эту контрреволюцию!

Мацера в раздумье вздохнул.

- Ну, ты располнел! - воскликнул Зеленков. - Не узнать сразу. Барин!

Мацера слегка порозовел от смущения за свою полноту. Действительно, сразу после того, как он бросил пить, его стало разносить.

- Хорошо на московском просторе, светят звезды Кремля вдалеке! - пропел Зеленков и резко сказал: - Предлагаю занять у тебя и выпить! Сразу официально заявляю - денег у меня нет. Позвонил с утра Вите Сукочеву на завод. Тот сам с бодуна сидит неопохмеленный. Звоню Михальцову. Тот, знаешь, где теперь?

Глаза Зеленкова оживились, с любопытством рассматривали Мацера.

- Нет, - ответил тот, как будто ему было очень важно знать, где работает этот самый Михальцов.

- Завотделом снабжения! Подъезжай, говорит. Шапку в рукав, как говорил Мандельштам, и я на месте. Сидит Михальцов уже пьяный среди стеллажей с банками "лечо". При галстукке и в шляпе, как положено на складе! Говорит, все деньги в Болгарию за это "лечо" вколотил. Вот только на портвейн и выгреб у него. Михальцов предлагает, иди поторгуй банками у метро. Что наторгуешь, то пропьем! Я едва на ногах стою, сотрясаюсь, как былинка бедная. В желудке - обстят, того и гляди желчью вывернет. Пошел от него, зуб на зуб не попадает, вдоль трамвайных путей.

Думаю, дойду до первого шалмана, куплю и выпью. Дошел, купил, зашел в этот двор, сел в беседку и выпил!

С улицы послышался резкий металлический звук проезжающего трамвая. Мацера взглянул на часы и подумал, что поездку нужно отложить, вернее, послать вместо себя Розенберга.

- Как ты себя чувствуешь? - спросил Мацера заинтересованно, вглядываясь в глаза Зеленкова, которые начинали смотреть внутрь, как бы в самого себя.

Шел снег и шапка Мацеры, который стоял вне беседки, побелела.

- Такое чувство, что я проглотил кирпич, - сказал Зеленков. - Но все-таки сейчас немножко полегчало. Надо бы еще добавить, а то - ни тебе Санкт-Петербург, ни тебе - Москва, а какое-то сплошное Бологое!

- Пошли! - сказал Мацера, приняв решение, и направился к арке.

Шофер окликнул его:

- Игорь Васильевич, так вы едете?

- Я сейчас вернусь, но поедет, видимо, Розенберг.

Зеленков горделиво - прямая спина, чуть вскинутая голова, с песней:

Горят огни родного агитпункта,
Мы всей страной идем голосовать...

- последовал за Мацерой, который шикнул на него, чтоб не пел, и Зеленков тут же заткнулся, смутно догадываясь (раз шофер из "БМВ" окликает!), что Мацера вышел в люди.

Выйдя на улицу, Мацера сказал:

- Ну что ты разорался?!

- Не митингуй! У меня все права по конституции на свободу самовыражения! - и на всю улицу пропел:

Протрубили трубачи тревогу!
Всем по форме к бою снаряжен.
Собирался в дальнюю дорогу
Комсомольский сводный батальон...

- Заткнись! - дернул его за рукав Мацера.

- Ну вот, Галича не дает попеть!

- Это разве Галич с комсомольцами?

- Галич.

- Да не мог Галич про комсомол писать! - сказал Мацера.

- Мог! - твердо сказал Зеленков и стал чеканить шаг, как солдат, но чуть было не упал, поскользнувшись на обледенелом пятчке перед входом в винный отдел.

Войдя в роскошный коммерческий магазин, торгующий спиртными напитками, отечественными и импортными, на любой вкус, с любым градусом и объемом, без перерывов на обед, и днем, и ночью, Зеленков резко остановился в центре зала, подтянулся, вытянул руки по швам и крикнул:

- К торжественному маршу, первая колонна прямо, остальные - направо!

Продавцы вздрогнули, Мацера расхохотался. А Зеленков уже спрашивал у продавца в черном смокинге и в бабочке:

- Извольте, сударь, пояснить, что у вас сегодня из водок?

- Из отечественных или из импортных? - не теряя самообладания, вежливо спросил продавец. Зеленков обернулся к Мацере.

- Вот, старик, видал, как ныне нас зауважали? Раньше бы послал меня куда подальше... Да я просто бы к прилавку не пробился! Какие там сорта. Ты помнишь, как мы на Сокол ездили за водкой? Очередь - тысяча рыл! Менты за оградой! Елки-моталки, из какого дерьма мы вышли! А теперь? Изящество, стиль! Пустой магазин, вежливые продавцы...

- Слава, кончай ты демагогию, - попросил Мацера.

- Все, старик, завязываю! Что будем пить?

- Бери "смирновскую".

Мацера расплатился, Зеленков привычно опустил бутылку в карман пальто. Но тут же раздался звон битого стекла, полетели водочные брызги, поскольку бутылка свободно проскользнула через дыру кармана и рваную подкладку.

Зеленков в ужасе зажмурился и всплеснул руками. Мацера от злости сплюнул на кафельный пол. Резко запахло водкой. Зеленков, чудак, упал на колени, возвел скорбные глаза к потолку, где медленно вращались лопасти вентилятора, как в каком-нибудь баре в Майами, и возопил:

- Господи, прости мою душу грешную, нет у меня родины, нет мне изгнания!

Мацера дернул его за шиворот и поставил на ноги. Зеленков плакал.

- Перестань ты! - сказал Мацера, извинился перед продавцом и купил другую бутылку.

Зеленков несколько приободрился, шмыгнул носом и поплелся на выход. На улице все как рукой смахнуло. Он заулыбался.

Вернулись во двор и вошли в подъезд.

- И что же за этой дверью помещается? - спросил весело в предчувствии доброй выпивки Зеленков.

II.

Прежде чем дверь с "волчком" открылась, Мацера сказал:

- Все делаем молча. Вопросов не задаем...

- Ну, это я на улице раздухарился, - перебил Зеленков.

- Так вот, я еще могу кое с кем говорить, но ты, Слава, молчишь. Понял?

- Понял! - твердо сказал Зеленков, зная прежнюю заповедь Мацеры, что пить нужно втихаря.

В руках Мацеры звякнули ключи, и он сам открыл дверь. При виде охранника с дубинкой Зеленков подобрался и чуть ли не строевым шагом последовал за Мацерой по лакированному паркету. В креслах сидели какие-то люди. Пока поднимались на третий этаж, попадались красивые женщины, красивые мужчины и все раскланивались с Мацерой. Одна очень красивая женщина остановила его и спросила:

- Представители из Германии к шестнадцати часам?

- Да, в малой гостиной, - сказал Мацера и продолжил движение.

Зеленков, втянув голову в плечи (шапку он держал в руке), испуганно спросил:

- Что это за музейная контора?

- Я же тебе сказал - вопросов не задавать! - прошептал Мацера, не оборачиваясь.

И на третьем этаже сновали мужчины и женщины. От одной, очень молоденькой, Зеленков не мог оторвать взгляда, так что чуть не врезался в открытую Мацерой тяжелую дверь. Вошли в просторную комнату, в которой стоял длинный и широкий полированный стол, возле него дюжина стульев с высокими спинками.

- Располагайся, Слава. Пальто можешь бросить в угол, тут чисто. Я сейчас чего-нибудь соображу. - И вышел, сунув бутылку Зеленкову.

Тот, не думая, открутил пробку и отпил несколько глотков. Затем, забыв о своем полуклоушном состоянии, присвистнул и почесал в недоумении затылок. Вопросы били в висок, как стихи Мандельштама или Бродского - любимых поэтов Зеленкова.

Вернулся Мацера и закрыл за собой дверь на ключ. Из кармана он достал целлофановый пакет с двумя солеными огурцами и несколькими кусочками черного хлеба.

- Все, что удалось найти, - сказал он.

- И как я бутылку разбил?

- Проехали.

Зеленков тряхнул головой, редкая прядь рыжих волос слетела на лоб, сделав лысину светлее.

- О, Игорек! Все отлично. Прекрасно. В едином строю! Помнишь у Бродского:

В молчании я слышу голоса.
Безмолвствуют святые небеса,
над родиной свисая свысока.
Юродствует земля без языка...
Дающего на все один ответ:
молчание и непрерывный свет...

- Ты неисправим! - сказал Мацера, извлекая из другого кармана тонкий стакан.

Мацера был в костюме в полоску, в крахмальной сорочке с галстуком, одним словом, прямо с витрины. Заметив, что в бутылке не хватает уже граммов сто, вздохнул:

- Не мог пять минут подождать?

- Игорь Васильевич, это выше моих сил! - и засмеялся, громко, нервно, суетливо.

- Потихе, я же просил!

- Понял, - сказал тихо Зеленков и сел за стол.

Мацера налил треть стакана, придвинув его по полированной поверхности широкого стола к Зеленкову, затем вытащил из кармана складной нож, нарезал огурец на тонкие дольки, сделал два бутерброда, один из которых сразу стал есть сам.

- Хороший огурец! - сказал он с чувством, и к Зеленкову: - Давай отходную!

Руки у Зеленкова уже не дрожали, и он как бы забыл об утренней дрожи, поднял стакан и пока держал его перед собой, сказал:

- Как это я разбил бутылку?! Ты человек, Игорь. За тебя!

И медленно, очень медленно, оттопырив мизинец, выцедил все до капельки. Затем понюхал смачно хлеб, но есть его не стал, а вот ломтик огурца проглотил. И этот Огурец как-то приободрил его. Он сказал:

- Значит, если бы я не зашел во двор, то мы бы с тобой так никогда в жизни и не повстречались. Я изредка вспоминал о тебе.

Зеленков погладил рыжие усы и задумался. Во всем его жалком облике была какая-то затравленность, измельченность. Часто приходилось видеть таких людей в былые времена у магазинов, собирающих мелочь на бутылку, с бегающими, полными испуга глазами, с синяками и ссадинами, с манией преследования на лицах. С таким видом кружат возле столовых дворовые тощие собаки, и что-то родственное есть между алкашами и дворняжками. Теперь этих людей значительно меньше, благодаря бесперебойной торговле спиртным, благодаря открытости запретного плода и, в какой-то мере, дороговизне. Это не значит, что их стало совсем мало, просто произошло перестроение рядов, разобщение этих рядов, а может быть, и индивидуализация "этого дела".

Между тем Мацера тоже задумался. И вот о чем. Он хотел сегодня показать делегатам из Германии полный процесс работы своей фирмы.

Он не спеша снял очки, протер чистым носовым платком и, возвращая их на место, мягко спросил:

- Сколько ты за день выпиваешь в таком состоянии?

Зеленков отвлекся от своих мыслей, ответил:

- Не менее литра.

- Да-а, - выговорил протяжно Мацера и каким-то тяжелым, застывшим взглядом уставился в глаза Зеленкову.

Тот не выдержал взгляда, глаза забегали, потом остановились на прозрачной бутылке "смирновской".

- И как я ее только разбил?!

- Проехали, - сказал Мацера.

Он, более или менее наметив разумный подход к Зеленкову, встал и заходил из угла в угол, сунув руки в карманы брюк, наклонив голову, глядя себе под ноги.

В Зеленкове, по-видимому, в этот момент произошла какая-то смена внутреннего ритма и он прочитал:

Плывет в тоске необъяснимой
пчелиный хор сомнамбул, пьяниц.
В ночной столице фотоснимок
печально сделал иностранец,
и выезжает на Ордынку
такси с большими седоками,
и мертвецы стоят в обнимку
с особняками...

Мацера выслушал мелодекламацию и сказал:

- Я пять лет не пью. И счастлив. Не пью и все! Больше ничем в жизни не занимаюсь, кроме как не пью. Работа у меня такая - не пить!

От удивления Зеленков хлопнул в ладоши и спросил:

- И хорошо платят за то, что ты работаешь непьющим? - и захохотал так громко, что Мацере пришлось приложить указательный палец к своим губам.

- В том-то и дело! - воскликнул тихо Мацера, воскликнул не голосом, а одной интонацией. - Я имею минимум две тысячи зеленых в месяц!

Зеленков сначала мелко-мелко задрожал, потом вскочил и забегал от возбуждения по комнате. Тень от его фигурки столь же быстро заскользила по стене. Мацера, не вынимая рук из карманов, ступал мягко, ходил медленно. Ему удавалось один раз дойти до угла, в то время как Зеленков покрывал это расстояние дважды.

В комнате стоял едва уловимый запах нового дерева и лака. В окно смотрели заснеженные крыши разновысоких московских домов, на которые изредка, бегло бросал взгляд воспаленных глаз Зеленков и покусывал свои рыжие усы. Глотку у него заклинило, он сразу хотел спросить у Мацеры о механизме его непьющего дела, но в течение целой минуты, пока бегал, не мог выдать из себя ни слова.

Наконец он пришел в себя от потрясения и хрипло, срывающимся голосом заслуженного алкоголика спросил:

- Кто же тебя содержит такого умного?
- Сам себя содержи, сам все придумал и...
- Скажи еще, что ты с рубля начал! - прервал его Зеленков.

Глаза у него горели, он нервно вскидывал руки, подергивал плечами, подпрыгивал на ходу, чем сильно напоминал воробья, подмигивал, мол, знаем мы вас таких хороших наизусть, всю вашу изнанку видим. Он был одет в какую-то короткую вязаную кофту с разными пуговицами и узкие потертые джинсы, которые не шли к нему, делали его каким-то мальчишкой. А большая лысая голова делала его в моменты молодцеватой подпрыгиваемости похожим на пробивного поэта в момент сочинительского экстаза.

- Не верю! - восклицал Зеленков, сдерживая накал голоса, отчего этот голос звучал пронзительным змеиным шипением и брызги с губ летели во все стороны. - Первое, и это факт! - ты хочешь от меня что-то скрыть. Второе, нужно честно смотреть фактам в глаза. Третье, вся твоя жизнь говорит о том, что ты не способен на такие авантюры, потому что был философским хлюпиком со стаканом, все кропал по трезвухе что-то об Иоганне Готлибовиче Фихте... И вот - четвертое, ты бы мог своего Фихте сейчас опубликовать. Пятое...

Но тут уж Мацера не выдержал и перебил его таким же страстным шепотом:

- Фихте я уже опубликовал!

Зеленков резко, как машина у светофора, остановился.

- Прошу предъявить! - и ладонью вверх протянул руку. - Жду!

Мацера улыбнулся. Зеленков чувствовал в его присутствии необычайный подъем духа и наплыв мыслей. Он как бы забыл, что этот подъем с наплывом вызван портвейном и водкой.

- Хорошо, - сказал Мацера, открыл дверь и вышел.

Зеленков тут же сделал смачный глоток из горла. Через пару минут Мацера протянул Зеленкову толстую книгу в переплете с золотым тиснением: "Игорь Мацера. Неизвестные мотивы творчества И. Г. Фихте".

Буря чувств охватила Зеленкова. То он кидался обнимать и целовать Мацера, то отбегал к свету окна и принимался листать книгу, то вновь подбегал к Другу и похлопывал его по плечу. Многие невидимые душевные переживания отражались в мимике Зеленкова, в глазах, в голосе, в движениях, во всем его физическом самочувствии в эту минуту.

Не легко понять человеческую сущность, потому что люди редко распахивают и показывают свою душу такой, какова она на самом деле. В большинстве случаев они скрывают свои переживания, и тогда внешняя личина обманывает собеседника, ему трудно угадать скрываемое чувство.

Итак, Зеленков при виде книги Мацеры радостно затрепетал. А умение радоваться успеху другого - редкость. Можно усилить: большая редкость! Трудно любить других людей, но оттого, что это трудно, нельзя говорить, что этого не стоит добиваться.

Все хорошее - трудно.

- Пиши дарственную! - приказал Зеленков, открыв титульный лист.

Мацера написал: "Предошущающему свою философию - Славе Зеленкову, от нащупавшего свою стезю - Игоря Мацеры".

Книга поблескивала золотом и Зеленкову виделось то имя Фихте, то Мацеры, а то вдруг эти имена сливались в одно непонятное имя, которое Зеленков никак не мог прочесть. Это имя слепило. Вот-вот, казалось Зеленкову, он прочтает это имя, но оно превращалось в солнце.

Мацера посмотрел на часы. Было начало двенадцатого, а Зеленков все веселел и веселел. Но ничего, можно Зеленкова и притормозить.

- Да, я просто не пью, - сказал Мацера. - Это мой бизнес. На том, что не пью - делаю деньги. Ты врубаешься в ход моих рассуждений?

- Врубаюсь. Но все-таки - это звучит странно. Все равно, что получать приличное вознаграждение за то, что дышишь.

- И до этого додумаются. Я же додумался до самого себя. Пойми, если бы я еще в один штопор вошел, я бы из него уже никогда не выбрался. Просто бы сдох как собака где-нибудь в пивной. Я вот смотрю на тебя и думаю, а что если ты согласишься работать со мной?!

- То есть, не пить?

- Ты меня правильно понял.

Зеленков погрузился, осунулся и вся его веселость куда-то подевалась.

III.

Холодом цветущие вишни глянули в глаза Зеленкову с заснеженных крыш чудом уцелевших от разлома эпох особняков, церквей и палат, причем стены палат были цвета плодов вишни, а не майского цветения, подобного снегу. Чудесен заснеженный город, когда смотришь на него из окна теплого помещения, чудесна панорама времени, утекающего вспять, к истокам классицизма с белыми колоннами, львами у подъездов, потому что будущее ничем подобным не может порадовать глаз, ибо будущее - ничто, пустота, которая ничего не построила и не написала.

Сия минута творит гармонию прошлого. Но сия минута может и разрушить это прошлое. До мысли - маленький скачок, но ползает летать не созданный.

- Рожденный ползать - летать не хочет! - сказал Зеленков.

Громяющий красный трамвай вывел из грусти Зеленкова, нервный тик скользнул по его лицу, он отбежал от окна, остановился возле Мацеры и зашептал страстно:

- Ты не можешь понять, кто я. С кем ты говоришь? С отребьем. Никто так не презирает меня, как презираю я сам. Я, потенциально умный человек, не написал ни строчки в избранной мною профессии философа. Я ни минуты не работал преподавателем философии. Вся жизнь моя состояла из поднятия стакана. Господь определил мой жизненный путь - поднимать стакан! А сколько за этим стаканом я болтал! У меня такое впечатление, что я всю жизнь при стакане с болтовней. Болтливый стакан! Кого только я не обсуждал! Я обсудил всю историю философии, в пьяном угаре какому-то шизофренику доказывая, что Кант писал не так, а Гегель вообще был лишен понимания прекрасного. Слова вылетали воробьями и растворялись в воздухе. Ничего не осталось. Результат равен нулю. Я ноль мировой цивилизации!

- Жестко! - сказал Мацера.

- Будет еще жестче, потому что ты, сволочь, предлагаешь мне - Господину Стаканову - (с большой буквы!) мое призвание заменить на какие-то вшивые миллионы!

- Миллионов я тебе еще не предлагал.

- А мне их и не нужно. Ты понимаешь, рублевая твоя душонка! Не нужны мне купюры. Вот в чем парадокс текущего момен-

та в истории жизни Зеленкова! Что моя жизнь? Сплошной запой! Мне 52 года и жить мне осталось неделю...

- Так мало? - усмехнулся Мацера, понимая, что Зеленков набирал форму бесстрашия, знакомую очень хорошо Мацере по прошлым собственным запоям.

- Если бутылки с водкой бью, то мало!

- Оставь ты эту чертову бутылку! Достал с этой бутылкой!

- В неделю могут уложиться года, - сказал Зеленков, стремительно продолжая: - Вся прошлая жизнь - секунда и я в этой секунде - самый низменный человек изо всех ныне живущих. Катарсис - это галлюцинации, смещающие прошлое до картин Босха. Я ненавижу деньги, потому что эти пестрые бумажки, вернее, отсутствие их, мешают мне сразу же наполнять стакан. Ты предложи мне такую организацию, чтобы стакан брал я сразу, по первому требованию, а лучше - без требования, чтобы, как вот эта бутылка, - он ткнул пальцем в бутылку, - стояла всегда. Вот эта опустошится только и она же сразу полная на этом же месте. Вот тогда я подумаю, загружаться мне сразу или несколько погодя. Вот кто я такой теперь. Сейчас. Мы путаемся в догадках о будущей жизни, мы вопрошаем, неизвестно к кому обращаясь, что будет после смерти? Но это же бред - спрашивать о том, чего нет, в этом дикое противоречие, и спрашивать об этом нельзя потому, что жизнь и будущее - две вещи взаимоисключающие, ибо жизнь только в настоящем. Это нам только кажется, что жизнь была и будет, - а жизнь только есть сию минуту. Я люблю только себя и свое состояние в сию минуту и от этого - внешний мир окрашивается в приятные для меня тона. Я приемлю этот мир в сию минуту! Я приемлю вишневое цветение заснеженных крыш! Приемлю! Что же тебе еще нужно, Игорек? Повлиять на меня извне? Подать меня, заставить меня что-то сделать помимо моего желания?

- Пока я тебе поставил бутылку, - в который уж раз усмехнулся Мацера.

- О! Молодец! Ты прав. Чего я выступаю. Ты поставил бутылку. Хорошо! А почему ты не выпьешь со мной?

- Я же тебе сказал, что пять лет не пью.

- Денег не было?

- Денег - мешок, а пить не хочу, - сказал Мацера.

- Так, запомним. Где мешок?

- Я сказал образно.

- Я не об образах, я о мешке. Показывай мешок!
 - Теперь деньги такие, что мешок не требуется.
 - А мне мешок покажи!
 - Я тебе без мешка покажу. Сколько?
 - Без мешка смотреть не буду. А то разговорились! Мешки у них! Как будто я не представляю, сколько в мешок влезет.
 - Сколько? - спросил Мацера.
 - Из-под сахара?
 - Что?
 - Ну, это... мешок из-под сахара?
 - Давай из-под сахара.
- Зеленков быстро что-то прикинул в уме и сказал:
- Два миллиарда пятидесятитысячниками. Или 360 банковских упаковок того же достоинства каждая, то есть по пять миллионов в пачке.
 - Ты так ловко считаешь, как будто каждый день таскаешь эти мешки! - рассмеялся Мацера.
 - Сам не таскал, но в руководимой мною фирме - таскали.
- Мацера удивленно вскинул брови, спросил:
- В какой фирме?
 - Как пошли новые времена, отец мой с какими-то деятелями из ЦК КПСС создал фирму, - сказал Зеленков. - А я до этого, представляешь, все в партии хотел восстановиться. В райком писал, в горком, потом письмо к съезду отправил!
 - Не слабо! - воскликнул Мацера.
 - Вот идиот-то был! А она - эта партия - рухнула. Отец поил и кормил. Три месяца бился, как рыба об лед! В трудкнижке статья записана. Пошел в бюро по трудоустройству. Много мест предлагали: и заводы, и фабрики! Но я выбрал речной флот! Вверх по реке, вниз по реке! Матросом. От Киевского вокзала до Новоспасского моста. Солнце светит, я на палубе под музыку лежу, портвешок потягиваю. На остановках канаты бросаю, трап подаю для пассажиров.
- Мацера рассмеялся и сказал:
- Не могу себе представить матроса Зеленкова!
 - Что ты, старик, не говори! В выходной капитан в дугу, еле оттащили его от штурвала. Вниз по реке я сам прошел. Капитан дрыхнет тут же, под ногами. Ну и я с помощником добавляю. Смотрю - и помощник задремал. А я у горького парка отдыха в

пристань как долбану! У меня пассажиры повылетали прямо к чертову колесу! И на сем моя карьера в речном флоте закончилась. Еще одну запись мне в трудовую книжку вбабахали, такую, что я эту книжку утопил сразу же в реке. Отцу рассказал, он посоветовал сходить в трест и повиниться. Я сходил, а там и треста-то уже нет, ликвидировали его. Так я без трудовой социалистической книжки остался. Но здесь, повторяю, как говорится, пошли иные времена! Назначили меня президентом фирмы, которую отец с этими сколотил. Я чуть от страха не умер. Что мне делать, спрашиваю у отца, а он говорит - представлять. Выделили под фирму здание бывшего НИИ. Я сижу в кабинете, а мне на подпись то письма, то договоры, то платежки. Подписываю все подряд, а что подписываю - не знаю. Ничего не понимаю. Чем фирма занимается - одному богу известно. А за мной машина, с работы, на работу. Потом охранников дали. А я все время поддатый. Не пьяный, но все время опохмеленный. Возят меня в парикмахерскую бриться, в сауну мыться, женщин привозят на квартиру для свиданий. В общем, я как шейх какой-нибудь. Однажды ведут меня мои охранники на какой-то прием в "Метрополь", смотрю, в холле ребята перешептываются, до ушей моих долетело: "Вот он, воротила бизнеса!". Это в мой адрес-то! Я чуть со смеха не упал!

- Ты что, действительно не знал; чем занималась фирма? - спросил Мацера с несколько большим интересом, нежели спрашивал до этого.

- Игорь, вот убей меня - не знал! И сейчас не знаю.

- Ты что и сейчас там работаешь?

- Что ты! - махнул рукой Зеленков. - Как отца похоронил, сразу вышибли. Там такая мафия, опухнуть можно! Они держали меня как китайского болванчика. И вот год уже не работаю. Так кое-какие разовые заработки подворачиваются... То партию компьютеров устроил за десять процентов комиссионных, то вагон обрезной доски толкнул на тех же условиях... А деньги разлетаются, как брызги шампанского!

Мацера осторожно спросил:

- А фирма эта существует?

- Куда она денется. Существует!

- Может быть, они нам что-нибудь будут подкидывать?

- За то, что не пьем?

- Именно! Так сказать, будут спонсировать отрезвление России. Я понимаю, - начал неспешно, мягким голосом развивать мысль Мацера, - что сейчас каждый, как волк, ищет себе спонсора. Но если мы имеет такой уникальный опыт по добыванию даже в самой безвыходной ситуации бутылки, мы уж пустим в ход всю изощренность своего ума, чтобы средства, необходимые нам, выколотить. Не мытьем, так катаньем! Я не пью, но это не значит, что я безгрешен. Есть, разумеется, в этой жизни идеалисты, которые думают, что можно вообще освободиться от грехов, но они глубоко ошибаются. Человек может быть более или менее грешен, но никогда - совершенно безгрешен. Потому что вся жизнь человеческая, как я ее себе представляю, состоит в этом освобождении от грехов. И никто не уходит от наказания за свои грехи. Я наказан тем, что не пью. И у каждого человека будет свое наказание, и не где-то за гробом, а здесь, в этой жизни. Например, ты наказан тем, что вынужден страдать от головной боли и жуткого похмелья, и чем чаще ты пьешь, тем тебе становится все хуже и хуже. Не кто-то тебя наказывает, а ты сам себя наказываешь через возлияния...

- Постой, - прервал его Зеленков, - за кого ты меня принимаешь? Я что тебе, дядя Вася с автобазы? Что это за тон, и что это за лекция? Я спрашиваю?

- Ну, если мои здравые мысли ты воспринимаешь так, то я могу помолчать, - с некоторой обидой в голосе сказал Мацера и подошел к окну.

Он понял, что не так начал говорить. Вообще он понимал, что в пропагандистской работе лучше слушать, чем говорить, но часто не сдерживался, был, что называется, одержим идеей трезвости.

Он смотрел в окно на старую Москву. Это была та ее часть, где в прошлом веке было множество гостиниц и меблированных комнат и великое обилие всевозможных трактиров и кабаков средней и низшей пробы с граммофонами и развеселыми девицами. И вот теперь минувший век как бы возвращался, но модернизированным. Какие-то голландцы открыли гостиницу, сияющую золотыми стеклами в переулке напротив, запестрели витрины меняльных контор, баров, банков. Да и сам Мацера перестроил бывший дом какого-то купца в нечто такое комфортабельное, что душа пела. Но можно ли перестроить людей? Можно ли вдохнуть новое содержание в старую форму?

- Эх, я, Тряпичкин! - воскликнул Зеленков с болью в голосе. - Разгрохал такую бутылку! Идет как масло!

- Да ладно тебе... Брал бы пример с меня... Бросил пить, что ли. Я помогу. Ты не бойся, у меня всей тайно... Никаких там фамилий... Никто и не узнает о тебе... А можешь любой фамилией называться: хоть Тряпичкин, хоть Стаканов...

- Не обижайся, - сказал Зеленков и для ободрения Мацеры проскандировал:

Чувств одичалых и суровых
Гнездилище душа моя:
Я ненавижу всех здоровых,
Счастливцев ненавижу я.

В них узнаю свои утраты,
И мне сдается, что они -
Мои лихие супостаты
И разорители мои,

Что под враждебным мне условием,
С лицом насмешливым и злым,
Они живут моим здоровьем
И счастьем, некогда моим!

- Я не обижаюсь, - сказал Мацера.

- Нет, обижаешься! Я вижу. Вон рожу скривил...

- Не обижаюсь.

Зеленков подошел к Мацере, обнял его и поцеловал.

- Не обижайся на меня, супостата, - сказал Зеленков. - Я не достоин того, чтобы на меня обижались. Еще чего не хватало! Обижаться на меня. Было бы на кого. Все ты говоришь правильно. Я согласен. Надо завязывать. Но только не сейчас, потому что у меня в голове какой-то Хайдеггер образовался. Ты подходишь ко мне с какой-то антропологической точки зрения. А, на мой взгляд, антропология есть такая интерпретация человека, которая в принципе уже знает, что такое человек, и потому никогда не способна задаться вопросом: кто он такой. А у тебя я попал в разряд алкоголиков, да еще безымянных. Одно это убивает во мне меня. Нет, ты признай мою конкретную персоналию со всей вселенной моей души. Может быть, в похмелье, в боли, в жути видений и есть главное, что меня привлекает в пьянстве! Вот как я поворачиваю во-

прос. А то эти, чуть-чуть пьющие, хотят только радости. Мол, выпили для веселья. Э-э, брат, это заблуждение. Никакого веселья им не приходится испытывать. Потому что веселье можно понять и почувствовать только после бездны падения. Упади сначала! А потом говори о веселии. Так что антропология и биохимия тут не подходят. Не знают эти науки, кто я такой. С одной меркой ко всем подходят. А меня одной меркой не возьмешь. Был я у одного спеца (не ты один умный, чтоб на трезвости подрабатывать!), гипнозом он меня хотел полечить. Смотрел, смотрел мне в глаза, а я хоть бы хны! Сам смотрю в его глаза и думаю, ну я тебе сейчас сделаю! Короче, он чуть не заснул у меня, нарколог штопаный, а потом и говорит, что я не поддаюсь гипнозу и что я сам обладаю какими-то гипнотическими качествами, взгляд, говорит, у меня тяжелый.

- Когда напьешься, у тебя фишки вываливаются! - съязвил Мацера и заглянул в черные глаза Зеленкова.

Эти глаза, казалось, ничего не выражали, какая-то подземная холодность была в этих глазах, как в темных зеркалах, в которых увидел свое микроскопическое изображение Мацера.

- Я стойкий, - сказал Зеленков. - Иногда выпьешь столько, что страшно становится, а домой приходишь, на автопилоте. Идешь и не качаешься. Главное - не качаться!

- Я тоже редко качался, - оживился Мацера.

Зеленков молча подошел к столу и налил себе треть стакана.

- За гостеприимство! - произнес он строго и выпил, для разнообразия после этого поморщившись.

- Эдак ты у меня до 16 часов не дотянешь, - сказал Мацера.

- А зачем мне тянуть до 16? Я еще немножко посижу и поеду домой читать Хайдеггера.

- Ты мне нужен в 16 часов, - сказал Мацера.

- Для чего?

- Как бы тебе сказать, - начал неопределенно Мацера, боясь пережать в вопросе оказания влияния на Зеленкова. - Хорошая выпивка намечается, - упростил он мысль.

- Где?

- В малой гостиной.

- Так вы же здесь все непьющие, как я понял.

- Мы - непьющие, но гостям поставим.

- Странно. Я думал, в этом загадочном доме пьянство в любой форме исключено, - сказал Зеленков.

- Но ты же пьешь?

- Ну, я! Сравнил. Я пью, и вроде бы - не пью. Втихаря же все делаю. В коридор не выбегаю, к женщинам не пристаю, песен не кричу. Хотя в коридор мне бы выйти нужно было. Уже подпирает. Где там у вас уборная?

- Я провожу. Только ходи молча и не дыши ни на кого.

- Не надо повторять одно и то же по тысяче раз.

Уборная очень понравилась Зеленкову своей чистотой и дизайном. Бронзовые ручки на белоснежных дверях, полотенца, мыло, зеркала, как в гримерных великих артистов, запахи хвои и лаванды, все работает, вода звенит и замолкает по мановению никелированных кнопок. Зеленков был подчеркнуто подтянут, ртом не дышал, чтобы не пахло, а усердно сопел носом, втягивая в себя воздух со свистом. Посетители уборной здоровались с Мацерой, обменивались отдельными репликами, но Зеленков молчал, как памятник Зеленкову.

Когда вернулись в комнату, Зеленков открыл рот, чтобы подышать свободно, затем спросил:

- Откуда такие хоромы?

- На похмелку достал, как бутылку! - рассмеялся Мацера.

- Не разобьешь?

- Постараюсь.

- А если серьезно?

- И я серьезно.

- Расколос кого-нибудь?

- Мало ли миллионеров на свете, бывших алкоголиков, - неопределенно сказал Мацера. - Ну, скажу я тебе, что дал какой-нибудь Тряпичкин...

- Ты меня не трожь!

- У нас не принято спрашивать фамилии.

- Понял. Вопрос снимаю. И во мне еще теплится это извечное, назойливое человеческое любопытство.

- Любопытство, как и грехи, неискоренимы из человеческой души.

- Как и пьянство?

- Думаю, что да.

- Так зачем же копы ломать?

- Для меня есть зачем. Я повторяю, что я не пью. Самочувствие отличное, нервы в порядке, колотун не бьет.

- Хорошо. Так что же у тебя будет в 16 часов?
- Очень солидные спонсоры, которые хотят удостовериться в том, что мы действительно работаем, а не дурака валяем.
- А что значит - валять дурака? Это что же, взять человека, повалить его в грязь и валять, катать?
- Брось ты цепляться к словам!
- Человек состоит из слов! - воскликнул Зеленков. - Я русский, потому что говорю русскими словами. Если я начну говорить по-китайски, то я уже буду китайцем...
- Трепло же ты! Короче, будешь со мной работать или нет?!
- Зеленков почесал в глубокой задумчивости затылок.
- Главным бухгалтером?
- Главный бухгалтер у меня уже есть.
- Начальником планового отдела?
- Тоже есть.
- Неужели?! Что же ты планируешь? Алкоголиков?
- Именно. В первом квартале - десяток отрезвить, во втором...
- Бред!
- Опять ты уходишь в сторону! - повысил голос Мацера. - А тот, кто уходит в сторону, боится прямого ответа...
- Ладно, давай попробуем, - сказал Зеленков осторожно. Потом добавил: - Запить никогда не поздно будет. Как и умереть. Она ведь уже свыше намечена, смерть-то! Все будущее анонимно. Ничего не известно. Есть ли, нет ли, внятно ли, бессвязно. Полощем друг другу мозги и только. Развлекаем. Ладно, чувствую, аппетит у меня развивается стремительно. Какова программа?
- Программа проста. Мне нужно еще пару человек на сегодня, пару алконавтов с последующим их обращением в трезвость. Есть кандидатуры?
- Набухаться задарма приползет пол-Москвы! - категорично, с некоторым преувеличением высказался Зеленков.
- Хм... Вот столько бы людей сразу бросило пить! Это было бы что-то.
- Бюджет России сразу бы треснул по швам! Ты подумай, прежде чем говорить! Пришлось бы армию и ВПК сразу же упразднить!
- Так есть у тебя два человека, которые бы попили вволю с тобой, а потом превратились бы в чистых трезвенников?

- Мы и спрашивать не будем у них. Скажу, есть шанс хорошенько поддаться и все рассуждения. Вот повезет же ребятам. Это я один, как рыба об лед!

- Так позвони им, предупреди, мы за ними заедем, - сказал Мацера, застегивая пуговицу на новом пиджаке.

IV.

Тоска на подступах к свободе, неизвестной свободе - для чего и ради чего? - часто одолевала Зеленкова, и вся жизнь ему казалась перепадами от тоски к свободе. Безысходность сменялась выходами в искрящееся веселье, когда любая мысль была ему по плечу, даже такая коварная как "смысл жизни - в самой жизни". С легкостью невероятной он проезжал любую мысль, как с легкостью усадил в машину сначала Михальцова, затем Сукочева.

Мацера с некоторой долей испуга поглядывал то на одного, который был похож на свежемороженый баклажан (Михальцов), то на второго, едва воскресшего предусмотрительно прихваченной "смирновской", очень смахивавшего на персонажа знаменитой картины неизвестного голландского мастера "Положение во гроб".

- Придурок, держи голову повыше, а то вырвет, - сказал Михальцов Сукочеву, после того, как тот с жадностью приложился к бутылке.

- Давай ты сам, - сказал Зеленков, передавая ему "смирновскую".

- "Давай" будешь говорить своей жене! - отчеканил Михальцов и без дополнительного приглашения выпил.

Михальцов сразу поверил в нереальность происходящего, поэтому никаких вопросов не задавал. Зеленков уже просто был в нереальности, поэтому, сам, глотнув, развалился в мягком сиденье и так это, ни к кому не обращаясь, заговорил:

- Вернемся, однако, к проблеме философской веры. Тут ко мне Фихте заходил...

- А-а, мы с ним пили однажды на Каховке, - сказал как ни в чем не бывало Михальцов, поправляя свою широкополую шляпу. - Проснулись, Фихте занял рубль у соседа. Зеленков в универсаме украл соленую скумбрию. И - в пивную...

Зеленков пресек пивную более высокими материями:

- От религиозной веры последняя, отличается тем, - что в качестве своей предпосылки нуждается в некоторой доле скептицизма, то есть сознания, как говорил Фихте в пивной, что есть такие вопросы, на которые не может быть дан рациональный ответ.

- Ответ может быть дан на все что угодно, - оживился Сукочев, покрываясь приятной испариной опохмеленного.

- Может, - согласился Зеленков. - Но, с другой стороны, она потому и вера, что допускает существование такой реальности, формой знания которой является скептицизм, или, выражаясь иначе, допускает существование реальности, знание о которой может выступать только в форме осознанного незнания, - эта-то реальность и есть предмет философской веры.

Машина промчалась над Яузой, пролетела по трамвайным путям и свернула во двор. Первым вышел Мацера в своей светло-коричневой дубленке с белым меховым подбоем, затем Зеленков в куцем драповом пальтишке, следом Сукочев в какой-то курточке-телогрейке, едва прикрывавшей зад. Михальцов не торопился, щелкал зачем-то замками своего кейса, как будто что-то собирался из, него доставать, хотя в нем лежала лишь пачка сигарет и газета "Труд".

- Давай вылазь, - сказал ему Сукочев.

- "Давай" будешь говорить своей жене, - сказал Михальцов, все же открыв свой кейс. Он извлек газету, нашел в ней программу телепередач, что-то вычитал там, затем уж вышел из машины. - Кино в 22 часа, успею.

Сукочев посмотрел на него долгим осуждающим взглядом, но ничего не сказал. У Сукочева был ужасно длинный нос, и он напоминал ворону. Особенно когда смотрел вот так на кого-нибудь, смотрел не прямо, а как-то сбоку. И в этом взоре как бы читалось: и вся-то наша жизнь - сплошная случайность. Собственно, об этом подумал Мацера, оглядывая поочередно то Зеленкова, то Сукочева, то Михальцова. Жалко ему было этих людей. Очень жалко. Но они сами повинны в собственной жизненной катастрофе. А катастрофа - это следствие их же вины. Достаточно им раскаться, то есть доказать чистоту своей жизни, и все станет другим.

В самом деле, к этому нас призывают со времен пророков, но мы не знаем, какими путями, когда и как нравственная чистота нашей жизни приведет к всеобщему благу и к мировой гармонии.

- Ничего себе особнячок! - сказал Михальцов, оглядывая здание.

На Михальцове было длинное, до пят, черное кожаное пальто, как шинель на памятнике Дзержинскому. Шляпу он надвинул на глаза, замаскировался, так сказать, и было не понятно - трезвый ли человек в этом черном пальто и черной шляпе или пьяный? Михальцов, видимо, помня подпольное прошлое большевиков, понимал, что в этой жизни лучше маскироваться, чтобы никто не увидел твоего лица, тем более такого - фиолетового, как баклажан.

Во двор вкатил другая машина. Это приехал Розенберг, за товаренный выпивкой и едой. Розенберг, как и Зеленков, долгое время пил. Теперь же он яростно ненавидел алкоголиков. Так бывает часто. Если ты раньше пил, а теперь бросил, то будешь, ненавидеть тех, кто продолжает пить.

Розенберг, обменявшись с Мацерой несколькими фразами, принялся вместе с шофером доставать из машины коробки.

- Господа, поможем, - сказал Мацера.

- Ну, вот, опять таскать! - недовольно сказал Михальцов. - Я эти коробки видеть не могу! Одних "лечо" перетаскал тысячи!

В этот момент Розенберг проходил с увесистой коробкой мимо Михальцова, который особенно был противен Розенбергу. Розенберг даже пошел крюком, чтобы натолкнуться на Михальцова, специально, и незаметно врезал носком крепкого ботинка по щиколотке Михальцову, так что тот взвыл от резкой боли и выронил кейс.

- Ну, ты, придурок! - крикнул Михальцов.

- Давай-давай, работай! - зло бросил Розенберг.

- "Давай" будешь говорить своей жене! Розенберг, полыхая ненавистью, исчез в подъезде.

- Что это за придурок? - спросил Михальцов у Мацеры.

- Да так, один непьющий, - неопределенно махнул рукой Мацера, беря коробку.

- Я ему сделаю! - в сердцах проговорил Михальцов. - Он у меня запьет на месяц!

- Этот не запьет, - сказал Мацера.

Михальцов промолчал, поправил шляпу, вернее подогнул поле этой шляпы себе на глаз, взял коробку и молча последовал за Мацерой. Зеленков по этому поводу заметил:

- Хорошо, видать, поддавал раньше этот...

- Ужас, какие злые трезвенники, - сказал Сукочев.

Спустя полчаса на столе в малой гостиной стояли закуски: сельдь в винном соусе; осетрина заливная; холодное вареное мясо с хреном; курица в студне; салат из огурцов со сметаной; салат из помидоров со сметаной; поросенок заливной; угорь припущенный в вине; пирожки рассыпчатые с мясом; огурчики маринованные; грузди соленые; раковые шейки в голландском соусе; и, конечно, сами раки, отваренные с кореньями!

Слышался приглушенный говор: это гости из Германии на ломаном русском языке объяснялись с Мацерой.

Михальцов, в костюме с галстуком, синяя лицом, вдруг очень громко пропел:

Я люблю тебя, Россия!
Без тебя мне счастья нет!

Зеленков воодушевленно подтянул последнюю строку.

- Мать моя родина, я - большевик! - воскликнул Сукочев, озирая стол.

- А что же за стол-то гости не садятся? - спросил Зеленков у Мацеры, когда тот подошел к ним.

Троица: Зеленков, Михальцов и Сукочев стояли у стола, поблескивая глазами.

Мацера покашлял и как-то смущенно сказал:

- Дело в том, что... Вы должны... как бы втроем выпивать и закусывать...

- Втроем?! - удивился Сукочев, поводя своим длинным носом над столом, как ворона, нацеливающаяся на добычу.

- А они? - кивнул на гостей Михальцов.

- Дело в том, что все это непьющие.

- Первый раз стольких непьющих вижу! - воскликнул Сукочев, останавливая свой взгляд на бутылках, которые кустились с двух сторон просторного стола, покрытого белейшей, крахмальной скатертью, отливающей голубизной.

- Завязали что ли? - спросил Михальцов.

- Навсегда, - сказал понимающий Зеленков и нарочито кашлянул, давая этим понять Михальцову и Сукочеву, чтобы они поменьше вопрошали, иначе выпивка может уплыть.

Михальцов потер руки и первым сел за стол, как будто собирался обедать у себя дома в одиночестве. Сукочев тут же плюх-

нулся рядом, по левую руку, а Зеленков без промедления - по правую. Сукочев в мгновение ока свинтил голову новой "смирновской" и уравнивал в правах три хрустальных фужера, затем аккуратно опустил опустевшую бутылку к ножке стула, на котором сидел. Столь же проворно он открыл "пепси" и налил в три рюмки, которые, разумеется, предназначались для водки.

Они подняли фужеры.

- За встречу! - произнес Михальцов. - И чтоб не последняя!

- За вас, ребята! - сказал Сукочев, несколько напряженно глядя на содержимое фужера.

- Поехали! - сказал Зеленков.

Они выпили и символически закусили.

- По второй? - спросил Михальцов.

Зеленкову хотелось спросить у Мацеры о спонсорах, которые собирались выпивать с ними и которые вроде бы были в лице гостей, но дабы не прерывать хода событий пока не спросил, а ловко подцепил вилкой красной икорки и бросил ее на язык. Аппетит теперь у него был самый настоящий, и он азартно принялся наворачивать все подряд. Особо смачно хрустели панцири горячих раков в его руках.

Сукочев отгонял страхи, хотя после фужера они должны были - и Сукочев знал это наверняка - покинуть его, но пока они собирались покидать его, он несколько раз оглядывался, как бы ища взглядом жену, которая имела особенность всегда появляться в тот момент, когда Сукочев поднимал стакан. Но к счастью, жены здесь не было. И он даже несколько теплых слов мысленно отпустил в ее адрес.

Зеленков поглядывал на Мацеру и видел, что тот был в сильном напряжении.

- Прогресс приводит, конечно, к единству в области знаний, но не к единству человечества, - сказал Зеленков громко, чтобы Мацера слышал, как бы намекая на то, что гости не хотят единения в прогрессе выпивки.

Михальцов шепнул Сукочеву:

- Такая закуска, а есть ничего не хочу. Двое суток ничего не ел и не хочется.

- Захочется, - проговорил Сукочев и осторожно наколот на вилку красный свежий помидор с яйцом, смазанный майонезом. Поднеся помидор ко рту, Сукочев посмотрел на него сначала с

одной стороны, потом с другой, затем зажмурился, положил помидор в рот, но не жевал, а как бы думал, жевать ему или нет. После этого на одной силе воли зажевал и еще одним невероятным усилием той же воли - проглотил. Даже искры из глаз посыпались.

- По второй? - спросил Михальцов.

- Да погоди ты нажираться! - сказал, вытирая слезы, Сукочев.

- Киряли, как сейчас помню, мы с Сукочевым, - заговорил Зеленков. - Было солнечное утро. Бутылку через мясника знакомого взяли. И так нам грустно стало, что решили проветриться. Проветрились на пару литров. Смотрим - едем в ночной электричке. Куда едем, неизвестно. Выходим на первой попавшейся станции. Читаем: "Абрамцево"! Ну, на кой ляд нам это Абрамцево! А ведь, куда-то собирались...

- На богомолье в Загорск, - сказал Сукочев. - Ты все кричал: надо помолиться!

Оживился Михальцов, сказал:

- Это что! Вот я весной... Набухались по горлышко. С ребятами. Они в Питер в командировку ехали. Ну, я на вокзал, провожать. Сели в купе. Поддаем. Я и не заметил, как поезд пошел. Потом эти... контролеры... Я - на полку над входной дверью, за чемоданы спрятался... Ну, просыпаюсь, конечно. Смотрю - никого. Слез я с полки, вышел на платформу, читаю: Хельсинки! Мать твою за ногу, думаю! Хули я в этой Финляндии забыл!

- Чего ты выражаешься! - сказал Сукочев.

- Ладно... Ты слушай дальше. Иду в вокзал, захожу в сортир. Сделал свои дела. Выходить собрался. Смотрю - бумажник на полу. Поднимаю. А там бабки, паспорт чей-то, билеты на самолет. А у меня, как водится, ни копейки не было! А голова само-собой разваливается. Вышел в город Хельсинки. Взял бутылку. Выпил. И что вы думаете? В аэропорт. Паспорт какого-то американца был, как две капли на меня похож...

- Такой же алкаш? - спросил Сукочев.

- Сам ты алкаш! Слушай, Вася! Пропускают в самолет. Короче, долетел я до Нью-Йорка... Вышел в город. Взял бутылку, похмелился. И назад, на родину. Хули я забыл в этой Америке?

- А вот выражаться не обязательно, - сказал Зеленков.

- Сдал находку. Ну, наши ребята, летчики, довели меня до Шереметьева, а потом и выпили вместе. Гости расселись вдаль,

как будто были в зрительном зале, но делали вид, что не замечают пьющих, говорили о чем-то между собой и с Мацерой.

Доев сочного рака, Зеленков вдруг вскочил, выбросил руку вперед, в гостей, и бросил им:

Не то страшит меня, что в полночь,
героя в полночь увезут,
что миром правит сволочь, сволочь.
Но сходит жизнь в неправый суд,
в тоску, в смятение, в ракеты,
в починку маленьких пружин
и оставляет человека
на новой улице чужим!

Спонсоры просияли, а Мацера сказал им:

- Он любит Бродского и Мандельштама.

- О, Бродски нобелевски! - воскликнул белобрысый немец. -
Короши поэт, короши. Мне надо пить хороши поэт!

- Как, вы желаете выпить? - пожал плечами Мацера, полагая,
что спонсоры не пьют.

Михальцов, у которого ушла синева с лица, и оно сияло рубиновыми звездами, моментально налил рюмку, как бы этой рюмкой (ведь, подлец, налил не в фужер!) умаляя роль немцев во всемирном пьянстве, наколот на вилку огурчик поменьше и подбежал к говорившему.

- Я слышу речь знакомой подворотни! - воскликнул Михальцов, передавая рюмку и вилку белобрысому.

Гости податливо заулыбались, а белобрысый так бодро проглотил рюмку и так аппетитно захрустел огурчиком, что все как-то смущенно потянулись к столу. Сели, причем Мацера тоже сел за стол и сразу же налил себе "пепси".

- Я-то думал, вы тоже не пьете! - весело начал он оправдываться, чувствуя все неудобство оттого, что заставил гостей молча наблюдать за выпивающими и закусывающими.

Зеленков с азартом полового бегал вокруг стола, наливал всем и каждому, понимая, что Мацера в своей борьбе за трезвость уж слишком широко шагает, как бы штаны не лопнули, и как бы этим - наливанием быстрым - сглаживая неловкость первых минут.

Розенбергу, который вначале все крутился возле немцев, тоже пришлось сесть за стол, и тоже, как и Мацере, налить себе

детский напиток. А Зеленков ему - в фужер под завязку - водки. Розенберг даже перекосялся от злости.

Заминку быстро преодолели и выпили все, кроме, разумеется, непьющих, под завывание Зеленкова:

Из незнакомой подворотни,
прижавшись к цинковой трубе,
смотри на мокрое барокко
и снова думай о себе.

Белобрысый немец сидел рядом с Сукочевым. Когда немец закусил, Сукочев склонился к его уху и шепнул:

- Могу достать стальные трубы.

Немец минуту соображал, затем так же шепотом спросил:

- Много?

- Сколько хочешь, - дал гарантированный ответ Сукочев и прикрыл в знак надежности будущей сделки глаза.

Немец молча извлек из кармана визитную карточку и протянул Сукочеву. Мацера с некоторым внутренним ужасом наблюдал за этим, поражаясь, как быстро Сукочев вошел в контакт.

В углу гостиной появилась корова с огромными рогами и со столь же огромным выменем. Зеленков первым увидел ее и, чтобы гости не всполошились, побежал в угол и быстро вывел корову в коридор. Пока он, стоя в коридоре, наблюдал, как корова уходит за угол, вышел Мацера, с волнением спросил:

- Ты куда?

- Да вот корову вывел.

- Глюки?

- А что же еще! Но такие реальные! - сказал Зеленков. - Ты же сам знаешь. Впрочем, ты так и не рассказал, как ты завязал.

- Вы что-то темп взяли быстрый. Вырубите быстро. Пойдем, немножко передохнешь, - сказал Мацера, открыл ключом дверь напротив, и они оказались в уютной комнате с книжными шкафами. Сели в мягкие массивные кресла.

V.

- После пожара я два месяца не пил ни грамма, - проговорил Мацера тихо.

- После какого пожара? - спросил Зеленков.

- Мы с тобой не виделись восемь лет, Слава. Как мы распрощались с трестом. Работу я себе никак не мог найти. Да еще развелся, жил у матери. Детей жалко. Жил у матери и пил. Ты куда-то пропал.

Зеленков оживленно заметил:

- Отец меня тогда крепко зажал. Я не пил где-то месяцев пять. Но это особый разговор. Продолжай.

- Никак себе не мог найти работу. Вроде бы уже все, договориюсь с кем-нибудь, иду устраиваться, а мать рубль даст, и... в магазин сворачиваю. Выпью на троих - и понеслось! Один раз до такой степени напился, что меня с инфарктом имени Миокарда в Боткинскую отправили. Вообще, ты знаешь, в больнице очень хорошо на завязку становиться. Вколют что-нибудь, спишь себе, успокаиваешься, проснешься, солнышко светит в окно, кашку несут. Молочка дадут. Капельницу поставят. Сосед по палате - главный инженер одного завода. Тоже наш брат - по-черному пил и тоже, как и я, с инфарктом загремел. Когда читать уже не было сил, а книги в больнице щелкаются только так, вели с ним беседы на самые темные темы: по сколько выпивал, сколько длился самый долгий запой, как выходил из штопора и так далее. А я все стеснялся говорить, что я безработный. Ему-то хорошо, на заводе, как он говорил, у него своя атмосфера. Ну, он и сказал, что у него должность пожарника есть и оклад неплохой. Надо заметить, что он и я, пока лежали, слово дали друг другу больше не пить. Он даже хотел после Боткинской пройти курс антиалкогольного лечения, закодироваться, или еще что-то там сделать, ну, чтобы не пить и точка! Время пролетело. Устроился я пожарником...

- Каску дали? - вклинился Зеленков.

- Дали... Не простым пожарником устроился, а главным. У меня еще два подчиненных. Нормальные люди, не пьют, не курят. Есть такие индивиды, выходцы из деревень. Сидят и все что-то мастерят. Бог с ними. Я рад за себя, месяц не пью, второй не пью. Настроение великолепное, какое-то спортивное. На даче у матери весь участок перекопал. А на работе - обложусь книгами, пишу. О Фихте. А тут еще мать познакомила со своей сослуживицей, разведенной, но хорошей такой, правда, на десять лет меня моложе. И тут! Сажу один раз, пишу о Фихте, дверь со стуком от-

летает и вваливается главный инженер с песней: “Широка страна моя родная!”. Дальше этот эпизод рассказывать не буду. Короче, понеслось! Пьем с ним каждый день на работе. Причем, нас никто не осуждает. Наоборот, один день с нами директор посидел, второй - начальник производственного отдела, третий - заводделом сбыта и так далее. Я уже и домой перестал ходить, ночью в кабинете. Мать звонит, а я ей говорю, что ночи теперь заставляют дежурить, чтобы чего не случилось. И вот загорелся наш заводик. Бочки с растворителем и красками вместе с готовой продукцией стояли. Взрывы, Пламя до звезд! А у меня все огнетушители декоративные. Шланги рваные. Я только как безумный бегал туда-сюда, а потом и бегать перестал, стою и очумело на пожар смотрю, на эти адские языки. Ни позвонить, ничего не догадался сделать. Как догадаешься, когда полтора месяца кочегарил? Я откровенно скажу - в сам пожар-то не поверил, думаю - это глюки, как твоя корова!

- Корова, корова была! - вставил Зеленков.

- Смотрю на пламя, а сам думаю, как бы похмелиться.

- Да-а! - протяжно посочувствовал Зеленков, трезвея от достаточности выпитого и от рассказа Мацеры.

- Тут настоящие пожарники приезжают на своих сумасшедших красных машинах с выдвигаемыми лестницами, с брандспойтами. Следом - милиция, прокуратура. Меня с собой. Натерпелся я страхов! И в тот же день закосил, лег в Кашенко, через пару месяцев вышел инвалидом второй группы. Прокуратура отстала. Трудовую книжку с завода отдали. Что делать, ума ни приложу! Мать пилит. Ходил, ходил, присел на, бульваре у памятника Грибоедову. “Горе от ума” вспоминаю. Сижу в такой страшной тоске, что белый день не мил! И всё кажется, что кто-то сейчас подойдет и заберет меня. Страхи мучают! Смотрю, идут две женщины, в спецовках, кладут на скамейку рядом со мной огромные ножницы. Отдохнуть сели. Я молча взял ножницы и, чтобы отключиться от тоски, стал стричь кусты. “Ровнее!” - кричат, заливаясь от смеха, женщины. Я увлекся. Стригу, и так это ровно у меня получается. А женщины хохочут, у одной только зуб золотой поблескивает. А погода, надо сказать, в тот день замечательная была - тепло, солнечно, весенний дух! Тут и женщины стали постригать кусты. Потом пригласили к себе в подвал в переулке. На столе - батарея портвейну! У меня даже сердце сжалось. А

убегать - стыдно. Умом понимаю, что бежать мне из этого чертога подвала нужно, а не могу. Как гвоздями прибили к полу. Наливают. Я поднял стакан, закрыл глаза, мысленно перекрестился и выпил. Здесь я должен заметить, что после длительного перерыва я испытал нечто вроде блаженства, какой-то сладкий флер. Потом - еще стакан, третий, пятый. Потом очнулся: у меня на коленях сидит та, с золотым зубом. Потом она на лавку легла и оголила полные ноги. И вот в этот момент я ясно понял, что если сейчас, сию же минуту не убегу, то я погиб навсегда. Так меня эта мысль обожгла, что я спрыгнул с полных ног, схватил одежду и голым выскочил в переулок... И вот с тех самых пор не пью.

- И не пей! - с горячностью крикнул Зеленков и стукнул себя кулаком по колену.

- Со времени завязки я проповедую философию собственно-го производства, - сказал Мацера.

- Какую же?

- Практическую философию своего личного поведения, без предикатов, без объектов и субъектов.

- Это интересно!

- Практическая философия кардинально отличается от теоретической. Фантастические теории - для алкоголиков и гениев. Практическая философия - для таких, как я.

- Значит, ты сразу себя вычеркиваешь из гениев?

- Вычеркиваю. Потому что гениями мы называем покойников. У них уже все сложилось, книга захлопнута. Можно подводить итоги. Если по результатам моей практической философии и после моей смерти меня назовут гением, я не обижусь!

- А из алкоголиков ты себя тоже вычеркнул?

- Вычеркнул.

- А если опять запьешь?

- Страшный вопрос ты задаешь, Слава. Я вот сижу с тобой, ты выпиваешь, а мне почему-то страшно, как будто я сам пью. Понимаешь, кто хоть раз испытал в жизни запой, тот поймет меня.

- Игорь, я тебя понимаю!

- Меня все время гложет эта мысль, что вот я сорвусь. Даже в эту минуту, сидя с тобой, меня не покидает эта страшная мысль. Она в той или иной мере всюду преследует меня. Эта навязчивая идея! Завишу от какой-то жидкости! Я же не химический завод! Хотя человек - стопроцентный химический завод, перерабатыва-

ет простые и сложные элементы, и генерирует духовность. Какая-то химическая любовь и ненависть. И люди-то смешиваются и сплавляются химическим путем. Природа - человек - идеал. Вот смысл работы химзавода.

Зеленков вздохнул, затем сказал:

- Ну ладно, молодец, пошли в компанию... Что-то выпить захотелось!

- Паразит же ты, Славка! - воскликнул Мацера и вдруг спросил: - Твой этот Сукочев действительно трубы может достать?

- Да он тебе ползавода достанет.

- Да?

Вышли в коридор. Мацера закрыл дверь на ключ.

VI.

А из малой гостиной послышался душераздирающий крик. Мацера с Зеленковым кинулись туда. А там произошло вот что. Когда Зеленков повел корову в коридор, а Мацера вышел следом, Михальцов сосредоточил свое внимание на Розенберге. Следил за ним и следил. Даже закусывать перестал. Минут через десять тихой сапой подобрался к нему сзади и влил ему в глотку из горла граммов сто водки. Это произошло столь внезапно, что кроме крика, последовавшего за тем, как водка попала уже в желудок, Розенберг ничего поделать не мог. Побелевшие гости в ужасе смотрели на беднягу. Михальцов, посвистывая, расстегнул пиджак и заложил руки по-ленински за вырезы жилетки. Грассируя, воскликнул:

- Пгавильной догогой идете, товагищи!

Затем сел на место и тут же выпил.

Розенберг через минуту более или менее пришел в себя, если можно назвать приходом в себя действие хмеля, потянулся рукой за помидором, чтобы мстительно запустить им в Михальцова, но рука сама, против воли Розенберга ухватила фужер с водкой и использовала его по назначению, к ужасу неверия Мацеры в происходящее. Зеленков удовлетворенно потер руки.

- Куда ты пропал? - спросил у него Сукочев.

- Да Мацера бриллианты показывал, - небрежно сказал Зеленков.

- И много?

- Встань-ка, - попросил его Зеленков.

Сукочев поднялся. Зеленков, смерив его взглядом, сказал:

- Точно. Именно такой высоты у него сейф. И, представляешь, весь набит этими самыми бриллиантами.

- Не может быть!

- Попроси, он покажет, - сказал Зеленков.

Но Сукочев обращаться к Мацере не стал, он лишь обвел стол своим вороньим взглядом и спросил:

- У всех налито?

Выпили. Закусили.

Сукочев, цыкнув зубом, запел:

Хорошо на московском просторе...

С другого конца стола Розенберг подтянул:

Светят звезды Кремля вдалеке...

- Ну, вот, затянули мою любимую песню, - обиделся Зеленков.

А Мацера, сохраняя спокойствие, подошел к Михальцову, виновнику пения Розенберга, и прошептал:

- Давай отсюда!

- "Давай" будешь говорить своей жене!

Мацера просто ущипнул его за бок от бессилия, и отошел.

Михальцов, сказав: "Ой!", стал уписывать заливного поросенка. Причем блюдо он придвинул к себе, чтобы кто еще не покувился на поросенка, и ел руками, крикая и облизывая пальцы. Он так увлекся, что Зеленкову пришлось сделать ему замечание перед тостом:

- Ты что сюда закусывать пришел?!

Михальцов мигом поднял фужер.

Зеленков сказал:

- Выпивка - это движение. Выпивая в течение многих тысячелетий, человечество освоило земную поверхность, кроме полярных снегов. Но и там сидят люди. Так выпьем же за тех, кто сидит на полярных снегах, чтобы им стало теплее оттого, что мы их помним!

Выпили.

Сукочев, заразившись аппетитом Михальцова, придвинул к себе плошку с угрем, припущенным в вине, и, не отвлекаясь по пустякам, съел все ее содержимое.

Зеленков задумчиво нажимал на раков.

Михальцов, ни к кому особо не обращаясь, довольно-таки громко спросил:

- Партию "лечо" никто не купит?

Ответа не последовало.

Тогда Михальцов запел:

Мы за мир! И песню эту
Понесем, друзья, по свету.
Пусть она в сердцах людей звучит:
Смелей, вперед за мир!
Не бывать войне-пожару,
Не пылать земному шару!
Наша воля тверже, чем гранит...

Он не заметил, как сзади к нему подошел, слегка покачиваясь, Розенберг. Едва закончился куплет, Розенберг обнял Михальцова и принялся целовать его, приговаривая:

- Спасибо, друг! Ты пробудил во мне вторую натуру. Она спала. Вернее, она была мертва. Но ты ее воскресил. Давай споем эту, - и Розенберг затянул:

По диким степям Забайкалья,
Где золото роют в горах,
Бродяга, судьбу проклиная,
Тащился с сумой на плечах.

У Розенберга был явный слух и неплохой тенор, чем-то напоминавший голос знаменитого Бунчикова.

VII.

- Более крупные раки лучше, их мясо вкуснее, - сказал Сукочев белобрысому немцу по фамилии Цимке. Фамилию он запомнил по визитной карточке. - Ты, Цимке, не стесняйся, у нас тут по-простому. Бери вон того здорового рака! Я тебе говорю. Ты сам-то ловил когда-нибудь раков?

- Нет, - сказал смеющийся, набирающий форму бизнесмен Цимке и взял того рака, на которого указал ему Сукочев.

- Во, молодец! А то привыкли вы там в своей Германии ничего не есть, не пить. Я тебе вот что еще скажу. Раки наших рек и озер вкуснее, чем ваши раки. У вас там не раки, а блохи!

Цимке хотел что-то возразить, но Сукочев сказал далее:

- Ты сидишь? Сиди! И слушай, что тебе старшие товарищи по партии говорят. Для варки следует брать только живых раков. Если шейка вареного рака согнута, как вот у твоего, то это значит, что он варился живым. Если же она прямая, то он был сварен неживым. Наматывай на ус!

- У меня не имей ус, - возразил Цимке.

- Это - к слову. Живых раков хорошо обмыть холодной водой, чтобы на них не осталось ила. Знаешь, Цимке, в трусах лезешь в воду, дрожишь, но знаешь, сейчас корзинку раков вытащишь. Тащишь на берег, они черные, все в иле! Так вот для начала их нужно помыть бережно, ну, чтобы клешню не сломать или ногу. А костер уже, знаешь, так это в небо рвется. Сине-красное пламя котел шпарит, вода кипит. Вот тут-то их и нужно по одному кидать в бурлящую подсоленную воду, добавить перец, лаврушку, корешки петрушки и укропа. Можно для мягкости морковку бросить. Котел я обычно закрываю крышкой и варю раков минут десять, не больше. Они тут красными уже становятся.

У Цимке от белого вкусного мяса и от рассказа Сукочева текла слюна.

- А то еще во время варки можно добавить стакан красного вина. Да-а, - протяжно вздохнул Сукочев, которому виделась река в деревне, где он каждое лето жил в отпуске в собственной избе, которую купил в 1976 году за двести рублей. Ездил в деревню на своих "Жигулях", которые купила жена, повар ресторана "Отдых".

- Корошо живете, - сказал Цимке. - Раков кушать Германия дорого!

- А у вас все дорого, что самому можно сделать, - твердо сказал Сукочев, который прошлой весной ездил с женой в Германию в туристической группе. - У вас и картошка как деликатес! А у меня в деревне, елки, полон погреб! Вон, на Новый год съездил, четыре мешка привез! Отборная. Бесплатно. Люблю в земле покопаться!

Цимке внимательно посмотрел на длинный нос Сукочева и осторожно, чтобы, видимо, не обидеть, спросил:

- Зачем ты алкаш тогда, если сам картошка и рак делаешь?

Сукочев был поражен этим, как ему показалось, нелепым вопросом. Он откинулся к спинке стула, а рака, который был у него в руке, поднял как готовый к бою фужер.

- Кто тебе сказал, что я алкаш?

Цимке шепнул на ухо:

- Господин Мацера.

Сукочев сразу успокоился и принялся разделять рака: с лапок и шейки удалил скорлупу, затем, бросив в рот белую сочную, пахнущую кореньями, мякоть, сказал:

- Не бери в голову. Он больной человек. Его жалеть нужно. Играется! Пусть себе играется в трезвость... А то, вот я еще как раков приготавливал. Купил литров десять пива. И тоже у реки, на костре. Ты знаешь, Цимке, что такое выпить и закусить раками у реки? Нет, ты не знаешь, что такое раки у реки! Ну, сначала я немножко воды в котел наливаю. Костер шарашит! Вода кипит, я туда корешков для аромата. Потом наливаю литра два пива и жду, когда все это закипит. И уж потом кладу туда раков... Можно и в квасе раков варить.

- О, русски квас! - весело закивал головой Цимке, нетерпеливо глядя на свою пустую рюмку. Ему очень хотелось выпить, а Сукочев все молотил про своих раков.

- А то еще, знаешь, Цимке, - продолжил Сукочев, - положу горячих раков в таз, из котла так это их шумовкой аккуратно вынимаешь и укладываешь в таз, а потом заливаешь светлым сухим вином. О! Это, геноссе Цимке, бывает только в конце мая, у реки, соловьи надрываются, цветет все кругом, травами пахнет...

- Ты короши поэт раков! - воскликнул Цимке и хотел попросить Сукочева напиток, поскольку сам стеснялся Мацера, который изредка с дальнего угла бросал подозрительные взгляды в их сторону.

Сукочев был польщен этим комплиментом и сказал:

- Да какой я к черту поэт! Я простой русский мужик - люблю лес, люблю реку, люблю покушать как следует, люблю хорошо выпить, люблю повкалывать, чтобы поясница гудела, но... На себя повкалывать! Жизнь я люблю и не унываю. Конечно, плохо сегодня утром было. Вчера с тестем лишку выпили. Но я бы пе-

ремучился, а тут Славка прилетает с этим, - Сукочев кивнул на Мацеру и шепотом добавил, - больным человеком. У нас как на Руси? Кто не пьет - тот больной! Вот и все. Может, и я когда заболел, хотя избави бог, а пока здоров. Давай, Цимке, выпьем с тобой за русскую природу!

Сукочев отыскал глазами полную бутылку, скрутил с нее пробку и, прежде чем налить, крикнул:

- Зеленков!

Зеленков же сидел, чуть отодвинувшись от стола, положив ногу на ногу, курил трубку, которую ему предложил сосед-немец, и что-то очень задумчиво, с видом профессора говорил. Сукочев, остановив бутылку над рюмкой геноссе Цимке, но, не наливая, прислушался. Зеленков говорил:

- От отца мне осталась квартира в сто пятьдесят метров на Фрунзенской набережной. Вы можете себе представить такую квартиру с видом на Нескучный сад?

- Нет, - ответил сосед-немец, заинтересованно слушая.

- Так вот, хожу я один по квартире, по пяти комнатам и думаю о безразличии объекта к субъекту. Хожу-хожу, потом сажусь в машину и еду на дачу. Дача тоже от отца осталась... Машина, впрочем, тоже. Дача в сосновом лесу. Старик-повар там живет. От отца остался. Со времен войны прижился. И вот он мне готовит баранину. Ну, вы, наверное, знаете, что наилучшим является мясо овец в возрасте до двух лет, так как оно достаточно мягкое, а бараний жир растапливается при более низкой температуре, и поэтому человеческий организм лучше его усваивает. Чем жирнее баранина, тем она считается лучшего качества. Корейка и задняя нога используются для жарения. Лопатка, грудинка и пашина - для варки, тушения, для блюд из рубленого мяса, а иногда и для жарения. Шашлык я не люблю.

Сосед-немец с некоторой долей нетерпения поглядывал на свою пустую рюмку, но не перебивал собеседника, ожидая, когда он закончит мысль.

- Шашлык горячий хорошо! - все-таки вставил сосед-немец.

- Повторяю, я не люблю шашлык. Мой повар делает мне баранину так. Обмытую, осушенную баранью грудинку или лопатку он разрезает на куски, посыпает солью, перцем, обваливает в муке и со всех сторон обжаривает на жире. Очищенные и нарезанные морковь, лук, петрушку поджаривает вместе с мясом. Затем

все это кладет в большую кастрюлю для тушения, заливает жиром, на котором все жарилось, и бульоном. К концу тушения еще подсаливает и добавляет сметану. Потом из тушеного мяса удаляет кости и режет мясо ломтиками. Затем аккуратно укладывает их на блюдо один на другой и заливает соком, в котором баранина тушилась. Рядом кладет тушеную свеклу, капусту или вареный картофель. Прелесть, а не блюдо! - закончил Зеленков, нашел глазами Сукочева и спросил: - Вызывали?

- На-аливай! - отдал команду Сукочев и налил Цимке и себе.

- Ну, ты, придурок! - обиделся Михальцов, очнувшийся от дремы. - А мне?

Сукочев молча налил Михальцову. В торжественном молчании выпили.

- Кто тут все про горячее говорил? - выдохнув после водки, спросил Михальцов.

- Да это я раков на реке вспоминал, - мечтательно сказал Сукочев.

- А я - тушеную баранину на даче, - сказал Зеленков.

- Повар у тебя великолепный! - похвалил Михальцов, оживляясь. - Помню, однажды забурились к тебе на дачу! Неделю пили и закусывали горячей бараниной. Но я, откровенно, баранину не люблю. То ли дело - гусь!

Вдруг Мацера нервно вскочил из-за стола и вскричал:

- Да будет вам горячее, будет! - и выбежал из гостиной.

- Чего это он дергается? - спросил Сукочев, поводя по сторонам длинным носом.

- Чего он нервничает? - спросил Михальцов. - Сам пригласил, а теперь нервничает.

- Обидно ему, - задумчиво проговорил Зеленков. - Вы должны понимать. Все пьют, а он не может. Один трезвый.

- Лучше б он ушел тогда от греха, - сказал Михальцов сочувственно. - Я сам не люблю трезвым с пьяными сидеть.

- Бывает и такое? - шутливо спросил Сукочев.

- Бывает, - сказал Михальцов, - когда жена на садовый участок увозит. Шесть соток у нас под Дмитровом. Канал рядом. Хорошо. А жена у меня - деревенская. Разводит летом кур, уток, гусей. Я траву им кошу. Вообще, надо заметить, я очень люблю косить. Встанешь часиков в пять, солнышко над горизонтом поднимается. Из-за леска. Лесок там у нас замечательный. Умываюсь и

иду с косой на опушку. Благодать. А в субботу она гуся готовит. Надо сказать, она прекрасно готовит. Я плиту газовую в кухне на даче поставил, кухню сам пристроил за неделю!

- Мастер! - рассмеялся Зеленков.

- А чего? Хули такого!

- Можно не выражаться? - сказал Зеленков.

- Пардон. Газовые баллоны заправляю в Москве и на своем "Запорожце" на дачу. Так вот она гуся в духовке готовит. Мне - четвертинка как штык. Сам в сельпо бегаю. А ей - красенького... Жена отваривает сначала рассыпчатую перловую кашу, добавляет нарезанные и поджаренные на масле лук и вареные грибы... Грибов я набираю корзинами! Под Талдом ездим. Ну, кладет еще там петрушку, укроп, все перемешивает и разбавляет грибным отваром. А я в это время уж выпотрошу гуся, обмою, осушу и удалю кости, только кости бедрышек и Крылышек оставляю. Она начиняет гуся, зашивает и - в горячую духовку. Еда, я вам скажу!

- А ты - алкоголик? - спросил сосед-немец, наклоняясь к Михальцову через Зеленкова.

- Какой же я алкоголик! - рассмеялся Михальцов. - Я простой советский пьяница. Алкоголики - больные люди. Я им сочувствую.

- Закусок - полон стол, а мы все про горячее! - воскликнул Зеленков, сооружая бутерброд из осетрины, кеты, черной икры и балыка. Причем все это он укладывал на тоненький кусочек белого хлеба слоями, смазывая каждый слой сливочным маслом.

- Горячего хотса! - сказал Михальцов и намазал горчицей кружочек свиного филейчика.

- Да, неплохо бы сейчас горячего, - согласился Сукочев. - Русский мужик не может без горячего. Это алкоголики ничего не едят. А тут пока горячего не поешь, полный кайф не поймашь!

- Давайте выпьем! - предложил Зеленков.

Налили, подняли.

- Выпьем за мир! - произнес Зеленков.

- Мир наживы и капитала? - спросил Михальцов.

- Мир равенства в нищете? - спросил Сукочев.

- За мир, который вращается вокруг солнца, - пояснил Зеленков. - Чтобы он не сошел с орбиты!

- Эх, хватил! - воскликнул Михальцов. - Лучше выпьем за нас и за текущий момент!

- Отвечу философски, - сказал Зеленков, притормозив фужер, который было приставил к губам. - Там где я был, меня нет, и где буду, меня тоже нет, я есть только здесь и сейчас, когда работает видеокамера глаз, микрофон слуха, когда идет прямая трансляция жизни, когда работает компьютер мозга, в который вставлена дискета программы собственной жизни, зашифрованная генами. Мне страшно признать, но я признаю, что человек - это всего лишь биологический компьютер, доставленный на Землю для каких-то высших, а может быть, и низших, не доступных человеку целей, поскольку человек - лишь средство в осуществлении какой-то грандиозной программы высшего существа, создающего что-то свое, надмирное, существа, для которого время-вечность равно какой-то доле секунды, а пространство нашей солнечной системы всего лишь атом гигантской ДНК!

- Ну и что? - спросил Михальцов.

- Ну и пусть! - сказал Сукочев.

- Короши, глубоко мысли! - сказал сосредоточенно Цимке.

- Но тупая сила жизни, - продолжил Зеленков, поглядывая то на многоэтажный бутерброд, то на фужер, - не взирая на многодумные сентенции насчет ее бессмысленности, прёт упрямо, выпирает самое из себя, омастрившись до бесконечности, и трудно даже в уме представить этот процесс остановленным. Новый матреш, недавно вылезший из матрешки, говорит: "Я буду танкистом!" Он не понимает, что быть танкистом - это значит быть потенциальным убийцей, поскольку армия - это то, что должно убивать, и при этом как можно совершеннее...

- У него отец был генералом-полковником, - сказал Михальцов соседу-немцу.

Зеленков продолжал:

- В ВПК, говорят, умы! Сахаров, Харитон, Курчатова! Да кто это такие? Модернизаторы средств уничтожения матрешей и матрешек? О!

- Так мы выпьем когда-нибудь? - спросил Сукочев.

- За мир! - крикнул Зеленков и опрокинул фужер. Застучали вилки по тарелкам.

- Так кто же такой алкаш?! - вдруг выкрикнул Цимке.

- Как бы тебе сказать, - начал Сукочев задумчиво, и косо, повороньи, уставился на Цимке. - Это тот, на кого ты думаешь, что он алкаш. То есть термин "алкоголик" относится к кому-то друго-

му, но не к самому себе. Это великая загадка. Смотришь, лежит под забором сосед, поднимешь его, приведешь домой, а утром он идет, пусть и дрожит, но идет трезвый на работу. Кто он? Алкоголик или Гамлет? Так что, друг Цимке, слово "алкоголик" - оскорбительное слово в русском языке. И тот, кто его употребляет, тот маловоспитанный человек. Воспитанный человек никогда не говорит - "алкоголик" кому-то. Воспитанный человек может подшутить над выпившим, потому что знает, что сам таким бывает. Потому что, как вон Славка сказал, все мы компьютеры, то есть - одинаковые.

В разговор вмешался Михальцов:

- Алкоголик сам не может завязать, а мы - можем! Ну, не в любую минуту, но можем. Сами! Всему свое время. Вот тебе, - обратился он к соседу-немцу, - я сейчас скажу: "Завязывай!", так ты обидишься! Обидишься?

- Сейчас выпить корошо! - отозвался тот с улыбкой.

- Я об этом и толкую! - воскликнул Михальцов.

- Правильно, - поддержал Зеленков. - Всему свой черед. Выпиваем и закусуваем все вместе. Превосходно! Ну, кто-то еще денька два-три попьет, кто-то недельку, но завяжет. Потому что мы уж такие люди - не любим однообразия. А ведь постоянная выпивка - это тоже однообразие. Как и постоянная трезвость. Чтобы признать себя биологическим компьютером, нужно напиться до положения риз! Человек должен во что-то верить. Вот некоторые и верят в трезвость, что она им даст что-то такое прекрасное. Но если ты бездарен, что она тебе даст? Ничего, так бездарностью и отойдешь в вечность! Так, спрашиваю, зачем же влачить бездарное существование без эмоционального подъема с фужером в руке? Поэтому, мне кажется, человек живет не верой, а иллюзорным представлением об этой вере. А мы живем не иллюзорно, а полной грудью! И наши иллюзии становятся реальностью!

- У нас Германия алкоголик лечат, они к врачам ходят, - заметил между прочим Цимке.

- А у нас что, нет таких придурков, что ли? - сказал с новым пафосом Михальцов. - Внушают сами себе болезнь - и к врачу. Делать нечего, вот и прислушиваются к себе: ой, сердце! ой, почки! ой, печень! Особенно в этом преуспевают женщины. Да не болезнь, а бюллетень им нужен! Это кто в госсекторе работа-

ет. А в частных фирмах теперь, смотрю, перестали болеть! Я, вон, три года в фирме шарашу, и, что вы думаете, пропустил хотя бы один день? Нет, нет и нет! Плохо мне, допустим, а я иду на работу. Похмелюсь, а иду. И делаю работу, товар принимаю, товар отпускаю, все по накладным. И знаю, где добыть товар, и где сбыть его!

- У нас ползавода сейчас бюллетенит, - вставил свое слово Сукочев. - Зарплата такая, что скоро весь завод забюллетенит! А почему? А потому что придурки, как вон Михальцов говорит, заводом управляют. Административный корпус за валюту сдали и в ус не дуют! А товар у нас ходовой есть. Но его надо продать. А они из кабинетов выйти не могут, задница к креслам прилипла. А чего им выходить. Денег - полны карманы. А о ближнем - бог подумает! Ближние же ни черта не умеют и ничего не соображают. Думают, что приватизация им какой-то доход даст. Я им, придуркам, объясняю, что приватизация - это всего лишь прекращение государственного финансирования, а они... Ходят как бараны, да правительство ругают!

- Ну, а ты-то что сам? - вдруг спросил Михальцов.

- Что я? Жду, присматриваюсь. Это тебе не табачный киоск, это - завод! Сразу не сдвинешь. Я уже придумал кое-что. Вон, может, Цимке поможет?

- Помогай, трубы Германия нужна! - категорически подтвердил Цимке.

- Ну, вот видишь! - воскликнул Сукочев. - Язык до Германии доведет! Делом нужно заниматься, делом. У нас этих труб - весь двор завален! А эти, как бараны, повторяю, политику обсуждают!

Зеленков на этот счет заметил:

- Да, наши люди слепо бросились в какой-то политический психоз. Они недовольны своим существованием и обвиняют обстоятельства, в которых ищут единственную причину, вместо того, чтобы искать ее в себе самих. В них действует инстинкт ненависти. А ты сам себе задай вопрос: что ты-то умеешь делать в этой жизни? Что? Когда поймешь, что ты умеешь делать, сделай и продай! Получи деньги и делай дальше...

- Не дадут, - сказал Сукочев.

- Кто? - спросил Зеленков.

- Теоретики чужой казны, - сказал Сукочев. - Задавят налогами...

Здесь поднялось какое-то оживление на противоположном конце стола. Это Розенберг откинул стул, на котором сидел, забрался на стол и, сшибая закуски и бутылки, начал на нем плясать с подвыванием:

Ходили мы походами
В далекие моря,
У берега французского
Бросали якоря.
Бывали мы в Италии,
Где воздух голубой,
И там глаза матросские
Туманились тоской...

Изумленные гости оторопели. Но не оторопели наши люди: Зеленков, Михальцов и Сукочев. Они вместе с Розенбергом, долбившим стол каблуками твердых ботинок, грянули припев:

Помним наши рощи золотые,
Помним степи, горы, берега.
Милый край, Советская Россия, -
Ты морскому сердцу дорога!

Дверь открылась. Мацера остолбенел на пороге. Но его отодвинули от входа красивые женщины-сотрудницы с подносами в руках.

То было горячее: индейка, тушенная с белыми грибами.

VIII.

Удивление перед тайной является само по себе способом познания, поэтому несколько таинственным выглядел разговор Мацеры с Зеленковым, Михальцовым и Сукочевым после того, как немцы откланялись и удалились. Суть этой тайны началась с того, что Мацера отсчитал каждому из присутствующих по двести долларов.

- Благодарю за сотрудничество, - говорил он то Зеленкову, то Михальцову, то Сукочеву, вручая означенную сумму и пожимая им руки.

До этого все трое помогли Мацере отправить в одну из комнат Розенберга, которому стало плохо, после того как он принялся сосать водку прямо из горла, и над которым начал колдовать внезапно появившийся молодой человек в белом халате.

Самую же сердцевину тайны Мацера сформулировал следующим образом:

- Это первая и последняя ваша зарплата за пьянку. За появление в трезвом виде буду для начала платить по пятьсот...

- Долларов! - закончил Зеленков.

- Именно! - подтвердил Мацера, поправляя очки в золотой оправе и оглядывая поочередно то Михальцова, то Сукочева, то в достаточной мере посвященного в деятельность Мацеры Зеленкова.

Михальцов, лицо которого теперь было нормального цвета, вскричал:

- Ну, ты, Игоряха, даешь! Деньги что ли некуда девать?!

Мацера приставил палец к губам и прошептал:

- Тихо.

- Понял, - сказал Михальцов и оглянулся, не подслушивает ли кто.

Но в гостиной никого не было, и стояла тишина, изредка нарушаемая грохотами проезжающих трамваев, приглушенными грохотами.

- Что за времена! - воскликнул Сукочев.

- Что за нравы! - поддержал Зеленков.

- Есть же люди на свете! - выдохнул Михальцов.

- А я-то с утра бутылку разгрохал! - вспомнил Зеленков.

- Чего? - удивился Михальцов.

- "Смирновскую", - сказал Зеленков. - Прямо в магазине.

- Давно проехали, - сказал Мацера.

Стол по-прежнему был полон яств и выпивки.

- Только я никак не врублюсь, что же от нас требуется? - спросил Сукочев, раздумывая - пропустить ему еще водки или нет.

Роль консультанта взял на себя Зеленков.

- В общем, вы мужики понимающие, - начал он. - Тут дело, конечно, философского звучания. И я этим звучанием проникся. Короче, хотите заниматься настоящим бизнесом?

- Я уже занимаюсь - "лечо" толкаю! - сказал Михальцов.

- Ладно тебе со своими банками! Давай - о деле!

- “Давай” будешь говорить своей жене!

- Слава богу, у меня ее шестой год нету, - сказал Зеленков.

- Ты развелся? - спросил Мацера.

- Развелся! Разве можно с такой дурой жить! Испилила, перепилила всего! - сказал Зеленков и продолжил, обращаясь к Михальцову: - Тебе говорят, что настоящим бизнесом! Настоящим!

- Кто ж этого не хочет, - прошептал Михальцов.

- А что за бизнес-то? - так же шепотом спросил Сукочев.

Зеленков горящим взглядом посмотрел на друзей и тише прежнего сказал:

- Не пить.

Михальцов от неожиданности вытянул губы, как утенок, а Сукочев недоуменно спросил:

- Как не пить?

- Так, - сказал Зеленков.

- Не пить - это ладно, - вроде согласился Сукочев. - Бывает. А что еще-то?

- Ни-че-го, - сказал Зеленков.

Зависла тягостная пауза.

На лицах Михальцова и Сукочева отобразился явный испуг.

Они как бы погрузились в самих себя, мгновенно прощупали всю свою жизнь. Каждое переживаемое чувство требует сосредоточенности. Поэтому после выражения испуга на их лицах появилась мина глубокой задумчивости. Новое условие жизни, обстановка, место действия, время заставляют человека приспособляться. Но как приспособиться к мысли: “Не пить”, если ты всю жизнь занимался только тем, что пил? Конечно, ты еще что-то делал в жизни, но это “что-то” было как бы второстепенным, не главным, а в главное выдвигалось, как это ни горько, - питье! Вросло в тебя, вжилось!

Первым из задумчивости вышел Михальцов.

- Проблема, - сказал он.

- Да, еще какая! - сказал Сукочев.

- Жена меня за это не похвалит, - сказал Михальцов.

- В смысле, что поддавать перестанешь? - спросил Зеленков.

- Ну да! - сказал Михальцов. - Куда она будет направлять всю свою энергию?

Он положил руки на стол и опустил на них голову.

Сукочев закурил сигарету.

Какое-то время прошло в молчании. На улице проехал трамвай. Михальцов поднял голову и спросил у Зеленкова:

- Ну, а ты-то как?

- Думаю, придется этим бизнесом заняться, - быстро ответил он. Мацера как бы со стороны наблюдал за происходящим.

- Так это я со скуки подохну! - усмехнулся Сукочев, пуская клубы дыма в потолок. - Не пить, быть трезвым, ничего не делать - это ж удавиться можно.

- Вот и я о том же думаю, - сказал Михальцов и взглянул на часы. - Однако пора и домой, кино смотреть.

- Успеешь ты со своим телевизором! - окоротил его Зеленков.

- Тут такие дела, а он - кино!

- Бернес играет, - сказал Михальцов.

- Ну и что?

- "Два бойца", - сказал Михальцов и запел:

Темная ночь... Только пули свистят по степи...

- Да сколько это можно раз смотреть! - сказал Сукочев.

- Могу смотреть бесконечно, - сказал Михальцов. - Потому что люблю бессодержательное искусство. Мне не надо никакого сюжета. Так это все туманно. Но чтобы в кадре был Кремль. Эдак вид с набережной. Идет красивый офицер, с ним девушка в белом платье. И больше ничего. Но чтобы музыка звучала, типа - "Все стало вокруг голубым и зеленым...".

- Придурок ты какой-то! - сказал Зеленков. - Тут такие дела, а он - "Все стало вокруг голубым и зеленым"! Тут как рыба об лед, а он - кино! Ей богу, придурок!

- Сам ты придурок! - огрызнулся тихо Михальцов.

- Ладно, давай по делу, - сказал Зеленков.

- "Давай" будешь говорить своей жене! - в который уж раз сказал Михальцов.

- Достал этой женой! - возмутился Сукочев. - Мозги пропил, вот и говоришь штампами!

Михальцов пропустил это замечание мимо ушей и сказал:

- Я вряд ли сам завяжу.

- Значит, ты алкоголик, - резюмировал Сукочев.

Михальцов провел растопыренными пальцами по волосам, поднял взгляд на яркую люстру и, приставив ладонь козырьком ко лбу, сказал:

- Сам ты алкоголик! О себе говори. Бери и завязывай сам, - помолчал и добавил: - Тогда посмотрим, кто из нас алкоголик.

- Силы воли нет?

- Последняя сила ушла, когда в пионеры вступал, - сказал Михальцов. - За галстуком часа три в очереди стоял, боялся - не достанется. Вот сила воли-то была. Потом дрожал в строю в музее Ленина на ковровой дорожке. Домой шел, распахнув пальто, чтобы все видели мой красный галстук. "Как наденешь галстук, береги его!"

Мацера снял очки и принялся протирать их носовым платком. Он думал о том, что никто из троих самостоятельно не выйдет из штопора, а если и выйдет, то не надолго, чтобы снова тяжело запить. Мацера не был согласен с теми, кто полагал, что алкоголизм целиком и полностью является проблемой сознательного контроля. Слишком многих пьющих он знал, да и собственный опыт говорил об этом. Стоило только выпить после перерыва, как приходилось пить каждый день, чтобы избавиться от тяги, не поддающейся никакому сознательному контролю. Конечно, разные есть типы. Один не желает признавать, что ему пить нельзя, и придумывает разные способы выпивки, меняя сорта спиртного или окружающую обстановку. Другой всегда убежден, что после некоторого периода полного воздержания он смело может пропустить стакан без опасения.

- Алкоголики! - с некоторой злостью воскликнул Зеленков. - Прекратите оскорблять мой слух и Друг друга этим отвратительным словом - "алкоголик"! Это особый дом. В нем все - тайна! Никто не будет знать, чем мы тут занимаемся. - И обращаясь к Мацере, спросил: - Правильно я формулирую мысль?

- Правильно, - улыбнулся, выходя из задумчивости, Мацера.

- Так вот, - продолжил Зеленков, - в этом доме помещается тайное общество...

- А где Пестель? - перебил Михальцов.

- Какой Пестель? - удивился не сразу сообразивший Зеленков.

- Ну, из тайного общества, - пояснил Михальцов. - Я вам серьезно говорю, - сказал Зеленков.

Мацера встал и мягко прошел от стола к темному окну. На улице горели фонари, очерчивая, круги на снегу.

- Хорошо, - заговорил Сукочев. - Допустим, я соглашусь. А что я буду делать с родной заводской проходной, что в люди вывела меня?

- Тут по выбору, - отозвался Мацера. - Если сможешь ходить на завод трезвым, то ходи, а если нет, то...

- Что?

- Оформлю к себе, - сказал Мацера.

- Кем? - спросил Сукочев.

- Ловцом алкоголиков! - съязвил Зеленков.

- Ты же сам просил не выражаться, придурок! - сказал Михальцов.

- У меня достаточно подразделений, - неопределенно сказал Мацера.

Все обратились в слух, ожидая дальнейшей информации, но ее не последовало.

Вдруг Михальцов засуетился, еще раз взглянув на часы, встал, схватил свой кейс и сказал:

- Вы как хотите, а я пошел домой. Не хочу, чтобы жена поднимала очередной скандал за ночное появление.

- Да посиди ты еще! - пытался остановить его Сукочев.

- Посиди! - присоединился Зеленков.

- На посошок выпьем! - добавил Сукочев, хватаясь за бутылку.

- Нет, - сказал Михальцов и, не оглядываясь, выбежал из гостиной в холл, где на вешалке висело его черное кожаное пальто.

Одевшись, Михальцов резко направился по коридору к лестнице. По долгому опыту выпивок он знал, что нужно уходить сразу, быстро, даже не прощаясь. Чтобы не заманили куда-нибудь, не одарили обещаниями. А этих обещаний и заверений он в пьяном виде выслушал за свою жизнь столько, что иному на десять жизней бы хватило.

Но внизу, на выходе, ему преградил путь молодой охранник в форме омонцовца, с подвешенной на поясе дубинкой.

- Ваш пропуск? - спросил он хмуро.

- Какой еще пропуск, придурок! - машинально огрызнулся Михальцов, но тут же получил за оскорбление удар в ухо.

В глазах потемнело.

- За что, придурок? - вскричал Михальцов.

- А за то! - Охранник отцепил с пояса дубинку и принялся молотить ею Михальцова по широкополой чертой шляпе.

Кейс выпал из рук Михальцова, ударился об пол, раскрылся и из него выкатилась неизвестно как оказавшаяся там бутылка водки. Сразу вспомнив стиль собственного поведения в данных

ситуациях, Михальцов, что называется, схватил ноги в руки и через минуту был уже в гостиной, и закричал:

- Ну, я тебе сделаю!

Это он к Мацере так обратился.

Михальцов увидел, что у Мацеры выросли рога, и лицо покрылось шерстью. Глаза же стали красными от крови.

- Черт! - завопил Михальцов, но его тут же успокоил подбегавший Сукочев.

Видение исчезло. Потирая ушибы на голове, Михальцов сказал:

- Там, внизу - мусор. С дубинкой. Облава. Заманили в вырезвитель!

- Какой такой вырезвитель? - удивился Зеленков.

Михальцов ткнул пальцем в Мацера и сказал:

- Это - переодетый мент. Сука, вырезвитель сделал! То-то я смотрю, плетет все что-то про трезвость. Мол, трезвость - норма нашей жизни!

- Дайте ему выпить, - сказал Мацера. - А то у него галлюцинации начались.

Зеленков спешно разверстал бутылку на три фужера. Мацера вышел в коридор, спустился вниз.

Охранник дремал за столом в кресле. На всякий случай Мацера спросил:

- Никто не подходил сюда сейчас? Увидев начальника, омоневец вскочил, зевнул и сказал:

- Никак нет, Игорь Васильевич! А что такое?

- Да ничего, - сказал Мацера и пошел назад.

На площадке между вторым и третьим этажами за сбитой урной лежал кейс. Мацера поднял его и вернулся с ним в гостиную, где, закусывая, громко чавкали только что выпившие друзья.

IX.

Через несколько минут Михальцов упал лицом в тарелку.

- Чего это он орал? - спросил Сукочев, тоже заметно опьяневший.

- С лестницы упал, урну сбил головой, - сказал Мацера.

- Быва-ает, - зевнул Сукочев и уронил голову на стол между тарелками.

Зеленкова это несколько смутило, хотя он знал по неоднократно пьянкам с ними, что они ломаются быстрее него.

- У тебя есть их домашние телефоны? - спросил Мацера.

- Есть.

Мацера записал, затем сказал:

- Все идет так, как я и думал. Отлично.

- Чего отличного? - вздохнул Зеленков. - Нажрались как поросята!

- Тебе-то, я думаю, никуда не нужно стремиться? - спросил Мацера и добавил: - Ты ведь один как перст в этом мире.

Зеленков молча покивал головой, как бы понимая всю горечь своего одиночества.

- Пойдем, приляжешь, - тихо и по-доброму сказал Мацера.

Он взял под руку Зеленкова и отвел его в небольшую, совершенно домашнюю комнату, обставленную по-домашнему: диван, шкаф с книгами, стол с пишущей машинкой, стулья, на одном из которых дремал, свернувшись клубком рыжий гладкошерстный, кот. Из приемника негромко лилась музыка, оркестр исполнял 6-ю симфонию Чайковского, чарующими звуками повествовавшую о неповторимости и величии жизни.

- Не понимаю, - сказал Зеленков.

- Чего не понимаешь?

- Почему я оказался в своей комнате?

- Так надо, - сказал Мацера.

- Ты не хитри.

- Я не хитрю. Тебе показалось.

- Слушай, мне кажется, Михальцов в точку попал. Ты создал вырезвитель!

- Отчасти, - сказал Мацера.

- Ну!

- А ты вспомни, какими они были в великом Советском Союзе?! С битьем по роже, с хамами-ментами, всякий раз обворовывавшими меня. А ЛТП? А наркологические больницы? А психиатрички?

- Это ты прав, - согласился Зеленков.

Он сначала сел на диван, потом лег, положив голову на мягкую подушку.

- Вот это сервис! - сказал Зеленков и закрыл глаза.

Мацера некоторое время постоял, слушая музыку, потом вернулся в гостиную, где сотрудники фирмы быстро наводили порядок. Михальцова с Сукочевым препроводили отдыхать.

Мацера прошел в свой кабинет, сел в кресло, включил компьютер и, как бы не доверяя себе, еще раз проверил алгоритм вывода пациента из запойного состояния. На голубом экране замелькали строчки. После этого Мацера по селектору связался с отделом экстренной помощи, где днем и ночью дежурили квалифицированные наркологи, готовые в любую минуту выехать в любой конец города, чтобы за определенную плату оказать помощь страдальцам.

Через некоторое время в кабинет вошел молодой человек в белом халате, тот, который колдовал над Розенбергом.

- Всех троих, - обратился к нему Мацера, - на трое суток, до полного выведения шлаков.

- Хорошо, Игорь Васильевич. Будут еще указания?

- Пока все, - вздохнул Мацера, только теперь понимая, как он за этот день устал. - Идите.

- Слушаюсь, - сказал нарколог и вышел.

Мацера снял трубку телефона и позвонил в номер люкса гостиницы. После долгих гудков трубку сняли, и совершенно пьяный голос что-то закричал по-немецки. Мацера прервал его не менее громко:

- Господин Цимке?

- Я-я, - несколько успокоился голос.

- Говорит Игорь Васильевич Мацера... Вы у меня были сегодня...

- О, я-я!

- Вы слушаете, меня?

- Я-я...

- Завтра я ожидаю вас в 14 часов.

- Я-я...

- Вы слушаете меня?

- Я-я... Мы пил еще ресторан. Очень пьяный. Завтра мы не можем...

- Но мы же договорились! - воскликнул Мацера.

- Я-я...

- Говорю, мы договорились на завтра к 14-ти часам! Необходимо подписать контракт!

- Я-я... Другой день... Мы пьяный ресторан... Плохо завтра бывай... Нох айн маль... Короший пили, короший ели... Ваш алкаш короши... Раков ловить Германия буду корзина...

- До свидания! - зло выговорил Мацера и положил трубку.

Он задумался. Как бы не сорвалось подписание спонсорского договора с этими немцами. Перехватят их какие-нибудь ловкачи типа Сукочева со своими стальными трубами, и поплывут немецкие сокровища “в атласные дырявые карманы”!

После этого Мацера поговорил по телефону с женами Михальцова и Сукочева. Реакция была заранее известной: “Пусть дышат!”

Мацера вышел в коридор. В боксе № 1 лежал Михальцов. “Боксами” Мацера называл комнаты, в которых осуществлялись медицинские процедуры. Инъекция ему была уже сделана. Завтра будет поставлена капельница и проведены следующие инъекции. Трое суток спокойного сна, во время которого организм очистится, почувствует тягу к новой жизни. Потом введут препарат, после которого капнут на язык каплю водки. Пациент от отращения начнет задыхаться. На него наденут кислородную маску. И так далее... Смотреть на спиртное не захочет!

Бокс № 2 отвели трубнику Сукочеву.

Мацера приоткрыл дверь в этот бокс. Нарколог держал в руке шприц...

Мацера не хотел упрощать ситуацию с новыми пациентами. Вообще он считал, что упрощение - это насилие, заступающее место утерянной простоты.

А простота для него теперь была образом истинного. Ему казалось, что не пить - очень легко, что быть трезвым - замечательно, но еще замечательнее - искупать ежедневно свои грехи, совершенные в прошлой жизни.

Его лечебно-трудовой профилакторий даст еще не такой эффект! Он подумывал прикупить еще рядом стоящий дом, так сказать расширяться. Ведь трезвый бизнес безграничен! Сукочев начнет трубы продавать, Михальцова можно с “лечо” переключить на продажу компьютеров, а Зеленков потянет и на идеологическую работу по обработке отечественных и иностранных спонсоров.

А в дальнейшем - такие перспективы! Постепенно позакрывать все ликеро-водочные заводы, рестораны, шалманы... Новые поколения уже не будут знать об этом исчадии ада - алкоголе! Размечтался! Но мечтать - не вредно. И Мацера любил мечтать. По сути, только идеализм отличает человека от животного.

В боксе № 3 спал Зеленков. К нему еще не дошел нарколог. Еще можно было разбудить Зеленкова, растолкать, отвезти без всякого медицинского вмешательства домой, бросить там его одного в огромной генеральской квартире, чтобы он завтра проникся вновь всем ужасом колотуна, бреда, чтобы он бился “как рыба об лед”!

Конечно, можно было бы нанять обычных людей. Но в них, считал Мацера, не было бы такого рвения в работе, как у протрезвевших навсегда алкоголиков.

Мацера еще раз заглянул в малую гостиную, в которой недавно гремело веселье, а теперь все было прибрано, как будто ничего здесь и не происходило. Он подошел к окну. Постоял, подумал о том, что он уже за несколько лет трезвости набрал солидную долю выдержки, спокойно переносит любые застолья, не стыдится своего трезвого образа жизни. Пусть его называют больным, ущербным, но он-то, Мацера, знает, что это не так...

Вдруг из коридора послышался шум и крик. Мацера поспешил туда. По коридору несли Розенберг с песней:

Любимая, знакомая,
Широкая, зеленая
Земля родная. Родина!
Привольное житье!
Эх, сколько мною езжено!
Эх, сколько мною видено!
Эх, сколько мною пройдено!
И все вокруг - моё!

На последнем слове “моё!” Мацера ловко ухватил его под мышку и потащил в бокс № 4. Впрочем, Розенберг не сопротивлялся.

Пришлось сделать ему повторный укол. По-видимому, Розенберг за несколько лет трезвости накопил изрядное количество жизненной энергии, так что и снотворное на него слабо действовало.

Мацере почему-то пришла в голову мысль, пока он нес Розенберга до кровати, - сколько людей в эту минуту, синхронно, на просторах Родины чудесной, на пространствах России, которую Гитлер не проехал, которую Наполеон не прошел, поскольку отступить можно целую вечность через Сибирь, снега и ста-

кан, через тайгу, по глухим трясинам под бессмертными звездами, через горы, реки и долины, сколько же людей на этом чудовищном континенте под названием Россия находятся в состоянии опьянения?

Но было невозможно, даже мысленно, охватить все это пространство.

СЧАСТЬЕ

Если угодно, одна из важнейших условностей кино в том и состоит, что кинообраз может воплощаться только в фактических, натуральных формах видимой и слышимой жизни. Изображение должно быть натуралистично. Говоря о натуралистичности, я не имею в виду натурализм в ходячем, литературоведческом смысле слова, а подчеркиваю характер чувственно воспринимаемой формы кинообраз. “Сновидения” на экране должны складываться из тех же четко и точно видимых, натуральных форм самой жизни.

Андрей Тарковский

Косая кромка бытия...

Евгений Блажеевский

Свет в кинотеатре медленно гаснет. На экране знакомая заставка: рабочий и колхозница. “Мосфильм”. Идут титры под симфоническую музыку государственного оркестра кинематографии. Первые кадры: утопающее в снегу село, дымы из печных труб. Звучит закадровый мужской вкрадчивый низкий голос: “Что же такое счастье? Отвечаем. Это - ощущение полноты своих духовных и физических сил в их общественном применении. Оно, прежде всего, покоится в координатах общественной нравственности. Счастье личности вне общества невозможно, как невозможна жизнь растения, выдернутого из земли и брошенного на бесплодный песок. Тот или иной общественный строй или дает, или не дает личности полноту развития всех сил, стремится или обогатить у каждого эту полноту, или похищает у него естественные запасы сил. Счастье достается тому, кто много трудится. Только во всеобщем счастье можно найти свое личное счастье. Самый счастливый человек тот, кто дает счастье наибольшему числу людей”.

Изображение на экране меняется. Весна. Солнце отражается в ручье. Следующий кадр: линии электропередач, трактора выезжают из ворот МТС. Тот же голос читает стихи:

счастье

Мы - горсточка потерянных людей.
Мы затерялись на задворках сада
И веселимся с легкостью детей -
Любителей конфет и лимонада.

Мы понимаем: кончилась пора
Надежд о славе и тоски по близким,
И будущее наше во вчера
Сошло-ушло тихонько, по-английски.

Еще мы понимаем, что трава
В саду свежа...

Хорошенько подумав, потолковав зиму, Иван Семенович с Марусей решили посадить на своей усадьбе десять мешков синеглазки; а то в прошлый год была желтая, как мыло, польская. Эту желтую картошку невзлюбил Иван Семенович, кушал безо всякого аппетита, порой даже поросенку, хоть и жалко было, отдавал, а Виктор, сын, холостой еще, из армии вернулся, лопал ее в три глотки. Ну, Виктор - особая, как говорится в таких случаях, статья: вымахал под два метра; сорок шесть, одним словом, размер обуви.

Заступ казался тяжелым, но Марусе сподручней было рыхлить землю лопатой, нежели тяпкой. Заступом земли больше подхватывается и переворачивается. Тяпка же сильно мельчит. Да и просто тяпка вызывала в Марусе некоторое презрение, как не исконно деревенский инструмент, а какой-то легкомысленный дачный.

Солнце быстро спряталось и небо напыжилось. Через несколько минут, когда Маруся едва подошла к середине участка, пошел дождь.

Иван Семенович уже поднялся, сидел на кровати, свесив ноги, зевал и сосредоточенно почесывал грудь с редкими волосами.

- Сколько там?

- Да уж шесть скоро, - ответила Маруся из-за ширмы.

Виктора в избе не было. После вчерашнего он спал на маленькой террасе, построенной минувшим летом Иваном Семеновичем со свояком Василием, застекленной, как положено, крышкой рубероидом.

Иван Семенович был рыжеволос, широколиц и конопат, маленькие бледные глаза были зорки и повернуты как бы ко лбу. Росту он был высокого, но не такого, как сын. Маруся же была узколицая, при рождении щипцами сдавили, сказывают, с длинным горбатым носом, как цыганка какая-нибудь, с золотым зубом в передке. Золотой зуб сильно нравился Ивану Семеновичу, потому что он говорил о достатке в семье. Иван Семенович и себе бы вставил такой и именно на видном месте, но у него еще зубы не выпадали, как у Маруси, а были крепкие, как дубовые пеньки. Марусина же порода вообще была хиловата: отец ее помер в срок восемь годов прямо в МТС, где работал сварщиком. Мать дожила едва до пятидесяти со своей астмой, померла зимой; похоронили ее там же, в Стремилове, соседнем с селом Тюрищи - родиной Ивана Семеновича. Да, взял он Марусю тридцать лет назад из Стремилова. В девках она практически не сидела. Родила спервоначалу Ивану Семеновичу дочку, но та умерла через полгода из-за грыжи. Потом родила сына Гришу, который три года назад пьяный залез на колесный трактор, "Кировец", и поехал, и вместе с трактором убился, свалившись со Стремилковского моста. Плакали, конечно, дня три, а то и всю неделю. Но похоронили достойно и венок от сельсовета был. Из города Иван Семенович на своем "Запорожце" три ящика привез, всем хватило.

Иван Семенович, крикнув, встал с кровати, надел галоши на босу ногу и как был в трусах пошел на двор. Корова с белым пятном между глаз и со сломанным рогом, - бодала соседские ворота и в щель воротин попала, - что-то жевала перед выходом в стадо, поросенок терся боком о горбыль. Осенью троих боронов зарезал Иван Семенович. Кое-что на рынке продали, сами всю зиму ели сало, и еще есть запас. А этот - шустрик - оставлен на развод; теперь ему еще в приятели прикупит поросят Иван Семенович. Он медленно, основательно и напряженно думал об этих приятелях, пока с наслаждением облегчал мочевой пузырь, направляя струю между загонами для коровы и поросенка. Куры бродили по двору, шныряли в выпил в нижней части створки ворот.

Иван Семенович выглянул на улицу - моросил дождь, мокрые куры ворошили землю. Не хотелось ничего делать в такую погоду. А нужно было собираться на работу, хотя об этом даже не думал Иван Семенович, а как-то делал все так бессознательно, как

стучало безо всякого сознания его сердце, даже название которого он практически никогда не упоминал, а когда случалось - раз в год - упоминать, то удивлялся, почему оно называется сердитым; сердце сердится на людей за то, что они его не замечают.

Иван Семенович вернулся в избу, взял с табуретки штаны и принялся, стоя на ковровой дорожке, идущей от кровати к двери, надевать их, молчал, соображал, что спросить на завтрак у Маруси. И щи представились в миске, и яичница представилась, глазунья.

- Давай все, - сказал машинально Иван Семенович.

Маруся выглянула из-за ширмы и послушно кивнула, а он, надев штаны, присел на табурет, чтобы надеть носки и ботинки. Когда он поднял второй ботинок, тяжелый, из свиной кожи, с заклепками у шнуровки, вошел Виктор, в тренировочном костюме, с "пузырями" на коленях.

- Мамка, ты корову подоила? - срывающимся баском спросил он.

- Вона, глаза-то протри, ведро на лавке у печи, - крикнула из-за ширмы Маруся.

Виктор, большой, широколобый, подошел к ведру, зачерпнул кружкой молока и стал медленно и жадно пить. Отец молча смотрел на сына.

- Похмелился бы, - сказал Иван Семенович.

Виктор оторвался от кружки, прерывисто дыша, и вопросительно уставился на отца. По подбородку текла белая струйка.

- Выпей самогонки?!

Виктор подумал и сказал:

- Нет, не хочу. Сегодня поеду в военкомат.

- Зачем? - выглянула Маруся.

Виктор продолжил питье молока. Живот его под трикотажем шевелился. Ноги были расставлены на ширину плеч, свободная рука согнута в локте и уперта в бок. Мизинец руки, держащей кружку, картинно оттопырен, глаза умильно возведены к потолку.

- Наниматься прапором, - допив, выдохнул Виктор. - В колхозе больше не хочу дурью маяться.

Виктор взлохмачивал волосы огромной, негнущейся красной пятерней. Должно быть, голова сильно болела, но он не морщился, соблюдая в себе мужественность, о которой постоянно говорил замполит в армии. Виктор отодвинул ногой стул от стола и сел, выжидательно поглядывая на занавеску. Иван Семенович,

одетый, тоже сел к столу. Маруся вынесла большую миску со щами и поставила перед Иваном Семеновичем. Затем подала буханку черного хлеба, нож и ложки. Виктору вынесла щи в тарелке. Иван Семенович взял ложку, осмотрел ее, протер о край скатерти и принялся есть. Виктор последовал примеру отца, протер ложку тоже о скатерть и стал есть через силу. Водка сильно отшибала аппетит.

Ели они шумно, чавкая, схлебывая с ложки, давясь, икая и сопя. Для Маруси эти звуки были знаками благодарности. Иван Семенович приговаривал между этими звуками:

- Хороши щи, Маня!

Остаток тарелки Виктор ел уже с удовольствием. Молодой организм пробивал алкогольную направленность жизни, выводил ее на прямую трезвую дорогу. Что-то стало пощипывать в носу: Виктор положил ложку и поковырял в ноздре указательным пальцем: вскочил чирей. Виктор встал из-за стола и подошел к зеркалу, висевшему у икон: кончик носа надулся и покраснел.

- Мам, дай одеколону! - крикнул он басовито.

Маруся выбежала из-за занавески, открыла настенный шкафчик, достала одеколон "Красная Москва", ласково протянула сыну. Виктор открутил крышку, налил одеколону в горсть и окунул в лужицу кончик носа, который сразу же сильно, но и приятно защипало.

Иван Семенович продолжал смачно хлебать кислые щи. Тем временем Маруся поставила на стол сковородку с яичницей. Иван Семенович отрезал большой ломоть хлеба, выкроил кусок яичницы с тремя желтыми глазами и положил его на хлеб. Откусывая большие куски бутерброда, Иван Семенович запивал их щами через край миски.

Уставясь на себя в зеркало, Виктор думал о том, как он наденет форму и как будет ходить перед строем солдат и командовать ими. Виктору почему-то со вчерашнего вечера хотелось командовать сильно. Вера к этому подталкивала, когда он с ней обнимался за клубом, пьяный, и она пьяная; и когда потом брал ее как жену в сенях ее избы на сундуке, а старуха-мать за дверью сопела, подглядывала, старая дура. Но Вера не сильно нравилась Виктору, потому что у нее на правом глазу бельмо было. Виктору больше нравилась Ольга, дочь Кротова, электрика. Та совсем водку не пила и собиралась после десятилет-

ки в институт. Сколько Виктор ее за бока ни прихватывал, никак она с ним шашни заводить не хотела. Училась теперь Ольга в восьмом классе на центральной усадьбе. Виктор ее несколько раз на тракторе подвозил, разговаривал насчет женьшеньки, но она говорила, что ей рано об этом говорить. Вот как бывает в жизни - отец ее, Кротов, не просыхает, а она от водки нос воротит. Может быть, поэтому и нравится Виктору лицом своим щекастым, крупным носом и маленькими глазами, чуть-чуть раскосыми?

Иван Семенович умял половину сковороды, доел щи и почувствовал, что вспотел. Чтобы отдышаться, прошел в угол, к телевизору, на табурет. Закончив с носом и на мосту ополоснув руки от одеколона, Виктор доел свою половину яичницы и дохлебал щи. Он откинулся к спинке стула, громко икнул и сказал:

- Хорошо бы на вечер наварить бульону с костями от ветчины.

Внимательно поглядев на него, Иван Семенович промолчал, думая о том, что хорошо бы не бульону вечером от ветчинных костей поесть, а выпить бы да закусить простым сальцем. Ведь, как-никак, завтра 9-е мая, как-никак, все же, понимаешь ли, День Победы. Ладно, рано пока об этом думать, весь день еще впереди и работать нужно.

Иван Семенович, почесав за ухом, встал, надел брезентовый пиджак и, ничего не сказав, пошел из избы. На мосту поправил ковшик умывальника. Выглянул на улицу - шел дождь. Иван Семенович, подумав, нагнулся, расшнуровал ботинки и надел резиновые сапоги. Пока надевал, думал о Викторе как о прапорщике и внутренне гордился сыном. Потом Иван Семенович надел брезентовый дождевик с капюшоном и, хлопнув дверью, пошел, увязая в грязи, через все село на работу. Навстречу попался и поприветствовал учитель Василий Степанович, тоже в плаще и в сапогах, направляющийся на центральную усадьбу, в трех километрах, на свою работу, в школу.

- Завтрева заходи, Иван Семеныч, поднимем чарку!

- Зайду, чего не поднять! - навешивая на себя улыбку, отозвался, не останавливаясь, Иван Семенович.

Он шел и не думал ни о чем, так себе, смотрел под ноги на щебенку дороги, смотрел по сторонам, на серые заборы, на влажные в каплях лопухи и крапиву, на столбы электрические. Он шел на работу машинально, как ел, пил и спал то с женой, то ря-

дом с нею. Неприятен был дождь, но и он не был в новинку. Под резиновыми, лаково поблескивающими от воды сапогами хрустели камни.

На работе, в помещении церкви, бывшей, кое-кто уже включил станки. Иван Семенович скинул плащ, переоделся и включил свой станок. Проволочные мотки превращались в заклепки и шплинты.

Начальник смены Бояринов был уже под хмельком, и что-то травил бригадиру Жадову, который был просто пьян. Иван Семенович упаковал тридцать четыре коробки шплинтов и решил перекурить, не впрямую, а фигурально, поскольку давно уже не курил. Он взял острый инструмент и в тамбуре принялся ошкуривать бревно, ему нужное. Бревно было еловое, красивое, со стройными смоляными прожилками. И пахло от бревна лесными тропинками. Откосы еще до первого мая сделал Иван Семенович, но все никак не мог перевезти; то машина барахлила, то дождь этот поганый. В дождь не ездил Иван Семенович, как и зимой. Машина буксовала. Конечно, сейчас по щебенке ездить нормально, но с нее до ворот дома метров тридцать, там машина и забуксует. Сухости дождемся!

Шкрябал бревно железками острыми Иван Семенович и чувствовал подливающую в груди радость - время к обеду подходило. А если к обеду, то и до конца смены недалеко. Отделав почти что бревно (пазы потом можно было сделать), Иван Семенович пошел еще на государство на станке поработать. Когда шел через цех, увидел в будке начальника драку Бояринова с Жадовым. Жадов пытался удушить Бояринова, сжимал длинными пальцами толстую шею начальника; а тот с ритмом маятника часов сильно бил Жадова кулаком в живот. Иван Семенович посмотрел несколько минут вместе с другими государственными рабочими на начальство и пошел делом заниматься. Включил станок, мотки проволоки зашевелились; сначала, для разнообразия, Иван Семенович поделал заклепок, потом, когда надоело, поставил заготовку шплинтов и пошел эти шплинты клепать, как семечки.

Стоишь вот так у станка родного, потому что за десятилетия сроднился с ним, и делаешь непонятную тебе работу по изготовлению шплинтов и заклепок, и глаза застывают на одной точке, и так хорошо делается на душе, что петь хочется. Работа хоро-

шая, рядом, считай, с домом, правда, платят маловато, а то и вообще не платят, но ничего, перебьемся своим хозяйством. Из будки начальника вышли как ни в чем не бывало обнявшиеся Бояринов с Жадовым, вышли, как и положено, с песней:

Шумел сурово брянский лес...

Кладовщица Клава шла из дальнего конца церкви с накладными. Это значило, что пришла машина с филиала за продукцией. Нужно было выходить грузить.

КамАЗ с длинным железным кузовом уперся задом в покосившуюся церковную ограду. Шофер курил, положив локоть на открытое стекло. Вот уж кто филонил постоянно, так этот шофер Сашка. Говорил, что ему за это - погрузку - не платят. А Ивану Семеновичу платят, а станочникам платят?! Сознательность трудовую надо иметь.

Несмотря на дождь, мужики вышли во двор. Кладовщица открыла железные ворота склада. Дядя Петя сел на свою кару, но она не двинулась с места.

- Батареи, тудыт твою в качель, сели, - сказал дядя Петя и закурил.

Иван Семенович и еще пара мужиков пошли к железным тачкам, работавшим с девятнадцатого века. Стали укладывать на тачки коробки и возить их к машине.

Делая свою работу, необходимую обществу, Иван Семенович как бы забывался и думал о своем: то есть вообще ни о чем не думал, но не видел ни тачки, ни железного пола склада, ни грузовика, ни мужиков. Он возил тачку с грузом, а был где-то далеко, как бы за границей своего сознания, где все мягко и добротное для сна и вечной жизни.

Часа через два КамАЗ был загружен и мужики сбегали, чтобы это дело обмыть. И Иван Семенович выпил стаканчик, и стало еще лучше на душе. Иван Семенович сел на верстак, привалился спиной к портрету Ленина на стене, приколотому к 100-летию со дня рождения вождя, и будто задремал с открытыми глазами. Балка ему показалась уже сделанной, второй этаж сгорожен, Маруся несет заливное из говядины и пироги разные, а он сидит на новом табурете, и Виктор напротив в фуражке младшего офицера. Ну, что еще нужно для счастья?!

Выключил станок Иван Семенович вовремя. Для приличия зашел в умывальную комнату, sprysнул руки. Мыться любил у себя в доме, когда Маруся сливала воду на спину и на руки. Но приличие пролетарской солидарности требовало. Любил очень Иван Семенович пролетарскую солидарность и с ней по жизни счастливо шагал ежедневно, кроме выходных и праздников. Но и тогда жизнь текла пролетарски, даже в самый разудалый праздник кипела хоть с утра, но работа: то валенки подошьет, то гвоздь в стену забьет, то на рыбалку сходит, то просто походит по усадьбе. Ходить и значит работать. Что еще нужно?!

Иван Семенович надел резиновые сапоги, затем плащ и пошел по селу домой. Щебенка скрипела под ногами. Шел дождь, но его уже совсем было незаметно. Если бы дождь шел всегда, его бы люди не замечали вовсе, как воздуха.

Маруся стояла у стола за занавесками и нарезала ровными кусками мясо. Она выглянула, когда Иван Семенович зашел в избу, и спросила:

- Ваня, устал?

- Как собака, - сказал привычно Иван Семенович, ничего не вкладывая в эти слова, но они ему нравились, потому что отражали что-то.

Он сел на табурет, а Маруся тут же бросила ножик и мясо, подбежала к мужу и сняла с него сапоги. Иван Семенович благодарно прикрыл глаза и вытянул вперед руки, как бы ища струи холодной воды над тазом. Тут же явился и таз, поставленный на другой табурет. Маруся с оцинкованным ведром, полным воды, и куском простого мыла, оказавшимся в могучей руке Ивана Семеновича, принялась помогать умываться мужу. Хорошо было сполоснуться после трудового дня!

Пока переодевался в домашнее Иван Семенович, Маруся по-солила и обжарила на сковороде мясо, затем перебросила его в кастрюлю, положила на него мелко нарезанный лук, чеснок, несколько мелко нарезанных соленых огурчиков, залила водой и принялась тушить. А Ивану Семеновичу налила в тарелку, а не в миску, как утром, горячих кислых щей, и поставила бутылочку самогона и рюмку.

Иван Семенович подумал, вздохнул, вспомнил детство и отца, который любил пропустить рюмочку перед обедом, налил себе самогончику, выпил, крякнув, понюхал черного хлеба и принял-

ся за щи. Едва он их съел, как почувствовал прилив полного человеческого счастья и, чтобы не расплескать его, быстро перебрался на высокую кровать с четырьмя огромными пуховыми подушками, лег, утонув в них, и задремал.

На экране - панорама, снятая с вертолета: извилистая река, поле, лес. Сон начинается с безмятежности, с просвеченной летним солнцем идиллии: далекое кукование кукушки, бабочка, порхающая вокруг белоголового мальчишки, пушистая и чуткая мордочка, глядящая с экрана большими прозрачными глазами, ласковая улыбка на милом материнском лице... Звучат стихи:

Мне снился дождь и черная вода,
Текущая ручьем по косогору.
И мучил голос, шедший в никуда:
"Зачем - одна?.. Зачем в такую пору?..
И в чем я провинился вообще?!
Не предавай забвенью и опале..."
А ты шагала в стареньком плаще...

Ему снилось все то же не надоевшее ему счастье, а именно: лежит Иван Семенович в своей избе на пуховых подушках и дремлет, а ему снится, что ему ничего делать не нужно, что он лежит на своей кровати в своей избе и спит, а ему снится, что он, счастливый, спит на своих подушках и пахнет чем-то приятным, очень ароматным: телятиной тушеной в крестьянском соусе.

Просыпаться даже не хочется. Но Иван Семенович просыпается, открывает глаза, потому что в избу входит сын Виктор. От него пахнет дождем и заборами. Виктор снимает мокрую кепку, садится, не раздеваясь, на табурет и говорит:

- В прапорщики не приняли...

Иван Семенович напряженно затихает на полувздохе.

- Зато приняли в милицию! - заканчивает Виктор и громко хохочет.

Иван Семенович недоуменно опускает глаза в пол и долго рассматривает ковровую дорожку, которую знает наизусть. Сам покупал эту дорожку, сам выбирал: красную, как в Кремле, с белыми полосами по краям. По такой сам Сталин ходил в хромовых блестящих сапогах, теперь вот Иван Семенович спокойно ходит. Да, хорошая жизнь настала!

- И чего? - наконец отреагировал Иван Семенович.

Виктор сидел молча, облокотясь на стол, и улыбался. По глазам было видно, что в его душе происходит как бы торжественное собрание, на котором ему вручают почетную грамоту от имени парткома, дирекции и профкома. Пока вот так сидели, в избу вдруг заглянуло солнце, и от Виктора упала густая тень на ковровую дорожку и на белую дверь, которую красил недавно сам Виктор белилами.

- Да ничего! - отозвался весело Виктор и встал, и заходил по избе широко, размахивая руками. - Тряхну торговшей, папка! Они у меня вспомнят советскую власть!

Из-за ширмы выглянула Маруся, сказала:

- И правильно, Витька, что у милицию пошел, правильно, знаешь, вот, что я тебе скажу, правильно и точка. Индо много о себе понимать стали, сопляки! Ты их к порядку призови!

Когда стемнело, у них уже вовсю горел костер за садом, там, где давеча копалась Маруся, на участке под картошку. Жгли прошлогоднюю листву, ветки, прутья; сгребали остатки гнилой ботвы. Одним словом, вычищали сад, огород и весь приусадебный участок, который занимал вместе с домом сорок пять соток. Земля была влажная и налипала на сапоги. В конце участка, за оврагом, была небольшая рощица, а за нею уже пахло речной сыростью и открывалось широкое пространство поймы реки. У самого костра небо казалось черным, а здесь, в рощице оно светлело, и были различимы выступившие уже звезды.

Иван Семенович и Виктор ломали сушняк и носили его к костру. Сначала думали сожжением листвы и мелочи обойтись, но костер плохо занимался, капризничал, пускал после яркой вспышки от керосина, который подливал резкими выплесками из консервной банки Виктор, ядовитые дымы, так что выедало сразу глаза, лились слезы, а костер гас.

Теперь же он горел дружно от дров из рощицы. Да своих пару поленьев не пожалел Иван Семенович. Вот вроде бы вышел с сыном на часок, а прошло уж два, а уходить от костра не хочется, и не хочется, чтоб огонь гас. Маруся притащила табуретки и ушла за запеканкой. Виктор стоял у костра, широко расставив ноги, и смотрел в огонь. От его крупной фигуры падала густая длинная тень. Иван Семенович сидел на табурете и переживал радостное волнение в груди, которое было беспричинно. Ножки

табурета ушли глубоко в землю, и сидеть было не очень удобно, поджав ноги, но вот этот запах костра дурманил, глаза наполнялись слезами, и хотелось петь.

Иван Семенович потихоньку затаил:

Средь высоких хлебов затерялся
Небогатое наше село.
Горе горькое по свету шлялося
И на нас невзначай набрело...

Виктор с удовольствием слушал пение отца и представлял свою будущую жизнь как продуманное, планомерное удовольствие: форму выдают - раз, проезд в транспорте оплачивают - два, отпуск два месяца - три, жилплощадью обеспечивают - четыре и... Эх! Пройдешь по торговым рядам, как говорил Серега, работавший в милиции уже год и сосватавший туда Виктора, полны карманы денег. Ты и не просишь, а тебе черномазые сами суют, мол, бери, не горюй!

- Папка, денег у нас теперь будет много! - не выдержав напора мечты, воскликнул Виктор.

- Откель?

- Да нешто за просто так в ряды милиционеров я записываюсь?

- Мне это понятно, - сказал Иван Семенович, обращая свой взгляд к избе, откуда появилась со сковородой Маруся. - Я это сразу и понял. Знаешь, Витька, у mine смелости в жизни не хватало, а стремилковская кровь помогла, хоть и хилые Маруськины, а упрямота у них хватало. Вона, отец ее в МТСе работал! В ту пору-то! Правильно, Витька, дери с них по три шкуры и в дом тащи! Вот увидишь досточку на дороге - в дом тащи! Прививали нам, мать твою за ногу, коммунизму!

Подошла Маруся с запеканкой. Устроила полевой стан у костра.

Иван Семенович обшарил всю ее ищущим взглядом. Маруся поняла смысл этого взгляда, сказала:

- Сейчас принесу ужо.

Иван Семенович провел рукой по носу в ожидании самогона. Вдруг где-то в стороне сада громко запел соловей. У Ивана Семеновича от сладкого восторга чуть сердце не выскочило.

По лицу Виктора бегали красные тени, а глаза казались стеклянными. Иван Семенович не спеша встал, поднял грабли, подо-

шел к костру, поправил его, затем, откинув на землю грабли, добавил в огонь дров. Пламя вспыхнуло. Подошла Маруся с большой бутылкой мутного самогона. Виктор улыбнулся и почесал затылок. Иван Семенович потер руки. Маруся вытащила пробку из газеты, влажную, запахло гнильцой душещипательно, налила в стаканы. Подняли, чокнулись. Иван Семенович небольшую речь сказал:

- Я всегда призывал, итить твою в газпром, к семейному счастью. И теперь призываю. Нас живет с вами мало. Чего уж, понимаешь, я живу, Маруся живет, Витек, и ты живешь с нами. Тех, что померли, не буду об их говорить. Чего уж говорить об их. Так как начнешь, как бывалыча, мать всех этих святых перечислять. Нет, это не по мне. Живешь - тогда и весь смысл тут. За живое наше вместе счастье!

Выпили, как полагается, молча. Отблески костра бегали по поднимаемым стаканам. Не из рюмок же на природе пить! Маруся не любила этого. Сейчас она, обхватив колени, сидела на маленькой скамеечке и думала о том, что она на завтрак утром приготовит, после того, как покопается в огороде, подоит корову и приберется в избе. Целый ряд жизненных картин выглядел для нее накрытым столом с постоянной переменной блюд. Пожалуй, утром она отобьет одно яйцо в кастрюлю, всыпет туда одну столовую ложку сахарного песка, одну вторую чайной ложки соли, вольет стакан холодного молока и все это перемешает; затем всыпет просеянную муку, тщательно вымешивая деревянной лопаточкой, потом разведет остальным молоком, прибавляя его в тесто небольшими порциями...

В лице Маруси, усталом, но радостном, светилась какая-то надежда. Может быть, даже надежда на вечную жизнь, состоящую из одних удовольствий еды, питья, облегчения желудка и мочевого пузыря между жердями загона для коровы и поросенка...

- Хорошо пошла! - крикнул Иван Семенович, наворачивая за обе щеки разудалую запеканку.

- Индо изюму лихо, да мука белая, - ответила как-то бегло Маруся, думая о чем-то о своем, наверно, далеком, загробном или внесолнечном, сокрытом от Виктора и Ивана Семеновича.

К первому соловью прибавился второй, затем и третий. С запада легко дул теплый ветерок. Небо темнело и звезды над горизонтом уже бойко толпились, как люди в городе, и ярко светили.

От весеннего тепла, от пенья соловьиного, от прекрасного в своей вонючести самогона по всему телу Виктора разбежался сладостный нервно-манящий к противоположному полу тик. Он сидел у костра и думал, как некоторое время спустя пойдет к Верке, не сразу, а то родители обидятся, а попозже, вызовет ее на улицу, задерет ей подол и обхватит жирные ляжки...

- Повторить бы не помешало, - проговорил он радостно-задумчиво.

Ни отец, ни мать не откликаются, думают о своем. Виктор тогда молча берет бутыль и всем наливает. Иван Семенович что-то уже себе под нос напевает. Берет стакан. Маруся тоже берет стакан крепкой, совсем мужской, с чернотой под остриженными ногтями рукой. Все чокаются. Глаза стеклянно поблескивают. Выпивают медленно, словно в стаканах не картофельная отравка, которую культурный человек даже нюхать побоится, а клубничный сироп. Ни единой морщинки на сморщенных от природы лицах.

Иван Семенович уже не закусывает. Песня мешает.

В низенькой светелке
Огонек горит,
Молодая пряжа
У окна сидит...

Иван Семенович ведет первым голосом, Маруся подпевает с визгливостью, а Витька басит, как в ансамбле песни и пляски. Соловьев в это время не слышно. По мере пьянения люди все больше погружаются в себя, но свой мир начинает разрастаться и закрывать весь внешний мир.

Становится очень легко, ни один член уже не ощущается, возраст пропадает, голубем летящим кажется себе человек. И хорошо, что так кажется, летая над селом и рекой, говорит себе Иван Семенович, а сам думает о балке и раскосах.

Вот в чем дело. Очень уж богат человек раздумьями. Может сразу несколько мыслей нести в себе.

Ему хорошо, а он еще об улучшении жизненных условий думает.

- Наверно, клюет сейчас, знаешь, - говорит задумчиво Виктор.

Отец обрывает песню, как будто услышал о каком-нибудь открытии.

- Собирайси! - командует он Виктору.
- Да куды вы?! - всплескивает руками Маруся.
- Куды-куды, за рыбой, Маня, пойдём! - Иван Семенович посмотрел в темноту в сторону реки.

Виктор моргал и облизывал пересохшие губы.

- Ладно-ть, ступайте к лешему. Я пойду прибираться. Делов куча!

Они сходили к сараю за удочками, понимая, что не рыба их зовет, а что-то другое, даже не река, даже не теплый воздух, даже не весна, а зовет их согнутая рыбачья поза, и все вместе взятое, и дрожащий поплавок.

Костер остался позади. Сильно мерцали звезды. Они отражались прерывистыми полосками в воде.

Спускаясь вниз, Иван Семенович споткнулся, громко затрещал валежником, но не упал, потому что Виктор вовремя поддерживал его за локоть. Дыхание несло в себе горячий самогон.

Присели на бугорок, забросили удочки, стали ждать. Белые поплавки едва было видно. Хотя темно очень уж не было. Глаза всмотрелись в воду, стали различать осоку, водоросли. Самый дальний край неба был зеленоват. Там где-то ходило солнце. Пройдет оно еще немного и высунется почти что на северо-востоке, и наступит утро. Солнце медленно поднимется в гору, согреет землю и всю растительность на ней, потом пойдет под уклон и вновь спрячется за горизонтом, чтобы опять появиться утром...

Встряхнув головой, Иван Семенович почувствовал тяжесть в руке, которой держал удочку. Сделав небольшую выдержку, Иван Семенович подсек предполагаемую рыбу и повел ее на себя.

- Чего там? - шепотом спросил Виктор.

- Кажись, есть, - тихо отозвался Иван Семенович.

Он встал, взял леску рукой и потянул ее на себя энергичнее, чем до этого тянул удочкой. Из воды выплеснулся серебристый хвост. Через некоторое время Иван Семенович сжимал в руке большого голавля. Рыба раздувала жабры, задыхаясь от воздуха.

Продев сквозь жабры ивовый прут, Иван Семенович бросил добычу рядом с собой на траву, нацепил на крепкий крючок нового жирного червя и забросил удочку.

Тут же клюнуло у Виктора. Он привстал и так в согнутой позе вел к берегу леску, сначала удочкой, затем, как отец, перехватил леску рукой. У него на тройном крючке оказалась щука средних кондиций. Из горла Виктора вырвался сдавленный клич радости.

- Тихо ты! - прикрикнул на него Иван Семенович. - Видал, понимаешь, дело пошло, не спугни!

- Вижу, папка, что нам под девятое мая везет!

На тот же отцовский прут была надета щука и во избежание чего откинута подальше с голавлем от берега; щука была ретива и колошматила хвостом минут десять, пока не замолкла.

Тем временем началась поклевка у Ивана Семеновича, ощущавшего себя по душевному настроению - превосходному! - находящимся в раю.

Он уже без помощи ухватки за леску выдернул из воды одним махом окуня с ладонь величиной, полосатого, как и положено.

Виктор шумно сопел, смотрел в одну точку, на поплавок, в ожидании клева рыбы, которую представлял в голове одну больше другой, с золотым хвостом, с красными плавниками и горящими во тьме глазами, как фары у автомобиля, плавающего под водой, как подводная лодка.

Уютно устроившись на бугорке, Иван Семенович мало-помалу перенесся в то время, когда был маленьким и ходил на это же место на реке, помнил еще и деда, который за компанию ранним утром, когда только-только вставало солнце и от людей ложились на росистую землю очень длинные тени, шел с ними к реке, над которой клубился туман, а кудрявые берега из ивняка еще молчали, лишь редкие птицы подавали голоса; помнил Иван Семенович и похороны деда - в этот момент Иван Семенович оглянулся машинально в сторону кладбища, которое располагалось на холме, чуть левее села, - в крепкий мороз то было, и землю ломом под могилу долбили. С этих мыслей Иван Семенович перешел на мысль о лошадях, которые всегда прежде были у них, а зимой пар шел изо рта лошадей и иней обрамлял морду; лошади считались колхозными, а были собственными, как и сейчас люди - вроде бы все с паспортами, то есть государственные, а сами - сами по себе. Так вот лошадь зимняя вспомнилась Ивану Семеновичу, запряженная в сани. Гроб-то с дедом в сани клали. Но сейчас - не о деде. Хотя о деде вообще, но не о деде конкретном. Есть, ведь, на Руси дед вообще.

- Есть дед? - это уже вслух спросил Иван Семенович, чем немного напугал сына Виктора, который сидел тихо, не шевелясь, смотря на едва различимый в темноте поплавок и думая о своем.

- Какой дед?

- Ну, тот, который поехал за рыбой?

Виктор улыбнулся широко, так что во тьме блеснули его белые крепкие зубы, и сразу же увидел в памяти своей этого деда, поехавшего за рыбой, когда он, маленький, Виктор, забирался на грудь отцу и требовал сказку о деде, который поехал за рыбой.

Не слышал в жизни своей Виктор ничего более умилительно-го, чем этот рассказ о деде, который поехал за рыбой, зимой, на санях, запряг, торжествуя от мороза, лошадку и поехал за рыбой. Лесной дорогой ехал зимней, ели заснеженные по правую и по левую руку стоят, ели высокие, торжественные, чтобы подчеркивать торжество поездки деда за рыбой зимой. Интересно, где же так много рыбы было зимой, чтобы за ней дед на лошади в санях поехал?

Виктор усмехнулся, и Иван Семенович усмехнулся, потому что очень странной эта поездка деда зимой была. Впрочем, какое дело Виктору, забравшемуся на грудь отцу, до всякого смысла, когда бессмыслица окутывает сознание прочнее и сладостнее; а смыслы, придуманные скучными юристами, выпирают ребрами тоски из дивана пружинного с прорванной обивкой. Вот и поехал дед за рыбой на санях... Может быть, он у моря жил? Нет, там дальше прорубь фигурирует, потому что какая же русская жизнь без проруби?! Прорубить что-нибудь - это основа нашей жизни; например, прорубить окно в Европу, фигурально выражаясь, конечно. Но это выражение очень нравилось Ивану Семеновичу, поскольку было фигурально именно. Вторит этому отдаленно и поговорка о том, что написано пером, того не вырубишь топором. Стало быть, прорубь написана пером! Вот в чем дело. В России вообще ничего реального не нужно, требуется одно воображаемое. Вот сидит Иван Семенович на бугорке поздним вечером у реки и видит не реку, а деда едущего в жгуче солнечный зимний морозный день по лесной просеке в санях за рыбой. Шелестят шелком полозья, шумно дышит с паром лошадь. А дед сидит в тулупе, в валяных сапогах, довольный, счастливый и едет за рыбой. Представляете, к празднику новогоднему будет у него рыба на столе и красная, и белая, и холодного копчения, и горячего, и соленая, и отварная, и заливное из осетра! В прозрачном желе с морковкой и яичком! А?! Слышали о таком продолжении поездки деда за рыбой? Нет? Так слушайте: очищенную и вымытую осетрину баба вытирает...

- Откуда ж, это, в реке осетрина?! - перебивает отца Виктор, и шумно сморкается в траву, вдобавок харкая и плюя.

- Ладно, пусть, знаешь, будет голавль, - спокойно соглашается отец. - ...вытирает, значит, Маруся, голавля (рыбу) насухо полотенцем, нарезает на куски и варит так же, как осетрину для заливного. После варки куски рыбы выкладывает в глубокое блюдо или салатник и накрывает салфеткой. В бульон кладет размоченный желатин и размешивает его до растворения, затем этим бульоном заливает рыбу, предварительно украсив ее зеленью петрушки и морковкой, которая осветляет желе, а дед едет в светлый морозный день за рыбой. Приезжает он на самое рыбное место на реке, прорубает прорубь (топором, коловоротом, другим инструментом), садится на ящик и начинает думать...

- Сначала удочку забрасывает! - вставляет Виктор, заслушавшийся.

- Именно...

...забросил удочку и задумался о том, как он едет с полными саями рыбы домой, а навстречу ему из лесу серый, лохматый и красивый волк выходит, заглядывает в сани, переполненные разной рыбой, и вежливо спрашивает:

- Где вы, уважаемый дед, столько рыбы первоклассной наловили?

- Мы ее в проруби наловили, - со своей стороны вежливо отвечает дед.

- А как мне ее наловить? - спрашивает волк.

- И неправильно, батя, ты рассказываешь! - вдруг возмущается сын. - Это у лисы волк спрашивал.

Отец соглашается с сыном. Давно он эту сказку ему не рассказывал. Тут сам Виктор, откинувшись на локоть, продолжает сказку:

- Рыжая из лесу выскочила... Красивая такая, мех густой, крепкий. Мордочка смазливая, как у Верки, но острая, а не круглая, как у Верки, значит. Выбегает. Глядь в сани, а там рыбы видимо-невидимо: и голавль, и окунь, и щука, и линь, и судак... В общем, вся наша рыба навалена горой. Килограммов двести, видать.

- Не меньше, - соглашается отец.

- Так вот, - продолжает рассказывать Виктор. - Красавица-лиса из леса, это, навстречу деду попадается и спрашивает, мол, так и так, где брал рыбу?

- Ну, уж ты, мать твою за ногу, Витька, поехал! - прерывает в свою очередь сына отец. - Она лиса-то и есть лиса, то есть очень, знаешь, умная и хитрая. Она не выскочила сразу на дорогу, а из-за заснеженных кустов, тайно, присмотрела деда с рыбой, забежала много вперед и легла поперек пути, притворившись мертвой. Ну, подъезжает к ней дед, смотрит - лиса. Ну, счастливо думает, старухе на воротник будет. И швыряет лису на рыбу. Едет, а лиса в это время рыбу по одной на дорогу сбрасывает. А дед ни разу не посмотрел, не обернулся. Подъехал к избе, а в саях ни рыбы, ни лисы...

Виктор нетерпеливо выпрямляется, даже привстает, как будто у него клюет, и говорит:

- Да, папка, не так все было. Дед ее домой привозит вместе с рыбой, старухе передает, старуха лису на лавку кладет, а сама тесто месит. Лиса все это видит и, когда старуха отлучается, вымазывает тестом себе голову...

Здесь он вдруг сам останавливается, понимая, что не то рассказывает, что на самом деле происходило с дедом, лисой и старухой. Но отец не перебивает его; Иван Семенович объят приятными детскими воспоминаниями, связанными с подледным ловом рыбы, да так много вытаскивал за один раз и все золотой и серебряной, что ели несколько недель и солили и вялили на печке, а серый волк сам по себе фоном шел в воспоминаниях; жалко было волка, потому что лиса его научила хвостом в проруби рыбу ловить, и он терпеливо сидел с опущенным в воду хвостом, вода замерзла и хвост вмерз в прорубь, деревенские собаки набежали, волк рванулся и, бедняга, оторвал себе хвост, а лиса, сволочь!, вечно его обманывала и была сыта и довольна жизнью. Где-то вдалеке, на той стороне за лесом раздался сильный залп, как из пушки. Иван Семенович и Виктор вздрогнули, хотя знали происхождение этих залпов: то начались ночные полеты на аэродроме, и самолеты преодолевали скорость звука.

На экране появляется блококаменная стена храма. На фоне ее белизны особенно безобразно выглядит сшитый из разномастных овчин и кож воздушный шар... Гомон погони, готовой растерзать дерзкого, и удивленный крик: "Летю!" Вся земля, с ее храмами, реками, стадами распахируется вширь и поворачи-

вається, як глобус, под виглядом допотопного воздухоплавача. Вкрадливий баритон читає стихи:

Иду-бреду почти что наугад,
Курю в тени могучего платана.
Судьба растет, как дикий виноград,
Как дерево, - без чертежа и плана.

Не знаю, что меня сюда влекло,
Иду по пыльной медленной дороге.
На гребнях стен толченное стекло
Сверкает на июльском солнцепеке.

Подошвы жжет бугристая земля,
И только на мгновение подуло,
Пронзительной прохладой дразня...

Потом сидели молча. Пропищал первый родившийся комар. И так приятен был писк его Ивану Семеновичу, что он завертел головой, пытаясь увидеть этого спутника теплой весны и лета существа, но не увидел, потому что комар полетел в сторону Виктора, который в этот момент зашевелился, встал, и резко дернул удочку: в воздухе затрепетала небольшая зеркально поблескивающая плотва, известная каждому рыбаку, относящемуся к этой рыбе надменно-снисходительно, но не брезгующему ею и для приготовления ухи, и для жарешки. Виктор не спеша вытащил крючок из губы плотвы, оглянулся, поискал глазами ивовый прут с рыбой, нагнулся, поднял его, надел плотву сквозь жаберный ход на него и положил рыбу в траву. Поплевав на руки, Виктор, довольно пожимая широкими плечами, сунул два пальца в консервную банку, в которой шевелились холодные, скользкие земляные черви, подцепил одного, упитанного, поднял к глазам, поглядел на него - хорош ли? - и воткнул в него сначала один крюк, затем второй, а потом и третий своего трехпалого крюка. Виктор все это делал вдумчиво, придавая большое значение каждому своему движению, потому что он не просто был на рыбалке, а слился в одно с этим роскошным занятием, как бы растворился в нем, а вместе с ним и с безграничной и равнодушной природой, соблюдающей вечную красоту с ее реками, небом, звездами, садами, цветами... Вот уже двадцать два года, как Виктор живет на свете, и не сочтешь, сколько раз за эти годы он ходил на рыбал-

ку, и почти всегда одной и той же дорогой, одной и той же тропинкой; и была ли весна, как теперь, или осенний вечер с дождем, или зима, когда речка подо льдом бежала, как говорится в народе, - для него было, в сущности, все равно, и всегда неизменно хотелось одного: поскорее бы пойти с удочками на реку. Поэтому так был ему приятен рассказ отца о старике, который поехал зимой на санях за рыбой. Виктору казалось, да не просто казалось, а у него было такое чувство, как будто этот дед с зимней рыбой жил в этих краях вместе с Виктором лет сто, а то и больше.

Будучи в самом что ни на есть приятном расположении духа Иван Семенович как бы погрузился в самого себя; и звездное небо, и сладость во всем организме от выпитого делали этот вечер для него чудесным; он смотрел на реку и беспричинно улыбался. Летом это была довольно-таки мелкая речушка, которую без особого труда можно было перейти вброд и которая становилась совсем неширокой к августу, теперь же, после половодья, она была метров двадцать шириной, достаточно быстрая, холодная; на берегу и у самой воды видны были свежие следы от коровьих копыт - пастухи любили гонять сюда и колхозное и частное стада. Иван Семенович посопел приятно от хорошего настроения и живо, с поразительной ясностью, в первый раз за долгие годы, представил себе свою мать, покойницу, отца, погибшего под Москвой в сорок первом году, в декабре, почувствовал себя ребенком, несмышленишем, зачем-то явившимся на этот свет, и чувство радости и счастья вдруг охватило его, от восторга он сжал крепче удочку.

Виктор передумал идти к Верке. Уже спать хотелось. Но он не поленился, сходил за водой; мать поставила пустые ведра на крыльце. Он пошел к колодцу. Длинная тень падала от него в свете луны на дорогу. Виктор смотрел на эту тень, и ему казалось, что он самый высокий и самый сильный человек на земле. Подойдя к колодцу, поставил одно ведро на лавку, а другое зацепил на зацепку и стал медленно раскручивать ворот. И пока ведро опускалось, все думал об Ольге Кротовой, о том, что с нею он будет по-настоящему, пойдем свататься, в фуражке милицеевской. Ну, думал ли он, деревенский парень, что достигнет таких высот?! Ведро далеко внизу шлепнулось в воду. Как только оно набралось, Виктор стал поднимать его.

Между тем Иван Семенович засветил огонь в сених, где была разложена посадочная картошка на завтра. Он присел, поднял одну, взгляделся в нее. Затем, подумав, положил.

И пошел на кровать под горячий бок к Марусе...

Утром еще петухи не пропели, а Иван Семенович был уже на ногах. Поднялся раньше Маруси даже. А на улице совсем летнее дневное, а не утреннее тепло: так и поддавал теплый воздух, так и поддавал. Чудеса. Казалось, за ночь распустились листья на яблонях и вишнях, а от черемухи веяло дурманом. Даже росы на траве не было, так было тепло и уютно на воздухе. Хотелось сразу же приняться за работу, хотелось копать, сажать, окучивать, забивать гвозди, строгать, пилить. И Иван Семенович, стоя в трусах и в галошах у верстака на заднем дворе, в задумчивости чесал рыжий затылок, глупо зевал и все никак не мог придумать, с чего бы ему начать этот прекрасный теплый день. И так всегда в выходной. А тут еще настроение: повеет ли весной, пойдет ли дождь, донесет ли ветер холода, и вдруг нахлынут воспоминания о прошлом, прямо кучей нахлынут, без всякого порядка, но все такие милые сердцу, что это самое сердце, о котором и не помнится, сожмется, и из глаз польются обильные слезы, но это только на несколько минут, а там опять разнообразие повседневности, и знаешь, зачем живешь - для счастья.

В углу на верстаке лежали раскосы, Иван Семенович присмотрелся сквозь слезы умиления и заметил, что один плохо острюган. Взял его и рубанок, приложился: стружка пошла аппетитная, широкая. Недаром давеча наточил лезвие рубанка на камне. Там в посылочном ящике гвозди лежали у раскосов. Отложив рубанок, Иван Семенович взял несколько гвоздей и принялся прикреплять горбыли в загоне поросенка, хлюпая в жиже галошами. Поросенок нюхал тонкие ноги, и было щекотно. Заодно бак попался старый; раньше в нем Маруся белье кипятила. Иван Семенович взял, осмотрев, совковую лопату и стал жижу из-под поросенка в бак нагребать. Когда нагреб, поставил бак на тачку и решил свезти удобрение на компостную кучу. Когда вез, заметил мешок с побелкой, полиэтиленовый мешок, специально приготовленный, чтобы побелить яблони и вишни. Бросил тачку с навозом, взял ведро со двора помойное и в нем развел известь. Намотал на палку ветошь и принялся белить в саду яблони. А от земли тепло так и поднимается!

Вышла в ночной рубашке Маруся, на ногах у нее были кирзовые сапоги. Она зевнула, поблескивая золотым зубом и поднимая над головой руки. Затем, что-то заметив в грядках, прошла в междурядье, нагнулась, повернувшись к Ивану Семеновичу задом, и стала вырывать проклюнувшиеся за теплую ночь сорняки. Иван Семенович уставился на ее заголенный зад, на мослы совершенно мужских ног с узлами синих вен, с красными подтеками. Это были ноги футболиста, а не женщины. Маруся, словно увидев взгляд мужа, обернулась, подмигнула своими хитрыми глазами и насмешливо улыбнулась, как будто знала что-то сверх требуемого жителю села Тюрищи.

Маруся чувствовала себя прекрасно; она не только выспалась, но и сумела поглядеть несколько снов, в которых она непременно была с мужем, Иваном Степановичем, и все им счастье выпадало жить в селе Тюрищи, никуда не уходить-уезжать, радоваться каждому новому дню, помнить о родных и близких, особенно о сыне Викторе, примерном в поведении и в уважении к родителям. Маруся знает, что Иван Семенович любит ее, и Виктор любит ее. В деревне весь народ хороший; новых со времен Батяя не было, а все свои, плодятся, умирают; мужики продолжают свои фамилии, а девок берут из близких сел. Так всегда было в нашей стране, так и должно быть. Да, думает Маруся, дергая сорняки, в деревне народ хороший, смирный, разумный. Бога боится, и Маруся тоже боится, оттого и счастлива, добрая она, кроткая, работающая.

- Что ты? - спросил Иван Семенович, обмазывая белым стволами яблонь.

- Да ничего, - ответила Маруся и повернулась, поднявшись, к Ивану Семеновичу плоской грудью.

Глядя на нее, Иван Семенович подумал о том, что ей идет эта ночная рубашка, сквозь которую просвечивают соски опавших, измятых им грудей. От прошлого у Ивана Семеновича осталось горячее воспоминание о доброй близости с Марусей, постоянной какой-то близости, как будто он сросся с нею; и он был благодарен жене за счастье совместной жизни.

- Марушь! - позвал он знакомо.

- Да из тебя! - стыдливо усмехнулась Маруся, но тут же пошла за мужем в сторону бани, бревенчатой, в углу сада, у плетня.

И опять, как всегда, как много-много раз, все та же угловатость, несмелость всегда повторяющейся как бы неопытной мо-

лодости, неловкое чувство; и было ощущение счастливой растерянности, как будто кто-то вдруг заглянул в дверь. Маруся, эта труженица природы, как и всегда, отнеслась к тому, что произошло, деловито и радостно, как к поливке огорода или посадке моркови, очень серьезно. У нее поднялись, расцвели черты и по сторонам лица распушились курчавые волосы, она улыбнулась в счастливой позе, точно после первой брачной ночи, предчувствуя долгий, сладкий, великолепный медовый месяц.

- Хорошо, - сказала она.

- Мне, знашь, тоже, - сказал он.

Вернувшись к яблоням, Иван Семенович почувствовал легкое головокружение от счастья, окружавшего его.

Маруся промелькнула в дом.

Вошло солнце. С улицы послышался хриплый, гундосый голос пастуха. Маруся выгнала, успев подоить, корову, которая сначала, как и всегда, не хотела выходить, пригrelась к дому, но потом, уговариваемая Марусей, совавшей ей в черный, влажный, кожаный нос ломоть черного с солью, крупной, хлеба, не спеша, вальяжно пошла, припадая сломанным рогом, как бы бодаясь. И этот чертенок, поросенок, запрыгал в загоне; тут же Маруся на-меси-ла ему чугунок с отрубями и объедками, и вылила на дворе в корыто, к которому сразу же сбежались куры, но поросенок их тут же разогнал и принялся за обе щеки хлебать.

- И ешь, и ешь, - сказала Маруся, радуясь за животное. Она любила радоваться и за животных, и за мужа, и за сына, и за родственников, и за хороших людей. То же делал и Иван Семенович, радовался, а злобу скрывал и давил ее в себе, как и всякие болячки и неприятности; не доставлял он людям удовольствие почувствовать себе; мало столь верных способов приводить этих людей в хорошее настроение, как рассказывать им о своих горестях или обнаруживать свои слабости. И вот этот талант ни Маруся, ни Иван Семенович в себе как бы не замечали. А ведь это талант: не гноить чужую душу своими гнойниками! Но что, однако, за наивный человек тот, кто мнит, будто обнаруживать свой талант и ум - это средство найти себе любовь у людей, в коллективе, в колхозе, в деревне! Да наоборот, в большинстве людей и талант, и ум возбуждают ненависть и злобу, тем более ожесточенную, что чувствующий ее не должен жаловаться на ее причину, даже таить ее от самого себя.

И что же? Да ничего! Не причинять людям вреда так же было естественно Ивану Семеновичу и Марусе, как есть и ходить на двор. И в этом заключалась вежливость. Вежливость - это ум; невежливость (тот, кто вам рассказывает о том, что у него болит мочевого пузырь, что дочь его развелась и уехала на работу в Германию, что его замучила теснота в хрущобе, что у него хронически не хватает денег и т.д. и т.п.), следовательно, это, как ни печально, - глупость: без нужды и добровольно наживать себе с ее помощью врагов - безумие, подобное тому как если человек поджигает свой дом. Так зачем, спрашивается, Маруся и Иван Семенович будут поджигать свой дом?! Конечно, вежливость является трудной задачей, поскольку она требует, чтобы мы перед всеми людьми обнаруживали величайшее уважение, хотя большинство их не заслуживает никакого.

Поросенок, хлебая из корыта, так увлекся, что перестал отгонять кур, которые обступили корыто со всех сторон, и даже клевали из-под самого пороссячьего рта.

Иван Семенович покончил с побелкой и, подтянув трусы, прошел в дом. Маруся тоже пошла переодеться. Она стояла голая в кирзовых сапогах у кровати. Потом скинула сапоги и надела свои любимые байковые трусы с резинками чуть выше колена. Иван Семенович надел рабочие штаны и кирзовые ботинки, потом, подумав, облачился в футболку, а на голову нацепил кепочку-шестиклинку с пуговкой. Наблюдая, как одевается жена, он некоторое время молчал, затем вдруг крикнул:

- Витька, знашь, вставай!

Через некоторое время в избу вошел заспанный Виктор, большой, с опухшим лицом (пил-то вчерась больше отца). Голову нагибал на пороге, чтобы не удариться о притолоку, верхнюю часть дверной коробки, опирающуюся на косяки. Виктор начал с обычного вопроса:

- Мамка, ты корову подоила?

- Вона на лавке ведро-то с молоком! - сказала мать, быстро проходя за ширму.

Виктор взял кружку, зачерпнул парного молока и принялся жадно пить, как будто его всю ночь мучила жажда. На самом деле ему приснился не очень приятный сон: ему отказали в приеме в милицию. Он, было, хотел даже отцу рассказать этот сон, но, подумав, не стал отца беспокоить. То есть, по-видимому, от роди-

телей ему передалось врожденное чувство вежливости. Он стоял в центре избы, широко расставив ноги, и пил молоко из-под коровы, откинув голову, отставив локоть и оттопырив мизинец. Он пил и немножко боялся сна: как бы он не сбился.

- Ладно-ть, - сказал Иван Семенович, - накрывай, мать, поскорее на стол завтракать, да и пойдём картошку посадим.

Маруся стала выносить на стол отварную картошку, яичницу с колбасой и соленые огурцы. Виктор пошел на мост умыться. Иван Семенович сел к столу и приступил к завтраку: осмотрел вилку, протер ее о скатерть, затем наколол ломоть черного хлеба и стал выкраивать себе кусок яичницы для бутерброда. Освеженным от умывания вернулся в избу Виктор, взял вилку, осмотрел ее, протер о край скатерти и наколол горячую картофелину.

- Надо бы к обеду управиться, - сказал Иван Семенович.

- Управимся, - сказала Маруся.

- А то, неровен час, Василий с супругой пожалует, да Валерий Ефимович из города с ночевкой приедет...

- Хорошо бы приехали, - сказала Маруся, - родня все же.

Маруся накинула на голову с плеч косынку, поднесла руку к губам, как бы задумавшись, потом сказала:

- Витька, знашь, принеси воды!

- Дак я вчерась принес.

- Срасходовала...

- Ладно, мамка, сейчас дожю и принесу.

Когда он вышел с ведрами на улицу, то, к своему удивлению, заметил вдалеке Ольгу. Он поставил ведра и пошел ей навстречу. Ольга нарядилась в новое красное с белым воротником платье, сшитое специально для праздника; в ее волосах, редких, рыжих, собранных в пучок, вилась пунцовая ленточка, точно пламень. Лицо ее круглое покрывали веснушки. Она была молода, в сущности, еще девочка, с едва заметной грудью, но с очень широкими бедрами и огромным тазом, поставленным на толстые ноги, очень короткие для Виктора, она была самая красивая, и особенно ему нравились ее большие, мужские руки, которые теперь праздну висели, как у солдата-новобранца в строю после команды "вольно".

- Чего ты так рано? - спросил Виктор, краснея от смущения.

- Дядю Гришу вышла встречать.

- А он, что, приедет?

- Да, на своем "Москвиче".

Виктор помнил, что дядя Гриша был родным братом отца Ольги, жил в военном городке и работал вольнонаемным в авиационной части механиком-двигатelistом.

- Чего он так рано-то?

- А у него сын сегодня женится. В загсе назначили на девять утра. Пока доедем, пока то да се и так далее.

- Давай мы тобой поженимся! - вдруг вырвалось у Виктора из груди, и он пуце прежнего покраснел.

Ольга тоже, видимо, смутилась, прикусила тонкую губу и обернулась.

- Дурак ты, это! - сказала она.

Виктор с любовью посмотрел на ее крупный нос со вдавленной переносицей, на эдакую прекрасную картофелинку, на круглые щеки, на маленькие глаза, посаженные близко ко вмятой переносице, которые сильно косили, и чуть не разрыдался от нежности.

- Я люблю тебя, знашь! - всхлипнул Виктор и, приблизясь, положил свою тяжелую ладонь ей на плечо.

Ольга вдруг зарделась, быстро приблизилась к Виктору и поцеловала его в щеку. Только Виктор опомнился от внезапно подкатившего к нему счастья, как Ольга пустилась наутек: ее крупные икры замелькали под красным платьем.

- К вечеру давай, знашь, приезжай! - крикнул Виктор.

- Приеду, это, как штык!

Посопев и сплунув, Виктор пошел возбужденный к колодцу, нацепил ведро и пустил его падать в глубину. Потом Виктор некоторое время все ходил по ковровой дорожке в избе и посвистывал или же, вдруг вспомнив, что его берут в милицию, задумывался и глядел в пол неподвижно, пронзительно, точно репетировал властный взгляд для всяких торгашей в палатках.

Отец заглянул в избу, спросил:

- Ну, ты чего, итить, застрял, Витя. Я уж ряд с матерью посадил.

Виктор смахнул внезапную радость с лица и пошел на зады сажать картошку. Солнце уже нещадно палило, обещая жаркий день. В душах сажающих картошку был праздник, и хотелось отметить праздник ударным трудом. Говорили, что в праздник грешно работать, но в эти разговоры Иван Семенович не верил. В любой день нужно было посуетиться и что-нибудь сделать, иначе день шел насмарку.

Земля высыхала на глазах; комья в руках рассыпались в пух и прах. Виктор выкапывал лунки, отец кидал в нее по две-три картошки, а мать сзади присыпала посадку землей.

Виктор скинул рубаху, одновременно с посадкой загорал; его мускулистое спортивное тело было смугло, и пот стекал по хребту и из-под мышек, заросших густыми рыжими волосами. Иван Семенович тоже на некоторое время снял рубашку, позагорал, но минут через пятнадцать снова надел ее, боясь обгореть. Тело его было бело, только кисти рук и шея были смуглы. Маруся тоже скинула кофточку и работала в черном шелковом лифчике: тело у нее загара не боялось, было словно цыганское.

Свежая голенастая крапива яркой зеленой лентой бежала вдоль плетня, радуя глаз тружеников и пугая всяких других своей воинственностью и ядовитостью, как будто каждая травка в природе должна ласкать человека; так никто не договаривался, природа просто сама случайно выделила человека из себя для присмотра за собой, а если человек надоест, то так же легко его сведет на нет без сострадания и объяснений. Ну, положим, размышлял Иван Семенович, любуясь сочной крапивой, кто разрешил природе иметь крапиву?

На экране появляется изображение Кремлевской набережной. Бесконечной чередой идут машины. Солнце блестит в куполах колокольни Ивана Великого. Раздается громopodobный голос диктора всесоюзного радио Юрия Левитана: "Говорит Москва...". По Москве-реке идет тяжелая баржа с песком. За кормой кружат чайки. Вкрадчивый голос читает стихи:

А жил я в доме возле Бронной
Среди пропойц, среди калек.
Окно - в простенок, дверь - к уборной
И рупь с полтиной - за ночлег.
Большим домам сей дом игрушечный,
Старомосковский не чета.
В нем пахла едко, по-старушечьи,
Пронзительная нищета.

Я жил затравленно, как беженец,
Летело время кувырком,
Хозяйка в дверь стучала бешено...

Капля пота попала в глаз вместе с ресницей и Иван Семенович часто заморгал, слеза пробилась, а рука была в земле, пальцем в глаз не полезешь; тогда он выдернул из штанов подол рубахи, нагнул голову и подолом согнал ресницу к переносице, а потом и на ткани ее увидел: маленькую, загнутую, как серп.

- Чего ты там? - спросила Маруся.

- В глаз попало.

- Ну, дак я посмотрю, - сказала Маруся.

- Я уж вынул ресницу-то, попала, понимаешь, - сказал Иван Семенович, запихивая подол в штаны и глядя себе под ноги.

Как раз из-под ноги выполз жирный красный дождевой червь с лиловым ободком, лежал немного, затем начал двигаться, подтягивая тельце, к маленькой червячной норке в комке земли. Иван Семенович нагнулся и отбросил червя на уже посаженные места.

- Витька, а бывают корни круглые? - крикнул Иван Семенович сыну. Тот выпрямился, не понимая, о чем спрашивает отец.

- Круглые корни? - переспросил Виктор.

- Ну да...

- Не бывает, - сказал Виктор.

- А картошка?

- Разве картошка корни?! - засмеялся Виктор. - Картошка - еда.

Иван Семенович мотнул головой и рассмеялся, удовлетворившись нестандартным ответом сына, затем нагнулся и выдернул белый длинный корень осота, эдакий провод прямо-таки. Мощный этот осот; найдет себе ходы на глубине штыка в любой почве. Недаром сказывают, осот скрещивали с пшеницей, чтобы она выносливее была. А то и сама пшеница произошла за много столетий от этого дикого осота: высокой травы с трубчатым стеблем, идущим один из другого, как составная удочка или антенна приемника.

Вспомнив о приемнике, Иван Семенович сходил за ним в избу, принес, выдвинул никелированную антенну и включил радиостанцию "Маяк", которую только и принимал он, а первую и вторую программы слышно было плохо. Этот приемник Ивану Семеновичу подарили на работе ко дню Советской Армии и Военно-морского флота. Какая-то музыка смолкла, и строгий низкий женский голос объявил следующую музыку: па-де-де из ба-

лета Чайковского “Щелкунчик”.

- Вот под музыку оно сподручнее, - сказал Иван Семенович, взял лопату и принялся копать лунки.

Маруся, вспотевшая, сделала замечание:

- Глыбоко...

Не “глубоко”, а именно “глыбоко”.

- Земля, знаешь, теплая, - сказал Иван Семенович, - она пойдет вширь, клубиться будет лучше.

Прежде чем сунуть в лунку картошку, Маруся все равно ребром ладони сбросила на дно немного земли. Ну, вот ты упрямая какая!

- Говорят, глыбоко.

- Ладно, буду мельче нырять, - согласился Иван Семенович и посмотрел на небо, совершенно прозрачное и ярко-голубое.

Виктор тем временем делал другой ряд по доске, чтобы ровно было, клал доску в междурядье, шел по ней, ковыряя лунки, а затем бросая в них картошку из корзины. Он думал о предстоящем празднике, даже дядю Васю и Валерия Ефимовича поджидал с удовольствием, хотя не очень любил рассиживаться за столом с родней; тянуло к молодежи.

И почему так тянет молодых людей сбиваться в стаи? Древнее стадное чувство, когда можно было существовать в безопасности именно в стаде, тепло, родном, единокровном. Чем больше людей, тем веселее.

Виктор остановился, задумался, расправил плечи, посмотрел туда, где находилась река, потянулся, затем поднял картошку, маленькую, покрутил в руке, взгляделся в нее, в неровные бока, в морщинистую плотную кожуру, в синие ростки.

Какие из этих синих ростков станут корнями, а какие ботвой и цветами? Вот что занимало в этот момент Виктора: под землей или над землей будет росток, что справа? А левый? Можно было только гадать, припоминая разные сведения из школьной программы, забытые уже, мерцающие каким-то одним светлячком в памяти знаний.

- Пап, а как растет картошка? - спросил Виктор.

Иван Семенович на мгновение застыл с лопатой, но после ответил:

- Растет себе и растет.

- Нет. Как растет? Я знаю, что она растет себе и растет. Но как растет? Вот смотри, - Виктор подошел к отцу, - тут три глазка.

Вот который из них над землей зеленым будет, а который под землей?

Иван Семенович сначала уставился на картошку, а потом, хохотнув, сказал:

- Она сама разберется.

- У моркови-то видно, где низ, где верх, - не сдавался сын. - А тут загадка выходит.

- Выходит, - буркнул отец, продолжая посадку.

Подошла Маруся, посмотрела на картошку и, подумав, сказала:

- Если б знали, то б спортили.

- Морковь-то не портим. - Маруся махнула рукой и отошла.

Виктор задумчиво направился к своей доске, старой, посеревшей, бывшей когда-то в числе прочих досок в старой створке ворот.

Маруся смотрела со стороны на сына и улыбалась; она благоговела перед ним. Виктор никогда не ласкался, говорил только о серьезном, как вот сейчас о картошке; он жил своею особой жизнью, загадочной, хотя и вроде понятной, но загадочной в том смысле, что его внутренний мир был закрыт для матери, а она очень хотела видеть, как телевизор, этот внутренний мир, но не могла его видеть, хотя произвела этот мир из себя, родила Виктора, а он такой теперь самостоятельный, загадочный, хотя и, повторялась Маруся, понятный.

- Наш Виктор замечательный человек, - говорила часто Маруся Ивану Степановичу.

- Такого сына дай Бог каждому иметь! - торжественно соглашался тот, поднимая ложку для первого.

- Грамотный, десятилетку кончил, - добавляла Маруся.

Что тут сказать? Иван Семенович и не говорил ничего, только чувствовал некоторое равнодушие к грамотности: ну прочитаешь вывеску на магазине, ну и что?

Конечно, и неразвитость его пугала, поскольку неразвитость эта вечна и животные размножаются неостановимо таким же древним способом, как человек. Значит, человек - животное. Но не только... На этом нить размышления терялась и в голове все смешивалось.

- Вона, мухи уже! - сказала Маруся, увидев жирную зеленую муху на борозде.

В ее голосе слышалось удивление, точно ей казалось невероятным, что мухи после долгой и холодной зимы больше никогда не появятся.

- Ох, уж эти мухи, знаешь! - вздохнул Иван Семенович.

- Мухи летают, - задумчиво сказал Виктор и смахнул пот со лба. Все помолчали, глядя на муху и четкую черную точку тени от нее на земле, сухой и серой. От людей тоже ложились тени на эту землю, но большие и не такие черные.

Маруся взяла пустой холщовый мешок, подошла к плетню и бросила его, сложив вдвое, прямо на крапиву. Затем села на него.

- Тут, пожалуй, прохладней... - проговорила она.

Иван Семенович взглянул на нее, промолчал, а минуты через две прикрикнул:

- Встань, не бабье это дело на земле сидеть.

Маруся умилилась от заботы и, хотя поверх байковых трусов на резинке была надета трикотажная юбка, тут же встала; она, быть может, и присела у плетня в его тени только для того, чтобы муж заботливо попросил ее встать. И в этом была ее какая-то подсознательная житейская мудрость. А что такое житейская мудрость, как не умение провести свою жизнь возможно приятнее и счастливее! Это только глупцы талдычат о том, что оставят этот мир столь же глупым и столь же злым, каким застали его.

- Сколько время? - вдруг спросил Иван Семенович.

Виктор полез в задний карман своих тренировочных брюк за наручными часами, достал их, на желтой браслетке, посмотрел на циферблат, сказал:

- Двадцать минут девятого.

- Эка, время-то бежит! - сказал Иван Семенович. - А мы едва половину сделали.

- К десяти управимся, - сказал Виктор степенно.

- Должны, - поддержала Маруся. - Мне, знаешь, готовить уже пора. Неровен час, Василий да Ефимыч пожалуют.

- А ты иди, вари себе, - сказал Иван Семенович, - мы тут с Витьком управимся.

- Управимся! - подтвердил Виктор.

Маруся отерла руки о юбку, поджала губы и повернулась в профиль - казалось, что она сейчас дунет на солнце, чтобы оно умерило свою прыть.

Присели в ожидании гостей. Виктор включил телевизор для приличия, хотя в экран никто не смотрел; телевизор бубнил что-то про разные рекламы “мириканские”. Так Иван Семенович называл американские товары.

- Опять мириканцев показывают? - обычно спрашивал он.

Иван Семенович переоделся к столу, был в белой сорочке с зеленым в полоску галстуком и в коричневых брюках от костюма. Ботинки выходные были начищены с гуталином.

Виктор придерживался молодежной моды - на нем была наде-та черная трикотажная с коротким рукавом футболка и джинсы.

Отец и сын поглядывали на бутылки, но не прикасались к ним, отчего испытывали к этим бутылкам уважение. Свою водку, самогон, сразу ставить не стали. Пусть магазинная праздник начинается.

Потом по телевизору пел женский хор.

В дверь постучали, и голос Василия разрядил напряженность ожидания:

- По Берлину - огонь!

И в его руках взорвалась бутылка шампанского, вернее, из нее вылетела, как снаряд, пробка, просвистела над столом и со звоном ударилась о стекло. Это Василий приготовил сюрприз еще у прогона: сдернул с шампанского проволочку, пошевелил пробку и так и шел до дверей. Жена, сестра Маруси, Вера шла сзади и маленьким кулачком стучала Василия по спине, приговаривая с улыбкой:

- Ну и чавала, ну и чавала!

Василий был смугл и кучеряв и чем-то действительно походил на цыгана. Голос у него, правда, был не цыганский, а какой-то бабий, визгливый и размазанный, как по тарелке манная каша. Так говорили блатные. Василий сидел три года в Бодайбо за оскорбление командира роты. У Веры был такой же длинный и горбатый нос, как и у сестры Маруси, но кожей была светлее и походила на щуку: из-под длинного носа сильно выдавалась вперед нижняя челюсть, и губы были вытянутые, щучьи.

Завершала процессию первых гостей их дочь, тринадцатилетняя Марина, шкодница, со сплюснутым лицом, вся в отца.

- Дядя Ваня, это тебе, - сказала она, протягивая Ивану Семеновичу цветок, гвоздику, и цветную открытку, на обороте которой Иван Семенович прочитал ученический текст: “Дорогой дядя Ваня! Поздравляю тебя с Днем Победы! Желаю здоровья и счастья! Марина”.

Иван Семенович благодарно погладил девочку по голове и поцеловал куда-то возле уха. От Маринки сильно пахло духами, а в ушах поблескивали сережки, желтенькие, с зеленым камешком,

- Дак вот и праздник подошел, - сказал Иван Семенович.

Василий сел на венский стул к столу, но не за сам стол, а вполборота к Ивану Семеновичу. Вера прошла за занавеску к сестре.

- Большой праздник, - сказал Василий. - Большой...

- Долго ехали? - спросил Иван Семенович.

- Хорошо, знашь, ехали. Ты знашь, автобус сразу подошел.

- Семнадцатый? - уточнил Виктор.

- Семнадцатый, - сказал Василий. - С местами ехали. Народу праздничного много везде. У завода военный оркестр играет. Там трибуна красная.

- Нас звали как с филиала, но я отказался. Куды нам! Пусть молодежь отдыхает от парада.

Василий вдруг расхохотался и сквозь этот хохот выговорил:

- Это ты, Ваня, фартово сказал: отдыхает от парада. Вот оно по стране нашей определение. Отдыхаем от парада!

Иван Семенович прервал его:

- Да что ты - это с песни... Как уж ее? Забыл. Вона Витька, небось, помнит...

Виктор сидел, положив руки на колени. Он смущенно кашлянул и сказал:

- "Москва майская". Композитор Покрасс, слова Лебедева-Кумача. Исполняют, знашь, Бунчиков и Нечаев...

Василий вклинился:

- Праздник нужно, это, нести на себе, пока не свалишься и не помрешь.

И опять захохотал.

Отец обратился к Виктору:

- Возьми струмент, что ли, понимаешь, сыграй.

Из-за ширмы выглянула жена Василия, прикрикнула на него!

- Ну что ты, как этот, ржешь?!

- Как кто?

- Как конь!

Виктор полез в шифоньер, достал из-под тряпок гармонь, расстегнул ее, попробовал, гармонь празднично взвизгнула; после этого заиграл известную мелодию и громко запел:

счастье

Утро красит нежным светом
Стены древнего Кремля.
Просыпается с рассветом
Вся советская земля...

Гармонь, как весна, замкнула на себя праздник. Далее Виктор подошел и к взвеселившему Василия выражению:

День уходит и прохлада
Освежает и бодрит.
Отдохнувший от парада,
Город праздничный гудит...

Василий вновь расхохотался, а Вера уже прямо выскочила из-за занавески и съездила Василию ладошкой по затылку.

Лишь праздник отвлекает от безнадежности, и он же ее символизирует в полной мере, замыкает ее, как все ту же весну, на себя.

Ведь в празднике нет и не может быть истины, внеположной празднику, а есть только ритуал, условный его свод, и за эти пределы никто не способен вырваться. В то же время мнимая условность праздника, особенно парада, когда отряды обряжаются в наряды и маршируют рядом с трибунами, на которых стоят вожди, сродни условности самого языка, на котором изъясняются люди; так что язык слит с праздником, а праздник с языком, плавно перетекающим в перманентное ощущение счастья.

Виктор подходил почти что к концу песни, приподнявшей всех до уровня понимания этого праздника, как Василий вновь затянул, перебивая Виктора, уже пройденный где-то в начале песни куплет:

Солнце майское светлее
С неба синего свети,
Чтоб до вышки мавзолея
Нашу радость донести,
Чтобы ярче заблистали
Наши лозунги побед,
Чтобы руку поднял Сталин,
Посылая нам привет.

И уж Вера с Марусей взвизгнули припев, без водки, трезвые; вот что песня, паразитка, делает с людьми:

Кипучая, могучая,
Никем не победимая,
Страна моя, Москва моя,
Ты самая любимая!

Сентиментальная идиллия воцарилась в избе. У Василия уж настоящие слезы от имени Сталина появились на глазах.

- Он, знашь, велик, а эти в пинжаках! - кричал Василий под перебор гармошки. - Понимаете, он вождь, а эти - домуправы...

- Ладно тебе, ботало! - прикрикнула на него Вера. - Не пил еще, а орешь, знашь, как этот!

- Как кто? - спросил Василий.

- Как Гитлер! - вмазала Вера.

Василий вскочил и чуть не рванул рубаху на груди, но только показал движением рук, что готов разорвать выходную рубашку.

- Да я за советскую власть, знашь, всех гадов-немцев попишу-порежу!

Иван Семенович улыбнулся, как бы усомнившись в реальности существования Василия; с ним часто такое случалось: посмотрит на людей, и не верит, что они живые, настоящие, поставленные в жизнь и мир для такой же, как и у Ивана Семеновича, жизни.

С напряженно-испытаным лицом первым в избу шагнул Валерий Ефимович, за ним в креп-жоржетовом платье Антонина, с шестимесячной завивкой, круглолицая, губастая, щекастая; уж за нею вошла худая, с мужскими ногами, совершенно рыжая дочь Татьяна. Каждая пьянка для Валерия Ефимовича была школой мужества. Несколько раз он пытался завязать, к врачам обращался, но постоянно развязывал. Сейчас он приехал просто посидеть за столом, как настаивала Антонина и как он сам думал.

- Только не сорвись! - грубым мужским голосом говорила жена.

Жена была сестрою Маруси и Веры, средняя, между ними; работала в городе на физприборе вместе с Валерием Ефимовичем. А познакомил с ним ее в свое время Василий. Валерий Ефимович с друзьями ночью взломал палатку, чтобы выпить; в палатке оказалось две четвертинки. За эти две четвертинки Валерий Ефимович, из деревни под Иркутском, получил пять лет и отсиживал их вместе с Василием в Бодайбо. Срок заключения у них истек одновременно; когда Василия посадили, Валерий Ефимович отбыл уже пару лет. Так как Василий был родом из Европы,

то и потянул за собой Валерия Ефимовича. Василий сначала нашел Веру, а потом и Валерия Ефимовича с Антониной познакомил, поскольку пришло время обзаводиться семьей, а то без семьи можно было опять угодить за решетку, и чуть было Валерий Ефимович не угодил из-за одного милиционера, которого били какие-то парни возле продмага, а Валерий Ефимович в это время мимо проходил, еле отпрыкался, следовательно все в дело его подшивал.

Валерий Ефимович был щупленьким, маленьким, с косой челкой, с рядом стальных зубов сверху и снизу, так что когда он открывал рот, то казалось, что у него там консервная банка. На Валерии Ефимовиче была желтая вязкая рубашка с коротким рукавом; все руки были испещрены наколками: "Не забуду мать родную", "За Родину, за Сталина", "Когда умру, не пойте песен" и т.д. Рисунки были в основном военно-морской тематики.

- Ну, вот и Валерий Ефимович прибыл! - сказал Иван Семенович, вставая.

- Как доехали? - спросил Василий.

Виктор отложил гармонь, крепко пожал руку гостю, а Антонина сердечно кивнула.

- Витька, сегодня купаться можно! - весело сказала Татьяна.

Антонина, взбивая и без того чудовищную кудрявую шевелюру растопыренными с покрашенными ногтями пальцами, прикрикнула на дочь:

- У, сотона, угомонись!

Конечно, ударение было поставленно именно на первом слоге "со".

То, что это сатана, Антонину не занимало, да и она не знала значения этого слова, просто во дворе старухи так кричали, и она так стала кричать; кричали бы они что-нибудь на каком другом языке, то бы и Антонина стала кричать; впрочем, все мы не на своем языке кричим: мы просто рождаемся в готовый язык, и все.

- Чего ты! - огрызнулась Татьяна.

Виктор порозовел от столь прямого к нему обращения Татьяны и сказал, не подумав:

- Оно, конечно, можно.

- Ну так сбегает сразу, пока эти водку не стали жрать.

- У, сотона! - взвизнула Антонина еще раз. - Щас как дам по жопе!

Щуплый Валерий Ефимович как бы не замечал перепалки жены с дочерью, поскольку это был лишь слабый отблеск ежедневных диалогов.

Валерий Ефимович сел поближе к Ивану Семеновичу, положил ногу на ногу и закурил “беломор”. Антонина это сразу отметила:

- Ну, вот, ханурик, задымил!

Маруся и Вера вышли из-за ширмы, нарядные, в обновках; на Марусе было мешком, шелковое платье, на Vere, тоже мешком, тоже шелковое, но голубое против Марусино розового.

От окрика Антонины Валерий Ефимович стал совсем жалок. Иван Семенович заметил это и некстати бухнул:

- Давай, Валерий Ефимович, махнем, знашь, по рюмочке!

Василий понял это как обращение к себе и подсел к столу.

Все знали, что Валерий Ефимович законченный алкоголик, но в то же время все делали вид, что не знают этого.

- Вань, ты прямо, я даже не знаю, ить, ноне, - проговорила Маруся, чтобы косвенно напомнить Ивану Семеновичу, что Валерию Ефимовичу нельзя пить, как будто Иван Семенович об этом не знал.

И Василий схватил бутылку, и Иван Семенович, и начали открывать их, и женщины потянулись к столу, и все, кто был в избе, порассаживались кто куда, кто на стулья, кто на лавку, кто на табуреты.

Всем места хватило: все ж таки два стола сдвинули, чтобы просторнее было и локтями не пихались. Валерий Ефимович, как цыпленок, тем не менее, оказался стиснутым могучим Иваном Семеновичем и Антониной: кисти рук он выбросил над столом, а локти прижал к туловищу, а кисти этих рук свисали над тарелкой, а сам Валерий Ефимович не знал, куда глаза девать от трезвого позора, и в нем сразу же началась борьба: пить или не пить?! Это после того, когда врачи в него вшивали, вливали, впихивали, вталкивали, гипнотизировали. Борьба шла нешуточная: он стал бел, как мел, глаза ввалились, губы посинели, рот раскрылся и стальные зубы заговорили консервной банкой.

- Ну, Витька, сбегает искупнемся! - просила Таня.

- Угомонись, сотона! - крикнула Антонина.

Виктор вопросительно посмотрел на отца, мол, что делать, уважить племянницу или не уважить. Отец прекратил его сомнения:

- Садись к столу.

Виктор послушно сел на табурет, огляделся, спросил:

- Мамка, а где хлеб?

Маруся всплеснула руками, запричитала:

- Ой, девки, а хлеба-то я, ить, бляха-муха, не намахала, ой, совсем, старая, забыла...

Она бойко побежала за занавеску, но зацепила с угла стола тарелку, на которой стоял граненый лафитник; тарелка с лафитником упала и разбилась.

- Ой! - воскликнула Маруся, побледнев.

Иван Семенович прикусил губу, потому что не любил всякого такого боя; ну, что, спрашивается, бить тарелки, когда можно было Антонину попросить хлеб нарезать, она ближе к кухне сидит; Иван Семенович хотел сделать замечание жене, но воздержался, поскольку ему самому очень не понравились грубые замечания Антонины в адрес дочери и мужа. Валерия Ефимовича просто жалко; елки зеленые, да пусть он лучше так и будет жить алкоголиком, чем муки такие испытывать и ему, и его окружению.

- На счастье! - крикнул Василий, весь подавившись улыбкой, разливая водку, спеленатый праздником, как грудной ребенок.

Иван Семенович и тут хотел промолчать, потому что всю жизнь при любой разбитой тарелке или чашке слышал это "на счастье!", но не промолчал, а твердо сказал:

- Счастье - это когда никто, знашь, ничего не бьет!

Виктор поглядел на отца с недоумением, тупо, не понимая, почему отец уделил внимание какой-то тарелке. Он хотел сказать ему замечание, чтобы не обращал внимания на такие пустяки, но отец показался ему в эту минуту таким диким, темным, что он испугался. Он сам, Виктор, жил в этой дикой жизни, в лесах и в снегах, без дорог, с пьяными мужиками, из уст которых кроме мата ничего не слетало, и, вместо того, чтобы делать отцу замечание, только махнул рукой и еще громче, чем Василий, крикнул:

- На счастье!

Тем временем мать вынесла хлеб на большой тарелке и стала передавать его по столу; Василий, как изголодавшийся, схватил себе кусков десять черного, затем, подумав, и белого прихватил два кусочка.

- А что такое, знашь, между нами девочками говоря, счастье? Где оно? - с приблатненной ядовитостью сказал он, кончив разливать из первой бутылки и беря новую.

- А вот и есть счастье, что мы в праздник, живы, понимаешь, здоровы, за столом сидим! - крикнула Маруся.

- Правильно, - поддержала Вера. - А ты, Васька, помалкивай, коли ничего в жизни не понимаешь.

Вдруг Валерий Ефимович сказал:

- Это слишком мелко! Мелко плавааете и не знаете, что такое счастье! Счастье - это когда ты можешь делать то, что тебе запрещают! - он схватил бутылку, налил целый стакан и, пока гости ображались, что к чему, засадил его залпом.

У Ивана Семеновича аж мурашки по спине побежали, одна мурашка быстрее другой, как блохи. Он только успел наколоть на вилку ломоть жирного окорока и поднести прямо к железным зубам Валерия Ефимовича; тот не стал сопротивляться, а стукнул зубами, сорвав окорок с вилки и, слабо прожевав, проглотил его: огромный кадык на цыплячьей шее заходил вверх-вниз.

У Антонины из глаз брызнули слезы; она рванулась и выскочила из-за стола и молча побежала в сад. Маруся за нею, и дочь Татьяна тоже. Виктор недоуменно пожал плечами, в силу возраста не понимая всего значения алкоголизма для семейной жизни, встал и пошел за ними, скорее даже за матерью, чтобы вернуть ее и всех за стол. В саду, в ярком солнечном свете, на фоне зелени, Антонина картинно обхватила ствол яблони-китайки и стала биться об этот ствол головой.

- За что мне муки такие!

- Да уймись ты, Тоська!

Взяв ее крепко за локти, Виктор оторвал Антонину от дерева и, сказал:

- Антонина Николаевна, давайте не будем, давайте пройдемте к столу, - повел ее в избу.

И что странно, Антонина пошла, а ведь характер у нее был норовистый, еще в девках все время артачилась и мать, покойницу, не слушалась. Маруся, идя сзади, гордилась сыном. А он представлял сам себя милиционером; у него так любой пойдет куда следует, надо только так это спокойно говорить: "Давайте пройдемте". Исстари закрепилось это выражение на Руси и ныне оно не исчерпано. Милиционер выходит из территорий искусства, чтобы вернуться к собственной личности и ее уберечь от людей. Он похож на ребенка; посмотрите на милиционера где-нибудь на Казанском вокзале или на Красной площади, и вы поймете, что

это ребенок, потому что взрослому противна всякая форма; форма идет детям и артистам; вот поэтому милиционер похож на ребенка среди шума вокзала, на ребенка, что посреди удовольствий внезапно бросает игрушку, - он устал, ему все надоело, ему хочется спать, но он вынужден подходить к вам и устало говорить: "Давайте пройдемте!".

А Татьяна поглядывала на Виктора как-то лукаво, вздыхала, как взрослая, и покачивала головой. Года три назад, когда вот так же был праздник, он посадил ее к себе на колени, чтобы рассказать сказку о том, как дед поехал за рыбой, а она подумала, что он полюбил ее. И с тех пор хотела, чтобы он полюбил ее. А он почему-то не любил.

Валерий Ефимович расцвел лицом, курил и говорил громко, смело Ивану Семеновичу:

- Да, Ваня, счастье - это когда супротив! Не иначе, вот, как, конечно, вежливо, без нажима на свободы окружения! Но - супротив! Теперь я человек, и теперь я счастлив, мне так хорошо! Так похорошело на душе, если б ты, Ваня, знал!

Антонина села на место. Виктор быстро выпил стопку, чокнувшись со всегда готовым выпить Василием, взял гармонь и для тоски и веселья запел:

Сиреневый туман над нами проплывает,
Над тамбуром горит полночная звезда.
Кондуктор не спешит, кондуктор понимает,
Что с девушкою я прощаюсь навсегда...

Гармонь переливами зажгла души сидящих, все стали подпевать, а Василий громче всех одну строчку выкрикнул своим блатным голосом:

Последнее прости с влюбленных губ
слетает...

Иван Семенович встал из-за стола, улыбаясь, подошел к Марусе, спросил:

- Где мой парадный пиджак?
- У шифонере. А чего?
- Да надо по селу пройтись. Все ж День Победы.

Услышав это, все оживились, все повскакивали с мест, все захотели прогуляться по деревне, себя показать, других посмотреть. Жарища стояла несусветная, а Иван Семенович возглавил процессию в своем парадном черном в полоску бостоновом пиджаке, на котором красовалась одна юбилейная - к 40-летию Вооруженных Сил СССР - медаль, нагрудный знак "Гвардия", значок классного специалиста, и значок ГТО 3-й степени.

В первой шеренге шли вместе с Иваном Семеновичем Василий и Виктор с гармошкой. Во второй - Валерий Ефимович, Татьяна и Маринка с двух сторон. Замыкали процессию сестры.

Праздник создает замкнутый и тотальный цикл. Настоящий праздничник стремится к тому, чтобы принять участие во всех возможных праздниках: Новом Годе, Первомае, Дне Победы, дне рождения, похоронах, свадьбах, поминках, Дне учителя, Дне дня... И это желание являет собою актуальную бесконечность и беспредельную радость, лишь отчасти умеряемую возрастом и сознанием уходящего поезда в тот самый сиреневый туман, о котором пел Виктор. Легко возразить, что столь же празднично неутоленным может быть и желание овладеть всем золотом мира, всей его славой или непрерывностью его чувственных наслаждений, но сопоставление это, пусть даже справедливое для кого-то в психологическом плане, неверно в решающем плане - онтологическом. То есть в плане понимания учения о сущем или бытии. Все золото и вся слава - сказка о деде с рыбой, которая /сказка/ не только не обещает конкретного обладания рыбой, но и бесплодна даже для воображения, потому что плодотворно только реальное взаимодействие, после оказывающееся нереальным.

- Играй, Витек! - сказал Иван Семенович.

И Виктор заиграл:

Броня крепка и танки наши быстры,
И наши люди мужеством полны,
В строю стоят советские танкисты
Своей великой родины сыны...

Приосанившись, Иван Семенович шел чуть ли не строевым шагом, гордо поглядывая по сторонам. Гуляющих еще не было видно. Но на гармонь стали выглядывать из домов. Вон Гаврилов

Шурка выглянул, тракторист. Вон доярка Полина в окно посмотрела. Концерт, да и только.

На экране - эту́д непогоды, ожидания, беспокойства. Партитура света экспрессивна - лица ожидающих то освещаются лучом тусклого берегового маяка, то погружаются во тьму. Качается бледная лампочка на дебаркадере. В помещении круг света настольной лампы очерчен вокруг читающего вслух человека: "Привлекательность познания была бы ничтожна, если бы на пути к нему не приходилось преодолевать столько стыда".

В шашлычной шипящее мясо,
Тяжелый избыток тепла.
И липнет к ладони пластмасса
Невытертого стола.

Окурок - свидетельство пьянки
Вчерашней - в горчицицу врос.
Но ранние официантки
Уже начинают разнос.

Торопят меню из каретки,
Спеша протирают полы
И конусом света салфетки,
Когда сервируют столы...

Женщины уже не просто шли, а приплясывали и носовыми платками помахивали. Виктор начал плясовую. Остановились. Валерий Ефимович пошел вприсядку. Этого маленького человечка водка не могла никогда свалить. Вот в чем дело. Все думали, что алкоголик это тот, кто с пятьдесят граммов валится. Ничуть не бывало. Этот мог один выпить литр, а то и полтора, и не упасть. Наутро, конечно, будет зеленым и мертвым, но встанет, чтобы пить теперь уже мертвую, неразволочную месяц, чтобы опиться, свалиться, переболеть, завязать, чтобы новую начать. Это не тот алкоголик, кого ветерок легкий как былинку клонит, это неугомонный весельчак. Вон он как пляшет, то вправо пойдет, склонившись, то влево, то припадет одним плечом, то другим. О! Этот тип совершенно не исследован. Это человек-праздник. А то, что он через месяц концы начнет отдавать, так то стоит того, праздник стоит этих концов, которые никто не видит.

- Ловко пляшет Валерий Ефимович, - сказал Иван Семенович, ощущая милые, приятные минуты праздника.

Солнце поднялось уже высоко, тени от гуляющих уменьшились, было очень жарко, по-июльски, и казалось, что трава растет на глазах, все село буйно зазеленело. Дошли не спеша до церкви - филиала завода сельскохозяйственных машин, где трудился Иван Семенович. Сторож, дядя Саша, был уже под хмельком, радостно поприветствовал Ивана Семеновича из калитки, возле которой дремала лохматая собака. Далее за церковью была автобусная остановка, за нею село плавно перетекло заборами в центральную усадьбу, та - в поселок, поселок в город.

Валерий Ефимович, отплясав, сел на лавку под топодем перекурить.

- Дай и мне, что ли, побаловаться, - попросил, присаживаясь рядом, Василий.

Василий был сильно вспотевший, даже рубашка была мокрой, а Валерий Ефимович словно и не плясал - был сух, словно потеть было нечему в его щуплом тельце.

Марина с Таней стояли возле Виктора.

- Сыграй эту, ну как ее, по ящику показывали, американскую, - попросила Таня.

Иван Семенович услышал, сказал:

- Нет, девки, мириканскую, знашь, не нужно. Давай "Амурские волны".

Виктор послушно заиграл вальс. Таня подхватила Марину, и они запылили на дороге кругами.

- Индо лошади! - незлобиво бросила Антонина.

Постепенно улица стала заполняться: нарядные люди выходили из домов проветриться. Начищенные ботинки покрывались пылью подсохшей дороги. У заборов и палисадников в сочной траве желтели одуванчики.

Подошел учитель Василий Степанович, худой и высокий, в черном пиджаке, с галстуком и в соломенной шляпе; видно, жара ему была нипочем. На груди была приколата орденская жидкая планка с тремя ленточками. Он приподнял шляпу и сказал:

- Ивану Семеновичу и всем товарищам добрый день и поздравления с праздником!

Василий вперед всех вылез:

- Тем же концом, по тому же месту! - и захохотал. На него никто не обратил внимания, а Валерий Ефимович поднялся и пожал руку учителю.

- С праздником! - сказал Иван Семенович, после Валерия Ефимовича пожимая руку.

Учитель поднял высоко голову и, придерживая шляпу, долго смотрел на небо. Как бы следуя его примеру, все вдруг стали смотреть на небо: не появилось ли там чего интересного. Но интересного там ничего не было.

- Жарко, - опустив, наконец, голову, сказал учитель.

- Жарко, - повторил Иван Семенович. Подошли женщины. Антонина сказала:

- Да, ноне очень жарко.

- И не говори, - поддержала Вера, оглаживая свое платье на бедрах и поглядывая на Василия, который закашлялся от непослушного "беломора".

Василий перехватил ее взгляд, бросил папиросу под ноги и затоптал ее.

- Много наших прекрасных людей полегло на войне, - сказал учитель и, плотно сжав губы, сильно выпустил воздух через нос.

Все опустили головы в землю.

- Да, как мух, - сказал Валерий Ефимович.

- Люди - не мухи, а мухи - не люди, - сказал учитель.

- Это да, - согласился Валерий Ефимович и добавил: - это я фигурально выразился.

Учитель сделал несколько шагов вперед, сцепил руки за спиной, развернулся и сделал несколько шагов назад, как бы размышляя на ходу, сказал:

- Конечно, фигурально выражаться приятно. Фигурально - мы все храбрецы...

- Это да, - согласился Василий.

- Конечно, - сказал Валерий Ефимович и пригладил косую челку на лбу, сильно от размышлений наморщенном.

Уловив напряжение, возникшее в компании с появлением Василия Степановича, Иван Семенович сказал:

- А не пора ли нам вернуться к столу? И Василия Степановича пригласить, а?! - посмотрел он на учителя.

- Зайду в честь праздника, - сказал он просто и, подумав, вдруг запел:

Вы слышали как поют дрозды...

Виктор подладил на своей гармошке, так, с этими “дроздами”, дошли до дому и уже хотели заходить внутрь, как учитель, закончив песню, предложил вынести столы в сад.

В саду около дома была тень. Яблони начали убираться нежно-розовыми цветами, а вишни, точно присыпанные пушистым снегом, стояли, как говорят в народе, чистыми невестами. Под стать вишням у забора сильно цвела дурмящая запахами черемуха.

- Рано ноне зацвело все, - сказала Антонина.

- Рано, - сказала Вера, но сирень еще не тронулась.

Все посмотрели на сирень, а потом перевели взгляд и на раки-ту, верхушку которой приветливо румянило солнце. Одним словом, сад неподвижно млел и нежился в душистом и жарком, как дыхание, воздухе. Пчелы с веселым жужжанием проносились над цветами, тормозили, клубились, а когда отлетали с добычей, попадая в солнечные лучи, то сверкали и казались золотыми.

Вынесли столы, посуду, закуски и выпивку. Стулья выносить не стали, так как они впивались тонкими ножками в землю и сидеть на них было неудобно, да и просто небезопасно. Сели на лавки и на скамью, которая была врыта в саду за домом. Тот, кому случалось в жаркий весенний день сидеть за столом в саду, помнит высокое синее небо, едва заметный шелест и шорох ветрей деревьев, самозабвенное, до отрешения от всего существующего, упоение влажно-душистым весенним воздухом.

Учитель поднял праздничный тост, затем, отерев тыльной стороной ладони губы, с придыханием заговорил:

- Я вот смотрел, знашь, в небо. И вы смотрели в небо. Как это прекрасно, просто смотреть, знашь, в небо. Но опасайтесь вникать в смысл этой красоты. Красота, товарищи, не любит смыслов. Она бессмысленна. Отрешитесь от всяких, это, умных мыслей, разъедающих душу. Откройте свою душу одной только тихой русской красоте!

Иван Семенович облокотился на край стола и подпер голову кулаком. Он смотрел на яблони, в разрядке листы которых виднелось голубое небо. Он как бы иллюстрировал мысли учителя. По губам Ивана Семеновича бродила какая-то подмывающе-бодрая, слегка лукавая усмешка. Этой усмешкой он как бы говорил, что относится к учителю, как к ребенку, наивному, несмышленно-

му. Ну что говорить о том, что и так ясно. Это все равно, что говорить о том, как хорошо посидеть на май в саду, попить водочки с хорошей закуской, попеть.

Все чувствовали себя с учителем скованно, как с человеком другой породы, или другого сорта. И все знали, что он будет говорить не по-русски. Вроде русскими словами, но не по-русски. Ну, кто в России говорит о небе, о красоте?! Ясно и так, кто.

- Витька, ты готов? - спросил Иван Семенович.

- Готов, - сказал Виктор, беря гармошку на колени и расстегивая застежку. - Чего играть-то, папка?

- Давай нашу, - мечтательно сказал Иван Семенович и запел:

За столом никто у нас не лишний...

Он пел с душой, торжественно и плавно, сильным баритоном; у него был отличный слух, данный ему природой, которая через этот простой голос как бы говорила, что счастье вещь нелегкая, счастье очень трудно найти внутри себя и невозможно найти где-либо в другом месте.

Лучше всех Ивану Семеновичу подпевал Валерий Ефимович высоким голосом, с тем прекрасным напряжением, когда на шею дрожит каждая жилка и звук посылается в кость, не колуется в глотку, а вылетает в зубы, тем более такие, как у Валерия Ефимовича, стальные.

Но и Василий не отставал, пел очень серьезно, даже проникновенно, закатывая как-то по особенному глаза, однако у него все равно выходила и из этой песни какая-то блатная.

Виктор тоже пел, но не громко, он как бы весь был обращен в слух, склонял голову над гармонью то левой, то правой стороной, иногда наклоняясь так низко, что касался ухом гармони.

Женщины пели громко, громче обычного, почти что с надрывом, пуская петухов, визгливо подчеркивали окончание строки, ныряя в новую поспешно, забегая вперед, так что Виктор, как хормейстер, иногда косился на них с улыбчивой укоризной.

Татьяна и Марина слов не знали, но тоже что-то мычали вместе со всеми.

Не пел только Василий Степанович; он в данном случае был настоящим слушателем, внимательным, понимающим, ироничным, как будто он все знал о жизни и о счастье, чтобы жить впол-

не обдуманно и извлекать из собственного опыта пользу; он любил вечером, прежде чем заснуть, прокрутить в уме все то, что им сделано в течение дни.

Его жена работала учетчицей на отделении, дочь вышла замуж за корейца и уехала в Сеул после института. Теперь она писала, что в Корее лучше, чем в России, а почему лучше, не объясняла.

- Василий Степаныч, так просто, знаешь, не сиди, пей или пой!
- закончив песню, сказал Иван Семенович.

Василий Степанович сдвинул свою соломенную шляпу на затылок (он так и сидел за столом в шляпе) и глубокомысленно сказал:

- Я все думаю, знаешь, вот о чем. Политически и практически, это, Россия не может утратить своего влияния на мир... Потому что Россия, знаешь, не подлежит дальнейшему делению или сокращению. Ну ладно, отдали Прибалтику, но Чечню не отдадим. Она как, знаешь, перец в борще. И так, во-первых, геополитическое положение, это, России таково, что ни одна держава не может, знаешь, покорить нас. Мы непокоряемы по причине Таймыра. Мы будем отступать до Таймыра и любой американец подойдет в снегах где-нибудь под Верхоянском при температуре минус 48 градусов. Нам нельзя вступать с ними, знаешь, в компьютерную игру, понимаете. Никаких компьютеров, связь осуществляем проводными телефонами, раскручиваем катушки и говорим в трубки. А то они нам, знаешь, Ирак подкинут...

Василий ударил вилкой по бутылке, ехидно ввинтил:

- Лекцию, знаешь, не заказывали!

Учитель, захмелевший, пропустил это мимо ушей. Он продолжал:

- Можно, конечно, до Москвы дойти, даже отдать ее, как Наполеону! Но удержать нас, это, невозможно. Придет наша сволочная, знаешь, зима и прибьет любого француза. Мы можем даже исследовать вопрос методически, знаешь... Осмелюсь заявить, что именно в Конституции 1993 года заложен, это, вечный конфликт между демократической исполнительной властью и консервативной, не желающей идти в светлое будущее представительной властью...

- Лекцию, знаешь, не заказывали! - повторил Василий.

Учитель посмотрел в его сторону и сквозь него, как будто Василия вообще не было не только за этим столом, но и на свете.

- В чем смысл партийного строительства в нашей стране? - чуть повысил голос Василий Степанович и встал из-за стола, уронив табурет. - Всенародно выбранный президент, как гарант, это, прав и свобод граждан своей страны должен если уж не ходить в парламент, то, по крайней мере, уважая волю народа, формировать исполнительную, знаешь, власть с учетом расстановки сил в парламенте, а по большому, это, счету в обществе. Именно в этом должен заключаться механизм общественного согласия...

За столом начало возникать некоторое напряжение, но Иван Семенович успокоительно прижимал ладонями воздух к столу.

- Сегодня же исполнительная, знаешь, власть, находясь на непримиримых позициях по отношению к власти представительной, забывает о Таймыре. Прошу выпить! - Василий Степанович отыскивал глазами бутылку, но Валерий Ефимович опередил его и налил ему.

Василий Степанович поднял лафитник и сказал:

- За нового Петра Первого, который перенесет столицу России на Таймыр! - и выпил.

С головы свалилась шляпа.

Василий Степанович сел, но табурет лежал, и учитель оказался лежащим.

- Это, знаешь, не дело! - сказал Иван Семенович.

Учителя подняли, отряхнули, усадили, надели шляпу.

- Конечно, - заплетаясь, продолжил тот, - в глазах кого-то на Западе уезжающий на "джипе" гарант покажется... В общем так: первым на Таймыр уезжает гарант, за ним все эти новые русские на "джипах"... Банкиры там всякие и прочие чубайсы... Ставят палаточный город и Павла Корчагина реально изучают с кайлом и лопатой, знаешь... А то распустились, пупы мира, знаешь! Долой их, паразитов, из Москвы! Пусть осваивают залежные и целинные земли...

- Лекцию не заказывали! - с хохотом вставил вновь Василий.

А ловкий Валерий Ефимович налил учителю и произнес тост:

- За отъезжающих в новую столицу!

Василий Степанович с удовольствием выпил и минуты через две, пытаясь закусить соленым огурцом, упал под стол. Его тут же поставили дыбком, путаясь в длинных руках, висевших плетьюми, попытались усадить за стол, но он валился опять; тогда Иван Семенович, взопрев от возни, положил его руку себе на плечо, обхватил за пояс и повел, волочащегося, домой на край села.

Выбежала юркая - пестом в ступе не поймашь - черная собачонка тракториста Гаврилова и, трусая обок, вдохновенно облаивала идущих.

Изредка очухиваясь, учитель кричал:

- На Таймыр их, знашь! - и опять вял ботвой.

Здоровый Иван Семенович похлопывал его и бормотал с подначкой:

- А столицу-то как назовем?

Жена учителя, полная, неповоротливая, краснощекая, растрепанная и вспотевшая, сидела в горнице и строчила на швейной машинке.

- Ну, привели демократа, - усмехнулась она, откусывая нитку.

...Как-то быстро, резко стемнело и стихло в селе, не играла гармошка, не горели огни, словно все тут вымерли, только где-то далеко-далеко, должно быть, на железной дороге, раздавались тоскливые, протяжные, тянущие нервы гудки тепловоза. Виктор, покачиваясь, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть в обложной, кромешной тьме, двигался за околицу медленно, осторожно, чтобы не упасть и не уронить Ольгу, чью руку он крепко сжимал в своей руке.

Звучит закадровый голос: "Мы привыкли к тому, что кинематограф экранизирует прозу и что оба - в удачном случае - оказываются в выигрыше. Кино не только популяризирует, но и актуализирует первоисточник: обращает на него внимание читателя. Так что же такое счастье? Хотелось бы, чтобы счастье пришло не как случай, а как заслуга. Труд, который создает все материальные и культурные ценности, труд, который делает нашу страну все богаче и сильнее, - этот труд стал самой жизненной потребностью миллионов россиян, источником их настоящего человеческого счастья".

На экране - армия тракторов на бескрайнем поле. Их гул перекрывает мажорная мелодия. Экран темнеет. Вспыхивает надпись: "Конец фильма".

ЮБКИ

Глава 1. Лилия, 1963.

Прошел красно-желтый двухвагонный трамвай, за ним - другой, в который вошла юная красавица с желтой косой до талии. Когда тебе четырнадцать лет, и бликует в окнах трамвая солнце, и золотится река, и весна опьяняет сиренью, тогда хочется любви. Только любви. Без дополнений, без примесей, без оговорок. Володя Абрамов вошел в трамвай за юбкой и переехал на ту сторону до самой Абельмановки, но так и не смог заговорить, а юбка вышла. Он постеснялся за ней приударить. Вот так всегда. Увидит юбку, за ней идет или едет, а потом... Вышел на следующей остановке, разочарованный, сел в обратную сторону, мест предостаточно свободных, смотрел в окно. Трамвай пошел на мост, внизу поблескивает река, летают чайки, идут баржи.

Володя огляделся, подходящих юбок в вагоне не заметил, и он улыбнулся, просто так, без причины, улыбнулся встречному трамваю, граниту берегов, монастырю с куполами без крестов. Володе Абрамову исполнилось четырнадцать, как уже сказано, лет, и он улыбался предчувствию. Какому? Спросите у него, но он не ответит, потому что нельзя спрашивать юношу о том, чего он не знает. Трамвай гремел сцепкой, все три вагона громко стучали колесами, вагоновожатая звонила машинам, которые из-за узости моста заезжали на рельсы. Трамвай свернул на Кожевническую и пошел к Павелецкому вокзалу. В этом районе некогда находился Ногайский двор, поблизости от которого ногайцы еще в XV веке производили торг лошадьми и кожами. Выделка кож производилась на этом дворе. Отсюда произошло название "Кожевничкой сотни черных людей" - одного из древнейших в Москве объединений ремесленников. К имени этой сотни и восходит название слободы кожевников, существовавшей здесь в XVI-XVII веках. Район в последующие века остается центром кожевенного производства в Москве и именуется Кожевники. Это имя сохраняется в названии улицы и примыкающих переулков.

В середине Кожевнической Володя вышел. На нем красовались кеды и черные сатиновые шаровары; выцветшая красная трикотажная футболка колыхалась от ветерка на тонком теле. У Володи развязался шнурок; поставив ногу на бортовой камень, Володя нагнулся и завязал его... Кеды поизносились, почернели и на мизинцах прохудились, но все еще служили. Китайцы хорошо их делали: второй год Володя бьет в них мяч и бегаёт каждый день.

И он опять просто так улыбается, поддает ногой пробку от пивной бутылки, зажмуривается, подпрыгивает, как в баскете, и вприпрыжку идет метров десять, до своей подворотни, не замечая прохожих на тротуаре. Они для юного москвича прозрачны, то бишь - их просто нет, а есть только он, хотя кое-кого Володя замечает. Вот у него открылся рот, и Володя остановился, заглядываясь на двух красивых женщин в легких платьях. Женщины присели на низеньком металлическом заборчике; у одной из них немного разошлись нежные белые колени. Что там дальше? Володя сглотнул слюну и заставил себя пойти к подъезду. Он шел, как на привязи, оглядываясь.

Мать с отцом позавчера уехали в Горький на похороны. Володе хотелось использовать этот прекрасный момент и привести домой на ночь какую-нибудь девочку, или девушку, или женщину, но чтобы только она нравилась, чтобы хотелось ее. Пора же начинать взрослую жизнь!

Он еще раз оглянулся на женщин, но потом вдруг махнул на них рукой в сердцах, так как они казались недосягаемыми, опять подпрыгнул и вошел в подъезд. Володя чувствовал себя в эти минуты человеком, посаженным перед белым экраном в ожидании потрясающего фильма, на который дети до 16 лет не допускаются. И перед глазами предстал польский фильм, который он недавно смотрел в "Победе", где из темноты появляется красотка в шубке, и вдруг скидывает с плеч эту легкую шубку и остается голой, разглядеть ничего не удалось, но стало понятным, что она обнажена и что очень красива.

По темной лестнице взбежал на третий этаж, из-за шиворота вынул ключ на веревке, как крест на шее, открыл английский замок. В квартире царил духота, пахло жареной рыбой. На кухне стояла тетя Нюра, соседка, жарила рыбу. Коричневые чулки подвязаны ниже колен, жирный зад обтягивало замызганное штапельное платье в горошек.

- Здрасьте, - сказал Володя, почти что не замечая привычное тело, взял кастрюлю со щами с подоконника, зажег газ и поставил кастрюлю на плиту.

- Нагулялся? - пискляво спросила тетя Нюра, и щеки ее розовые вздрогнули.

- Да, - ответил Володя, считая соседку глубокой старухой, хотя ей в прошлом месяце исполнилось 45 лет.

Володя отправился мыть руки в ванную, закрыл за собой дверь на крючок, на всякий случай, потому что вместе с руками решил помыть подрастающего малыша, который от предчувствий и от вида женских ног стал каким-то мыльным. Когда Володя дотронулся до головки малыша, тот мигом взбух и приобнажил розоватую головку, еще год назад не обнажавшуюся, но Володя так интересовался малышом, так хотел обнажить его головку, что прошлым летом, на даче, ему это сделать удалось, с болью, кровь шла, но довольно приятное ощущение осталось от этой обнажившейся боли, как и от движений взад-вперед крайней плоти малыша между большим и указательным пальцем; но холодная вода сейчас его остудила.

Вытерев руки о вафельное белое полотенце, Володя вернулся на кухню обедать. Он налил половником полную миску щей с большим куском мяса на мозговой кости, отрезал ломоть черного хлеба, намазал его маслом и принялся есть. Тетя Нюра выключила свою рыбу и поковыляла в ванную. Когда через некоторое время загудела колонка и пошла с шумом вода, Володя насторожился, затем быстро доел щи, и побежал в уборную, встал ногами на унитаз и припал, затаив дыхание, к окну в ванную. Толстая тетя Нюра нежилась под душем, ручейки бежали по рыхлому в складках телу, покрытому сетью голубых жилок, по огромнейшим грудям с блюдцами сосков, свисавшим по животу, на котором отпечатался след от резинки, до самого тайного места, густо поросшего черными волосами.

Володя задеревенел от вида этого леса, а затем стал краснеть и покраснел до свекольного цвета. Насмотревшись до одурения, Володя тихо слез с сиденья и вышел из уборной. Надо же, уставился, как маньяк, на этот жирный мешок! Ну, что он там увидел только? Волосы? Эх! У самого уже виться начали, рыжеватые. То у самого! Володя пошел в комнату, сел на диван, включил телевизор, КВН-49 с линзой, похожей на плоскую банку, налитой во-

дой подкрашенной синими чернилами, однако, ничего не показывали, только под сетку играла музыка. Володя никак не мог понять, что это мылось, для чего это белело, почему он полез смотреть на соседку, ведь он не хотел этого делать, а кто-то толкнул его: смотри! Через полчаса с улицы раздался громкий свист и крик за ним:

- Вовка! Выходи!

По голосу Володя сразу узнал, что это кричал Толя Моисеев из первого подъезда. Володя натянул шаровары, пряча возбужденного малыша, с которым все это время возился, подошел к окну, на подоконнике которого стояли столетник и герани, и помахал приятелю.

Переодевшись в брюки и рубашку, осмотрев себя в зеркало, зачесав длинные жесткие рыжеватые волосы назад, Володя, подумав, надел новые полуботинки с модными очень узкими носами.

У Анатолия блестели щеки, видимо, сбрил пушок. Он стоял, широко расставив ноги, тоже в новых ботинках, и подбрасывал на ладони металлический рубль с профилем Ленина.

- Чего будем делать? - спросил Володя, щурясь от солнца.

- Кадриться! - уверенно сказал Анатолий.

- Где? На улицах надоело.

- Пошли в кино.

- Пошли, - сказал Володя и, подумав, добавил: - А вечером на танцы! Там уж точно кого-нибудь закадрим.

На трамвае доехали до "Победы". Шло "Иваново детство". По мере вхождения в картину, Володя чувствовал, что один мир исчезает, а другой берет за душу. Маленький воин Иван переплывает черную реку в зловещем свете ракет...

Из зала выходили молча, с какой-то душевной раной, от которой очень медленно избавлялись в толчее города.

- Хорошее кино, - повторял Толя, кладя руку на плечо Володи.

Некоторое время шли пешком, потом сели на трамвай, потом вошли в привычную жизнь. Володя достал из кармашка рубашки трешник. И ребята рассмеялись.

Весело переговариваясь, вошли в продмаг, потолкались в очереди среди ханыг и купили крепкий портвейн, который с жадностью выпили между заборами Кожевнических переулков, и, покуривая "Шипку", пошли в клуб на Дербеневку, на танцы. Играл эстрадный оркестр профтехобразования: саксофоны, кларнеты,

трубы, ударник... От звуков "чучи" у Володи побежали по спине мурашки. Он огляделся: в просторном зале собралось много девушек и, когда объявили белый танец, Володя ожидал, что к нему сейчас бросятся девушки, но к нему никто не бросился. Одна, правда, белокурая, пошла на него, но перед самым носом сделала крюк и пригласила высокого чувака, кажется, со Щипка. Володя разочарованно стоял у стены и наблюдал за тем, как танцует ослепленный плотненькой невысокой девушкой Толя. Володя горящим взглядом следил за ним и вздыхал, потом вожаденно разглядывал ноги девушек. И он хотел всех их любить. Вдруг его за локоть сзади кто-то взял. Володя даже не заметил, как отошел от стены. Он увидел крупную женщину в лиловом платье с глубоким вырезом, и сексуальной темной складкой между мощными грудями. У женщины вились каштановые волосы, связанные черной ленточкой. И от женщины легко пахло вином.

- Пойдемте, - сказала она, как о давно решенном деле.

Володя затрепетал, не понимая, как могла такая женщина, которой, очевидно, стукнуло уже лет двадцать пять, пригласить его, хотя Володя выглядел на все семнадцать и на сеансы, на которые дети до 16-ти лет не допускались, его через раз пропускали. Он порозовел, но пошел. Она сжала его руку, и он заметил перстенок с камушком. Она прижалась к нему вся, даже горячей щекой. И Володя телом своим увидел всю ее, как будто она сразу разделась.

- Меня зовут Лилия, - прошептала она и нежно прихватила горячими и влажными губами его ушко.

Володя ускорил темп танца. Казалось, что сама музыка зазвучала громче. Он, охваченный восторженным ужасом, вжимался в партнершу, ощущая дикий подъем и напряжение. Никогда он так не танцевал, и никогда не оказывался так близок к женщине. Володя дрожал, краснея от близости ее, от того самого, что она сама хочет, и деликатности особой не выказывает.

Лиля сильнее прижалась к нему, а он опустил свою ладонь на ее большую задницу и слегка углубил пальцы в ущельце между мягкими ягодицами. Оркестр перешел на медленную мелодию, во время которой из Володи самопроизвольно брызнуло то, что не могло утерпеть. Но это даже Лиля почувствовала, языком провела по его щеке, вспыхнула, сжала крепче его руку, и вдруг повела из зала. Они вышли на крыльцо. В вечернем воздухе пахло

сиренью, в окнах домов зажглись огни. Она опустила руку к его брюкам, и с усмешкой шепнула:

- Как хорошо, когда всегда стоит!

Володя от смущения чуть сквозь землю не провалился, но не успел, потому что выскочил Анатолий и спросил:

- Вы куда?

- Ко мне, - вырвалось у Володи, и Лилия, в своем лиловом платье с глубоким вырезом, с темной складкой, огладила понимающие бедра, глядя вдаль.

Толя привел свою низенькую подружку. Карманы еще до танцев опустели, а выпить хотелось. Лилия, догадавшись, достала из сумочки, помедлив, сначала зеленые три рубля, а потом красную десятку. Ребята облегченно вздохнули и пошли переулками к дому, а Толя сбегал на вокзал, потому что все магазины были уже закрыты, и купил бутылку "столичной" у швейцара.

Входили в квартиру тихо, хотели, чтобы соседка тетя Нюра не заметила. После первой же рюмки Володя полез к Лиле целоваться. Он целый час, наверно, целовал ее в большой чувственный рот, взасос, захлебываясь ее языком. Она, откинувшись, раскрепанная, спросила:

- Ты хочешь меня?

Володя испугался этого прямого вопроса, который ему еще никто в жизни не задавал, и, краснея, согласно кивнул. В это время Анатолий целовался со своей, гладил ее ногу под юбкой, а она хохотала. Погасили верхний свет, зажгли ночник. Лилия через голову сняла платье, расстегнула лифчик, сняла трусы. И у нее на животе отпечатался след от резинки! Но Володя в страхе удивился, не обнаружив внизу, в тайнике, волос. Сбритыми они оказались у Лилии! Чтобы он не смотрел вниз, она прижалась к нему и сказала:

- Я недавно аборт сделала. Я с ним завязала. Он оказался такой...

- Какой? - вырвался вопрос у Володи.

Но Лилия не ответила. Она по-бабьи, виляя белым задом, заслоняя все на свете этим немислимым задом с кустистым ущельем, уверенно забралась на родительскую кровать. Володя, обескураженный, разделся, лег, она погладила его по животу, потом взяла рукой шалуна между большим и указательным пальцем, сделала несколько движений вниз-вверх, затем, как борец, лег-

ко бросила Володю на себя и, проворно разведя невыносимо полные ноги, втолкнула остолбеневшего, с обнаженной головой шалуна во влажное глубоко. Попутно он почувствовал колющую щетину. Он брал ее, и воображал, как оттуда, куда он теперь с какой-то собачьей жадностью погружался, удаляли холодными никелированными щипцами потенциального человека. Поэтому Володя никак не мог сосредоточиться. Не это он представлял себе, тем более - с первой своей женщиной.

Утром он избегал ее взглядов, а она обнимала его, влекла, хотела, и когда, случайно отстранившись, увидел в ярком свете солнечного луча щетину, как небритость какого-нибудь алкаша, то Володю чуть не стошнило. Ему скорее хотелось распрощаться с Лилией, так она ему стала противна. И еще этот дурацкий пупок!

- Когда мы встретимся? - выходя на улицу, спросила Лиля. Володя набрался смелости, взглянул на ее крупные щеки, на крупный нос, и вдруг пожалел ее, и легкий намек на желание пробудился в нем, и Володе захотелось успокоить ее:

- Завтра в семь у клуба.

- Я буду ждать, - сказала она, повернулась и пошла, виляя задом.

Он долго смотрел на этот зад под тонким лиловым платьем, на крупные икры и думал о чем-то, о чем сам не знал.

Глава 2. Любовь, 1964.

Утром в окне Володя увидел синее небо. Раньше он не видел синего неба в окне. На уроке он наконец-то обратил внимание на девочек своего класса. Ни одна не привлекала его, но он заставил себя разглядеть в какой-нибудь что-нибудь привлекательное. И не разглядел. Тогда он иначе подошел к вопросу: какая из них самая неприятная для него? Наверно, Соломонова Люба. Лицо круглое, щекастое, черная челка до бровей, нос картошкой, глаза бледные и маленькие, как у слепой. Это нормально. Именно это и вдохновляет.

На перемене он пристальнее взгляделся в нее. Короткие, формы бутылок ноги обнажены почти что по самые трусы. Впрочем, все девочки теперь ходят в мини-юбках. Она пошла к реке. И он.

"В мини-юбках ходят Любки, - бормотал Володя, следуя на известном расстоянии после уроков за Соломоновой Любовью. -

Любки, Любочки, Любчонки... Если букву "Л" убрать, то останутся юбки, юбочки, юбчонки". Кругами, что ли, решила ходить по району?!

Люба свернула в Летниковскую улицу, бывший Гусятниковский переулок, и оглянулась, заметив Володю. Он не очень-то смутился, хотя ситуация выглядела дурацкой. Идет зачем-то по следам за самой некрасивой одноклассницей. Зачем? Почему? Куда дальше?

- Ты чего, по физике списать, что ли, хочешь? - хмуровато спросила Люба, глядя, не моргая, прямо в глаза Володе.

Этот взгляд поохладил его, он не выдержал этого взгляда и опустил глаза.

- Экскурсию по родному району совершаю, - с намеком на улыбку сказал Володя, медленно глядя взглядом колени и чуть выше.

- А-а, понятно, - сказала Люба, закрывая толстые ляжки портфелем, взяв его двумя руками. - Тогда скажи, в честь кого названа эта улица? - Она небрежно кивнула за спину.

- В честь рабочего Ивана Герасимовича Летникова. Он работал на кожевенном заводе "Поставщик"... И по физике спишу, - вплел Володя. - Если ты, конечно, к себе пригласишь...

Чуть-чуть настоорожившись, Люба, тем не менее, спокойно сказала:

- Я тебе тетрадку дам... Вздохнув, Володя сказал:

- Дело не в тетрадке...

Он взял Любу за локоть и повел вперед.

- А в чем?

Про себя он бормотал: "Будь смелее, старик, лепи горбатого!".

И сказал:

- Справа - завод, слева - завод...

Люба удивленно подняла на него глаза. Действительно, Летниковская улица сплошь была застроена промышленными зданиями, старыми... Вернее, когда их строили в прошлом веке или в начале нынешнего, или до войны, здания стояли новые, но такие безрадостные, что казалось, на них никогда не посмотрят люди. Собственно, их и не строили для красоты. Это был промышленный район, расположенный вдоль линии павелецкой железной дороги. И 1-й Кожевнический переулок, в который они свернули, выглядел таким же убогим. Стены кирпичные, низкие

дома, решетки, железные ворота: справа - завод каких-то лент, слева - трикотажная фабрика. Переулок шел коленом, сначала упирался в забор, потом круто сворачивал направо, где тоже слева и справа лепились промышленные постройки без всякого архитектурного вкуса.

Светило солнце. Через ворота виднелся купол старой церкви. И никого в переулке не было. И стояла какая-то дикая тишина. Обеденный перерыв, что ли, наступил на фабриках и заводах? Выщербленный асфальт был сух. Справа стоял грузовик цвета хаки без колес, весь в пыли. Песок хрустел под ногами.

Володя оглянулся - никого, и впереди - никого. Тогда он крепко сжал локоть Любы одной рукой, другой обнял и, прижав к груди, нашел ее губы и впился в них горячим поцелуем. Люба сначала дернулась, но тут же обмякла, все больше открывая рот утопая в поцелуе. И целовалась она довольно сносно, как будто до этого с кем-то уже целовалась.

Не выпуская ее из объятий, продолжая поцелуй, Володя открыл глаза, так как начал поцелуй с закрытыми глазами, и прочитал на кирпичной стене очень неприличное слово, однако, оно его не смутило, но натолкнуло на более определенные и решительные действия. Он юрко запустил руку под мини-юбку, но не успел ни до чего дотронуться, потому что Люба моментально среагировала на происк врага и присела, вырвавшись из объятий, и разразилась истеричным смехом. Володя оглянулся, и вперед посмотрел, никто не вошел в переулок.

Она сидела на корточках и хохотала. На глазах ее показались слезы, такие крупные, как стекляшки в сережках. Он стоял над ней, а она сидела и хохотала в слезах.

- Вставай, - сказал он, оторопев. Она продолжала хохотать.

- Люба, пожалуйста, встань!

Смех оглашал пустынный и страшный кривой переулок.

- Любочка, - прошептал он, приседая и заглядывая в ее глаза, - что с тобой?

Она, словно не видя его, вдруг стала визжать. Володя pokrутил головой, в испуге встал, повернулся и пошел назад. Люба продолжала визжать надрывно, словно сумасшедшая. Володя ускорил шаг, свернул налево, в короткую часть переулка, затем - направо, на Летниковскую улицу, а там уж пошел быстрым шагом, бегом, по Кожевнической, домой.

На другой день Люба, как ни в чем не бывало, сидела за партой и стреляла игриво мутными глазками в сторону Володи. Улавливая этот взгляд, он холодел, нервно вздрагивал. На перемене она спросила, косясь в окно:

- Ты меня проводишь?

Он вскинул руки вверх перед лицом, заслоняясь, шепнул:

- Что ты!

- Не бойся, я больше не буду, - сказала она и, не оглядываясь, побежала в буфет.

Никакого желанья у него не наблюдалось, никакой страсти, но Люба словно приковала его этим вопросом, этим приглашением, и после уроков он послушно побрел за ней. Теперь Люба направилась по Дербеневке, любуясь Володей, свернула в Жуков проезд, добрела до моста через железную дорогу и остановилась. Володя подошел к ней и встал рядом. Люба облокотилась на поручень и стала смотреть вдаль. Володя тоже обратил взор на рельсы, идущие в сторону вокзала. От вокзала двигался поезд. На запасных путях стояли электрички.

Он молча положил руку на ее плечо. Она повернула к нему лицо, подняла его, закрыла глаза и медленно открыла рот, обнажая ряд белых зубов. Он собрал свои губы в пучок и дунул в ее рот. Люба открыла глаза и рассмеялась. Они весело зашагали по Жуковому проезду в сторону Дубининской улицы, вдоль складов, заборов и решеток.

Она жила во 2-м Кожевническом переулке, недалеко от церкви. На стене висел пыльный ковер, на диване лежал пыльный ковер, на полу лежал пыльный ковер. За столом сидела сестренка и делала уроки. Сестренке на вид было лет десять, но она уже строила глазки. Володя сел напротив сестренки, открыл свою толстую тетрадь. Люба положила перед ним свою толстую тетрадь, по физике.

- Сходи за хлебом, - сказала Люба сестренке.

- Опять я! - огрызнулась сестренка, но потом, подумав, собрала свои манатки в портфель и сказала: - Сначала пластинку послушаю, потом пойду.

- Ладно, слушай свою пластинку, - разрешила Люба, листая тетрадь, отыскивая нужное.

Сестренка подняла крышку огромной радиолы, поставила пластинку с каким-то венгерским певцом. Под фокстрот сест-

ренка, которую звали Светланой, подергивала плечами и косилась на Володю, добросовестно переписывавшего задание. Когда музыка кончилась, и пластинка зашипела на последнем кольце и отключилась, Светлана взяла сумку и побежала в магазин.

Люба выхватила у Володи ручку, положила на тетрадь и потянула его к дивану, открыв рот. Он запустил обе руки под ее ягодицы, и Люба села, а он легко снял с нее трусы, после чего она довольно-таки умело развела колени и он, упав перед нею, принялся разглядывать в упор то самое, открывающееся розоватое в окружении кустистых берегов. Из-под ягодиц Володя провел указательным пальцем по розовому. Люба тихо вскрикнула и прошептала:

- Тебе хочется потрогать? Потрогай... Потрогай еще... Там есть дырочка...

И она шире развела дрожащие ноги, а Володя гладил ее набухшие губы и целовал ее в пухлый некрасивый рот.

Люба потянулась к его брюкам, нащупала пуговицу, пытаюсь расстегнуть ее, но он сам это сделал и выпустил бодрого малыша на воздух погулять. Люба взяла его рукой и стала торопливо ощупывать.

- Ну, давай же! - вспыхнула она, обхватывая его ногами. Володя с трудом протолкнулся в ее влажное нельзя, задрожал, финансируя с ходу, не успев выскочить, со сладкой болью.

- Можно, можно, - успокоила его Любочка, неудовлетворенная.

Он посмотрел на ее лицо и отшатнулся: вместо глаз было какое-то туманное, молочное нечто. Так ему показалось. А Любочка опять протянула к малышу руку, и он воспрянул; зрачки опять вернулись на место, хотя были мутноватыми. Он вошел в ее тесное "никогда не покажу". Она еще шире развела ноги, нетерпеливо дергая ими.

Без стука вбежала сестренка Светлана, бросила хлеб на стол уперла руки в боки, глядя в точку сочленения двух полов, и сказала:

- Я тоже так хочу!

И капризно топнула ножкой в тифельке и в белом носочке.

Глава 3. Светлана, 1965.

В воскресенье с Анатолием Моисеевым ездили в парк, просто так, прошвырнуться, покадриться, выпить. Конечно, уговорили пару бутылок портвейна розового, покатались на каруселях, но никого не закадрили. Обрато плыли на речном трамвае, мимо Кремля, до Новоспасского своего моста. Через мост шли, рассказывая анекдоты, и хохотали. На углу Кожевнической повстречалась подростшая Светлана, сестра Любы Соломоновой, с которой дел Володя с тех пор больше не имел.

- Вов, ты чего к нам не заходишь? - ехидно спросила она. Володя порозовел от некоторого смущения, сказал:

- Занят все как-то...

Светлана качнулась в его сторону и, не обращая внимания на Анатолия, погладила руку Володи, коротко так погладила, как бы приглашая в гости, и сказала:

- Любка с мамкой поздно приедут, а я ключ потеряла. Ты не мог бы меня в форточку подсадить?

И посмотрела хитрыми глазами, которые были яснее глаз одноклассницы, прямо в его глаза.

- Ладно, пойдём, - сказал Володя и кивнул Анатолию: - Ладно, пока!

- Пока! - вяло откликнулся Толя, не собиравшийся расставаться с Володей.

Первый этаж, на котором они жили, был не очень высок, и Володя легко подсадил Светлану, не без удовольствия ощутив ладонями ее девическую жопку. Светлана легко влезла в широкую форточку, опустила на подоконник руками, потом встала, высунулась и прошептала:

- Иди к двери, я тебя сейчас пушу...

- Зачем?

- За тем! - приказно сказала Светлана, и ее детское личико превратилось во взрослое.

Легкий кайф и предчувствие новых впечатлений повели Володю в темный подъезд. Обшитая войлоком дверь открылась, Светлана стояла на пороге. Он вошел в длинный и темный коридор. От соседей лилась музыка.

- Тебя же могли пустить они, - кивнул он на соседскую дверь.

- А я хотела, чтобы ты...

Володя недоуменно пожал плечами, проходя в комнату с коврами, по-прежнему пыльными. Здесь ничего за год не изменилось. Ту же венгерскую пластинку поставила Светлана. Володя сел на диван и положил ногу на ногу, пытаясь вслушаться в мелодию, но никак не мог уловить тему. Светлана села к столу. Стала теревить конфету в обертке, карамель, за хвостики. Конфеты лежали в вазочке на столе. Володя потянулся и хотел взять себе конфету. Света поймала его руку.

- Что ты ждешь? - спросила она, и зрачки ее расширились до размеров самих глаз.

- Да ты что! - воскликнул Володя, отдергивая руку. - Ты же ребенок! Тебе нельзя! Мне нельзя с тобой.

Светлана вскочила из-за стола, встала так, чтобы он всю ее видел, рывком подняла подол: черный треугольник под прозрачными плавками полоснул Володю по глазам.

- Видел! Ты видел! - вскричала она. - Сделай со мной так же, как тогда с Любкой!

Володя с трудом проглотил слюну. Светлана присела, оставив трусы на полу, затем подошла к Володе, не опуская подола юбки.

- Потрогай меня... там, - задыхаясь, сказала Светлана. Зажмурившись, Володя протянул руку к ее паху и наткнулся на жесткий ворс.

- Ой, приятно! - вскрикнула Светлана. - Меня еще никто не трогал посторонний.

- Ты, наверно, сама себя трогала, - сказал Володя, поглаживая ее тугой живот.

- Дурак!

- Ладно, - вздохнул он, - дай я на стул сяду.

- Зачем? - Она все еще держала подол юбки поднятым к подбородку.

Он в страсти смотрел на ее прекрасное, совершенное детское тело, бархатистое от загара, на белую полоску низа живота, на влекущий холмик треугольничка.

- Чтобы я тебя на ручках покачал, - сказал он срывающимся голосом, спотыкаясь на каждом слове, словно в глубокой простуде, нагулявшись без шарфа на морозе.

Володя, озираясь, разделся, а Светлана мелко задрожала, увидев его напряженный фаллос, и даже побледнела, при этом сильно расширились ее глаза.

Он гладил ее, держа на руках, прижимая и отстраняя, целуя влажными губами. Светлана обвивала его шею тонкими руками, склоняла голову, откидывала назад, закрывала глаза, открывала, смотрела на Володю, но словно не видела его, погруженная в совокупление, и это чувствовал Володя, и все никак не мог её до конца почувствовать, удовольствие все надвигалось, приближалось, но никак не осуществлялось, оно исчезало, чтобы накатывать новой волной, чтобы дернуть током счастья, или иллюзией счастья, никогда не подчиняющегося воле человека.

Когда она потянулась губами к его уху, чтобы поцеловать, Володя услышал мелкий зубовой постук, мелкий-мелкий, как будто белочка грызла орешки.

Володя еще никогда не испытывал такой глубины физиологического удовольствия, такой любви, и поэтому с безоглядной отвагой преодолевал сопротивление почти что известного, но всегда нового, как это он теперь понимал, материала.

Глава 4. Валентина, 1966.

На "Труде" заливали лед, и Володя ходил на каток; Володя неплохо катался на канадах, играл в хоккей, между собой, двор на двор, не на время, не на голы, а пока есть настроение, есть силы, до темноты. Чуть поодаль катались девчонки, одну из которых заметил Володя потому, что у нее были очень большие глаза, синие глаза, а Володе очень нравились девчонки с синими глазами, с большими синими глазами, одним словом, Володе нравились девчонки голубоглазые, или, точнее, синеглазые, но голубоглазые говорят чаще, потому что в голубоглазых помимо цвета содержится еще что-то такое неуловимое, что-то от голубки, что ли. Коньки со скрипом резали лед, Володя сильно щелкнул клюшкой по шайбе и забил гол: шайба пролетела между двумя кирпичами, изображавшими ворота.

Он развернулся и, красуясь, подкатил задом к голубоглазой, едва не применив к ней силовой прием, который в свое время великолепно применял легендарный защитник ЦСКА Сологубов - эдак подсаживался под нападающего, а тот с полного хода летел через него кувырком. Но девушку Володя не стал таранить, резко тормознул, брызги льда полетели из-под лезвий коньков.

Девушку звали Валентина, и у нее, помимо огромных глаз, были огромные... то есть длинные и пушистые ресницы, вокруг него, чуть влажноватого, черное, пушистое. Валентина каталась на "ножах", довольно-таки спортивно, но ход у нее был все же менее скорый, чем у Володи. Валентина, с которой он без труда тут же познакомился, когда подъехал и сказал, что хочет с ней познакомиться, просто так, как он обычно говорил, и что его зовут Владимиром, и она, взглянув на него с улыбкой, вообще, Володя заметил, что строение ее лица было улыбочное, сказала, что ее зовут Валентиной. Володя смотрел все время в ее глаза, они как бы закрыли все остальное в ней. Она шла по прямой на своих ножах, согнувшись, положив руку в белой перчатке сзади на поясницу, а он кружил вокруг нее, то задом, то передом, закладывая немислимые виражи, нагибаясь, приседая, выпрямляясь. Валентина громко смеялась, отпускала колкости, он отвечал, и все смотрел в ее глаза и не верил, что глаза могут быть такими огромными и такими синими.

Она жила на набережной. Перекинув коньки на связанных шнурках через плечо, Володя, в черном грубом свитере, в шарфе, в меховой кошачьей шапке шел рядом с Валентиной, которая несла сумку с коньками, в белой шубке и в белых сапожках. И глаза ее казались еще больше и еще синее. Володя не мог оторваться от них. Он взял Валентину за локоть и повел на ту сторону, к реке, где они облокотились на парапет и стали смотреть на почти замерзшую реку, на Новоспасский монастырь, на купола его соборов. С куполов он все время переводил взгляд на ее глаза.

И в глаза смотрел, когда стояли в подъезде, на лестничной площадке, у окна, между этажами, и он целовал ее в очень горячие губы и гладил ее под шубкой ниже талии. А она, заведенная этими ласками, вдруг прошептала, что знает тут одно местечко, где их никто не увидит, и потащила его за руку на чердак, и там действительно все совершилось прекрасно, потому что она сама все сделала, и стояла на коленях, как будто мчалась в даль ледовой дорожки на своих беговых коньках, а он настиг ее, склонился над нею, припал к ней, сзади.

Когда она отнесла коньки домой, они пошли в кино по ее просьбе, потому что она не хотела расставаться с ним. Володя таскал с собой свои коньки. Они пошли в "Буревестник". И только в фойе, где играл оркестр и пела какая-то певичка, он рассмо-

трел свою новую подружку: переносица была вдавлена, а сам нос был картошкой, и голова сидела на плечах без шеи, ну не было шеи у Валентины, голова росла прямо из плеч, и на спине обозначался горбик, росту она без коньков была маленького, одно плечо поднято выше другого; Валентина, эта горбунья с голубыми глазами, жалостливо, как будто просила милостыню, снизу вверх смотрела на Владимира и будто просила, чтобы он не бросал ее, чтобы и после кино слазил с ней на чердак, и побегал по ледовой дорожке, прижавшись к ней сзади, согнувшись, сзади, согнувшись, сзади - и еще один раз, сзади, и еще, как цыгане поют, много-много раз, сзади!

Глава 5. Раиса, 1967.

В цеху пахло кожей, к запаху которой Володя уже привык, как привык каждый день ходить на смену, переодеваться в темной грязноватой раздевалке, надевать синий халат и рабочие тяжелые ботинки из кирзы с металлическими заклепками по углам шнуровки. Время подходило к обеду, Володя внимательно заводил заготовки, жал кнопку, в поддоне росла стопка готовых деталей обуви. Да, время близилось к обеду, вернее, к ужину, поскольку эту неделю Володя работал во вторую смену. Подошел лысый и в очках мастер, спросил:

- Ты, Абрамов, сверхурочно в выходной не выйдешь?

Выключив станок, Володя почесал свою рыжую жесткую шевелюру, подумал и ответил:

- Если нужно, то...

- Нужно, - сказал мастер и, сняв из-за уха карандаш, пометил им что-то в замусоленном маленьком блокнотике.

Володя достал из тумбочки термос с киселем и батон за 13 копеек с маслом и тремя котлетами. Батон наvertsела мать. Разрезав его вдоль, налив в никелированный колпак красного тягучего киселя, который Володя очень любил с детства, широко разинул рот и откусил большой кусок. Вкусен паёк: котлета остра, с чесноком, с перцем, из отличного мяса. Мать вообще превосходно готовила, а котлеты делала с особым фаршем из двух сортов мяса, обязательно была свинина, а говядину можно было заменить бараниной. Умяв батон с котлетами, выпив весь полулит-

ровый термос киселя, Володя утер рот носовым платком, протер руки концами и пошел прогуляться в другой конец цеха, где работали довольно-таки привлекательные особы, особенно одна особа, грудастая, невысокая, щекастая, в общем, собой особенная особа. Очень заманчивое сочетание: особенная особа.

Стуча подковками в развязной походке, Володя подошел к станку этой особы. Звали особу Раисой. Станок ее был почти автоматический, шил толстыми нитками, шил и шил, строчил кожу как ситец или штапель, толстую кожу прострачивал запросто, такая крепкая игла стояла, или несколько игл. А Раиса следила за правильностью строчки. И Володя, подойдя, стал следить за правильной строчкой, строгой такой строчкой, ровной, шаг в шаг. Правда, для начала спросил у Раисы, почему она не обедает, на что та, поглядев на него с предельной симпатией, ответила, что сегодня без обеда поработает, чтобы уйти - ей нужно - пораньше.

Еще ниже склонившись к станку и главным образом к ней, Володя осторожно и нежно, незаметно и плавно, украдкой положил руку на плечо Раисе, и та сделала вид, что не замечает его руки, потому что рабочий рабочему - друг, товарищ и брат, потому что один рабочий подошел к другому рабочему, чтобы посмотреть, как он работает, подошел поделиться опытом, мол, как это он норму дает на 120 процентов, дорожит репутацией ударника коммунистического труда. И, размышляя об этом, Раиса еще ниже склонилась к станку-полуавтомату, который толстой суровой ниткой строчил толстую кожу. И Володя не спеша опускал руку с плеча на спину в таком же, как и у него, синем халате, синем сатиновом халате. И спина была приятна, поката, гладка. И не заметно для самого себя и, главное, для станочницы Раисы рука лежала уже на тонкой талии и почти что начала, но на самом деле остановилась, движение начала, но не продолжила на симпатичной, зазывной, красивой, вызывающей страсть попке, широкой, при тонкой талии, что бывает очень редко, да, впрочем, никогда не бывает. Вы только взгляните на наших женщин: ну вот идет она, и нога под ней ничего, ровная, гладкая, и задок, вроде бы, широковат, но талия! Что это за талия, которой нет, столб, мешок, а не женщина. А нога ведь ничего себе, смотреть и терпеть можно. А на груди наших женщин посмотрите! Что это такое? То ли переход к полному животу, то ли две жировые складки, стянутые отвратительным, грубо сшитым лифчиком, заметным под

какой-нибудь прозрачной кофточкой! Да не надевают на такой лифчик прозрачную кофточку! Товарищи советские женщины, запомните это! Раз и навсегда! На такой лифчик надевают телогрейку! Володя вдруг резко опустил ладонь до центра ближней ягодицы Раисы, и крепко сжал упругую плоть.

- О-ой! - выдохнула Раиса. - Какой ты, прямо не знаю!

И покраснела, и начала косынку поправлять-перевязывать, синюю косынку на кудрявых волосах, а в глазах ее карих искры так и заиграли любовные, которые она даже скрывать не собиралась.

- Пойдем пройдемся? - сказал Володя, кивая на дверь в конце цеха на лестничную клетку.

- Я не успею с нормой, - в некотором колебании сказала она.

- Успеешь, - сказал Володя. - Нам пяти минут хватит, - добавил он, оглядывая огромный цех, заставленный станками и механизмами. Некоторые работники бросали уже взгляды в сторону Раисы и Владимира.

Еще несколько секунд поколебавшись, Раиса выключила станок и пошла по пролету. Володя рядом, говоря:

- Меня мастер попросил в выходной поработать. А ты будешь в выходной работать?

- Да, я тоже буду работать. Наверно, все наши будут работать. Все-таки ведь не просто так, а к пятидесятилетию Октября! - с чувством выдохнула она, глядя на Володю и уже зная, что на темной лестничной клетке он начнет к ней приставать.

Раисе всегда хотелось, чтобы к ней кто-нибудь приставал.

Но к ней никто почему-то не приставал.

Спустились на один этаж, встали напротив друг друга у окна, как положено, приблизились и, крепко обнявшись, начали целоваться, страстно, глубоко, засосно. В моменты особенно сильных затяжек, теряя рассудок, Раиса поглаживала его брюки, а он - ее халатик, но как только он хотел освободить ее от одежд, она вырывалась и говорила:

- Только не здесь.

- А где же?

После паузы она опять припала к нему, положила руки на его плечи и сказала:

- В выходной после смены пойдем к моей подруге, она одна живет, и мы можем быть с тобой там всю ночь.

Прижимая ее, глядя спину, Володя сказал:

- Для этого не нужна ночь, даже вечер и тот не нужен, для этого, - он так весело рванул одежды, что они легко, очутились в его руке, - нужны две минуты.

Он повернул ее спиной и с силой привлек к себе. Она переломилась пополам, а он подтянулся на ней, как будто на подножку трамвая. Раиса не своим голосом вскрикнула:

- Мамочка!

И утонула в удовольствии, зажав свой открытый, округленный рот ладонью, чтобы, не дай бог, кто-нибудь не услышал ее кошачьих стонов и визгов.

Бросая на короткое время взгляд вниз на ее белые пухлые ягодицы, Володя думал, что Раиса оказалась лучше, чем в недавних представлениях об этой любви с ней; вся Раиса была какая-то удобная, гибкая, плавная, целесообразная, и казалось, что сама природа соблюла при ее - Раисиним - проектировании все рекомендации науки о допусках и посадках, о стандартах и качестве продукции.

Как от тонкой талии разбегались у нее бедра!

- Я хочу еще любить так! - капризно, повернув к нему лицо, сказала она тогда, когда он готов уже вылететь из нее, как пробка из шампанского.

И он, погладив белые взгорки, повернул Раису к себе лицом, нашел своими губами ее губы, она, широко разведя ноги, обхватила Володину шею руками, подтянулась, сомкнула ноги на его спине, а он, придерживая ее снизу, стал ходить с нею по полутемной площадке и укачивать ее, укачивать, чтобы забыла обо всем, кроме любви, покачивал, укачивал, она глаза закрыла и голову откинула, а он укачивал ее, она сжимала его поясницу своими ногами.

Она его не видела. Он ее не видел. Но они видели друг друга по-другому, на трансцендентном уровне передачи (или имитации передачи) одной жизни другой жизни, то есть жизни, передающей жизнь, вот так, на фабрике, в обеденный перерыв вечерней смены, пролетарски, по-рабочему, без всяких там словоблудий и суходрочки романов XIX века, романов социалистического реализма и соблюдения норм коммунистической морали.

- Ой, ой, ой, - бурлила Раиса.

- Какая ты! - подвел черту молодой рабочий Владимир Абрамов и опустил ее на землю.

Она одернула халат, достала из кармашка носовой платок и сама обтерла разбойника, чтобы не ходил тут сопливым.

Володя нежно привлек Раису к себе, поцеловал в горячую нежную щеку и сказал:

- Спасибо! Ты очень хорошая!
- Мы будем встречаться?
- Обязательно!

Говоря о производственных проблемах, о нормах выработки, о скорой замене старого оборудования, они вошли в шумный пролет, в светлый цех, Раиса включила свой станок, а Володя направился к своему, чтобы успеть сегодня перекрыть план процентов на пятьдесят.

Работал Владимир Абрамов сдельно.

Глава 6. Надежда, 1968.

В офицерской столовой устроили танцы, сдвинув столы к стене, а оркестр посадив на возвышение, специально сделанное, вроде эстрады, для праздничных целей. Над эстрадой красовался портрет Брежнева и висел красный транспарант с призывом крепить боевую и политическую подготовку. Рядовой Абрамов только что перемыл всю посуду, будучи в наряде вне очереди за пререкание со старшим по званию, и наблюдал через приоткрытое окошко раздачи за входящими в зал офицерами в парадных мундирах, за их женами. Кое-кто привел на вечер взрослых детей. Абрамов был в белом халате и в белом поварском колпаке. Возле него стоял в таком же белом халате дежурный по столовой офицер и ждал начала, когда ему поручено было командованием налить каждому офицеру по 150 грамм водки и выдать два бутерброда с сыром.

В зале уже собралось много народу, когда в дверь протиснулся старшина второго батальона в форме Деда Мороза. За ним и Снегурочка следовала, дочка капитана штаба, кругленькая такая, толстоногая. Дед Мороз вошел, как и положено по уставу, строевым шагом. Остановившись в центре, махнул красой рукавицей, и оркестр ударил туш.

Под ритмичные и довольно сумбурные звуки самодеятельных музыкантов два солдата втащили в зал тяжелую елку в кадке, а

третий солдат принес коробку с лампочками и игрушками. За ним вошел взвод из десяти человек.

Дед Мороз отложил на пол посох, вытянул руки по швам и гаркнул на всю столовую:

- Рядовые! Приступить к уборке елки!

Одни солдаты установили елку, другие принялись суетливо разматывать гирлянду, вешать игрушки под веселыми, предчувствующими выпивку взглядами офицерского состава. Дед Мороз наблюдал за ними с секундомером в руках. Солдатам потребовалось двадцать минут, чтобы он пробасил:

- Раз, два, три, - елочка, гори!

Тут же погас свет в зале, и заиграли разными огнями лампочки гирлянды. Раздались радостные, праздничные, легкомысленные возгласы жен офицеров, самих офицеров и их дочерей и сыновей.

Тут старшина-Мороз хлопнул в ладоши, и в зал вошел генерал Амосов, командир части, с величественной женой под руку. В волосах жены поблескивали бриллианты. У нее трясся белый второй подбородок, в ушах тоже сияли в золоте бриллианты, и на груди в широком вырезе - бриллианты. Взгляд ее походил на ястребиный, испепеляющий, малахитовый с искрами. У рядового Абрамова даже в голове задымилось от этих восторженно-праздничных форм. А грудь какая! Не грудь, а два арбуза, или, что точнее, две спелых дыни под переливающейся красной тканью. И нос с горбинкой. А руки! Длинные ногти с красным лаком! Посуду, наверно, никогда не моет! Вот так всегда в голове солдата - мысли не об укреплении боевой и политической подготовки подразделения, а о бабах!

Володя влюбился сразу, раз и навсегда, бесповоротно. Она в этот момент повернулась к нему спиной. О, боги древнего Рима! Что это за зад! Как она только в дверь прошла?! У Володи потекла слюна, а дежурный офицер, вздохнув, сказал:

- Екатерина Великая, да и только!

- Да-а, - протянул Владимир Абрамов, рядовой первого года службы.

И генерал хорош: малиновые лампы, лакированные штиблеты, бриллиантовые запонки, звезда Героя, черный казачий чуб и шрам во весь лоб. Такой одним ударом семерых убьет. До сих пор сам прыгает с парашютом, и солдаты за ним готовы не раз-

думывая в огонь и в воду. Головорезы. Володя уже десять прыжков имеет. С ножами и автоматами, в тельняшках и в меховых куртках, в башмаках на высокой шнуровке - с неба в тыл врага, и нож в горло, снимать всех, кто попадаетеся на пути. Резать, резать и еще раз резать, не жалеть, вырубать, отключать, кончать. Так учит устав, так учит генерал своих солдат.

Володя разлил водку в рюмки первого подноса, дежурный офицер понес поднос в зал, к столам, стоявшим у стены, в белых скатертях, с солонками и перечницами, и, разумеется, с горчицей. Горчицу лопали в части ложками. Буханку на четверых и банку горчицы. Из глаз искры сыплются, в глотке вулкан извергается... Но, надо. Надо закалять себя, воспитывать настоящим убийцей, без страхов там разных и комплексов. Одним ударом должен посылать противника в нокаут. Кстати, сам генерал - мастер спорта по боксу, по борьбе, по лыжам, по парашютному спорту, по фехтованию, по шахматам и по настольному теннису. Все-таки есть некоторая нежность в этих громилах, любят часок другой побаловаться с пластмассовым шариком, попереставлять коней там разных и слонов.

Ей было лет сорок, не больше. Но выглядела она сущей античной статуей, богиней. Однако как к ней подступиться, подъехать, подмазаться, подкадриться, прилепиться? Между тем, дежурный офицер явно не успевал с подносами, хотя Володя наливал быстро. На поднос уходило четыре бутылки, и выделенная выпивка подходила к концу.

В зале кое-кто уже начал танцевать, оркестр играл вальсы, фокстроты и танго, страшно фальшивя, но, судя по всему, никто этого не замечал. Замечали лишь пустые рюмки и не поступление новых. К окошку подошел красный майор, спросил, мол, как там дела, на что Володя ответил, что норму уже выполнили и что без распоряжения вышестоящего начальства им наливать больше не положено. Майор пошел разыскивать подполковника Иванова, который командовал всем этим делом, потому что идти напрямую к генералу по уставу не разрешалось. Фактически же пришлось Володе опять тащиться на склад, получать под расписку Иванова пять ящиков водки. Володя надел бушлат, взял санки и поехал через две улицы к складу. Стоял мороз, и звезды ярко светили, напоминая свет бриллиантов на красавице генеральше. По крутым ступеням поднимал ящики, кладовщик, сержант-

сверхсрочник, недовольный тем, что его оторвали от праздничного ужина, помогать не собирался. Поставив ящики на санки, пятый ящик сверху, Володя покатил санки к офицерской столовой. Над крыльцом светил прожектор, выбеливая широкую дорожку. А на ступеньках стояла генеральша в накинутах шубе, и курила вместе с какой-то женщиной.

Увидев генеральшу, величественным жестом подносящую сигарету к крашенным губам, Володя застыл парализованно, ледянисто, восторженно-влюбленно, магнетически-сексуально, тревожно предчувствуя сумасшедшее знакомство. Он стоял, не доехав до подъезда метров пять, и как зачарованный смотрел на лицо генеральши, не моргая, не в силах отвести взгляда.

Генеральша никак не реагировала на смотрящего на нее солдата, легко затягивалась и короткими облачками выпускала дымок. Вдохнув, Володя пошел с санками к крыльцу. Ни генеральша, ни ее спутница не обращали на солдата никакого внимания. Володя удивился этому, но не настолько, чтобы не втаскивать ящики в столовую. Однако когда он поднял первый ящик, вернее, снял его сверху, и понес прямо на генеральшу, она не только не отступила в сторону, но даже, как говорится, бровью не повела, стояла скалой и о чем-то тихо переговаривалась с собеседницей. Володя чуть ли не уперся в генеральшу ящиком, но она в упор не видела какого-то там солдата; и только тут Володя, стоя перед ней с ящиком водки, догадался, что она вообще не считала солдат за людей, не видела их вовсе, презирала, даже, видимо, ненавидела. Он понял, что она специально так встала, чтобы он осознал, что он никто. И Володя осознал это, обошел величественную женщину, поставил ящик перед глухой половиной двери, а другую открыл, потом припер ее первым ящиком, чтобы была открыта, и пошел за вторым.

Тут генеральша совершила странный жест, подошла к припавшему дверь ящику, нагнулась, так, что капрон сзади стал виден Володе чуть выше тыла коленей, взяла бутылку, поднялась, прочитала этикетку и, не выпуская, завела руку с бутылкой под шубу, вроде как незаметно спрятала, украла так это артистически. И Володя сделал вид, что не заметил этой уловки, пронес, опять обходя могучую женщину зигзагом, в столовую. Следом за вторым ящиком пошли и женщины, не спеша, продолжая беседовать.

Потом, в окошко, Володя увидел генеральшу, танцующую с генералом, потом беседующую с оркестрантами, потом поющую какой-то романс, так же фальшивя, как оркестр:

Уйди совсем, надежда умерла-а-а...

Уже заметно захмелевшая публика, тем не менее, бурно встретила пение жены командира. А она стояла на возвышении, сжав руки на высокой груди, с поднятой головой, как Ермолова, и ждала вступление к следующему романсу, который она пожелала исполнить на бис. Пока она так стояла, офицеры поспешно закладывали за воротник и рюмки пустели так же быстро, как и прежде. Лампочки на елке мигали, старшина-Мороз зажег бенгальские огни, кто-то рванул хлопушку, полетели ленты серпантина, и посыпалось конфетти. К окошку подошел сам лысый подполковник Иванов (при его подходе Володя в окошке вытянулся по стойке смирно) и поинтересовался насчет наличия-отсутствия запасов выпивки. Узнав, что остался всего лишь один ящик, Иванов задумался, затем, ухмыльнулся и, сказав: "Вот жрут-то!" - приказал принести со склада еще пять ящиков и на этом закончить.

Впрочем, ничего удивительного тут не возникало, думал Володя, на гражданке до армии он с Толей выпивал в один вечер по литру и еще ухитрялся лакироваться пивком. А здесь великовозрастные, доблестные, закаленные офицеры в количестве ста человек, плюс их супруги, и плюс их дочери-сыновья.

В этот момент пышная Екатерина Великая запела:

Только ты, и нет тебя милей...

Из репертуара Эдиты Пьехи.

Володя опять поехал с санками на склад, предварительно постучав в окно кладовщику. Тот высунулся из-за бордовых занавесок раскрасневшийся, пьяненький, веселый, подмигнул и через минуту выскочил на крыльцо раздетый, но в офицерской шапке. Принял от Абрамова требование на пять ящиков, в свете лампочки склад химическим карандашом переправил пять на шесть и один ящик, когда Абрамов загрузился, забрал себе. Только попав в свет прожектора, на широкую дорожку, ведущую к офицерской столовой, Володя вновь увидел курящую генеральшу в шубе и ее

спутницу, тоже в шубе. И опять генеральша в упор не замечала рядового Абрамова. Он на нее пошел с ящиком, но она ресницей не моргнула, стояла как памятник Екатерине Великой в Царском Селе. Володя сделал зигзаг, обошел памятник, поставил ящик, открыл створку двери, подпер ее этим ящиком, направился за другим к санкам. Взял ящик, оглянулся, генеральша сложилась пополам, обнажив очень полные ноги сзади выше тыла коленей, и выпрямилась с бутылкой водки, завела руку с ней под шубу и продолжила курение. Володя, заметив это, не заметил, пронес крюком ящик в столовую. Там двое солдат, надев белые халаты, строгали новую порцию бутербродов. Володя носил ящики, огибая курящую генеральшу, проходя по коридору мимо ломающихся у стен офицеров. Слышались голоса и уговоры, пьяные уже:

- Ты меня уважаешь, Ваня?!

- Я тебя уважаю, Митя!

- Ты понял меня, что я тебе толкую?

- Понял.

- Нет, ты не понял, что я одной ротой захвачу весь Нью-Йорк!

Берясь за последний ящик, Володя заметил, что генеральша с подругой, чуть покачиваясь, пошла внутрь. Он подумал, куда они исчезают и где поддают? Для выяснения этого обстоятельства Володя прямо с ящиком устремился за генеральшей. А они, оказывается, сидели прямо в кабинете начальника столовой, за углом. Поставив ящик, передохнув и переждав, Володя тихо подкрался к двери и приоткрыл ее. На белой скатерти стояли закуски; на кожаном диване дремал генерал. С него были сняты лаковые штилеты. В углу сидел потный полковник Лукин, видимо, муж подружки генеральши. А сама генеральша и эта подружка уже успели сесть за стол и откупорить бутылку. Спрашивается, зачем им нужно было умыкать эти бутылки, когда по приказу командира ему бы сам Володя притащил сюда ящик?!

Пожимая плечами, Володя прикрыл дверь, вернулся к ящику и понес его на раздачу. В зале веселье между тем продолжалось. Еще стоящие на ногах офицеры и их женщины устроили, конечно, бег в мешках. Оркестр передыхал с рюмками в руках. Играла радиола, пела Шульженко:

Ах, Андрюша, нам ли ждать печали...

Наливая новые порции в рюмки на подносах, Володя мысленно представлял себе тело генеральши, и вздрагивал от томления и невозможности осуществления этого плана. Что-то мешало Володе даже в фантазиях подойти к генеральше, взять ее за руку и повести куда-то. Куда можно пригласить такую бабищу? Против нее даже такой орел, казак, как генерал, кажется щуплым! Дежурный офицер положил руку на плечо Володе и сказал:

- Вижу, Абрамов, ты дисциплинированный парень. Можешь в честь праздника выпить.

- Никак нет! - вырвалось у Абрамова.

- Ну, я с тобой тогда, что ли, - сказал офицер и поднял рюмку.

Пришлось Володе взять рюмку, вздохнуть, и опрокинуть, чокнувшись с дежурным офицером. Спустя минут десять легче стало фантазировать. Он облокотился на стол у окошка и принялся наблюдать за весельем. Вновь в зале появилась генеральша. И даже отсюда было заметно, что она запьянела. Волосы немного растрепались, платье перекошилось на левое плечо, и правая грудь была заметнее левой. Она взбодрила оркестр, тот заиграл очень знакомую мелодия, а она - генеральша - чуть покачиваясь, запела:

Я помню вальса звук прелестный...

Пока она так пела, Володя, поставив на всякий случай на свое место солдата, сбегал посмотреть в кабинет начальника, что там происходит. Был слышен оркестр из коридора и голос генеральши:

Да, то был вальс прелестный, томный,
Да, то был дивный вальс!

Володя приоткрыл дверь. Полковник храпел в углу на стуле, храпел надрывно, бурля и всхлипывая. Его жена, подруга генеральши, дремала за столом, уронив голову на руки, а сам генерал сладко, подложив ладони под голову, спал на диване.

Рядом с кабинетом начальника темнела какая-то дверь. Володя дернул ее: по всей видимости, это - бойлерная, или котельная. В темноте не разберешь. Володя пошарил возле косяка, нащупал выключатель, щелкнул, помещение осветилось. Тут проходили трубы и квадратная, из оцинкованного железа вытяжка. Ступени

в глубине комнаты вели в другое помещение, где виднелся оцинкованный шкаф, который глухо рокотал. Видимо, работала вентиляция. Володя не стал гасить свет. Свет он погасил в соседней комнате, где спали. Быстро, пока длилась песня генеральши, сбегал на раздачу, подмигнул солдату, сунул бутылку в карман, прихватил пару рюмок, пару бутербродов, и побежал, мимо подпирающих стены офицеров и пьяных их жен, к комнате.

Когда генеральша вышла из зала и направилась к двери начальника, путь ей преградил Володя, и сказал загадочно:

- Извините, но там перегорела лампочка, - он кивнул на комнату начальника столовой, - я послал за электриком... Впрочем, там все спят. Это даже хорошо, что они немного подремлют в темноте. - Володя смотрел глаза в глаза генеральше и видел, что она пьяна, что глаза ее не видят его, что зрачки сильно расширены.

Он взял ее под руку и повел в ту комнату, где были трубы и горел свет.

- Куда это вы меня ведете? - довольно громко спросила вдруг протрезвевшая генеральша и дернула рукой.

- Вас там ожидает некто, кто вам будет интересен, - загадочно проговорил Володя и почти что втащил генеральшу в эту самую бойлерную. Она остановилась в центре, обернулась и спросила:

- Кто меня ждет? - И красивой рукой в кольцах и перстнях поправила прическу.

Володя осмотрел дверь, обнаружил шпингалет, закрыл на него. И подошел к генеральше, на ходу вынимая из галифе бутылку и рюмки с бутербродами. Осмотревшись, поставил бутылку и рюмки на квадратную трубу вытяжки, колено которой проходило как раз на уровне груди генеральши.

- Что это? Зачем?

Молча Володя открыл бутылку, быстро налил в рюмки, одну протянул ей, другую поднял и чокнулся, сказав:

- Я никогда в жизни не видел такой пышной... такой необыкновенной, такой красивой...

- Еще? - обнажив зубы, вдруг спросила она.

- Такой великолепной женщины...

- Еще, еще?

- Вы...

Он, не договорив, опрокинул рюмку, поставил ее на трубу, и взял руку генеральши.

- Пейте же!

Она, усмехнувшись, медленно выпила и протянула ему пустую рюмку.

- Что я?

Он взял рюмку и поставил ее рядом со своей на трубу. Генеральша немного поморщилась от водки. Володя опустил руки по швам и вожделенно смотрел на генеральшу.

- Как вас зовут? - спросил он шепотом.

- Надежда Михайловна, - сказала она. - А тебя? - Она легко перешла с ним на "ты".

- Владимир...

Она погладила его по щеке, даже чуть-чуть похлопала. Он качнулся к ней и уперся в величественную грудь. Генеральша положила ему руку на затылок и прижала его голову к груди. Он осмелился поднять руки от швов и завести их сзади на необъятный зад генеральши.

- Убери руки! - властно приказала она.

И когда он руки убрал, наотмашь ударила его по лицу. Да так сильно, что слезы брызнули из глаз. Она приблизила свое лицо, спросила:

- Ты плачешь? Перестань. Зачем все это?

- Я никогда не видел таких красивых женщин! - наигранно всхлипывая, сказал Володя.

- Ты что, правда, не видел женщин?

- Таких красивых никогда.

- А некрасивых?

Володя немного подумал и сказал:

- Никогда.

- А что ты не видел у женщин?

- Ничего не видел.

- Интересно. Там тоже не видел?

- Нет.

- Ну, ты сядь, Володя, сядь, успокойся, сядь на трубу, - она положила большую ладонь на его плечо, и посадила на трубу в том месте, где она коленом с высоты груди падала до самого почти что пола.

Володя сидел и смотрел на нее, а она отошла на два шага назад, выпрямилась сначала, как перед пением на сцене, затем медленно нагнулась и подняла подол красивого красного пере-

ливающегося платья, подняла до самого подбородка и прижала им подол. Володя увидел женский пояс с резинками, которые держали прозрачные чулки, увидел соблазнительные белые полоски кожи между чулками и кружевными трусами. Затем Надежда Михайловна как-то сзади завела руки в трусы и, виляя задом, спустила их до колен и развела полные колени. Володя чуть не взорвался от возбуждения при виде густых русых волос и ослепительно белых бедер.

Он резко отвернулся, как от вспышки сварки, чтобы не ослепнуть. В дверь постучали. Надежда Михайловна быстро привела себя в порядок, опустила подол, и сама открыла дверь. На пороге стоял дежурный по столовой. Он сильно удивился генеральше, и еще больше - рядовому Абрамову. Но тут же взял себя в руки, извинился, и мотнул головой Абрамову на выход. Генеральша, не оглядываясь, первой покинула комнату. В коридоре дежурный офицер спросил:

- Чего это ты с ней закрылся?

Володя хладнокровно сказал:

- Ну и пьет же она. Когда я ящики таскал, она курила на крыльце. Попросила меня втихаря притащить пару бутылок в эту бойлерную, мол, будет ждать там. Я понес, она дверь закрыла, чтобы муж не заметил, и стала пить...

- Понятно... Слушай, тут дело такое... Я вызвал машину, чтобы его... генерала с ней, отвезти домой. Шофер с его "козла" попал только что на "губу"... Успел напиться... Так что ты, и Сабанеев, погрузите генерала...

У подъезда стоял микроавтобус. Володя и второй солдат, этот Сабанеев, подняли, одели и повели к автобусу генерала, ноги которого волочились по полу. Генеральша не глядела на него, сразу села вперед, рядом с шофером, сержантом. Офицерский городок находился в трех километрах. Пока добирались, генеральша напевала довольно-таки громко:

Я о прошлом теперь не мечтаю...

Въехали на прямую улицу вдоль ровного строя желтых двухэтажных домов. Подъехали к подъезду. Генерала совсем развезло и, когда его выводили из автобуса, вырвало зеленым горошком на снег в свете уличного фонаря. Генеральша не глядела в его

сторону, поднялась к квартире и дверь оставила открытой, чтобы солдаты свободно провели его. В прихожей лежала шкура белого медведя. По квартире бегала кудрявая беленькая собачка и звонко лаяла. В одной комнате со стеклянными дверями стоял белый рояль, в другой - широченная кровать, в третьей - письменный стол и большой кожаный диван с валиками. На него и указала генеральша. Солдаты положили, сняв шинель и папаху, пьяного генерала головой на валик, без подушки.

Солдаты вытянулись по стойке смиренно перед генеральшей и хотели уходить, но генеральша поступила так:

- Вы останьтесь на десять минут помочь мне, - ткнула она красным длинным ногтем в грудь Абрамову. - А вы, - перевела палец в грудь Сабанееву, - ждите внизу!

- Слушаюсь! - отчеканил тот, развернулся кругом и вышел. И закрыла дверь на замок. Затем взяла за руку Абрамова, повела к вешалке, помогла снять шапку и шинель, и повела к широкой кровати.

- Только не надо раздеваться! - строго шепнула она и опять подняла подол, милая моя, долгожданная, села на кровать и погладила белые колени.

- Милый мой! Мы закружимся в свадебном вальсе!

И поманила к себе. Когда он подошел, она протянула руку к нему, умело расстегнула, и согрела служивого дыханьем в ладонях. И мелодия любви зазвучала мажорно, еще никогда не быв такой жизнеутверждающей. Губы генеральши, пухлые губы, с которых за ночь праздника уже почти что сошла краска, открылись и жадно наехали на служивого... Спустя минуту, она откинулась на спину и очень широко развела ноги.

- Ну же, время не ждет! - крикнула она. Володя увидел набухшие нежные в капельках росы лепестки, которые сами собой раскрывались, словно в замедленной съемке.

Володя погладил розу, нежно, чтобы не помять лепестки, и она совсем как бы вывернулась наизнанку, огромная, как морская раковина, с твердой косточкой клитора. Генеральша заерзала задом на атласном одеяле.

- Ну же! - Она еще шире развела пронзительно белые ноги. Он медлил, впервые созерцая размеры страны Гулливера, сомневался, не ударит ли он сам лицом в грязь, не подведет ли родные Кожевники в трудном деле вечной любви. И с этой мыслью по-

шел на вы, пошел уверенно, упрямо, твердо, решительно, богатырски, до самого дна, до самого конца, до конечной остановки, до взвизга генеральши, до бешеного оргазма, до боли в висках.

Так зачинаются богатыри земли Русской, подумал Володя, глядя в глаза обезумевшей от совокупления генеральше.

Глава 7. Лариса, 1969.

После отбоя, когда в казарме погасили свет, Владимира толкнул в плечо дневальный Соколов; он склонился и прошептал, что Владимира ждет сзади казармы у гаражей некая Лариса. Владимир поднялся, в полумраке нащупал тапочки и вышел с Соколовым из спального помещения казармы в коридор, где обычно проводилось построение и поверка. Там горела неяркая дежурная лампочка. Володя уже фактически заснул и никак, поэтому, не мог сообразить, что за Лариса его ожидает. Соколов растолковал, что это та грудастая из деревни Дворики, что регулярно ходит на танцы в часть, что она кадрилась с сержантом длинным из второй роты, но теперь он, вроде, ее бросил, и вот она теперь хочет его, Володю. При этой информации дневального Владимир с ходу возбуждился и пошел к кровати за одеждой. Когда он готов был уже покидать (а покидать ни в коем случае казарму после отбоя без разрешения старшего командира не разрешалось) казарму в одной гимнастерке, Соколов посоветовал ему взять шинель и бушлат.

Послушав опытного Соколова, который специализировался по деревне Дворики и многих там уже поймел, Владимир с шинелью и бушлатом под мышкой вышел из казармы и обогнул ее. Темнота стояла полнейшая, особенно после света, хотя и слабого, но все же, в казарме. Он остановился, и некоторое время призывал к этой темноте. Поднял голову и посмотрел на небо, сначала показавшееся ему черным, а затем, постепенно проявляющимся, как изображение на фотобумаге: слабо мерцали звезды, а через минуту-другую Володя различил уже Большую медведицу, ковшом своим нависавшую над крышей казармы.

Тут его окликнула из темноты Лариса, и он пошел на ее голос к гаражам, пытаясь вспомнить, как же выглядит эта Лариса, какая она? Она еще раз окликнула его, и он различил темный ее силуэт

в прогоне между гаражами. Он вошел в этот прогон, а силуэт двинулся по тропинке на пустырь за гаражами. Володе казалось, что тут, на пустыре, свету прибавилось: звезды рябили уже в глазах. Эту рябь заслонила Лариса, лица которой по-прежнему не мог разглядеть Володя. Лариса прошептала что-то и приблизилась к Володе. Блеснули глаза (какого цвета?): два блика, как светлячки. И следом щеку Володи обдало горячее дыхание. Она прижалась к нему, и Володя с жадностью, не пытаясь разрешить вопрос о ее внешности, обнял ее и принялся целовать, конечно, развратно, взасос, с облизыванием языка. Тут же ощупывал ее, а она его.

Он бросил, расстелив, на траву сначала шинель, а затем, на шинель ватный бушлат. В воздухе разливалась влага ночи, и на траве слабо поблескивала роса. Где-то далеко кричала какая-то шальная птица, стрекотали за казармой кузнечики. На пустыре возвышался забор с колючей проволокой, а за забором начинался лес.

Лариса неуклюже обняла Володю и поцеловала мягкими, постными какими-то губами, и потянула Володю вниз на расстеленное обмундирование. Когда он прикоснулся к ее телу, то оно показалось ему холодным, как тело покойницы, - впрочем, некрофилией Володя не страдал, - так, во всяком случае, считал Володя; когда он погладил Ларисину мягкую, податливую ляжку, то жизнь как бы пробудилась в ней, но не вспышкой, а медленным нагреванием.

То ли сам Володя замерз, то ли действительно было холодно, но иногда Лариса казалась ему росистой, льдистой, даже какой-то влажной, как русалка. При этом она как бы вытекала сама из себя, из формы женщины, чтобы превратиться то ли в ручей, то ли в росу, то ли в болотце. Вся Лариса казалась Володе расхлябанной, разболтанной, и Володя понимал, или догадывался, что понимает, что Лариса была, по всей видимости, не с одним уже солдатом, но это, как ни странно, не очень занимало его; он, по сути, готов был любить кого угодно, даже такую русалку солдатской реки, потому что был ненасытен. И сейчас, в общем-то, Володе удалось немного подраогреть Ларису, и самому разогреться, в общем, еще раз скажем, действовал, как настоящий солдат, которому никогда не хватает любви. А здесь, в армии, женщин недокомплект, (призывать их нужно в армию!), и все были заняты, и отбить их не представлялось никакой возможности.

Глава 8. Татьяна, подруга Валентины, 1969.

На высокой никелированной кровати с шарами, с кружевным подзором и десятью пуховыми подушками Володя утопал с двенадцати ночи, когда смотался в поселок в самоволку (самовольную отлучку), на которую старшина смотрел сквозь пальцы и никогда не называл самоволку самоволкой, а говорил по-простому, по-народному, по-русски, по-мужски: пошел по бабам. Ходить на Руси по бабам считается делом столь же необходимым и обычным, как ходить в магазин на троих, или в баню, или в сортир. И никто никогда на "губу" тебя не посадит, если ты действительно пошел по бабам, а не по другой какой надобности, например, по заданию американской разведки переписывать слюнявым химическим карандашом номера вагонов, прибывших в часть с новой техникой. Ни в одном приказе, ни в одном уставе вы не найдете графу или параграф, посвященный хождению русских солдат по бабам, но все и всегда ходят, ходили и будут ходить по бабам, но никто вам об этом вслух не скажет, и Лев Толстой не напишет.

Лежа с маленькой рыжей поселковой Валентиной на пуховых подушках, Володя лениво думал обо всем об этом и поглаживал живот Валентины, сбросив одеяло. Рассвет медленно проникал в комнату, и Володя начал рассматривать всю Валентину, которая была сильно пьяна, и спала мертвым сном. Володя гладил ее бедра разведенные колени, живот, небольшие крепкие груди. Рыжие косы разматывались по подушке. Смазливое лицо выражало тревогу и восторг.

В дверь постучали. Володя влез в галифе и накрыл спящую одеялом. На пороге стояла подруга Валентины, Татьяна, невысокая, курносая, коротко стриженная, под мальчика. Как только Володя открыл, она быстро проникла в комнату, достала из тряпочной сумки бутылку водки и, приложив палец к губам, села за круглый стол к остаткам закуски с окурками во всех тарелках.

С Татьяной вчера на танцах познакомила Володю Валентина.

- Дрыхнет, лахудрочка? - спросила с улыбкой Татьяна, наливая в грязные стопки. - Наупражнялись?

Володя рассмеялся, выпил и, не обращая внимания на сидящую за столом Татьяну, скинул брюки, осветив ту прожекторами ягодиц, залез под одеяло к Валентине и сразу же положил руку на горячий живот.

- Чего ты? - спросила Татьяна.

- Дай маленько подремать, а то скоро бежать в часть на утреннее построение, - сказал он, ощупывая розу, пропуская дрожащие пальцы в самую увлажненную сердцевину.

Валентина развратно во сне проскулила.

Прошло минут пять, не больше, как до Володи донесся голос Татьяны. Володя оторвался от Валентины, развернулся и увидел Татьяну лежащую на диване с разведенными ногами, с выставленной напоказ еще более яркой розой, нежели чем у Валентины.

- Чего ты там в ейной муфточке копаешься! Иди в мою сюды! - не позвала, а приказала Татьяна.

Володю долго упрашивать не пришлось. Он извинительно погладил лобок Валентины, прыгнул с кровати, мелькнув ослепительно красным стоп-сигналом, прыгнул на Татьяну и без помощи рук загнал вагон с ходу до тупика.

- У-у! - взывала Татьяна, обхватывая его за ягодицы. - Какой ты, сука, злонамеренный! Давай, давай, давай! - принялась повторять она, как молитву, и стучать пятками по его спине.

Володя давал во всю мощь, во весь опор, с чувством ответственности за порученное дело, буквально сразу же вошел во вкус, как бы вписывая новую страницу в сокровенную историю взаимоотношения полов, тут же целовал ее грудь, поскольку (и это каждому известно!) с молоком матери всосал привычку целовать женскую грудь, и продолжал правое дело самца, нажимая на все педали, работая от всего сердца, по всем правилам искусства репродукции человека, в классической, конечно, несколько ретроградной позе, но, собственно, этим и отдавая должное поискам самых удобных поз предками, предложившими для этого ритуала и ей и ему находиться в чем мать родила, то есть, точнее, ей - в костюме Евы, а ему - в костюме Адама.

И делу конец.

Но Татьяна грозно крикнула:

- Если в меня, то убью!

Поэтому молоко выплеснулось на белый живот возле самого пупка. Татьяна ухмыльнулась, прокручивая в мозгу весь цикл, с того момента, как он вошел с чувством благодетеля, готовящегося пожать плоды и выслушать весьма сладкие комплементы. И Татьяна отпустила их:

- Вот Вальке с тобой, минже лохматой, повезло!

Глава 9. Татьяна, 1970.

Дело близилось к дембелю, время шло поэтому еще медленнее, чем в начале службы. Солдат спит, конечно, и служба, следовательно, идет, но, однако, идет она гораздо проворнее, когда есть на кого глаз положить и с кем перепихнуться. Но много причин существует для того, чтобы мечты не осуществлялись, а если и осуществлялись, то очень редко, как красно-прекрасные 1-е Мая или 7-е Ноября.

Три года кряду видел эту толстую Татьяну, продавщицу военторга, Владимир Абрамов, но ни разу в эту сторону и не подумал, ибо страшна была Татьяна до ужаса, косая, с золотым зубом и редкими прилизанными, словно растительным маслом смазанными волосами, расчесанными на прямой пробор, и с крысиным хвостиком сзади. Голос она имела сипатый, зато задом обладала знатным. Вошел Володя в военторг за асидолом, чтобы на дембель как следует надраить пряжку и пуговицы, а продавщица Татьяна стоит, пополам сломавшись за прилавком: зад в полстены в сиреневом трико! Володя положил мелочь на прилавок и, когда Татьяна обернулась, прямо сказал:

- Хорошо бы сейчас любовью заняться!

Мечтательно и нежно так это проговорил, как говорят обычно любвеобильные кавказцы в кепках-аэродромах. И, что бы вы думали? Татьяна без всякого смущения, по-нашему, прямо так отвечает:

- Хорошо бы! Что тебе?

- Асидол. Когда?

- А сейчас на обед закрою, зайди с черного хода.

Володя чуть вздрогнувшей рукой положил баночку с асидолом в карман, подмигнул Татьяне, взглянул на наручные часы - было до обеда двадцать минут, и вышел. Послонулся по части, зашел в библиотеку, полистал подшивку "Красной Звезды", потом зашел в казарму, сказал дневальному, чтобы его порцовку отдал салаге, потому что он не пойдет на обед, положил асидол в тумбочку и пошел себе к Татьяне.

Он шел и думал только о ее заде, больше ни о чем, лица продавщицы военторга как бы не существовало для него, он мысленно накрывал лицо обложкой журнала "Огонек" с портретом почтальона Ивановой из города Коврова, симпатичной девушки,

ударницы коммунистического труда. Но одно дело - мечтать, а другое дело - жить. Хотя, разумеется, жить и верить - это замечательно, но продавщица Татьяна только закрыла за ним на ключ черную дверь, как полезла целоваться, крутиться лицом своим перед его лицом.

Володя только хотел приступить к нижней части, а она, кося с бельмом, тут как тут перед глазами, сжимает голову Володи руками и лезет целоваться, да все так по-бабьи, слюняво, не вза-сос, а чмокальски. Исчмокала всего старослужащего. Он только руку, как на буфет, на ягодицу ее опустит, она эту руку хватает и вверх поднимает, к своим щекам, чтобы он тоже, как и она, сжимал ее голову. Наконец она сама опустила свои руки, чтобы Володя превратился в эскимо; Татьяна, милая моя, долгожданная, девочка моя ненаглядная, принялась самым обольстительным образом пробовать эскимо золотым зубом.

Эскимо, известно, очень холодное, поэтому, когда все его берешь в рот, то тут же хочется вынуть его, чтобы не обморозиться.

Конечно, продавщица Татьяна не обморозилась, но глотками, через паузы, съела всего его, до точки, проглотив и эту точку.

После этого отводя глаза в сторону, как кошка, слизавшая сметану, изящно сбросила халатик, девочка моя, долгожданная, осталась без бюстгалтера и фиолетовых панталон, милая и долгожданная, и, резко повернувшись к солдату спиной, согнулась пополам, обхватив ящички, словно подставляя письменный стол для чистописания Володе.

Гормоны заиграли в Володе еще раз, с ретивостью графома-на он ринулся к столу, и принялся писать роман об одном и том же, все о том же, буква в букву, повторяя то, что известно каждому, и все-таки не известно никому.

Известное неизвестное.

Потом Татьяна, одернув халат, сунула в знак благодарности Володе флакон "шипра", вытолкнула поспешно на улицу и закрылась.

Володя смотрел на зеленый одеколон, пожимал плечами и думал о загадочности женской души, о бесконечной лестнице удовольствий, о повторяемости любовных приливов и отливов, о воспроизводстве (иногда моментальном, как теперь) желания.

Глава 10. Елена, 1970.

Елена села в низкое кресло, колени поднялись на уровне подбородка, мини-юбка обнажила роскошные загорелые бедра, а когда она произвольно раздвигала колени, то были видны шелковые трусы на самом потаенном месте, которое, впрочем, для Абрамова Владимира было абсолютно известным, изученным, но тем не менее, увидев между разведенными в меру мягкими, притягательными бедрами полоску белых трусиков, он сразу же возбудился, в крови возник ток желанья, глаза его заблестели похотливым блеском.

Елена пришла с ухажером, коренастым приятелем Анатолия, с двумя бутылками водки и тортом "Сказка", который сразу же съели, потому что у Анатолия мать была на даче и еды никакой не было. Анатолий от армии уклонился, поскольку поступил в Плешку, а Абрамов Владимир не прошел по конкурсу и отслужил положенные три года. Теперь он демобилизовался, третьего дня приехал в Москву, и второй день отмечает с Анатолием свое возвращение, наливает в хрустальные рюмки спиртное, в основном водку, пьянеет, поет под гитару песни и ничего не хочет делать, кроме как кадриться и любить, любить и кадриться. Вчера, однако, день прошел в холостую, поскольку никого с Анатолием не смогли зацепить, поэтому сидели здесь же, в креслах перед журнальным, асимметричным, низеньким столиком, столешница которого была сделана из прессованных опилок-стружек, покрашена в ядовитый зеленый цвет и залита толстым слоем смолы, которая блестела и, как толстое стекло, несколько увеличивала и подчеркивала фактуру ДСП. По гладкой поверхности стола прекрасно скользили стаканы и рюмки.

Абрамов все рассматривал стружки с опилками, как рыбок в аквариуме, и плыл от кайфа, потом увидел себя около Елены, со своей собственной рукой, запущенной под мини-юбку к самым трусикам, потом поймал себя летящим головой в дверь, поскольку ухажер ее точно попал увесистым кулаком ему в бровь справа, и в зубы слева. Раскрошился зуб, и полилась кровь. А ухажер принялся бить лежащего ногами. Абрамов с трудом поднялся и попал в глаз ухажеру, тот упал. Абрамов бить ногами его не стал, а просто, качаясь от стены к стене, вышел во двор, разма-

зывая ладонью кровь по лицу, прошел несколько метров, по дорожке, качнулся вправо, его сильно повело, он споткнулся и упал в бурьян.

Сквозь сон он услышал голос Елены, зовущий его; Володя приподнялся из зарослей у забора, позвал Елену, она бросилась к нему, он схватил ее за ногу, за юбку, за руку. Елена упала, он заголил ей подол, то есть холмы ягодич обнажил, и стал тут же в бурьяне, почти что бессознательно, любить ее.

- Вот все вы такие! - всхлипывала Елена, или в сладострастии расплакавшаяся. - Вам только одно и нужно!

- Да, только одно! - подтвердил Володя, входя в пьяный экстаз.

Тут послышался голос Анатолия, и ухажер вторил ему. Владимир застыл в Елене, которая сильно напряглась и вытолкнула его из себя.

- Тихо лежи, кобель! - прошептала она едва слышно.

Анатолий с ухажером переговаривались на дорожке:

- Да не могли они далеко уйти! - говорил ухажер. - Я ему рожу, скотине, всю расквашу!

- Они к вокзалу, наверняка, побежали! - крикнул Анатолий.

И голоса смолкли. Володя привстал: во дворе никого не было. Он схватил Елену за руку и потащил ее к подъезду, она не сопротивлялась. На третьем этаже жил брат матери Анатолия, и Владимир направлялся к нему. Брат был дома, нисколько не удивившись, уступил свою довоенную никелированную кровать парочке. Владимир разделся до костюма Адама, Елена молча, сопя, тоже сняла с себя все. Влезла на кровать, сверкнув снегами Килиманджаро, Володя лег возле этих снегов, или на снега; уснул на Елене, держась за крепкие небольшие груди до утра, так и не сумев завершить акта любви.

Утром он взглянул на свою физиономию и испугался: лицо все было в кровоподтеках, в синяках и ссадинах. Одевшись, Володя спустился к Анатолию, оставив Елену досыпать у брата матери. Анатолий, как ни в чем не бывало, пил кофе. Володя тоже выпил чашку. Рассказал, как покорила Елену. Через час зашел брат матери, сально улыбался, поведывал, что тоже овладел Леной и выпроводил ее.

Глава 11. Антонина, 1970.

Край неба сделался черным, подул ветер, холодный, пронизывающий до костей, и пошел густой снег. Володя поднял каракулевый воротник, плотнее натянул красную шапочку с зеленым помпоном; через плечо были перекинуты на шнурках коньки. Володя, вбежав в подъезд Анатолия, позвонил в дверь, открыла мать, статная, объемная, с высокой грудью, Антонина Михайловна. На ней был шелковый халат, открытый на груди; в черную складку уходила тонкая золотая цепочка с крестиком.

- Анатолий еще не пришел из института, - сказала она бархатым голосом и, подумав, добавила: - Проходи, кофейку попьем.

Володя прошел в квартиру, разделся, положил коньки на пол.

В комнате озирался, как будто появился здесь впервые. Хрусталь в застекленном шкафчике, фикус в углу за креслом, журнальный столик с зеленой под слоем лака столешницей, кресла. На столике свежая "Правда". Антонина Михайловна пошла на кухню готовить кофе, Володя сел в кресло под фикусом, открыл "Правду", от которой приятно пахло типографской краской.

На цветастом черном подносе Антонина Михайловна принесла кофейник, пару маленьких чашек, вазочку с печеньем. Она села напротив, налила кофе, взяла свою чашечку и, оттопырив мизинец с длинным бордовым ногтем, сказала:

- Я тяжело рожала Анатолия...

Володя, взяв свою чашку, с удивлением поднял глаза на Антонину Михайловну. Перед ним сидела величественная блондинка с чувственным накрашенным ртом, с тяжелой челюстью, с выщипанными подведенными бровями, с подкрашенными ресницами. Антонина Михайловна вдруг заголила полную ногу, провела пальцем по белой в синих венках коже до самых синих трусиков и сказала:

- Вот эти вены появились после рождения Анатолия. Да-а. А до родов я была сахарная.

Она закатила глаза и провела острым язычком по губам, врачательным движением. Другая рука поставила чашку на стол и сбросила с другой полной ляжки полу халата.

Володя кашлянул, что-то в горло попало, тоже поставил чашку на стол и впился взглядом в огромные бедра матери Анатолия. Он смотрел на мягкие ляжки, а она поглаживала, массировала их

то с внешней стороны: от винта, то с внутренней - между ног, сомкнутых, но не очень плотно, полные белые колени были чуть-чуть разведены.

Володя не мог оторвать взгляда от ее красивых крупных ног, а Антонина Михайловна не торопилась скрывать их полами халата, шелкового, переливающегося синими волнами с крупными розами в зеленых листьях.

- Да-а, - протянула Антонина Михайловна, - трудно было рожать Анатолия. Твоя мама, наверно, тоже трудно тебя рожала?

Володя проглотил сладкий ком и сказал:

- Не помню.

- Конечно, откуда ты можешь помнить... А твоя мама с какого года рождения? - вдруг спросила Антонина Михайловна, положив острые маникюренные пальцы в кольца правой руки на правую белую ляжку, а такие же острые с длинными бордовыми ногтями пальцы левой руки в перстнях и кольцах на белую кожу левой ляжки.

Володя хотел отвести взгляд на окно, и даже на короткое мгновение отвел этот взгляд, однако, он, как мячик на резинке, быстро вернулся к белым ногам и красным пальцам.

- Моя мама родилась в двадцать втором году, - сказал он, то ли краснея, то ли потея, но постоянно сдерживая себя, чтобы не броситься на эту женщину, напоминая самому себе, что перед ним сидит не женщина, а мать товарища, мама Анатолия, но это слабое утешение, этот тормоз в любую минуту готов был сорваться: тормоз сорваться, а утешение - забыться.

И она, Антонина Михайловна, провоцировала ребенка, выставив перед ним свои красивые ноги.

- О, значит, я ровесница твоей мамы! - воскликнула Антонина Михайловна, опустила взгляд на ляжки и, найдя самые толстую темно-синюю венку, повела по ней указательным пальцем и сказала: - Вот, смотри, это благодаря Анатолию появилась!

У Володи по позвоночнику пробежала мелкая дрожь, гормоны не на шутку разыгрались, и было сильно заметно шевеление брюк возле ширинки, просто неприличное шевеление, в мгновение ока вздулись Памиром штаны.

Ничего от ока Антонины Михайловны не ускользало, она смотрела теперь на бугор, облизывала губы, а Володя не в состоянии был вот просто так накрыть, спрятать, этот выросший вулкан ла-

донью или газетой. Неловко было хвататься за газету. А кресла были предательски низкими, неудобными. Сидишь в них, как в гамаке, трудно из них подниматься. Хотелось Володе подняться, встать, походить, но он не в силах был приказать себе это сделать, он тупо и сладострастно смотрел на круглые колени, на широкие бедра, на большие красивые руки, на темную складку между великанскими грудями, где прятался крестик.

- Все-таки мужчинам легче, - сказала Антонина Михайловна. - Наслаждался и пошел себе по улице, а нам, женщинам, муки. Никогда мужчины не поймут, что значит родить ребенка. Нет, не поймут, не посочувствуют, хотя... Володя, посмотри поближе, какая это вена. Встань, подойди, посмотри на эту подлую вену, испортившую всю картину ноги... Встань, ну же!

Лицо Володи было бело, как ее ляжка, и он никак не мог передать команду от мозга к ногам. Затекли ноги его и не слушались. Или что-то еще, поясница, пресс, другие мышцы не слушались его. Состояние, знакомое каждому пьяному, когда он вдруг, на мгновение, трезвеет, видит, что лежит на мостовой возле урны и водосточной трубы, понимает, что лежит и что ему сейчас же необходимо быстро подняться, но не может подняться.

- Что ты ждешь? Не стесняйся, встань, подойди!

Тут она сама привстала, шелк халата чуть-чуть прикрыл ляжки, протянула через столик руку к Володе, взяла его за руку и легко потянула. Володя встал, подошел, нагнулся. Антонина Михайловна положила его ладонь на белую горячую ляжку. Какой же электрической показалась Володе эта ляжка! Какой гладкой, горячей, живой, сексуальной.

- Скорее, а то Анатолий придет, - сказала она, поворачивая голову к двери и прислушиваясь.

Тем временем сама протянула руку к брюкам Владимира Абрамова и наткнулась на бугор, и тут же закрыла глаза. А Володя гладил ноги ее и тихо постанывал, чем вызвал ответное постанывание. Володя повел руку по шелковистым трусикам к животу, нависавшему над ляжками, пропустил руку под резинку и опустил к волосам на очень мягком, жирном лобке. Антонина Михайловна вздрогнула, привстала и широко, насколько позволяло кресло, развела толстые ноги. Володя нащупал ее влажные гениталии и ввел пальцы в горячую ребристую, сжимающуюся глубину влагища до самой твердой шейки матки, пытаясь войти в ту-

го закрытое отверстие матки пальцем. Другой рукой он гладил складку между грудями, плавно опуская ладонь на огромную грудь, под лифчик, нащупывая вишню соска и вываливая всю белую могучую грудь наружу, на свет, с расплывшимся малиновым ободком вокруг вишни. Володя склонился губами к груди и поцеловал ее.

- Пойдем, скорей! - воскликнула Антонина Михайловна, вставая, отталкивая Владимира, хватая его за руку и ведя к кровати. Она скинула халат, покачивая широкими бедрами, сняла трусики, заведя руки на спину, расстегнула лифчик, отчего груди неимоверных размеров упали до самого пупа. Она по-бабьи влезла на кровать, опрокинулась с закрытыми глазами на спину, подхватила свои бедра руками, развела и подняла ноги, бесстыдно открывая Володе, который скидывал брюки и трусы, черный рубец в густых зарослях самого красивого для Володи (а может быть, для каждого человека и всего прогрессивного человечества?) места.

Прикрывая ладонью налившийся кровью член, Володя, стараясь не заглядывать в лицо Антонине Михайловне, влез на кровать между ног, прикоснулся обнажившейся головкой к ее волосам, развел губы большими пальцами обеих рук и вошел в сомкнутое влажное отверстие, вошел медленно, постепенно погружаясь, а Антонина Михайловна пропустила свою руку между ляжкой и его рукой к волосатой мошонке, взяла ее в руку и легонько сжала, почувствовав яички.

- Скорее, давай, давай! - страстно прошептала Антонина Михайловна, еще выше поднимая ноги, еще шире их разводя.

И Володя дал, и сразу же кончил.

- Фу ты! - захохотала Антонина Михайловна. - Как ты быстро! Эх, ты, молодость! Никакого с вами удовольствия... Ладно, слезай, а то Анатолий сейчас придет.

И она толкнула Володю в грудь, он быстро соскочил с нее, она сомкнула, опустив, ноги, села на простыне, поерзала задом, выпуская из себя сперму, встала, повернувшись к Володе задом, очень большим и белым, и принялась одеваться.

Но Володя никак не мог успокоиться, был огромен, красен. Он обхватил зад, толкнул Антонину Михайловну вперед, она оперлась руками на кровать, и Володя скользнул в нее сзади, прижав ягодицы Антонины Михайловны к своим бедрам; и левый, и правый пах Володи наполнился горячей массой, женским

телом, бабьим тестом. Было очень приятно чуть отдаляться от этой пышной массы и снова натягивать ее на себя, приближать, и самому вдавливаясь.

- Ой, ой, ой, - стонала Антонина Михайловна, словно тяжело-больная, испытавшая агонию, но шедшая теперь очень быстро на поправку.

Володя брал ее и думал, глядя на это пышное, прекрасное, мягкое тело, от которого сам он, Володя, потерял разум, как же совершенно устроен человек, какое счастье он испытывает от любви, когда каждая его жилка ликует от наслаждения, от прикосновения противоположных детородных органов, от сладострастного трения нежной розовато-голубой кожи. И каждый, каждый живущий появился на свет, благодаря подобному воссоединению женщины и мужчины, благодаря этому великолепному состоянию восторженности, обожания, единства наслаждения, которое длится пусть и короткое время, но состоит, собственно, из цены жизни этого каждого живущего, каждого идущего на работу, каждого говорящего по радио, каждого едущего на метро, каждого стоящего на посту, каждого выступающего с трибуны, каждого мужчины, каждой женщины, каждого, каждой... Еще, давай, давай, глубже, ты как любишь: спереди или сзади? давай, еще, нужны люди, рожай, родись, родилась, родился, великий русский, великий немецкий, давай, еще, немного осталось, сейчас взорвусь, такого наслаждения я еще не испытывал (ла), что ты со мной делаешь? ты меня порвешь, я тебя хочу, ты меня хочешь, юбку снимай, трусы снимай, и давай, не забывай, ты не забудешь? нет, а ты знаешь, как это делается, это даже кошки знают без знания, тут не нужно знания, тут стоит, как часовой, и она готова надеть на него шляпу, давай, давай, давай, еще, поцелуй там, а ты возьми меня в ротик, языком, язычком, всегда, давай, и так, и эдак, вот разошелся-то, вот разошлась та, вся в поту, достал совсем ее, вогнал в пот, загнал до седьмого пота, все липкое и сладкое, велик человек, никогда не вымрет, вымер бы, если бы такой любви не было, а тут не захочешь мозгом, умом, сам встанет и сама розой раскроется, чтобы новый член выскочил, вот тебе еще, нравится? да, очень, очень, очень и еще, еще, вот так, именно так: в поте лица появляется новый человек, а может и не появиться, презерватив всегда у Володи в кармане; уж с Антонины Михайловны семь потов сошло, а он все любил ее сзади, по-

тому что очень приятен был ему ее крутой, крупный, красивый зад, эта роскошная бабья задница. И кончил!

- Ты прекрасен! - проскулила, а не сказала Антонина Михайловна.

Через минут, буквально, пять (это надо же!) пришел из института Анатолий, а Володя сидел в кресле и пил кофе и читал "Правду", а Антонина Михайловна подметала в коридоре пол.

- Здорово, старик! - обрадованно воскликнул Анатолий.

- Здорово! Айда на каток?!

- Айда!

Глава 12. Ксения, 1970.

Подняв на лифте последнего больного, Володя переоделся, свой белый халат убрал в портфель и побежал вниз, к "скорой", которая подбросила его до метро. На подготовительных курсах в мединститут он приметил Ксению, плотную, с широкими икрами и большой грудью, русоволосую, с косой и румяными щеками, напоминающими яблоки, которые привозили на московские рынки из-под Алма-Аты и которые очень любил Володя. После занятий он предложил ей прогуляться, и Ксения согласилась. У желтой стены во дворе он начал к ней приставать, целовать, а когда пропустил руку под юбку, нащупав нежное местечко под трусиками, мягкое, как гнездышко, Ксения наотмашь ударила его по лицу. Щека загорелась кровью, но Володя не обиделся, а предложил в знак дружбы выпить чего-нибудь, например, вермута.

Купили большую бутылку, "огнетушитель" этого самого вермута, розового в синеву, как чернила, принялись цедить его прямо из горла, сидя на спинке лавки. Когда слабый алкоголь подействовал на Ксению, она сама обняла Володю и шепотом сказала, что у нее есть подружка, которая их пустит. Подружка жила в Красноказарменном переулке, до которого доехали от "Кировской" на трамвае, а потом шли в свете редких фонарей, никого не замечая, целуясь. Подружка работала дворником и жила в сыром подвале. У обитой войлоком двери стояли метлы и широкие алюминиевые лопаты.

В маленькой комнате в конце коридора было шумно и многолюдно: прыщавый юноша с голосом кастрата читал стихи, другой

бренчал на гитаре, третий наливал в стаканы. Какая-то синяя и тощая девица полулежала на продавленном диване, рядом с нею возлежала бесформенная кубышка с заголенным подолом и целовала синюю. Володя не удивился, но сразу же понял, что овладеть моментально Ксенией здесь не удастся. У хозяйки была водка, которая тут же кончилась, и, как всегда в подобных ситуациях, стали скрести-наскребать на новую, с трудом набрали, и Володя с Ксенией вызвались пойти по названному адресу к какой-то тете Зине, у которой всегда - ночь не ночь - было.

Одевшись, выйдя за дверь и прикрыв эту войлочную дверь, Володя обнял Ксению, ухватив ее сзади за толстую косу и поцеловал взасос, пытаясь всосать ее сладкий язык в себя. Ксения, постанывая, припала плечом к другой двери, дощатой, обшарпанной, и она - это дверь - открылась в какую-то темную комнатушку, из которой понесло сыростью, плесенью.

Володя, держа Ксению в поцелуе, втолкнул ее в эту комнатушку, в которую очень слабо доносился свет пятнадцатисвечевой лампочки, висевшей при спуске в подвал. Двигая Ксению в темный угол, Володя одновременно склонялся, беря Ксению за полное колено, затем под юбкой за мягкое, расширяющееся к ягодицам бедро, и когда он влез под трусики к густой поросли, Ксения сама как-то опала, села и помогла снять трусики, и легла то ли на кирпичи, то ли на гвозди, то ли в лужу, то ли на плесень, то ли на ящики, то ли на цемент... В общем, ничего от пронзившего ее желания не соображавшая, легла с удовольствием под Володю, который расстегивал ширинку и выпускал на свидание малыша, снявшего мгновенно шапку, заглянувшего в кустики, за кустики, в животное скользкое красное тепло.

И в этой грязи, в этом мраке, в этом загробном царстве, в этом подземелье, с этими запахами могилы и сортира сексуальные действия казались Володе наиболее плодотворными, перспективными, поскольку кровать, как таковая, опошляла любовь, такую животную, такую дикую, такую загробную, такую обрывную, такую заборную, такую низменную, такую подвальную; перспективными с точки зрения обновления репертуара соединений со все новыми и новыми женщинами, девушками, бабушками, в общем, со всей бесконечной армией женского пола, с ягодицами, с густыми зарослями, с бедрами, с упругими и отвислыми грудями, с развитой мышечной структурой потаенного места, реагирую-

щего на любые изменения размеров баловника, или не реагирующего, не сжимающегося, доставляющего этим сжиманием наиболее полное удовлетворение гормональными процессам, протекающим в этот период соединения двух любящих в их организмах, созданных в свое время таким же бесхитростным, но пьянящим все человеческое существо, образом.

Ксения не сопела, не пытела, не урчала: она взяла в рот ухо Володино и молча лизала его, а Володе казалось, что к нему в ухо заползает змея, и было страшно и приятно. После окончания любви, по просьбе Ксении, прежде чем выйти из этой конуры на свет фонарей, отряхнул ее пальто, на котором был и цемент, и мох, и влага, и битый кирпич, и опилки, и даже налипло несколько ржавых согнутых гвоздей.

На сухой асфальт ложились длинные тени от их фигур. Володя держал свою руку у нее на плече, а она болтала обо всем, в основном о женском, о нижней части своего тела, о многих абортках, которые она успела сделать за свои девятнадцать лет... Володя слушал, пытаясь понять психологию женщин, не могущих и минуты прожить без мужского участия, без мужского члена, без малыша, без упругого, налитого кровью баловника, но скрывающих свою страсть ради совершенно необъяснимых привычек держать под запретом все то, что и составляет сущность человека, ну, не всю, быть может, думал Володя, а основополагающую.

Вот, говорят, что нет материи отдельно от движения, и нет движения без материи.

А, собственно, куда все движется?

Володя остановился и посмотрел на звездное небо. В этом участке переулка не горели фонари; и из ущелья этого переулка хорошо была видна Большая Медведица, ковш ее, и одиноко стоящая Полярная звезда.

- Ты о чем думаешь? - спросила Ксения, вслед за Володей оттанавливаясь и поднимая голову к небу.

- О любви.

Ксения рассмеялась, громко, звонко, впервые с момента их знакомства, как будто ее прорвало.

- Разве можно об этом думать? - спросила она с некоторой издевкой, как будто она все знала о любви, а Володя ничего не знал.

Глава 13. Подруга Ксении, 1970.

Купив бутылку, Володя с Ксенией, в обнимку, шли по переулку, целуясь, и одно у них было на уме: объединение, соединение, соитие, совокупление, снятие юбки с Любки, образно говоря. На столе в подвале горели свечи, было сильно накурено, звенела гитара, хрипели голоса. Володя сел на колени к Ксении, на мягкие ее ноги, в связи с отсутствием места. А рядом сидела невысокая коротко стриженная подруга, пришедшая в то время, пока они ходили за бутылкой, целуясь в переулке после максимально возможного сближения между женщиной и мужчиной. И подруга, притираясь бедром к его бедру, шепнула ему на ухо (Володе), когда заметила, что Ксения отстранилась в сторону, шепнула, что очень хочет его. И Володя похотливо прикрыл глаза, готовый идти в огонь и в воду за любой юбкой, и спустя минут десять пошел за юбкой из подвала, там шум начался, а он за юбкой незаметно пошел по ступенькам вверх, на улицу.

- А что же твой парень? - спросил Володя.

- Он - жених, я до свадьбы ему не дам, - сказала подруга.

- Где мы устроимся? - спросил Володя.

Они вышли во двор, темный, лишь слабый свет из некоторых окон и свет звезд освещал его. Она взяла Володю за руку и повела к высокому тополю, под которым стояла лавка.

- Ты садись, а я на тебя сяду, - деловито сказала подруга, и задрала юбку.

И в темноте Володя увидел эти знаменитые русские сезонные трусы, огромные, байковые на резинках, обязательно лиловые или синие, хотя цвета различить не мог; и с катышками после долгой носки. Обычным женским движением подруга Ксении запустила руки сверху под резинку сзади, повиляла задом и спустила эти выдающиеся трусы до колен. Белое тело возбудило сразу с козлиными завитками руна. Подруга развернулась ягодичами к Володе, который выпустил уже на прогулку вольтерьянца; Володя для интенсивности любви положил обе ладони на ягодичцы, ощупал их, свел ладони к влажному руну, опять отвел по ягодичцам, к талии, одним словом, как яблоко разглаживал, затем обнял подругу, глядя ее нежный живот, нащупывая пупок, опуская ладони ниже, к волосам, и медленно повел на себя, а подруга завела свою руку назад, нашла вольтерьянца, надвинулась задом,

нащупала влажное отверстие и ввела его в себя, и сильно до дна села на него, и, выждав мгновение осознания происшедшего, вдруг так ретиво запрыгала, что бедный наш Володя, несмотря на обыкновенность происходящего с ним, мгновенно кончил эту акцию.

- Уже?! - разочарованно вырвался подружки Ксении стон.

- Что делать, я же не управляю любовью! - рассмеялся Володя. - Это она управляет мной!

Подруга соскочила с его коленей, натянула трусы, повертела задом, нагнулась и припала губами к Кандиду, чтобы как следует умыть его. Все Володино тело пробивал в этот момент страшный электрический разряд, который всегда его пробивал, когда женщины после любви начинали заниматься с баловником, совершившим уже подвиг, а от него требовали тут же следующего подвига.

Володя сахарно, малиново-клубнично стонал, откинув голову, биясь затылком о ствол тополя, созерцая горящие звезды над родным огромным городом.

Глава 14. Татьяна, 1970.

Виктор Степанович Ситник, здоровенный мужик с бобриком волос, в белом халате, врач скорой помощи, после смены пригласил Володю к себе - помочь разгрузить мебель. Зашли в гастроном, взяли бутылку водки и бутылку сухого, двести граммов костромского сыру и триста граммов отдельной колбаски. Потом ехали на метро до "Проспекта Вернадского". Когда Ситник поднимал руку к поручню, из-под пальто выглядывал белый халат. Володя свой халат возил в портфеле, а Ситник не любил портфели, ходил с авоськой. На улице шел снег, радостно светились окна в новых белых девятиэтажных домах, кооперативных. Ситник купил себе двухкомнатную квартиру, вернее, на свою семью, состоявшую до недавнего времени из него, жены и дочери, но жену он предусмотрительно не прописал...

- Володя, женишься, - говорил наставительно басом Ситник, вставляя ключ в замочную скважину, - никогда не приводи бабу к себе. И тем более - не прописывай!

- Слушаюсь, товарищ командир! - взял по-армейски под козырек, подтянуто рядовой Владимир Абрамов в запасе.

Ситник склонился к скважине в полумраке закутка лестничной площадки. В это время соседская дверь, обитая черной кожей и по диагонали, буквой "X", двумя полосками кожи, украшенная гвоздиками с широкими золотистыми шляпками, - эта дверь приоткрылась, и выглянуло красивое лицо модно причесанной соседки, с высоким бюстом, и с сильно накрашенным чувственным ртом.

- Витя, это ты! - с придыханием сказала соседка и впиалась взглядом в Володю, всего охватывая его. - А у меня коньяк не допит... Только что ребята с "Мосфильма" ушли.

- Заходи! - весело сказал Ситник, открывая дверь и пропуская Володю в прихожую.

Только принялись чистить картошку, в дверь позвонили. Вошла, виляя приличным задом, соседка в джинсиках и в красной водолазке, под которой вполне отчетливо виднелись набухшие соски; надо же, успела переодеться и скинуть лифчик, подумал Володя, и глаза его заблестели известным блеском профессионального юбочника, бабника, волокиты и т.д.

- Меня зовут Таня! - растягивая гласные, как резиновые перчатки, сказала соседка, приседая и протягивая для поцелуя руку с очень длинными ногтями с ядовито-алым маникюром гостю.

Володя не заставил себя ждать, припал, как истинный блядун с Кожевнических улиц и Ново-Спасского моста, к протянутой руке и принялся покрывать ее эротичными поцелуями с прикусом кожи. А Татьяна другой рукой, в перстнях и кольцах, принялась поглаживать рыжий чуб Володи, чуть заметно этим поглаживанием придавливая голову книзу, а руку целуемую отводя назад, к груди, и другой рукой склоняя рыжую голову молодого человека к своей жаждущей измятой и поцелуев груди, голой под тонкой красной водолазкой, скользкой водолазкой, как кожа змеи, извивающейся змеи, воплотившейся в женское тело, созданное Дарвином Чарльзом исключительно для репродукции человека, то есть для любви, где каждый участок тела женщины эротичен и служит только для солидарности полов, только для этого, другого места в женщине нет, только губы, грудь, живот, только материнские чудеса под юбками, только эти материнские фантазии, возникающие после работы сеятеля, который миллионы лет занимается одним и тем же - сеет неразумное, животное, похотливое, стадное, сеет и сеет, сеет и сеет, сеет и сеет, чтобы извива-

ющаяся змея обзавелась материнскими чувствами, чтобы, идя по Кожевнической мимо “Парижской коммуны”, по Летниковской мимо завода искусственных кож, крутила толстым задом, мягким, как тесто (дрожжевое, русское, сдобное!), под туго облегающей ягодицы юбкой, с крепкими икрами под прозрачными капроновыми с черной стрелкой чулками, в черных лаковых туфельках на шпильках, и с черной же пяткой на этом обалденно-сексуальном капроне!

В дверь позвонили. Ситник, залюбовавшийся парочкой, лобызаящейся в пустой большой комнате, пошел открывать: пришли снизу шофер и грузчик. Мебель прибыла. В лифт не лезла. Поднимали на шестой этаж по лестнице. Полированный огромный шкаф, диван и два кресла. Каждый раз, когда Володя с этой мебелью, обливаясь потом, входил, корячась, в квартиру, то видел смазливую Татьяну с ножом в руке, выглядывающую из кухни: она занялась приготовлением закуски. И взгляд ее был похож на взгляд старой знакомой Володи, как будто он ее трахал каждый божий день в подвалах и на крышах, драл как Сидорову козу. Вот каким взглядом огромных зеленых глаз обладала соседка Татьяна.

Несли кресло по лестнице, а Ситник рассказывал, отвечая на вопросы Володи, о том, как живет соседка со своим мужем, кинорежиссером, как к ней ходят разные и как Ситник дает Татьяне время от времени ключи от своей квартиры, когда уходит на дежурства. Внесли кресло в квартиру, а полногубая Татьяна с подносиком их встречает, а на подносе рюмки с коньяком и два малюсеньких бутербродика, один черный кусочек пополам разрезан, и на каждом кружочек репчатого лука и килечка, серебряная, переливающаяся от света хрустальной люстры. От такого внимания, выпив без лишних приглашений, друзья поцеловали Татьяну в щечку, а когда целовал Абрамов Владимир, то успел потрогать большую мягкую грудь.

Расплатившись с шофером, сели за стол в большой комнате, Татьяна все так и шныряет глазками по Володе. Едва успели открыть водку и выпить по рюмке, как опять звонок в дверь: муж Татьяны, в дубленке рыжей, как положено этим хмырям-кинорежиссерам (все для Володи на одно лицо!), с белым меховым подбоем, мохеровый шарф, нараспашку, в ондатровой шапке пирожком, с подвернутыми меховыми же краями, в “москвичке” одним словом, и пьяненький, красный, с расширенными зрачками. И на

ходу, прямо на пол, сбрасывает кинорежиссерскую дубленку, шарф, “москвичку”, все на пол сбрасывает, небрежно, в одном грубом кинорежиссерском свитере узорном остается, и за бутылку хватается, наливает в стакан, выпивает и уж после этого садится. Татьяна несколько смутилась и уже смотрела на рыжеволосого потенциального любовника, молоденького, лет на десять ее моложе, с некоторым смущением, как бы извиняясь за развязное поведение мужа.

Только немного поправились к кинорежиссеру, который сразу после стакана развалился в новом кресле, положил ногу на ногу в отличных мужских сапогах на “молниях”, и начал трепаться безостановочно о том, что вот ему, гению, не дают работу, а этой старой перечнице Герасимову дают. С этого начал и дальше пошел, пошел: Герасимов, Герасимов, Герасимов... Куросава, Бергман, Пырьев, Феллини, Куросава, Бергман, Пырьев, Тарковский... Только включились в монолог, слушая, как в дверь опять позвонили. Ситник, подмигивая Володе, мол, не бери в голову этот треп соседа, выпивай и закусывай, пошел открывать. То позвонила дочь Татьяны и этого кинорежиссера, очень симпатиченькая, совсем юная девушка, лет на двенадцать, в беленькой шубке, в белой меховой шапочке с белым пушистым помпоном. Татьяна пошла впустить ее в квартиру (ключ был у нее), а Володя положил глаз, как говорится, уже и на эту дочку.

Когда Татьяна вернулась, кинорежиссер все говорил, говорил. Татьяна нетерпеливо слушала, потом открыла дверь на балкон и воскликнула:

- Совсем не холодно!

И кивнула призывно Володе, чтобы он шел за нею, и шагнула на балкон. Володя спокойно встал из-за стола и, не обращая внимания на кинорежиссера, которому Ситник все подливал, отправился на балкон, где, конечно, чувствовалась прохлада. Воздух был прозрачен и морозен. Ярko светились окна дома напротив. Татьяна тут же прикрыла дверь балкона, за занавесками их из комнаты не было видно, и, обхватив шею Володи, впилась в его рот губами. Он не успел еще опустить руки на ее ягодички в джинсах, как Татьяна сама проворно растегнула его брюки и взяла демона в ладонь, сжала робко жезл жизни, потом быстро упала на колени и с невиданной жадностью, не выпуская из ладони, ввела демона жизни во влажный, горячий рот.

- Ну, что вы все в рот тянете! - с некоторым изумлением бросил расхожую материнскую фразу Володя, пытаясь, нагнувшись, хоть что-нибудь и у Татьяны потрогать-погладить, но перед ним ближними были ее плечи, за которые он и взялся, чтобы не упасть от надвигающегося семяизвержения.

Но Татьяна была хитра и не стала доводить дело до этого, встала и впилась губами в его губы, раздвигая их нахально мокрым языком, а он, Володя, целуя ее, никак не мог отделаться от мысли, что целует своего баловника и это доставляет ему невиданное удовольствие, хотя на самом деле поцеловать себя - казалось делом почти что невозможным, Володя никак не мог, а ведь пробовал! согнуться так, чтобы взять губами его; и во сне часто ему снилось, что он сгибается к баловнику, но во сне он оказывался действительно похожим на демона, в два раза внушительнее; и сгибался Володя, как гимнаст, в три погибели, и целовал, как Татьяна только что, всего баловника.

Вернулись в теплую комнату. Кинорежиссер продолжал строчить: Курасава, Бергман, Пырьев, Феллини, Тарковский... Однако, увидев жену, поднялся, качнувшись, и припал к ее плечу. Татьяна взяла его под руку и повела домой. Потом, вернувшись, подняла шапку, шарф и дубленку и, шепнув, что сейчас вернется, понесла домой.

- Обнови диван! - хохотнул здоровенный Ситник и бросил постельное белье на поставленный в маленькой комнате диван.

Не дожидаясь Татьяну, Володя разделся догола, постелил и лег под пушистое одеяло на мягкую подушку и чуть было сразу не уснул, поскольку сутки не спал на работе: вызовов было очень много. Только подошел к нему сон, как за плечо тронула Татьяна. Она закрыла дверь в комнату и стала, не стесняясь, стаскивать с себя одежду. На ее мокрых губах светилась улыбка. Груды раздвоились, вздутые, отдавленные книзу, и устали сосками в разные стороны. Снимая джинсы, Татьяна повернулась спиной. Володя видел, как широкая розовая спина двигалась перед ним. Татьяна села на диван, стянула, нагнувшись, брюки вместе с миниатюрными шелковыми трусиками. Она некоторое время сидела молча на краю дивана, расставив колени. Володя выпростал руку из-под одеяла и положил ее на толстую белую ляжку, погладил. Татьяна взяла его руку и положила на лобок. Володя ощутил пальцами мохнатый холмик. Татьяна шире развела за-

дрожащие ноги. Володя потрогал, сильно возбуждаясь, ее влажные и мягкие, полные, новизной озарившие губы.

Сон мгновенно покинул Володю, он привстал, взял другой рукой Татьяну за отвислую грудь и, сжимая ее, зажимая сосок, крупный, как мизинец, между пальцами, положил Татьяну на спину, любуясь ее разметавшимися белыми грудями, плоским животом. Татьяна откинулась на подушке и шире раскрыла глаза. В них стоял только природный акт, предвосхищение любви. Володя погладил обеими руками мягкие места между ее разведенными ногами, и Татьяна еще шире развела колени, подняла их, и в свете непогашенной лампы Володя увидел ее межножье с влажными, прилипшими к розовому разводу волосами, и Володе страстно захотелось, пьяному, впитаться губами в этот розовый развод, и Володя склонился к этому розовому ущелью и прикоснулся к нему сначала языком, ощутив солоноватый вкус моря, а затем прильнул к разводу губами.

В этот момент дверь открылась, и на пороге предстал Виктор Степанович Ситник, с папироской в зубах; дымок идет вверх, один глаз прищурен. Воротник белой рубашки расстегнут, галстук приспущен, на лице снисходительная и вместе с тем пытливая улыбка.

- Молодцы, - сказал он, - это вы хорошо придумали. Только покажите мне, как по-настоящему это делается!

Володя поднял голову, покосился на Ситника и, подумав, не стал выказывать вслух эмоции. Володя почувствовал, что сама Татьяна поглаживает демона и ведет его туда, куда нужно. Володя не противился. Володя погрузился в Татьяну, сосредоточенно, горячо, энергично. Татьяна, глядя на Ситника, выше подняла ноги, согнутые в коленях; и затрясла в скачке на себе молодого наездника.

Ситник смотрел на это дело без особого интереса, но смотрел. И причем так, как смотрят на витрину, выбирая себе подходящий костюм. И это доставляло любящим какое-то необыкновенное удовольствие. Мол, вот как нужно тайное (на самом деле известное всем) делать явным.

Володя наклонялся к ней и целовал в губы. Татьяна приподнимала лицо навстречу его поцелую, а Володя изредка трогал пальцем ее вздернутый носик.

Глава 15. Нина, 1970.

После того, как выпили, поехали к Игорю на Пятницкую. Окна выходили во двор, чуть ниже асфальта, из полуподвала коммунальной квартиры, в которой фельдшеру Игорю принадлежала комната. На восьми метрах стояло две узких, каких-то прямо-таки солдатских койки, диван и письменный стол. Игорь взял себе длинную Клаву из овощного, а Володя ее подружку, невысокую, худую Нину с глазами испуганной собаки. Нина приехала в Москву из Новосибирска в поисках лучшей жизни и нашла ее: устроилась уборщицей в овощной магазин недалеко от станции метро "Новокузнецкая". На столе ничего особенного не красовалось: килька в томате, вялая резиновая колбаса Микояновского мясокомбината, батон белого и краюха обдирного. Зато водки почему-то взяли два литра. Зачем? Ни Игорь, ни Володя ответить на этот вопрос не могли. Вот останови их на улице, заметив в авоське четыре бутылки "Московской" (нет, чтобы спрятать как-то, по карманам рассовать, так нет же! Несут в авоське, демонстрируют всему свету, всей Пятницкой улице, смотрите, мол, как нужно носить водку!), спросите: для чего, к примеру, вам, молодым ребятам, москвичам, строителям коммунизма, столько водки на двоих? ведь, не ответят.

Итак, только налили на четверых, бабам столько же, сколько и себе, так бутылки и нет! Выпили, конечно, первую с большим удовольствием; еще бы без удовольствия выпить, когда с мороза, с вечерней московской зимней улицы, да еще с бабами, предчувствуя любовные утехы, прикосновение к юбкам.

Стаканчики граненые,
Зеленый разнойбой...

Вот некоторые фригиды спрашивают заинтересованно, мол, зачем мужчины, да и вообще все русские люди пьют? Володя отвечал себе прямо, без всех этих Кантовских завихрений: чтобы упрощать стаскивание юбок с подруг, поскольку каждый раз на трезвую голову этим заниматься все-таки несколько стыдно. Однако, как опытный любовник, Володя и по-трезвому действовал смело, обнимет, прижмет, руки на ягодички, под юбку, трусы вниз... Без всяких там интеллигентских комплексов. Нужна ог-

ромная воля, нечеловеческое мужество, чтобы трахать всех подряд, невзирая на чины и звания противоположного пола.

Эту тему надо раздевать окончательно и навсегда. А то - напялили на себя юбки! Впрочем, юбка и нужна для юбки. Это понятно. Не снимая, так сказать, юбки, можно без всякого напряжения совокупляться. Она и названа поэтому так: ю б к а ! Некоторые женщины, да и мужчины, еще не поняли значения этого слова, а оно выпирает, как глаза у больного базедом, или у представителя ближневосточной общности людей, так напуганных манией преследования, что глаза их из орбит лезут, потому что все время в напряжении: не бежит ли кто за ними с топором! Нет, Володя не строит из этого простого, понятного и, главное, приятного дела никаких алгебр и, тем более, метафизик. Вставил перо и пошел дальше! Только и всего. Ведь это не душе нужно, а организму. А поэтому бросать палку нужно резко, как в городках: увидел ворота, прицелился и бросил. Будьте спокойны, как говорят в наших отделениях милиции, вас поймут правильно, поскольку противоположный пол только и озабочен тем, чтобы в него (или ему?) бросили палку, или вставили перо, чтоб полетела (в смысле, противоположный пол - полетел!).

Ну, разве это Володя Абрамов придумал, чтобы у него в брюках кое-что шевелилось, разве это он нормальной сексуальной целью признал соединение гениталий в акте, называемом совокуплением, ведущем к разрядке сексуального напряжения и к временному, когда можно выпить и закусить, угасанию сексуального влечения (удовлетворение, аналогичное насыщению при голоде)?!

Игорь погасил абажур и включил настольную лампу с зеленым стеклянным колпаком, привлек к себе свою длинную доску и стал с ней лизаться. А Володя свою даже целовать не стал, полез сразу под юбку, завалил Нину на кровать, не разглядывая, не ощупывая, зная ее анатомическое строение, приступил к влажному половому сношению. Нина была, казалось, приспособлена для этого основополагающего человеческого занятия: подстраивалась под Володин ритм, не гнушалась ничем, все делала послушно, без пререканий, поворачивалась то задом, то боком, то вверх ногами, то вниз головой, понимая, что любовь есть высшее достижение живой природы, у которой главный лозунг: все для человека, все на благо человека.

Человек - продукт полового сношения.

Человек - это исчезающее удовольствие, которое хочется повторять бесконечно.

Ты, Володя, смертен, но половой акт не даст угаснуть человечеству.

Всю ночь он занимался с этой невзрачной, но бесподобно покорной (вот женщине что нужно!) Ниной, а когда под утро попытался уснуть у нее на груди, разбудил металлический скрежет лопаты дворника из-за окна, которое, когда Володя открыл глаза и посмотрел на него, светилось синевой, борясь светлеющим синим с тянущим назад, в ночь, черным. Было ясно, что сейчас победит светлое; хотя и черное, проголодавшись, к вечеру, одержит свою победу. Все кругом круглое, все непонятное, все повторяющееся, и ужасно пустое, если хорошенько подумать. Володя подумал об этом, глядя на синее тело Нины в костюме Евы, потянулся и встал.

Он спешил на работу.

Глава 16. Марина, 1971.

После первой лекционной пары Володя подошел к стройной, с мальчишеской короткой стрижкой Марине и сказал:

- Провырнемся в киношку?!

Марина округлила и без того большие голубые глаза, удивленно проговорила:

- У нас же еще две пары...

- Это ничего, - сказал Володя, беря Марину за руку и, одновременно оглядывая ее сверху вниз: средних размеров грудь, тонкую талию, изящные бедра, вывел ее в коридор. - Но ты мне очень нравишься!

Марина вся вспыхнула, послушно вернулась в аудиторию, взяла сумку и пошла с Володей, который счастливо размахивал своим новеньким портфелем с двумя медными застёжками. Стоял синий сентябрьский вечер. В свете фонарей на Пироговке отчетливо виднелась желтая листва. Некоторые листья уже опали. Марина подняла воротник белого плаща, Володя последовал ее примеру и поднял воротник на своем сером, с погончиками, плаще; он шел нараспашку, ему нравилось так ходить, чтобы бе-

лела рубашка с зеленым галстуком и виднелся пиджак нового костюма. В довершение ко всему на ногах сияли новые, пахнущие кожей, ботинки.

Небрежно обняв Марину, Володя вскинул голову, посмотрел на небо и сказал:

- Я люблю смотреть на звезды.

Марина тоже посмотрела на небо.

- Звезды!

Он склонился к ней и поцеловал в щеку. Она вздрогнула, но не отстранилась. Пешком, болтая, дошли до Зубовской, свернули на Кольце в сторону Смоленской. В "Стреле" шел фильм Тарковского "Андрей Рублев".

Когда в зале погасили свет и пошел киножурнал "Новости дня", Володя уверенно положил руку на бедро Марине и шепнул ей на ухо:

- Я влюбился в тебя.

Марина сначала робко, а потом более уверенно, как Володя, положила свою миниатюрную руку ему на бедро и погладила в сторону паха.

И это было приятное ощущение.

Кто-то из монахов или нищих произносит, имея в виду блаженную и Андрея: "Видно, для позора своего ее и привел, чтобы грех свой все время перед собой иметь". За стоп-кадром следует изображение совсем неожиданное: на общем плане лошадь, лежащая на берегу реки, снятая рапидом, медленно переворачивается через спину и снова ложится. Над Дурочкой потешаются татары, ей кидают куски мяса, как незадолго до этого грызущимся псам, а она жадно хватает куски, жует их, заискивает перед татарами, сделавшими из нее забаву, в восторге принимает их подарки.

Володя погладил колено Марины и повел руку под юбку, от этого Марина сладко и очень тихо простонала. Володя посмотрел на ее слабо освещенное светом, идущим от экрана, лицо: голова Марины плавно покачивалась, а накрашенные губы нервно вздрагивали.

"Готово дело!" - подумал Володя, поднимая ладонь по шелковистым трусам к резинке. Когда он положил руку на лобок, Марина прикоснулась губами к его уху и спросила:

- А хочешь, я у тебя тоже потрогаю?

- Хочу!

Марина проворно нащупала его ширинку, расстегнула пуговицы, пропустила руку в прореху и пошарила. Зритель выпрыгнул весь внимания. Марина обморочным голосом прошептала:

- Вот, вот он... ой! Какой же он большой!

Дурочка бегаёт от Андрея, который хочет прекратить ее постыдное самоуничтожение, а потом плюёт Андрею в лицо - ему, спасшему ее от насилия! - и уезжает вместе с татарами.

- Чего ты боишься, - прошептала Марина. - Вниз потрогай, вниз.

При этом она шире развела колени. Володя пустил руку вниз, по влажным волосам, к нежной коже, по нежной влажной коже, к гнездышку, очень маленькому, тугому, невозможно сжато.

- Я не была еще с мужчинами, - смущенно выдавила Марина.

Она большим и указательным пальцем трогала головку зрителя, смещая кожицу с этой головки, затем поднимая ее и опять опуская, и Марине, по-видимому, казалось, что зритель с каждым новым движением все больше подрастает.

Снег, прорубь в реке, крестьянские одежды, стены, лица. Христос проходит к месту казни по снежному гребню мимо маленькой круглолицей девочки, стоящей за гребнем так, что видна только ее голова. Девочка смотрит на этого дядьку в посконной рубахе снизу вверх и улыбается, обнажая свои редкие зубы.

Три мужика хватают у сарая Андрея, подглядывающего за голдой колдуньей, и прикручивают его к крестовине столба. Распятый чернец с блуждающим взором и смело целующая его молодая нагая женщина с грубо-чувственным лицом.

Рублева привлекают странные звуки, он не может противиться искушению и идет на их зов. Мелькание огней, призрачный свет, и среди деревьев бегут с факелами в руках обнаженные женщины и мужчины.

После кино они шли пешком до "Маяковской", Володя болтал под впечатлением от фильма что-то вроде того, что христианство убило настоящую русскую жизнь, противопоставило человека природе, сделало постыдным то, что великолепно - любовь! Человек не противопоставлял себя природе, а был полиостью в ней, черт возьми, растворен, он считал себя ее частью и поэтому видел в ней человеческие свойства.

Володя говорил все громче и громче, при этом размахивал руками, а Марина зачарованно слушала его, согласившись безропотно ехать к нему домой, на "Павелецкую".

А Володя, войдя в тему, продолжал рассуждать о том, что плодородие человеческое и плодородие земли для русского человека были явлениями одного порядка. Поэтому, скажем, роса и дождевые капли виделись ему истекающими из груди небесной матери, а осеменение земли отождествлялось у древних с оплодотворением женщины. Культ чувственного, эротического возникал, разумеется, не от развращенности “язычников”, как называли русских пришедшие через Грецию чернобородые окрещенные иудеи с ликами своих идолов, а, наоборот, от их неиспорченности христианством, и был не “блудом”, а выражением изначальной животворящей силы. Рожденный природой, нераздельно в природе пребывающий, человек, и умерев, растворялся в ней.

- Ты хочешь сказать, что христианство убивало Русь?! - с некоторым замешательством спросила Марина и остановилась, глядя Володе прямо в глаза.

- Это говорит Тарковский, - сказал Володя, любуясь пряничным видом гостиницы “Пекин”. - И это вынес я из этого фильма. Ты посмотри, как прекрасна любовь между женщиной и мужчиной! А Христос говорит, что это “блуд”! Почему?

- Да, почему?

- Да потому что ради выживания собственного народа, потеряв родину, иудеи не огнем, а идеей решили уничтожить другие народы, глупенькая!

- Ну, ты даешь! - воскликнула Марина. - По твоему получается так, что христианство - человеконенавистническая религия!?

- Именно так! Совершенно гениальный фильм! Ты помнишь сцену со скоморохом?

- Помню...

- С веселым надрывом пляшет, бьет в бубен! Для мужиков и баб, для детей. Пляска и пение все убыстряются - слов уже не разобрать, что-то про бояр; да слова и не важны, главное - исступленное неистовство. Собравшиеся смеются. Кажется - свободные люди! И вдруг - тишина. Хотя скоморох продолжает петь и плясать, а люди замолкают. Они видят в проем двери на улице княжеских зрителей нравственности. Они хватают скомороха, выводят из избы и бьют его головой, раскачав, о столб! В угоду кому? Христу! Нерусскому! Россия погибает под паутиной чужой веры. Но за чужую - иудейскую, трансформированную иудеями же в христианскую и православную, - не бьют! Бьют за свою, за Русскую, за веру в Дажьдбога, в Велеса!

Володя разменял рубль, сунул Марине пятак. На эскалаторе он продолжил:

- Ты, будущий врач, да и просто как женщина должна же это понимать!

- Я понимаю.

- Что?

- Ну, что фильм Тарковского гениальный!

- Да я не об этом.

- А о чем?

- О том, что христианство - придуманная схема, мозговая. А "язычество" - естественная жизнь, плодородие и секс!

- Поняла! - воскликнула Марина.

- Поэтому будь естественной со мной. Ты хочешь заниматься со мной сексом?

- Со мной так прямо еще никто не говорил, - сказала Марина, держась за поручень. Ногти у нее были длинные, с красным лаком.

- Неужели? Ты лжешь!

- Я? Лгу? Да ты что!

- Никто о сексе с тобой не говорил? Конечно, лжешь?! Или только притворяешься?

- Я не притворяюсь!

- Ты что, даже не трогала там себя пальчиками? - усмехнулся Володя, беря Марину под руку в конце эскалатора, при выходе на платформу, вернее, в длинный арочный пролет станции "Маяковская".

- Дурак! - Он увидел, как Марина порозовела.

- О, я вижу и на тебя христианство наложило свою пядь: о таком простом явлении, как мастурбация, ты боишься говорить!

- Ну и дурак же ты! - почти что крикнула Марина и рванулась в другую сторону, но Володя удержал ее.

Подошел поезд, и они сели в сторону "Павелецкой". Когда вошли в его комнату, в которой когда-то жила соседка, Володя первым делом полез к Марине под юбку, и Марина не сопротивлялась.

- Дорогая, - шептал Володя с некоторой иронией в голосе, - нормальной сексуальной целью считается соединение гениталий в акте, называемом совокуплением, ведущем к разрядке сексуального напряжения...

- Брось болтать! - сказала Марина. - Лучше помоги расстегнуть мне лифчик.

Острые белые груди, заканчивающиеся двумя клубничками, обнажились, и Володя сразу припал к ним влажными губами и языком; Володе хотелось раскусить клубнички, и он уже прилаживался к ним зубами, как в дверь постучали. Заглянула мать, в колечках бигуди, все лицо было под кремовой маской. Она с некоторым интересом принялась рассматривать молоденькую козочку.

- Ну, мам, ты прямо, как эта, - вырвалось у Володи.

- Что ты, сыночка, я не смотрю, - сказала приятным грудным контральто мама и, не отводя глаз от свежей груди девушки, добавила: - Я хочу вам предложить торт и чай. Я испекла вечером прекрасный яблочный торт! - и мама поднесла наманикюренные пальцы в кольцах и перстнях к губам и чмокнула.

Пришлось временно бросить Марине свою клетчатую рубашку и в халате сходить самому на кухню за тортиком. Мать протирала плиту.

- Миленькая... Как институт?

- Очень интересные лекции были, - сказал Володя. - Хотя с двух пар мы с Маринкой, - он кивнул за стену, - ушли в кино.

- Что смотрели?

- "Рублева".

- И как?

- Стоит посмотреть...

Потом Володя погасил свет, потому что Марина отказалась снимать трусики при свете.

- Ты законченная христианка! - рассмеялся на это Володя и, когда вошел в Марину, сразу же включил ночник, потому что считал зрительные впечатления самыми сильными.

Волосы на лобке Марины золотились мелкими кудряшками, а чуть ниже пупка, на белом, незагорелом низе живота чернело большое родимое пятно с одним длинным золотистым волоском.

Глава 17. Юлия, 1971.

Выдался совсем летний денек, с голубым небом, с ярким солнцем, с пестрой листвой на Чистопрудном бульваре; сочная тень от памятника Грибоедову падала на гравий дорожки, звенели трамваи, летали голуби и вороны, чирикали воробьи. Одним словом, на Москву нагрянула долгожданная, неотразимая в сво-

ей русской живописной палитре Золотая Осень, а точнее - пришло Бабье Лето. А Володя ехал в институт, ко второй паре: он только что вышел из трамвая "А" и на минуту остановился, чтобы полюбоваться пронзительным в своей первобытной красоте деньком этой золотой осени, полюбоваться памятником страдавшему от ума поэту. Денек этот он сразу заметил, только проснулся, потом во дворе, потом у метро "Павелецкая", и не пошел в метро, а сел на трамвай, чтобы на нем попрощаться с летней Москвой, переехать по Устьинскому мосту Москву-реку, голубую в серебристых отблесках, прокатиться по Яузскому бульвару, по Покровскому бульвару...

Счастливо вздохнув, как вздыхают молодые, ничего не знающие о жизни половозрелые кретины, Володя быстро пошел к ступеням метро, но внезапно на этих ступенях остановился, потому что увидел золотоволосую, по плечам бежали эти распущенные красивые волосы, с огромной грудью, казалось, что она сейчас упадет вперед от тяжести этих грудей, с большими зелеными глазами, с пухлыми малиновыми губами, со вздернутым беленьким носиком, с длинными пушистыми ресницами, увидел золотоволосое чудо, большое и сладкое, как Анита Экберг, как эта голливудская секс-бомба в роли Сильвии в потрясающем фильме Федерико Феллини "Сладкая жизнь", который только недавно удалось посмотреть Володе в "Повторном", о, эти белые-белые груди и белые волосы!

Не раздумывая, Володя подошел к ней и заговорил о прекрасном Бабьем Лете, вот так сразу подошел и заговорил, смело и мужественно, без всяких задних мыслей: подошел и сказал, что неплохо бы вместе прошвырнуться куда-нибудь в такой денек.

- Я жду подругу, - сказала она приятным акающим московским говором и едва скользнула взглядом по Володиному лицу.

- Можно я с вами подожду? - спросил он, весь истекая любовной жаждой, или томясь в этой жажде.

Она это, разумеется, почувствовала, но виду, конечно, не подала. С каких это пор у нас кто-то подает вид, что он заметил на себе (заметила на себе) влюбленный взгляд?! Ни в жисть! как говорит во дворе дядя Ваня, вечно пьяный сантехник. Вот эта "жисть" вся изовралась, вся исфальшивилась: говорят одно, делают другое.

- Ждите, - пожала плечами она, озираясь по сторонам.

Володя едва сдерживал напор чувств и страстей, отводил взгляд в сторону, но темная впадинка между белыми грудями - она была в черном платье и в вязаной кофте, распахнутой, надетой поверх платья - магнитом возвращала взгляд. Да-а! Никогда еще Владимир Абрамов не видел таких грудей! Он масштабно сравнивал размер грудей с ее головой, и груди казались раза в три больше головы. Это что-то просто невероятное! Да еще при такой тонкой талии, при таком росте, и таких великолепных стройных ногах в черных колготках, которые казались великоватыми, или немножко небрежно надетыми, а само платье, мягкое, эластичное, как колготки, легко сползало и наползало на это белое воздушное тело. А глаза?! О! Это не глаза, а маяки любви, первородного греха! В сини светлой, с пульсирующими зрачками, пожирающими любовника. Он что? зачислил себя в ее любовники? Рановато, милый друг! сказал он сам себе или, как он тут же про себя поправился: сказали мы с Петром Иванычем, да-с! Ох уж, эти нам московские влюбленные! Они о чем-то шепчутся на скамейках Парка культуры и отдыха имени Горького, под ручку прогуливаются по аллеям Выставки достижений народного хозяйства СССР, покорно стоят в очередях на аттракционы, кружатся в колесе обозрения, стоят в длинных очередях в кинотеатр "Россия" или удивленно разглядывают себя в зеркалах смеха, или пьют из грязных стаканов водку в подвалах Хлебного, Скатертного, Красноказарменного, 2-го Кожевнического, 1-го Щипковского и др. переулков, совкупаются в подъездах и на крышах, ловят проституток у "Националя"...

- Вас, случаем, не Сильвией зовут? - спросил он вдруг.

У девушки еще шире открылись синие глаза.

- Вы почти что угадали, - ответила бархатным голосом она. - Меня зовут Юлия.

И опять стала смотреть по сторонам, выискивая свою подругу.

- А меня - Владимир, - сказал он.

- Где же эта чертовка! - воскликнула Юлия и посмотрела на свои маленькие часики.

Она все смотрела по сторонам. Володя тоже сделал напыженное лицо и, вытаращив глаза, стал смотреть по этим сторонам, а возвращался к темной ложбинке в начале белых притягательных грудей. И живот у нее, наверно, такой же белый, а руно! О, это сущее наказание у блондинок: настоящее золотое руно, прикрыва-

ющее розоватую морскую раковину, дышащую влагой соленого моря, да, о, эти женщины вкуса моря! О, этот болезненный и приторный морской прибой, о, эти белые круглые колени! Поцелуй мои колени! Белые колени, медленно раздвигающиеся!

От этих мыслей Володя даже вспотел, сказал, что на минуточку, отскочил со ступеней к палатке мороженщицы и купил две пачки с вафлями.

- Спасибо, - сказала покорно Юлия, беря пухленькими, но длинными пальчиками с темным маникюром мороженое.

- Рад стараться! - сказал Володя и взглянул на свои часы, "Победу", 1-го часового завода.

И Володя понял, что он безнадежно опоздал сегодня на лекцию. Юлия уловила некоторое замешательство в лице его, спросила:

- Что-нибудь не так?

- А-а! - махнул рукой Володя и, развернув мороженое, откусил большой кусок и обжегся холодом.

Он принялся кататать тающее мороженое от одной щеки к другой по языку, и то одна щека, то другая надувались. Юлия не спеша развернула мороженое и лизнула белое таким прелестным язычком, что все-таки Володя не выдержал и капнул на сухой асфальт. Потом, подумав, вспомнил чье-то стихотворение и вслух прочитал:

Она, как балерина в пачке,
В ней все - движение и жест,
Так, чтобы платье не испачкать,
Она мороженое ест.

И в предвкушенье сладкой муки
Она кричит: - Спасибо, па!
И губы выпятив и руки
В каком-то невозможном па.

Подобно трубачу, внедрившись
В им выдуваемый мотив,
Вся наклонившись, наклонившись,
Как бы в падении застыв.

- Прекрасные стихи! - с чувством выдохнула Юлия.

И высунула розовый, с голубоватыми тонкими прожилками язычок, и остреньким кончиком его как-то кольнула сначала, а

потом бороздкой повела по мороженому, всосав затем в себя молочко. Володя чуть не кончил! И цвет, цвет языка точно такой же, как цвет морской раковины, и вкус языка, наверное, такой же, как вкус розовой влажной раковины, розовато-голубоватой, как этот язычок, лижущий мороженое.

Володя вдруг сделал к ней твердый шаг и уверенно взял за руку, которой она подносила мороженое к языку, и сказал:

- Ну, пойдём?

- Не пойдём, - ответила Юлия в том же ритме, в каком спросил Володя, и, преодолевая силу его руки, поднесла мороженое к губам, раскрыла их, как морскую влажную раковину, высунула язычок, точь-в-точь цветом похожий на головку баловника, и со сладострастным прикрытием век, лизнула белый тающий кусок.

Володя покачался с пятки на носок, одну руку, поставив портфель к ногам, сунул в карман брюк, приподняв полу пиджака. Он тоже лизал мороженое и качался. Качался и лизал мороженое, шурясь от солнца, глядя на памятник Грибоедову в начале бульвара, на подъезжающие и отъезжающие красные чешские трамваи, на толпы входящих и выходящих из трамваев; на людей, бегущих в метро.

- Ладно, пошли! - услышал он голос Юлии. - Я больше ждать не могу!

- Ты торопишься куда-нибудь? - спросил Володя, непроизвольно переходя на "ты".

- Куда теперь торопиться? Весь день испорчен.

Володя взвесил в уме ситуацию: в кармане лежал рубль, а любовь предполагала выпивку. Он тут же нащупал в боковом карманчике, маленьком таком, внутри большого кармана, двушку и, сказав Юлии, что сейчас звякнет кое-кому и вернется. Юлия осталась чуть сзади, а Володя вошел в будку телефона-автомата и набрал номер Анатолия Моисеева. Володя знал, что мать Анатолия до конца сентября на даче и что у него водятся деньги. К счастью, Толик сидел дома.

- Здорово! - сказал в трубку Володя.

- Хай, старичок! - сказал Толик.

- Чего делаешь?

- Ничего.

- Я тут приклеил чувиху, а в кармане рубль, - Володя оглянулся на великолепную Сильвию из "Сладкой жизни", прогуливающуюся на высоких каблуках позади автоматов.

- Вас понял, сэр! Что брать?

- Возьми литровочку и пожевать что-нибудь... Да выпиши себе какую-нибудь мочалку! - Володя рассмеялся.

- Окей! - Анатолий повесил трубку.

Помахивая портфелем с золотыми застежками, Володя подошел к Юлии, как к давно знакомой, взял ее под руку и повел по ступеням вниз, мимо трамвайной остановки, к памятнику Грибоедову.

- И куда же мы? - спросила Юлия, рассматривая барельефы персонажей бессмертной комедии.

- К моему корешку, - просто сказал Володя и сжал руку Юлии выше локтя. - Он побежал за выпивкой, и пока он это делает, мы полюбуемся Чистыми прудами и лебедями, плавающими в них.

- А где живет твой кореш? - спросила, подлаживаясь быстро под тональность собеседника, Юлия, продолжая рассматривать памятник.

- На Кожевнической улице.

- Это где ж такая?

- Ты не знаешь Кожевническую улицу? - удивился Володя.

- А что тут такого? Не знаю. Подумаешь!

- Пятнадцать минут на "Аннушке", у Павелецкого вокзала.

- А-а, понятно.

Они шли, похрустывая гравием, по центральной аллее Чистопрудного бульвара. Кое-где уже высились кучки из опавших желтых листьев, сметенных дворниками. На белых скамейках сидели люди, читали газеты, играли в домино, ничего не делали. У бокового выхода с бульвара, возле остановки трамвая "Харитоньевский переулок", двое пьяных, но прилично одетых пожилых людей, с портфелями, поддерживали друг друга, чтобы не упасть, и говорили:

- Твоя газета "Мартеновка"?

- Да, моя газета "Мартеновка"!

- А моя газета "Автозаводец"! Это ж понимать надо!

- Я-а понимаю...

Вокруг пруда гуляли парочки, играли дети, спешили прохожие, а по синей, блещущей золотистой полосой солнца поверхности пруда плавали черные лебеди с красными клювами, пахло речной прохладой, водорослями. Володя посмотрел на Юлино лицо. Оно казалось счастливым. Юлия взяла его руку в свою, немало сжала и сказала:

- Как здесь красиво!

И рука ее была чуть-чуть влажная.

На Покровке, напротив пивной, возле которой валялся пьяный, сели в трамвай, переполненный пассажирами, так что Юлию прижали к Володе всеми ее прелестями. Юлия попыталась заслониться от него руками, прижав их к груди, но нижнюю часть пышного тела не заслонила, и тело прижалось к напряженному искателю приключений, и лицо Юлии от этого прикосновения озарилось любовным светом и зрачки расширились.

На столе у Толика, все том же зеленом, стояла водка и пиво, кое-какая закуска, в частности, нарезанный тонкими дольками и посыпанный сахарным песком лимон.

И потом все как-то быстро исчезает.

Остается полутемная, другая, комната с книжным стеллажом, который недавно возвел Анатолий, и его кровать, на которой едва уместилось гигантское тело Юлии-Сильвии, а ее груди заполнили все, буквально все, куда ни бросал взгляд Володя; и он нырнул в соленое море мечты.

Дверь отворилась, яркий луч света упал на белые груди с вишневыми сосками, на пороге стоял Анатолий, в длинных черных трусах, с двумя рюмками водки.

- Вовик, давай по маленькой! - воскликнул он и икнул.

Володя продолжал прогулки по Колхиде, не обращая внимание на остановившегося в проеме двери Анатолия, от которого ложилась густая тень на пол.

- Ну, подождите вы е... Давайте выпьем!

Володя весь был в жемчужине, Юлия вся себя ощущала надеждой на Вавилонскую башню. А тут? Нашла тьма-тьмушая языков...

- А вы могли бы стоя? - вдруг спросил Анатолий и опять икнул.

- Мы все можем, - беззлобно ответил Володя и встал, прикрыв одной рукой Вавилонскую башню, а другой беря за руку Юлию и стаскивая ее с кровати.

Огромное нечто не противилось, встало, груди свисали по бокам до талии. Анатолий, испуская искры из глаз, покачивался в дверях. И тень на полу покачивалась. Володя нежно положил одну руку на мягкую спину между лопаток, на позвоночник, и склонил Юлию к стеллажу. Она послушно повиновалась, протянула обе руки к полкам, оперлась на них. Груды достали до полу,

а раздвоенный на ягодицы белый зад как бы вознесся к потолку.

Володя распахнул руки, обнимая сладкое видение и припал к нему, и рухнула башня от смешения языков, и зашатался стеллаж с книгами, и зашатался пол, и зашатался потолок с люстрой, и еще сильнее зашатался в дверях зритель Анатолий, за спиной которого зашаталась подружка его в виде обнаженной нимфы, с перевернутой плетенкой для печенья на голове.

- Во дают! - с подвизгом воскликнула она.

А Юлия-Сильвия, постанывая от удовольствия, прошептала:

- Только не в меня, только не в меня...

- Вас понял, - прошептал весь потный и дрожащий от подобного же удовольствия Володя.

И белые волосы ее свисающие дрожали.

Юлия ходила ходуном, держась за полки стеллажа, и стеллаж уже ходил ходуном, и вдруг с самой верхней полки упала книга и ударила Володю по голове, но он не перестал заниматься единением со все понимающей природой. Только потом, выплеснув на спину драгоценное млеко, на белую горячую, в каплях пота широкую спину Юлии выплеснув горячее, дышащее новой неосуществленной жизнью млеко, Володя нагнулся и поднял книгу. То, как это ни покажется странным, был "Декамерон" Боккаччо, из серии БВЛ (библиотеки всемирной литературы), в супере.

Глава 18. Эля, 1971.

Снег скрипел с подпискиванием, Володя почти что бежал от трамвайной остановки по Дербеневке, с двумя бутылками водки в авоське и бутылкой шампанского за пазухой. По счастливому совпадению Юрий Кулякин, однокурсник, жил рядом, почти что у школы и недалеко от ДК "Химиков". Особенно замерзли руки, потому что Володя потерял перчатки: то ли в метро, то ли в трамвае.

Уже в прихожей пахло елкой, из комнаты слышались веселые голоса, а Юра, приветливо вышедший встречать Володю, едва заметно покачивался, рубашка на нем расстегнулась, галстук сбился на сторону, а на белом рукаве сияло большое томатное пятно.

На диване сидел приятель Юрия, с которым тут же Володя познакомился и, как это в таких случаях почти что всегда случается, сразу же забыл его имя. По-видимому, потому, что положил

глаз, как любили выражаться в Кожевниках, на толстую подружку девушки Юрия, имя которой Владимир запомнил: Эля.

Таких имен еще не встречалось в истории его любовных отношений, все шли Татьяны да Валентины... Вообще, в промзоне (так еще кореша называли район за Павелецким вокзалом, что соответствовало действительности: забор на заборе, завод на заводе, склад на складе, плюс - ж/д и перестук колес, и гудки маневровых тепловозов, и визги электричек), да, продолжим, в промзоне имен таких - Эля! - Абрамов не слышал.

Когда Володя выпил первую рюмку, которая холодной горечью напомнила, что жизнь течет постоянным праздником, а женщина идет, как бутерброд к водке, Володя более детально стал изучать Элю. Почему? Да потому, что сначала смотрел только на ее пышные формы ниже талии, обтянутые шелковой красной юбкой. Теперь же Володя посмотрел на лицо Эли и увидел тяжелые очки в толстой пластмассовой оправе, а под стеклами - большие, от увеличения, глаза пронзительно голубого цвета. И почему-то сразу же вспомнил душещипательный мотив:

В парке Чаир распускаются розы...

Выпили по второй, потом по третьей, Юра локтем, на котором красовалось пятно, угодил в салатницу. Приятель танцевал со своей подружкой, тощенькой, синей какой-то, и все щупал ее. Володя изредка бросал взгляд на них и понимал, что как это неприятно видеть щупающихся, и особенно - совокупающихся. Володя просто терпеть не мог, когда в книгах наталкивался на места, где автор - Джойс, например, - позволял себе идти дальше, чем просто сцены затемнения после вполне целомудренного поцелуя. Глядя то на танцующих, то на задремавшего с локтем в салате Юрия, то на елку, то на толстую Элю, Володя пытался понять, зачем некоторые художники выносят на обозрение голых женщин, разные скабрёзности. Не надо выносить! В живой жизни иди по следу природных инстинктов, но зачем же эти инстинкты выносить на всеобщее обозрение. Но после этих выкладок Володя вспомнил свои ощущения 5-10-летней давности, когда каждая подобная сцена доставляла ему удовольствие.

Не полон, значит, человек, отображенный в художественных произведениях! Вот что вдруг пришло в голову Володе. Не по-

лон! И он налил себе и Эле и предложил выпить, но зачем же нужно надевать на такие толстые бедра такую красную юбку? Есть ли на это ответ? Володя держал рюмку с водкой перед глазами и через рисунок звонкого хрусталя рассматривал что-то красное и большое. И хрустальные рюмки возле елки, и красной юбки огненная ночь, и выпитая водка, и что-то с этой водкой исчезающее, и каждая любовь, уходящая прочь, как волки, убегающие из-под елки, и елки, превращающиеся в иголки, осколки... Что там еще можно вставить в песню, из которой нельзя слова выкинуть? Володя даже не заметил, как выпил и сел на диван рядом с Элей. Интересные провалы памяти. Только что бежал по морозу, и вот сидит с красной юбкой и - заметьте! бесстрашно кладет руку на колено под этой красной юбкой. Что это? Для чего Владимир Абрамов опять кладет руку на колено незнакомой женщины?

Эля почему-то сняла очки, сжала ладонями лицо Володи и принялась целовать его в нос. Ну, зачем же целовать его в нос? Быстро же поплыл Володя, крепкий такой, Абрамов, и поплыл. Но куда нам плыть? Все туда же, отвечал сам себе Володя, пытаюсь всмотреться куда-то в даль праздничной комнаты, но не мог всмотреться; на всем как будто лежала тишина и плавная темнота, а вот на Эле покоился свет, отдельный, слабый, голубоватый. Откуда? Сама лезет, и сама же говорит, что ей сегодня нельзя. Вот интересные женщины! Новый Год, а ей нельзя. А сама тащит его в коридор, укладывает на пол и говорит, что ей нельзя, в красной юбке, в красных трусах, во всем красном и - нельзя! И стонет, сидя на нем, и краснеет и говорит, что нельзя.

Вот туда все и плывет Володя, туда, туда плывет корабль мечты его, туда плывет Володя, один, больше никто туда не плавает и никто не умеет плавать, только целуются и сразу занавес дают, потому что только Володя плавает туда, куда нельзя, нельзя потому, что нельзя туда плавать, потому что человек это вообще нельзя, это такое огромное, невыносимое, не перевариваемое нельзя, что от самого нельзя, ком в горле застревает, и дыбом волосы встают, нельзя говорит красная юбка, вся в красном, и почему нельзя окрашивается в красный цвет и идет вразнос?

Чуть слышно звенит колокольчик, или вилка по тарелке, чуть слышно, слабо, бесшумно, волшебным звенит красная юбка, юбка обладает таким качеством колокольчика, бронзовея в любви,

опозитизированной всего лишь за какие-нибудь двести лет, с Державина, допустим, а раньше, прежде, до этих двухсот лет, где было человечество, и было ли оно, чем оно это - вечество занималось? Ничем не занималось, ничего не делало: ни телевизоров, ни машин, ни трамваев! Взлет за один век и все! Амба, кончились смыслы, кончились помыслы, все известно о человеке! Все, буквально! Она качается на паперти любви и повторяет как чокнутая, что теперь ей нельзя, как будто Владимир Абрамов, широко раскинувший сети размышлений под ней, спрашивал Элю о том, можно ли ей или нельзя. Вот в чем фокус! Много очень на себя стали брать женщины. В сущности, женщины - те же люди, но этого людского в них так мало, в одном левом полушарии головного мозга, видимо, в них человеческого, а в остальном, как говорится, один голый факт половой потребности, о которой эти создание предпочитают умалчивать, пытаются скрывать себя, маскироваться под какие-то идеалы, а какие могут быть идеалы у человека? - никаких, абсолютно никаких идеалов, потому что идеален сам идиот человек, вот в чем дело, товарищи студенты, как говорит доцент Либерзон, и с ним Владимир полностью согласен, поскольку факт наличия человека отрицается как бы самим человеком! Эта задача абсолютно неразрешима. И с точки зрения художественной, и с точки зрения медицинской, и с точки зрения космической. Разрешать ничего не нужно, поскольку, добавим для ясности потока сознания под Элей, которая все чаще и чаще стала в последнее время повторять, что ей нельзя, а она себе сказала можно, и поэтому теперь мучительно соображает, как же ей быть, если ей нельзя, а она делает то, что ей нельзя, как вообще может так быть в жизни? но факт половой потребности у женщины превышает такой факт у мужчины в три с четвертью раза, что доказано опытным путем в лаборатории репродукции человека, при этом допуская аналогию с влечением к пище. Соответствующего слову "голод" обозначения в народном языке не имеется; наука пользуется словом "либидо". И вот на прошлой лекции доцент Либерзон довел до сознания студентов, что "либидо" значит хотеть женщину (для мужчины), хотеть мужчину (для женщины). И причем ударение в слове "либидо" нужно ставить правильно, на "бид". То есть произносить так: ли-БИдо. Как в бидо. И с места какой-то студент выкрикнул: "ЛиБИдиное озеро"! И все сразу стало ясно и с Чайковским, и с балеринами, и со сквериком перед

большим театром. Все как-то обнажилось: и либиди, и озеро. Особенно озеро обрело изначальную сущность женского начала, в которое бросается с головой любой мужчина, как под красную юбку, и балет, исполняемый в отчаянии либидо Эли был потусторонен, под музыку Нового Года и под звон колокольчиков, или вилок, стучащих по тарелкам.

Какое великолепное название балета Чайковского: “ЛиБИДиное озеро”! Это сушая фантастика, умопомрачительная виртуозность любви, атласная юбка нельзя, но всегда можно, даже когда абсолютно нельзя, ибо расхожее мнение содержит вполне определенные представления о природе и свойствах этого полового вожделения, влечения... то есть (без кавычек) ЛиБИДИного озера! А, как им, вам теперь будет казаться танец маленьких ЛИБИДЕЙ, вытекающий из красной юбки, когда нельзя, но можно, потому что всегда можно то, что нельзя? В этом сила философии красной юбки, исполняющей ЛиБИДИное озеро назло композитору, который сказал, что так нельзя исполнять балет, нельзя, а Эля исполняет ЛИБИДИНОЕ ОЗЕРО без разрешения композитора, нарушая все законы жанра, руша партитуру маленьких ЛИБИДЕЙ, когда в детстве этого полового влечения будто бы нет, потому что оно появляется приблизительно ко времени и в связи с процессами полового созревания, выражается в явлениях непреодолимой притягательности, которую один пол оказывает на другой, и цель его состоит в половом соединении или по крайней мере в таких действиях, которые находятся на пути к нему.

Но вот что странно: Володя видит широкое лицо Эли с голубыми глазами, хотя в коридоре темно, хоть выколи глаза. А ЛиБИДИное озеро заливает сахарным сиропом студента мединститута Абрамова Владимира, который, слыша над собой, как с потолка, постоянное нельзя, видит несоблюдение норм коммунистической морали, потому что, исходя из совершаемого действия, делается вывод, что можно, причем это “нельзя” попирается такими огромными ягодицами и ляжками, что иногда и Володя восклицает что-то, чего нет в словарях... И остановился в мыслях, поскольку решил более квалифицированно подходить к делу. А что значит подходить к делу, ясно каждому человеку: лгать, лгать и лгать. Вам говорят, что вы... а Вы настаиваете на том, что Вы не..! Вот и вся диалектика по металлу. Назовем лицо, которое внушает половое влечение, сексуальным объектом, а действие,

на которое влечение толкает, сексуальной целью; в таком случае ни один хмырь... то есть, ни один пуританин в мантии коммунистического функционера не скажет вам ни слова; да, в таком случае точный научный анализ (главное, чтобы научный!) показывает, что имеются многочисленные отклонения от понятия "нельзя".

Толстозадая, или, чтобы пуритане... Кстати, кто такие? Володя даже у Эли хотел спросить, но она через нельзя шла к мнимой цели, поскольку цель нельзя состоит именно в отсутствии цели, поскольку человека нельзя считать целью этого бессознательно-животного действия, а ведь, сознайтесь, что именно в результате этого самого сладкого в жизни действия появляется новый человек, какой-нибудь новый юрист, который ужесточит статью за распространение порнографии, гаденыш! таких ревнителей закона нужно кончать на стадии аборта!

Итак, слово "пуритане" по-латыни означает "чистые", чистюли, одним словом; религиозно-политические фанатики отделения человека от живой природы под лозунгами, принесенными с Ближнего Востока с христианством, логически вытекающим из иудаизма: подави другие народы ради расцвета своего, а поскольку нет военной мощи, подавляй интеллектуально, суперсовременным оружием - Словом; и земная простая жизнь заменяется царством божьим! Вот какую словесную бомбу изобрели иудеи! И пошли по миру, сначала пала Греция, потом и вся Европа... Слово - медицинский термин, означающий примерно то же, что и наркоз, или реанимация, или скальпель. Володя вспомнил эти рассуждения доцента кафедры Истории КПСС, фронтовика Дубова.

Впрочем, сексуальный объект сладострастно продолжал выделывать своим телом это нельзя, которое можно, как бы стараясь слиться с Володей в одно неразделимое целое. Эту притчу знают все. А если кто не помнит, то Володя Абрамов напомнит: общепринятая теория полового влечения больше всего соответствует поэтической сказке о разделении человека на две половинки - мужчину и женщину, стремящихся вновь соединиться в любви, поэтому весьма неожиданно услышать, что нужно соединить их медицинско-научным путем навсегда в одно целое, отменить половой акт, вот тогда человек будет соответствовать нормам христианской морали и лучшим образцам великой русской, подавленной христианством и социализмом, литературы.

Но что означает это нельзя в устах Эли, Володя понял только в ванной: он весь и вся его одежда были в крови обновления, в любовной крови этого бездонного, бесконечного, сладкого ЛИ-БИДИНОГО ОЗЕРА. Большая женщина с опавшими плечами и мятым животом стояла перед ним. Расплывшиеся соски огромных грудей слепо усталились в стороны. Эля подложила ладони под эти тяжелые, низко спадающие груди и покачала их под струями душа. Володя упал на колени и целовал ее живот. Соски толкались в его колючие щеки. Эля вся покрылась гусиной кожей.

- Щекотно, - сказала она и рассмеялась.

- Ты мне нравишься, - сказал Володя, поднимая голову к упругим струям душа.

- На кого я похожа? - вдруг спросила Эля, принимаясь намыливать Володе голову. Он, подумав, сказал:

- На медведицу!

- Видишь, ты сразу понял. За это ты мне нравишься. С тобой не надо все время притворяться. И еще ты чистый, и руки у тебя не сальные. Ты знаешь, что это такое - сальные руки?

- Представляю.

- Не думаю. Ни один мужчина не способен понять, каково это женщине. Жить с человеком, у которого сальные руки!

Володя поднялся и поцеловал ее. Глаза ее сияли перед ним, точно две голубые звезды. Он почувствовал себя, как на экзамене...

Эля стала его женой.

Что их ждет впереди?

ГРАФОМАН

Посвящается поэтессе Нине Красновой

Как только Цупров пришел на завод, так сразу же стал корреспондентом заводской многотиражки. Писал в основном о работе литобъединения, руководителем которого вскоре стал. А члены литобъединения не забывали информировать общественность завода о Цупрове. Ну, например, одна из заметок, написанная поэтессой, крановщицей сборочного цеха Марией Соколовой, начиналась так: “Спасибо родному заводу! Оборонная промышленность и денно и нощно печется о своих начинающих поэтах. Который год уже по инициативе нашего заводского поэта Виктора Цупрова организационно оформилось литературное объединение “Ракета” при многотиражной газете “Высота”. Теперь мы уже встречаемся не от случая к случаю, а в дни занятий, заведомо зная, чья проба пера станет предметом разговора. Дирекция рекомендовала заводскому Дворцу культуры “Щит” не чинить нам препятствий по проведению занятий в репетиционном зале № 2, где и танцевальный кружок занимается. Нам даже билеты выдали, вернее, удостоверения. Плотные корочки в красном - традиционного цвета Вооруженных Сил России - переплете, с девизом “За нашу Родину!”, с названием материнской организации: “Редакция газеты “Высота”. По внутреннему полю слева значилось, что, например, “тов. Цупров Виктор Николаевич является руководителем литературного объединения “Ракета” при газете “Высота”, а справа содержалась просьба к начальникам цехов и отделов “оказывать тов. Цупрову В. Н. всяческую помощь и содействие в организации и подготовке материалов для заводской газеты, а также предоставлять ему возможность регулярного прохода по всем подразделениям завода”. К удостоверению этому, скрепленному печатью и подписью редактора газеты, даже на первой проходной относились с долей почтения”.

Вечером Цупров допоздна в трусах сидел на кухне, чтобы никто не мешал, доводил до ума новое стихотворение. Вот оно каким у него получилось:

Мы все в душе немного звери,
Мы все не любим выбирать.
Мы можем жить, и в жизнь не веря,
Мы все боимся умирать.
В своем углу мы все герои,
Мы - пауки в своей дыре,
Но перед всеми мы - изгои,
Мы прячемся в чужой норе.
Мы мечемся в плену нахальства,
Но не уходим в мир иной.
Мы тлеем важно, час за часом,
Болея ленью и тоской.
Мечты, мечты - одни лишь сказки,
Мечтать не вредно - вредно ждать:
Мы ждем удачи, света, ласки,
Привыкнув ждать, ложимся спать.
О, люди, глупо быть убийцей
И убивать свои мечты!
Зачем вы ткете паутины? -
Ведь в них окажетесь лишь вы...
Вы будете мечтать о свете
В далеком от окна углу...
Так встаньте - все мы дети света,
Мы все преодолеем тьму!

Напротив окон Цупрова раскинулся завод, уходящий заборами, железнодорожными путями, трубами в далекую перспективу. Над заводом обычно висит дождливое небо. Что об этом говорить? Достались земли нам для военных заводов самые паскудные - глина, болота и дожди. Двенадцать месяцев зима - остальное лето. Так шутники говорят. Утром Цупров просыпается от методичного удара железа о железо. Ни вставать, ни идти на работу Цупров, можно сказать, не хочет. Да и мягкая большая грудь жены нежно покоится на его руке.

Цупров сжал эту грудь, жена проснулась, сказала, что сбегает в уборную. Когда она вернулась, то сначала села на край кровати, сомкнула ноги, поерзала задом, потом уж легла. Цупров обхватил ее...

За окном еще ночь, и квадрат серого окна едва заметен на темной стене. Цупров осторожно перелезает через жену и идет в уборную. Потом на кухне нащупывает выключатель и несколько минут сидит на табурете при свете, испытывая спортивное

желание после пробега капельку отдышаться. Он пристально и без всякой мысли смотрит в какую-то неопределенную точку на противоположной стене, почесывается, вздыхает, широко раскрывает рот. Во рту противно, в груди клокочет - должно быть, оттого, что Цупров слишком много курит. Болит сердце. Вернее, не болит, просто Цупров чувствует его. Кажется, что под кожу вложили круглый булыжник. Если бы кому-нибудь со стороны посчастливилось наблюдать Цупрова в эту минуту, то, вероятно, он получил бы немалое удовольствие. Вряд ли на земле бывает что-нибудь более нелепое, чем лицо Цупрова, его фигура и та поза, в которой он находится в это время. Потом Цупров начинает шевелить босыми пальцами, разводить в сторону руки и делать другие манипуляции. При этом как бы мысленно скандируя вчерашнее стихотворение:

Мы все в душе немного звери,
Мы все не любим выбирать.
Мы можем жить, и в жизнь не веря,
Мы все боимся умирать...

А когда-то Цупров занимался гимнастикой, и выбегал на улицу со скаткой через плечо, как в хомуте, с карабином СКС - боевым, незаряженным, и с другой амуницией через три минуты после подъема. Старшина Бабичев, который первым учил его этому, говорил, бывало: "Вы у меня и на гражданке будете за три минуты вскакивать. Я вас этому научу. Это моя цель жизни". Ну что ж, если другой цели у него не было, можно считать, что жизнь старшины Бабичева прошла совершенно бесследно.

Думая об этом, Цупров проводит рукой по щеке и обнаруживает, что ему не мешало бы побриться. Щетина лезет из него с поразительной быстротой. Тот, кто видит Цупрова вечером, ни за что не может поверить, что утром он был выбрит до блеска. Бриться он начал лет с шестнадцати.

Он идет в ванную, намыливает щеки, макая помазок в сливное отверстие, куда шумно бежит из крана почти что кипяток. Одним неловким движением Цупров задевает банку с зубными щетками на полке под зеркалом, банка увлекает флакон одеколona и вместе с мыльницей летит на перевернутое дно оцинкованного ведра, ударяется об него, как о барабан, так сильно, что

тесть Виталий Васильевич просыпается за стеной и начинает деликатно покашливать. Цупров берется за ведро, продолжая при этом водить по щеке безопасной бритвой. Он добривается, глядя в зеркало, из которого на Цупрова смотрит человек отчасти рыжеватый, отчасти плешивый, более толстый, чем нужно, с большими ушами, поросшими сивым пухом. В детстве мать говорила ему, что такие же большие уши были у Толстого. Вначале надежда на то, что Цупров сможет стать таким, как Толстой, его утешала. В ранней молодости Цупров стыдился своих ушей. Теперь он к ним привык. В конце концов, они не очень мешали Цупрову в жизни. Довольно быстро побрившись, Цупров долго и старательно умывается очень холодной водой, чтобы пробрало, хотя, будь любезен, вволю умывайся горячей, но нет, создает себе экстремальные условия, и пальцы от этого краснеют и перестают разгибаться.

На кухне он достает из холодильника пластмассовый йогурт, срывает упаковочную яркую фольгу и с ломтем белого хлеба чайной ложкой съедает холодное, сладкое и сметанное содержимое в один момент. В уборную выходит теща, костлявая старуха с черными с проседью усами, в одной ночной рубашке. Интересно, думает Цупров, откуда у жены такая большая грудь, когда теща, как доска? В уборной шумит вода, теща уходит, но следом идет тесть, закрывается, стучит сиденьем унитаза.

Крепко зевая, так что сводит скулы, Цупров одевается в прихожей и выходит из квартиры. В углу спит грязный и небритый бомж. Сильно пахнет мочой. Лифт подходит сразу же. На улице чувствуется начало октября. Небо сплошь затянуто тучами. Рассвет еще не наступил и, кажется, никогда не наступит. Трудно поверить, что солнечные лучи могут пробиться сквозь эту непроницаемую серость.

Бесконечная череда людей, подняв воротники или раскрыв зонты, струится по улице к подземному переходу, исчезает, как в колоде, на той стороне не появляется, там тоже бесконечный поток всасывается в переход. Посмотришь со стороны и поразишься, как это тысячи людей исчезают под землей?! А это метро - и страшно становится: откуда столько народу? И Цупров едет на метро на свой завод. Привык. Казалось бы, вот под окнами раскинулся завод, постоянно требуются инженеры, токари, сварщики, строители, слесари... Так нет! Нужно Цупрову через всю

Москву пилить под землей. Как распределили его после МИСИ, так он и сидит на одном месте. Цупров, как истукан, висит на никелированной трубе поручня в душном переполненном вагоне.

Он в МИСИ уже сочинял стихи. Выходил на сцену ДК, расставлял широко, как Маяковский, ноги, вскидывал руку, и читал, громко, яростно, в зал, доходя голосом до каждого, каждому бросая в глаза:

Я хочу, чтобы люди смотрели в глаза,
А не прятали глаз в воротник.
Протирайте почаще души зеркала:
У меня аллергия на пыль.
Честно, прямо, по-детски наивно,
За спиной не бросая дурные слова,
Хоть самим чтобы не было стыдно...
Я хочу, чтобы люди смотрели в глаза.
Неужели же это так сложно?!
Вот, смотрите, она идет не спеша,
Даря улыбки проходим.
Нет, не отводите глаза:
Ведь она так ждала, так ждала!
Нет, не видят они янтаря,
Что сверкает пред ними, искрится
И пытается втиснуться в чьи-то глаза,
Спотыкаясь о бревна-ресницы...

Конечно, поэт, читающий стихи, выглядит, как повар, который ест.

И вот уже рыхлая туча толпы вытекает из дверей метро. Люди готовы ринуться в первый же просвет между потоками автомобилей, которым, кажется, тоже нет конца. В этой толпе Цупров пересекает улицу, пробегает вдоль бетонного забора с колючей проволокой поверху, и попадает в проходную своего завода.

В мрачном здании шоколадного цвета на одной из уличных дверей висит табличка: "ОКС", что означает - отдел капитально-го строительства. Завод основан в 1898 году, и с тех пор на нем что-то постоянно ломают и что-то с такой же постоянностью строят. Здесь Цупров обычно и находится ежедневно с половины восьмого до пяти. Довольно часто Цупрова здесь можно найти и в десять, и в одиннадцать, и в двенадцать ночи, потому что рабочий день у него не нормирован.

В прорабской накурено, свет лампочки едва пробивается сквозь плотные слои дыма. Рабочие, собравшиеся здесь, разместились кто на табуретках, кто на длинной скамейке, кто просто на корточках вдоль стен и у железной печки. Звено штукатуров Козлова в полном составе лежит на полу.

- Хотя бы форточку открыли, - ворчит Цупров, пробираясь к столу, стоящему у окна.

Никто не обращает на него никакого внимания, он открывает форточку сам. Дым постепенно рассеивается. С улицы тянет сыростью.

Вы будете мечтать о свете
В далеком от окна углу...
Так встаньте - все мы дети света,
Мы все преодолеем тьму!

До начала работы еще полчаса, каждый проводит их как умеет. Цупров садится за стол, придвигает к себе телефон, набирает номер. После нескольких долгих гудков трубку снимают и слышится женский голос:

- Вас слушают.

- Говорит Цупров. Извините, что рано. Можно попросить к телефону профессора Иванова?

- Одну минуточку.

Затем Цупров слышит голос Иванова, профессора кафедры современной литературы филологического факультета. Профессор Иванов обещает быть на занятии литобъединения. С профессором Ивановым Цупрова познакомила инструктор отдела культуры. Договорившись, Цупров кладет трубку и машинально закуривает.

Бригадир Крестников сидит на ящике из-под гвоздей и сушит у печки портянки. Козлов листает книгу о вкусной и здоровой пище, потягиваясь и зевая, подсобница Марина Зубкова рассказывает своей подруге Оле Хлопиной, что летом на пляже видела Кобзона и что он, оказывается, лысый, а когда поет по телевизору, то надевает парик.

У окна стоит Бородачев - толстый, рыхлый увалень в армейском бушлате. Сопя от натуги, он пытается согнуть железный прут толщиной с хороший лом, вставленный одним концом в

щель между ребрами батареи парового отопления. Рядом с ним плиточник Галактионов, прозванный Художником за то, что зимой ходит без шапки.

- Давай-давай, - подзадоривает он Бородачева. - Главное - упираться ногами.

- Ты что делаешь? - спрашивает Цупров Бородачева.

Бородачев вздрагивает и застенчиво улыбается:

- Да ничего, балуемся просто.

- Эх, Бородачев, Бородачев, - сокрушенно вздыхает Художник, - с такой будкой не можешь арматуру согнуть. Придется, видать, тебя к Новому году на сало зарезать. Вот Виктор Николаевич запросто согнет, - подзадоривает он Цупрова.

Он обращается к Цупрову слишком фамильярно, Цупрову хочется его одернуть, но он думает: "А почему бы, в самом деле, не попробовать свои силы? Есть еще чем похвастаться".

- А ну-ка дай.

Он берет у Бородачева прут, кладет его на шею и концы тянет книзу. Чувствует, как гудит в ушах и как жилы на шее наливаются кровью.

Согнутый в дугу толстый железный прут Цупров бережно кладет на пол. И не может удержаться, чтобы не спросить:

- Может, кто разогнет?

- Вот это сила, - завистливо вздыхает Бородачев и незаметно пробует свои рыхлые мускулы.

Марина Зубкова смотрит на Цупрова с нескрываемым восхищением. Кобзон вряд ли согнул бы арматуру на шее.

А Цупров задыхается. Сердце колотится так, словно он пробежал десять километров. Что-то с Цупровым происходит в последнее время. Чтобы скрыть одышку, он садится за стол, делает вид, что роется в бумагах.

Художник продолжает донимать Бородачева.

- Вот, Бородачев, - говорит он, - кабы тебе такую силу, ты бы чего делал? Небось, в цирк пошел бы. Скажи, пошел бы?

- А чего, - задумчиво отвечает Бородачев, - может, и пошел бы!

- А я думаю, тебе и так можно идти. Тебя народу за деньги будут показывать. Каждому интересно на такую свинью поглядеть, хотя и за деньги.

Художник смеется и обводит глазами других, как бы приглашая посмеяться с ним вместе. Но его никто не поддерживает,

кроме Марины Зубковой, которая влюблена в Художника и не скрывает этого.

- Галактионов, - говорит Цупров Художнику, - в пятом цеху ты полы настилал?

- Ну я. А что? - он смотрит на Цупрова со свойственной ему наглостью.

- А то, - говорит грубовато Цупров. - Плитка только так отлетает!

- Ничего, прилепим. Перед сдачей пройду подмажу...

- Галактионов, - задает Цупров ему патетический вопрос, - у тебя рабочая гордость есть? Разве можно удвоить ВВП с такими как ты?! Неужели тебе никогда не хочется сделать свою работу по-настоящему?

- Мы люди темные, - говорит он, - нам нужны бабки да стакан к обеду. А ВВП пусть в Кремле удвоят.

- Удваивают, - поправляет без нажима Цупров.

- Да хоть утраивают!

Галактионов говорит и ничего не боится. Уговоры на него не действуют, угрожать ему нечем. На заводе каждого человека берегут. Да и не очень-то сберегают. Приходят на завод люди с периферии, с Украины, например, берут без прописки, таджиков и цыган разных, спят в вагончиках на нарах. Придут, поработают, поосмотрятся в Москве да и сматываются - кто в милицию, кто куда.

Вы будете мечтать о свете
В далеком от окна углу...
Так встаньте - все мы дети света,
Мы все преодолеем тьму!

Вот сидит перед печкой Крестников. Он разулся и сушит портянки, и думает кто его знает о чем. Может быть, сочиняет в уме заявление на расчет. Но такие, как Крестников, уходят редко. На заводе он уже лет двенадцать. И он привык, и к нему привыкли.

Цупров смотрит на часы: стрелки подходят к восьми.

- Все в сборе? - спрашивает он у Крестникова.

Крестников медленно поворачивает голову к Цупрову, потом так же медленно обводит взглядом присутствующих.

- Кажись, все.

- Кончайте перекур, приступайте к работе.

- Щас пойдём, - нехотя отвечает Крестников и начинает наматывать портянки.

В это время раздаётся телефонный звонок. Цупрову звонят много раз, и это обычно не вызывает в нём особых эмоций. Но сейчас каким-то чутьём он угадывает, что разговор кончится неприятностью. У него нет никаких оснований так думать, просто он это чувствует. Поэтому Цупров не снимает трубку. Пусть звонит - там видно будет, у кого больше выдержки. Он закуривает, выдвигает ящик стола, просматривает наряды. У того, кто звонит, выдержки больше. Цупров снимает трубку и слышит голос Николаева - директора завода.

- Цупров, ты что ж это к телефону не подходишь?

- По цехам ходил. Не знал, что вы звоните, - сдержанно отвечает Цупров, для приличия слегка покашливая, намекая на то, что он все ж таки интеллигент.

- Знать надо. Должен чувствовать, когда начальство звонит! - с некоторой нравоучительностью сипато говорит Николаев. Голос у него неясный, глухой, с дребезжанием - сипатый, одним словом.

- Это я чувствую, - говорит Цупров, - только не сразу. Немного погодя.

- В том-то и дело. Научись чувствовать вовремя - большим человеком будешь.

Что-то он сегодня больно игрив. Не любит Цупров, когда начальство веселится не в меру.

- Слушай, Цупров, - переходит на серьёзный тон директор, - ты бы зашел, поговорить надо.

- О чем? - спрашивает Цупров.

- Узнаешь. Не телефонный разговор, - говорит директор.

- Хорошо. Сейчас обойду корпус... - говорит Цупров.

- Ну давай, на одной ноге! - как бы приказывает директор.

Как же, разбежался. Цупров выходит из ОКСа на улицу, проходит по доске через лужу, входит в другую дверь и поднимается на четвертый этаж. На лестничной площадке стоит Крестников, водит вдоль стены краскопультом. Бежевая струя со свистом вырывается из бронзовой трубки, краска ровным слоем покрывает штукатурку. Сам Крестников тоже весь в краске - шапка, ватник и сапоги.

- Ну что, Крестников, - спросил Цупров, - портянки высушил?

- Высушу на ногах, - хладнокровно отвечает Крестников.

- А почему облицовочные панели из нержавеющей стали валяются с виниловым сайдингом? - спрашивает не очень доволь- но Цупров.

- Да не завезли еще сетку потому что самоклеющуюся, - гово- рит как бы между прочим Крестников, и на его квадратном лице с толстым носом возникает подобие улыбки.

- Будет, - сказал Цупров, - если Калитин даст.

- Значит, не будет, - скептически заметил Крестников. - Кали- тин не даст.

- Ничего, с божьей помощью достанем, - шмыгнув носом, ска- зал Цупров.

- Наверяд, - Крестников сплюнул и посмотрел за окно.

Цупров зашел в один из пролетов, осмотрелся. В деле уже был профнастил оцинкованный крашенный. У колон для монтажа лежали болты оцинкованные с гайкой и шайбой. Монтаж метал- локонструкций подходил к концу. В общем, все, кажется, ничего, прилично. Только стеклопакеты не все были вставлены, и пото- лок не смонтирован, кое-где был в прорехах.

Зашел в помещение будущей лаборатории. Смотрит - у батареи, вытянув ноги, сидят Марина Зубкова и Оля Хлопина. Разговаривают. О каких-то своих женихах, мороженом, телесериалах и прочих ве- щях, не имеющих к их прямым обязанностям никакого отношения. А батарея, между прочим, не топится: воду еще не подключили.

- И вам не холодно? - спрашивает Цупров.

Молчат.

- Ну, чего сидите? Нечего делать?

- Перекур с дремотой, - смущенно пошутила Хлопина и сама засмеялась.

- Не успели начать работу - и уже перекур. Идите на третий этаж, там некому плитку носить, - сказал вполне дружелюбно, но как начальник, Цупров.

- Ладно, сейчас пойдем...

- Сейчас уже наступило!

Цупров говорит это ворчливым и хриплым голосом. Даже са- мому противно. Но он ничего не может с собой поделывать: вид си- дящих без дела людей раздражает его. Если пришли работать, значит, надо работать, а не прятаться по углам.

Больше всех его разозлил Бородачев. Газосварочным аппа- ратом он варил лестничные перила. Цупров сразу заметил, что

швы у него неровные и слабые. Цупров толкнул угловую стойку - и шов разошелся.

- Ты что же, - сказал он Бородачеву, - хочешь, чтобы тут люди в пролет попадали, а нас с тобой в тюрьму посадили?

Бородачев погасил пламя и поднял на лоб синие, закапанные металлом очки.

- Флюс, Виктор Николаевич, слабый - не держит, - сказал он и улыбнулся, словно сообщал Цупрову приятную новость. - И вообще тут электросваркой надо варить.

- Без тебя знаю, да где ее возьмешь? Все стойки переваришь. Я потом проверю. Флюс хороший достанем.

Все от Цупрова что-нибудь требуют, и всем он что-нибудь обещает. Одному флюс, другому минипогрузчики, третьему пленку армированную... Все это в продаже есть, но как выбить деньги? Когда-то в детстве от учителя физики Цупров узнал про Ползунова. Еще маленьким он увидел кипящий чайник, потом вырос, вспомнил про чайник и изобрел паровую машину. Услышав это, Цупров поднял руку и спросил:

- А кто изобрел чайник?

Этот вопрос занимает его до сих пор. Когда он учился в институте, разные доктора и кандидаты наук, профессора и доценты преподавали множество сложных наук, которые Цупров за пятнадцать лет успел благополучно забыть. Ни высшая математика с начертательной геометрией, ни физика с сопроматом, ни тем более теория относительности не пригодились ему в жизни, хотя преподаватели считали, что каждый из этих предметов обязательно надо знать будущему строителю. Они много знали, но ни один из них не смог бы решить простейшую задачу - как выбить финансирование на закупку заборов, ворот, решеток, козырьков, лестниц, бесшовных труб, керамогранита, красок для бетонных полов износостойких, когда всего этого и многого другого нет на складе или когда у Калитина неважное настроение.

Вы будете мечтать о свете
В далеком от окна углу...
Так встаньте - все мы дети света,
Мы все преодолеем тьму!

Калитин - это начальник отдела снабжения завода, человек совершенно ничтожный и бестолковый. Пока на заводе был главный инженер, отдел снабжения работал довольно сносно, был хоть какой-то порядок. Теперь главный ушел на пенсию, Калитиным никто не руководит, и он совсем распоясался. С утра до вечера ему звонят из разных цехов и отделов, выколачивая разные материалы. Калитин вконец запутался в этой неразберихе и решил упростить дело: посылает кому что придется. Тому, кто просил у него сайдинг канадский, он шлет гипсокартон, а тому, что хотел иметь линолеум, посылает пазогребневые плиты или ДСП... Цупрову он недавно прислал второй газосварочный аппарат. Цупров долго не знал, что с ним делать, потом обменял его у Крамаря на электромотор для растворомешалки. Цупров набирает номер Калитина. Там снимают трубку.

- Калитин? - спрашивает строгим голосом Цупров.

- Нет его, - меняя голос, отвечает Калитин и вешает трубку.

- Сволочь, - говорит Цупров и набирает номер снова.

Трубка снимается и Цупров говорит ему несколько слов на родном языке. Калитин не обижается, ему все говорят примерно то же самое.

- Будет ругаться-то, - ворчит он довольно миролюбиво. - Высшее образование имеешь, а такие слова говоришь. Сухой штукатурки пару сотен листов могу дать, если хочешь.

Можно послать его еще куда-нибудь, но за это денег не платят. А сухая штукатурка - это все-таки нечто вещественное. Для обмена на что-нибудь она тоже годится.

- Черт с тобой, - соглашается Цупров, - давай триста листов.

- Двести, - поправляет Калитин.

- С паршивой овцы хоть шерсти клок, - со смехом говорит Цупров, и чешет лысину.

Цупров собрался выходить, но в это время появился Девяткин, который приехал на самосвале. Он долго стоял на подножке, потом нерешительно поставил ногу на лежащую в грязи узкую доску и пошел по ней, словно канатоходец. Цупров с интересом следил за ним, надеясь, что он поскользнется. Но он благополучно одолел одну доску, перешел на другую. Усы, бакенбарды и шляпа придают лицу его умное выражение.

- Слышал новость? - обратился Девяткин к Цупрову. - Тебя назначают главным инженером.

Это было неожиданностью для Цупрова. Правда, слухи о его назначении давно ходили по заводу, но слухи оставались слухами, никакого подтверждения им не было, если не считать двух-трех намеков, слышанных Цупровым от Николаева.

- Брось, - недоверчиво сказал Цупров. - Что, директор утвердил?

- Пока не утвердил, но затребовал проект приказа. Я только что у секретарши Николаева слышал. - За что бы это тебе такая честь? - Девяткин критически оглядел Цупрова. - Толстый, рыжий и в лице ничего благородного.

- А тебя, что ж, обошли, выходит? - спросил Цупров.

- Я на главного конструктора перехожу, - важно сказал Девяткин. - Горшков увольняется, я на его место.

- Ну и валяй, - сказал Цупров.

Из ОКСа Цупров вышел вместе с Девяткиным. Дождь моросил по-прежнему.

- Значит, я подошлю машину и возьму пять мешков, - сказал Девяткин, поднимая воротник плаща.

- Десять, - сказал Цупров. - Возьми десять. Ты заслужил их сегодня.

Наступали моменты, когда Цупров впадал в маниакальную зависимость от рифмы, не мог отцепиться от рифмы, которая его долбила, как дятел: "галка-палка-галка-палка..." Не так, конечно, чтобы уж совсем "галка-палка...", но все же. Например, стоит на рифме слово "сбежал", вот Цупров и идет по цеху, ничего не соображая, а все бубнит: "сбежал-отжал-нажал..." А следом какой-нибудь "причал" выплывает, а ему хочется точную рифму, чтобы "ж" там было... Пока шел к директору, все бубнил про себя эти "сбежал-нажал", а потом вдруг догадался, что это глагольная рифма, плюнул и устыдился. Он вспомнил, как на одном из занятий у них со студийцами спор вышел об этой глагольной рифме.

Тогда крановщица Мария Соколова воскликнула:

- Господа, а почему так крамольны глагольные рифмы? Ну, кроме того, что их легко рифмовать... Многие классики грешат ими. Да и вообще, гениальные поэты не особенно старались придумывать оригинальные рифмы...

На это откликнулся токарь Константин Орищенко:

- Мария, я, читая Байрона, встретил достаточное, произвольное количество глагольных рифм. В русском языке кто-то поднял

планку выше этого и всё, теперь опустить уже невозможно. Это вакханалия! В длинных текстах, я думаю, это легко допустимо. В коротких - нет проблем выложить по новым высоким стандартам.

Вмешалась кладовщица Ирина Малышева:

- А кто установил эти стандарты для русского языка? С ходу -
А. Блок:

Но в камине ДОЗВЕНЕЛИ
Угольки.
За окошком ДОГОРЕЛИ
Огоньки.
И на вьюжном море ТОНУТ
Корабли.
И над южным морем СТОНУТ
Журавли...

На это Орищенко сказал:

- Я думаю, что должна присутствовать необычность формы, как в приведенном Ирой примере, и отсутствовать - банальность, типа:

За тобою я пришел,
Ничего там не нашел,
Гадость мерзкую сказал,
И обратно побежал...

Вздыхнув, Мария Соколова сказала:

- С этим и я согласна, но иногда читая комментарии, создается впечатление, что глагольные рифмы не приемлемы ни в каком виде...

Вступил в разговор электрик Виктор Сапожников:

- Так сложилось, сначала смотрят на рифмы. Я слышал мнение, что в отделах поэзии читают только до первой ошибки. Так есть. Правильно Орищенко говорит - планка поднята высоко. Я думаю, что главное - это выразительность, экспрессия.

Тогда Ирина Малышева сказала:

- Витя, это ты про толстые журналы? Там, как мне кажется, вообще все коррумпировано... Да и печатают часто стихи какие-то вымученные... Ну а про отрицание глагольных рифм я не согласна... а вопрос о том, кто же эту планку установил, остается открытым.

Орищенко тут сказал:

- Мнение это общее для опытных поэтов или это просто дань традиции. Такая, что никто уже и не пытается искать новизны в глагольных рифмах?

Мария Соколова сказала:

- Новизны в них, конечно же, трудно сыскать. Хорошего в них тоже не очень много. Но уже одно то, что ту самую "планку", о которой Орищенко и Сапожников говорили, навязали нам, в основном, столь отвратительные личности и поэты как Вознесенский и Евтушенко, просто-таки вопиет к их использованию. Назло врагам! Хотя теперь уже почти и не получается...

Орищенко сказал:

- Как-то принес я стихи в один толстый журнал, а зав. отделом поэзии мне буркнул что-то навроде: "Ну что, нарифмовал глаголов?" Задумайтесь, ведь это сказал мне прожженный профи... С тех пор очень стараюсь свести к минимуму рифмование глаголов. Ведь на самом деле, это очень легкий путь написания стихов. Впрочем, изредка такое действительно оправдано, например, когда хочешь подчеркнуть экспрессию. Но это, скорее, исключение. Обычно такого рода стихи здорово похожи на самодельные, а мы ведь все этого не хотим, не так ли?

Здесь внимательный Виктор Сапожников заметил:

- А вот насчет того, что в стихах главное душа, а остальное как бы второстепенно, категорически не согласен. Это все равно, что сказать, что в машине главное - мотор. Это оправдание недостаточной технической подготовленности, нежелание слазить в словарь, а в конечном итоге - неуважение к слушателям.

Цупров, подумав, пожевал губами и задумчиво подвел черту:

- Все жанры хороши, кроме скучного. Есть и примитивизм, как жанр, и пародии, и девчачьи альбомы...

С такими воспоминаниями и размышлениями Цупров дошел до дирекции. Николаев сидел за столом один и сосредоточенно разбирал телефонный аппарат. Когда-то давным-давно он работал слесарем, очень любил вспоминать об этом и любил ремонтировать разную технику. Ничем хорошим это обычно не кончалось, и потом приходилось вызывать связистов или электриков - в зависимости оттого, что именно брался ремонтировать директор.

- Что ж так поздно? Курьеров за тобой посылают? - недовольно проворчал Николаев и, не дожидаясь ответа, кивнул на кресло, стоявшее у стола. - Садись.

Глухо ударили напольные часы.

Цупров в кресло садиться не стал - оно слишком мягкое. В нем утопали подчиненные так глубоко, что даже при высоком росте Цупров едва доставал подбородком до крышки стола. Может быть, такие кресла делают нарочно для подчиненных, чтобы, сидя в них, подчиненные в полной мере ощущали свое ничтожество. Цупров взял от стены стул и придвинул его к столу.

- Как жизнь? - спросил директор, вынимая из телефона серебристый конденсатор.

- Спасибо, - сказал Цупров, - течет потихоньку.

- Как здоровье жены? - Николаев вынул из телефонной трубки миниатюрный микрофон и ковырял в нем отверткой.

- Спасибо, здорова.

- Как дочь?

- В десятый класс пошла...

- Ну хорошо, - сказал директор и положил отвертку на стол. - Ты, конечно, знаешь, зачем я тебя вызвал?

После разговора с Девяткиным Цупров догадывался, но на всякий случай сказал, что не знает.

- Тем лучше, - сказал Николаев, - пусть это будет для тебя сюрпризом.

Он нажал кнопку селектора, и почти в то же мгновение в дверях появилась секретарша Света, очень красивая девушка, только ресницы подведены слишком густо.

- Светочка, принесите, пожалуйста, проект приказа на Цупрова, - не глядя на нее, попросил Николаев.

Света исчезла так же бесшумно, как и появилась. Николаев посмотрел на закрывшуюся за ней дверь и почему-то вздохнул.

- Как у тебя дела? - спросил он, помолчав. - Что-то я давно у тебя в ОКСе не был. По графику у тебя когда сдача корпуса?

- К Новому году.

Это все он знал не хуже Цупрова, и Цупров подумал, что он задает вопросы, лишь бы поддержать разговор. Директор посмотрел на него и сказал, помедлив:

- Так вот. Сдашь его к первому декабря.

- Неготовый? - спросил Цупров.

- Зачем же неготовый? Подготовишь и сдашь.

В дверях снова появилась Света. Постукивая тонкими каблучками, она прошла к столу, положила перед Николаевым лист бумаги.

- Все? - спросила она, усмехаясь, как всегда, когда говорила с начальством.

- Нет, не все, - строго сказал Николаев. - Объявите по заводу, что сегодня в семнадцать тридцать состоится производственное совещание. Нет, объявите, что ровно в семнадцать. Все равно меньше чем за полчаса их не соберешь.

Света стояла, выжидательно опустив ресницы.

- Можно идти? - спросила она.

- Когда я скажу, тогда пойдете, - рассердился директор. Видимо, он был не в духе и искал, к чему бы придраться. - Что вы стоите как вкопанная и хлопаете своими ресницами?! Вы что, меня соблазняет, что ли?!

- Вас - нет, - тихо сказала Света.

Ее ответ совсем вывел директора из себя.

- Я вот возьму мокрую тряпку, - сказал он, - и вымою вам эти ваши ресницы!

- Не имеете права, - с металлом в голосе ответила Света.

- На вас у меня хватит прав. Я вам в отцы гожусь! - с некоторым напором сказал Николаев, пристукивая ладонью по столу, отчего подпрыгнула отвертка и детали телефона.

- У меня есть свой папа, - спокойно напомнила Света.

- Ну и очень плохо, - сказал Николаев, но тут же поправился: - То есть плохо то, что ваш папа не следит за вами. Идите.

Света повернулась и простучала каблучками по направлению к двери. Во время этого разговора она ни разу не изменила тона, ни один мускул на ее лице не дрогнул.

Цупров понял, что у Николаева какая-то неприятность. Всегда в таких случаях он срывает злость на своей секретарше, которая эти припадки терпеливо выносит. Может, он за это и держит ее.

- Черт знает что, - проворчал он, когда дверь за Светой закрылась. - Дура.

Он раскрыл пачку "Мальборо" и, закуривая, молча подвинул к Цупрову бумагу, которую принесла Света. Это был тот самый проект приказа, в котором говорилось, что Цупров назначается главным инженером.

- Прочел? - спросил Николаев. - Дела примешь после сдачи объекта.

- Значит, в январе? - спросил Цупров.

- Раньше, - сказал Николаев. - Объект сдашь до начала декабря, а после примешь дела. Можешь считать это приказом, который нужно выполнять.

- Приказы, Василий Николаевич, должны быть разумные, - сказал Цупров. - Вы ведь знаете, что у меня еще монтаж металлоконструкций не закончен, есть штукатурные работы, и малярные тоже. И плитку еще надо укладывать.

- Все сделаешь.

- Но ведь даже штукатурка не высохнет.

- Меня это не касается. Корпус должен быть сдан. Ты думаешь - это моя прихоть? Мне приказано оттуда! - он раздавил окурок о край пепельницы и показал на потолок. - В министерстве решили, что надо этим годом сдать, чтобы финансирование выбить. Удвоение ВВП, сам должен понимать! Ты должен радоваться, что тебе дают идею.

- Я бы радовался, - сказал Цупров, - если бы эту идею можно было обменять на алюминиевый сайдинг. Хороший будет подарок. Но финансирование-то сейчас нужно. Материалов кругом продается навалом, а денег нет! Сейчас сдадим, а через месяц в капитальный ремонт. А что, если я не сдам все-таки корпус?

- Не сдашь? - Николаев посмотрел Цупрову в глаза. - Тогда применим все меры. Вплоть до увольнения. Так что выбирай. Или сдача объекта вовремя и все остальное. Или... Выбирай. - Он встал и протянул Цупрову руку: - Извини, мне пора в министерство.

И так идет день за днем. Цупров неудачник. Оттого и стихи сочиняет. Думает о том, что без литобъединения он бы был совсем другим человеком. Да литобъединение не только сдружило самодеятельных поэтов, но и показало, чего они стоят. В памяти Цупрова сохранился не очень приятный эпизод, когда он только что пришел в литобъединение простым членом, редактор газеты "Высота" Евгений Хромов о последних стихах Цупрова сказал, что они написаны на уровне поэтов-профессионалов, и редакция сомневается, что такие стихи может написать простой инженер, потому и не решается их печатать - из-за боязни плагиата. Ну что ты будешь делать? А Цупров полагал, что нужно стараться писать лучше, но скверно выходит дело! Чем лучше пишешь, тем меньше шансов напечататься в газете... Вспомнив об этом давнем случае, Цупров грустнеет и идет, опустив голову, с некоторой безжалостной обреченностью бубнит себе под нос:

Душу тронула у нас
Музыка народная
И пошла в горячий пляс
Любочка дородная.
Чуть подрагивают плечи,
Не крутой на ней наряд.
И дробит она картечью,
Половицы в такт скрипят
Она дробит, дробит бьет
Левою ножкой, правою
И частушки выдает
С острою приправой:

Опа... опа... опа...
Америка, Европа,
Азия, Евразия,
Что за безобразия!
До чего задорный танец:
Баба - бес, огонь, гроза!
Зубы - жемчуг, щек румянец,
Хохотунчики - глаза.
Полнота ее не давит,
Не мешает дробит бить.
Люба цену себе знает.
Как такую не любить?
Молодец, так лихо пляшет,
Хоть не сладок бабий век.
Подмигнет, рукой помашет,
А в глазах - улыбка, смех.
Вот на цыпочки привстала,
Белым лебедем плывет.
Люба, в общем, не устала -
Улыбнулась и поет.

Стихи-то и сочиняют неудачники. Во всяком случае, так считает его жена. Цупров неудачник, потому что не стал ни ученым, ни большим начальником. Цупров все еще только начальник ОКСа. А начальник ОКСа применительно к армейским званиям что-то вроде майора. Если к сорока годам ты не шагнул выше этого чина, маршальский жезл из своего рюкзака можешь выбросить.

Цупрову уже сорок два. В сорок два года ему предлагают должность главного инженера завода, хотя могли это сделать гораздо раньше. Пятнадцать лет прошло с тех пор, как Цупров

окончил строительный институт, все пятнадцать он работает на одном и том же месте. За это время он полысел и обрюзг, стал нервным и раздражительным.

Его работа ничем не лучше, но и не хуже других. Его это призвание или не его, Цупров до сих пор не знает и, если честно, мало интересуется этим. Призвание проверяется в деле, где нужны какие-то особые способности. Излишние способности здесь ни к чему - достаточно умения доставать материалы, читать чертежи и вовремя закрывать рабочим наряды. Цупров не может, скажем, сделать тот или иной цех, участок, или другой какой объект на заводе лучшим, чем он должен быть по проекту. Но иногда Цупрова заставляют делать хуже, чем он может, и это ему не нравится. Когда он возражает, это не нравится начальству.

Ровно в половине шестого все, один за другим, входят в кабинет Николаева. Занимают места за длинным столом, стоящим перпендикулярно к столу директора. Пока рассаживаются, Николаев, склонившись над бумагами, что-то пишет и не обращает на подчиненных никакого внимания. Совещание только начинается, времени впереди много, и каждый старается провести его с большей пользой. Начальники цехов переговариваются вполголоса. Крамарь вытащил из-за пазухи книжку "Атом на службе человеку", Моргулис положил перед собой лист бумаги и уже кого-то рисует... Справа от Цупрова садится Девяткин. Он достает из кармана маленькие дорожные шахматы с дырочками в доске для фигур.

- Сыграем?

- Давай.

Девяткин ставит доску на края стульев между Цупровым и собой так, чтобы не видно было из-за стола. Директор поднимает голову:

- Все собрались?

- Почти, - отвечает Девяткин.

- Начнем, пожалуй.

Директор придвигает к себе сигареты. Все тоже достают сигареты, а Девяткин, у которого их никогда не бывает, тянется к пачке Цупрова. Через пять минут в кабинете все померкнет от дыма, но пока что довольно светло.

- Кто первый будет докладывать? - спрашивает директор. - Девяткин?

Девяткин, как самый бойкий, докладывает всегда первым. Он встает, приосанивается, поправляет галстук.

- На сегодняшний день производство продукции...

Директор от удовольствия закрывает глаза. К тому, что говорит Девяткин, он испытывает не практический, а чисто литературный интерес. Речь Девяткина льется гладко и плавно, словно он читает газетную заметку под рубрикой "Новому времени - новые темпы!"

- Коллектив завода, - привычно тарабанит Девяткин, - включившись в движение за удвоение ВВП...

После Девяткина выступают другие. Все подробно перечисляют успехи и вскользь упоминают о недостатках. Как водится, сетуют на недостаточное финансирование и ругают начальника отдела снабжения Калитина. Калитин сидит за отдельным столиком возле стены и невозмутимо заносит все замечания в толстую общую тетрадь в коленкоровом переплете. Так он делает каждый раз на всех совещаниях, планерках и летучках. Если бы издать отдельно все записи Калитина, получилось бы довольно объемистое собрание сочинений.

Директор поворачивает голову в сторону Цупрова. Последним выступает он. Цупрова уже никто не слушает, всем надоело, все хотят по домам. Девяткин нехотя собирает шахматы. Моргулис сломал карандаш и сидит скучает. Директор ковыряется отверткой в замке стола. Он ждет окончания доклада Цупрова только для того, чтобы спросить:

- Ну как, удвоим ВВП сдачей объекта по графику?

- Вряд ли, - миролюбиво говорит Цупров.

- Опять заладил свое. Господа-товарищи, по графику объект Цупрова должен быть сдан. Если сдадим, финансирование удвоят. Поэтому предлагаю каждому направить завтра же в помощь Цупрову по три человека. Калитин, при распределении стройматериалов завтра в первую очередь учитывайте нужды Цупрова. Вопросы есть?

- Есть, - сказал Девяткин.

- Твой вопрос решен, - сказал директор, - в отпуск пойдешь зимой. А вот с Цупровым вопрос решен по-другому: он назначается главным инженером.

Все посмотрели на чуть порозовевшего Цупрова.

- Спасибо за доверие, - сказал Цупров, поднимаясь и опуская руки по швам, и добавил: - Разрешите несколько собственных строк огласить?

- Оглашай, - улыбнувшись, сказал директор.
Цупров вскинул руку и вскричал:

Вы будете мечтать о свете
В далеком от окна углу...
Так встаньте - все мы дети света,
Мы все преодолеем тьму!

Все дружно захлопали и шумно поднялись с мест.

Вернувшись домой, Цупров застал тестя Виталия Васильевича, как обычно, за чтением любимой книги. Как называется книга и кто ее написал, узнать было невозможно - обложки у нее давно не было, а листы порядком порастрепались и рассыпаются. Но через эту книгу, и только через нее, Виталий Васильевич постигает всю мудрость и простоту нашей жизни.

Увидев зятя, Виталий Васильевич, как всегда, вскочил и следом за Цупровым прошел в комнату. Книгу, раскрытую посередине, он держал в обеих руках.

- Витя, гляди-ко чего написано, - сказал он, как всегда с удивлением. - Ты думаешь, что ты есть. А на самом деле тебя нет. То ись как? - Помолчав, Виталий Васильевич сам ответил на свой вопрос: - А вот так. Ни тебя нет, ни комнаты, ни стола - ничего. Все - одно наше воображение. Всемирный вакуум. Об этом же надо задуматься.

Цупрову сейчас задумываться об этом не хотелось.

- Виталий Васильевич, - сказал он, - не надо меня сразу убивать такими открытиями. К этому надо приходиться постепенно.

- То ись как?

- Ну вот так. Сначала представим себе, что здесь нет вас. А стол, комната и я пока остаемся на месте. Частичный вакуум.

Виталий Васильевич внимательно посмотрел на Цупрова, пытаясь сообразить, правильно ли он понял его мысль. Он ее понял правильно.

- Ну хорошо, - сказал он обиженно, - я уйду.

- В добрый путь.

Засыпает Цупров всегда быстро, но спит чутко. Если жена включит телевизор, если Виталий Васильевич хлопнет дверью, если по улице проедет пожарная машина - Цупров просыпается.

На другой день погода немного улучшилась, с утра показались солнце. Рабочие сидели на двутавровых балках возле рас-

творомешалки, курили. Большинство из них были Цупрову незнакомы - их прислали из разных цехов по приказанию Николаева. Вместе с Крестниковым Цупров развел их по рабочим местам, обошел объект и вернулся в ОКС. Здесь за его столом сидел Мусинов, корреспондент заводской многотиражной газеты "Высота". В газете он считался специалистом в деле написания очерков. Очерки его не отличались стилевым разнообразием и почти все начинались примерно так: "На заводе все хорошо знают шлифовщика (или токаря, или мастера, или начальника цеха и т. д.) такого-то..." Цупров сам постоянно печатался в многотиражке, да и представлял членов своего литобъединения "Ракета", делая вставки типа: "С предзимним похолоданием все теплее проходят встречи в литературном объединении "Ракета". Радуется, что студия пополнилась новыми членами, причем, несомненно, одаренными. Подивили всех лиричностью крановщица сборочного цеха Мария Соколова и кладовщица отдела главного механика Ирина Малышева, очень уверенно дебютировал токарь механического цеха Константин Орищенко, чья строчка: "Ракетой смажу атмосферу и с ходу дам по тормозам", - дала название нынешней литстранице. А на днях пришло большое письмо с Камчатского филиала, где живет и работает бывший "ракетчик" Леонид Шелудько. До сих пор с большим теплом вспоминает он занятия в ЛИТО. А в письме его, конечно, стихи... Уже сейчас началась работа над новым коллективным сборником лучших произведений членов литобъединения "Ракета".

Руководитель ЛИТО В. Цупров".

Увидев Цупрова, Мусинов встал из-за стола и пошел ему навстречу. Был он, как всегда, в вельветовых брюках, куртке из кожзаменителя с американским лейблом, купленной на барахолке, и в синем берете.

- Привет, старик, - сказал он в порыве высокого энтузиазма и долго тряс руку Цупрова. - Читал новую подборку твоих стихов в нашей газете. Хорошо и просто ты пишешь... "Вы будете мечтать о свете / В далеком от окна углу... / Так встаньте - все мы дети света, / Мы все преодолеем тьму!.." А я к тебе по делу, - сказал Мусинов, натрясшись вдоволь.

- Очерк обо мне писать? - поинтересовался Цупров, в уме прикидывая, пойдет ли ему самому берет.

- Откуда ты знаешь? - вопросом на вопрос ответил Мусинов.

- Такой я пронциательный человек, - сказал Цупров. - Это тебе Николаев посоветовал?

- Он, - сказал Мусинов, вынимая толстый, обтянутый резинкой блокнот.

Это событие Цупров воспринял как дурное предзнаменование. Если уж о нем решили писать в газете, то покоя теперь не дадут.

- Говорят, скоро главным инженером будешь? - спросил Мусинов.

Он сел напротив Цупрова и положил ногу на ногу.

- Подожди еще, - сказал Цупров, - может, не буду. И вообще ты бы написал о ком-нибудь другом. Вон хоть о Крестникове. Лучший строитель в ОКСе.

- О нем я уже писал, - сказал Мусинов и сделал пометку в блокноте, должно быть, насчет скромности Цупрова. - Ну, давай, чтоб зря время не терять, ты мне Расскажи коротко о себе.

- Зачем это тебе? - спросил Цупров. - Все равно напишешь: "На заводе все хорошо знают начальника ОКСа Цупрова. Этот высокий широкоплечий человек с мужественным лицом и приветливым взглядом пользуется уважением коллектива. "Наш Цупров", - говорят о нем любовно заводчане".

Мусинов положил блокнот на край стола, вежливо посмеялся и сказал:

- Ты, старик, зря так про меня. Хоть я стихов, как ты, не сочиняю, но я вовсе не поклонник штампов. Понимаешь, я хочу начать с армии. Ты в армии служил?

- Служил, три года, - сказал Цупров. - Могу дать интересный материал, как за распитие одеколона меня и еще троих москвичей посадили на губу.

- Сейчас это не нужно, - сказал Мусинов. - Вот к двадцать третьему февраля будет готовиться праздничный номер, тогда, пожалуйста, только не про одеколон. Можем даже вместе написать. А пока мне армия нужна для начала. Тут у меня будет так: характер выковывается тяжелыми армейскими буднями. Тебя вызывают к командиру дивизии и предлагают возглавить движение отличников боевой и политической подготовки...

- Постой, - сказал Цупров. - Я вот никак не припомню, чтобы меня вызывали к командиру дивизии. Я с командиром роты разговаривал один раз за всю службу, когда мы были на учениях, и

он выгнал меня из строя за то, что у меня был расстегнут ворот гимнастерки...

- Это неважно, - отмахнулся Мусинов.

- Вот понимаешь, я ему тоже говорил - неважно. А он мне за разговоры в строю вмазал три наряда вне очереди... картошку чистить на кухне...

- Слушай, это все неинтересно, - сказал Мусинов. - При чем тут картошка? Я ведь очерк пишу и немного домысливаю. Имею я право, как художник слова, домысливать?

- Имеешь, - сказал Цупров.

- Вот, - сказал Мусинов, но в блокнот ничего не записал. - Теперь скажи мне еще: у тебя есть какие-нибудь изобретения или рационализаторские предложения?

- Нет, - сказал Цупров, - я принципиально ничего не изобретаю, хочу посмотреть, получится у людей что-нибудь без меня или нет.

- Ну и как?

- По-моему, получается. Уже изобрели такую бомбу, после которой дома и машины останутся, а мы с тобой превратимся в легкое облачко. Но могу тебя заверить, что я в этом изобретении никакого участия не принимал.

- Да, - сказал Мусинов и значительно помолчал.

- Да, - сказал Цупров. - А ты знаешь, кто изобрел чайник?

- Чайник? - Мусинов задумчиво потер высокий лоб. - Ломоносов?

- Правильно, - сказал Цупров. - Ломоносов открывал закон сохранения энергии, писал стихи, а в свободное время выдумывал чайники.

- Ты же тоже пишешь стихи...

- Пишу, но чайники не изобретаю...

Мусинов ему надоело, и он нарочно болтал разную ерунду, чтобы сбить его с толку.

Ему это тоже, видимо, надоело. Он положил блокнот в карман и встал.

- Я лучше напишу, - сказал он, - а потом покажу тебе. Хорошо?

- Правильно, - сказал Цупров. - Пиши, потом разберем.

Мусинов вышел. Цупров посидел еще немного и пошел по этажам. На объектах, как всегда бывает во время авралов, творилось что-то невообразимое. Одни работали изо всех сил, торо-

пились, другие не работали вовсе, сидели на подоконниках, курили, рассказывали анекдоты. На Цупрова никто не обращал никакого внимания, словно он к этому делу был вовсе не причастен. Цупрову самому показалось, что он здесь лишний; он ходил, ни во что не вмешиваясь, пока не столкнулся с каким-то лохматым малым, который навешивал двери в прищеховом коридоре. Он брал шурупы и загонял молотком их в дерево чуть ли не с одного удара по самую шляпку. Инструментальный ящик лежал сзади него, весь инструмент и шурупы были рассыпаны по полу.

- У тебя отвертка есть? - спросил Цупров у малого.

- Нет, - сказал он. - А зачем?

- Не знаешь разве, что шурупы полагается отверткой заворачивать?

- И так годится, - лохматый махнул рукой и принялся за очередной шуруп.

- Ты из какого цеха? - спросил его Цупров.

- С Девяткинского.

Цупров сам собрал его инструмент, аккуратно сложил в ящик. Парень перестал забивать шурупы и смотрел на него с любопытством. Сложив инструмент, Цупров взял ящик и передал его парню.

- До свиданья, - сказал он ему, - передавай привет Девяткину.

Парень взял ящик и долго стоял против него, покачиваясь и глядя исподлобья.

- Эх ты, шкура! - искренне сказал он и, сплюнув, пошел по лестнице.

Цупров вернулся в ОКС и позвонил Николаеву. Цупров хотел сказать ему, что не будет сдавать объект, лишь бы сдать, как при социализме, а приведет его в полный порядок. Пусть Девяткин знает, что не все такие, как он, что есть люди, которые никогда не идут против своей совести. Когда Цупров думал об этом, его распирало от сознания собственного благородства, сам себе он казался красивым и мужественным. Но весь его пыл охладила Света, которая сказала, что Николаев уехал в министерство и сегодня уже не вернется. Ну что ж... Можно отложить этот разговор до завтра. Только вот стихи не отложишь, они так и выпирают из Цупрова:

Не могу я насмотреться на нее,
Если вдруг она по улице пройдет.
Необычная походка у нее -
Не идет, а как лебедушка плывет.
Без нее в моих глазах сплошная тьма -
Я не вижу и не слышу никого.
Тонковата у меня пока сума,
Кроме сердца не имею ничего.
Понимает эта женщина сама,
Что когда-нибудь растает в сердце лед,
Что не может продолжаться вечно тьма
И сама свечу потухшую зажжет.
И опустится на землю благодать,
Станет раем наше скромное жилье.
Если можно бы судьбу предугадать,
Целовал бы я колени у нее.
На руках ее по жизни бы пронес
И дарил бы море ласки ей всегда,
Чтоб не знала ни печали и не слез,
Ни измены, ни разлуки - никогда.

Вечером жена что-то уж очень зауваживалась за Цупровым. Они смотрели телевизор, сидели рядом в креслах.

- Вам, мужикам, проще жить, - сказала жена. - Полюбил женщину и отправился на работу. Женщинам же достаются сплошные муки...

- Какие муки? - не понял Цупров.

- Как "какие"? А беременность? Походи с животом! Ты меня никогда не поймешь! Только видишь дочь и все. А поносил бы ее в животе!

- Я же мужчина, зачем мне-то в животе дочь собственную носить?!

- Витя, нет, ты не понимаешь! - воскликнула жена, вставая, хватая Цупрова за руку и ведя к кровати...

Цупров и жена, разумеется, не знали, что литература началась с фигового листка и кончается, когда фиговый листок отброшен.

На другой день утром Цупрова вызвал к себе Николаев. Он сказал, что приказ о назначении Цупрова утвержден и что после праздника он может принимать дела.

- Ну что, Виктор, выходишь в люди, - бодро сказал Николаев. - Скоро вообще большим человеком будешь. Сегодня сдашь корпус, а после праздника примешь дела. Ты чего хмуришься?

- Сами знаете чего, - сказал Цупров. - Халтурить не хочется.
- Что делать? - сказал Николаев. - Не всегда мы можем делать то, что хочется. Министерство требует сдать - и против него не попрешь. Деньги выделяют... Теперь такое дело. Пятый цех у тебя вроде бы лучше всех отделан?

- Вроде.

- Ну вот. И перила на лестницах приварил... И асфальт у входа уже положил...

- Ну и что же? - не понял Цупров.

- Да как же - что? Первый день на заводе, что ли? - Николаев развел руками. - Комиссия придет в ботиночках, люди интеллигентные.

- Думаете, по грязи не захотят ходить?

- Не захотят, - уверенно сказал Николаев. - Я их знаю. Сам такой.

Цупрову было уже все равно. Пусть делают, что хотят, и Цупров будет делать, что они хотят, - так будет спокойней.

Он вышел из кабинета. В приемной толкалось много народу. Секретарша Света бойко бегала пальчиками по клавишам компьютера - печатала акт сдачи-приемки объекта. Возле нее на стуле сидел Девяткин и объяснялся Свете в любви.

- Значит, не пойдешь за меня замуж? - спрашивал он с самым серьезным видом.

- Нет, - отвечала Света, - ты уже старый и худой.

- Это хорошо, - сказал Девяткин. - Помру, скелет сдашь в музей - большие деньги получишь.

- Ты чего здесь торчишь? - спросил его Цупров.

- Калитина жду. Поговорить надо, хороший он больно уж человек.

Цупров подсовывает Свете напечатать накануне созданный им стих:

Опустился тихий вечер,
В небе звездочка зажглась;
И любовь, как наша встреча,
У калитки началась.
Застучало вдруг сердечко,
Ты нарушила покой.
Есть укромное местечко
На поляне за рекой.

Пусть никто со мной не спорит,
Что я больше всех люблю.
А глаза твои, как море,
Я еще подголублю.
Напою тебя нектаром
Из букета моего,
Ведь пословица недаром,
Что любовь сильнее всего.
Подрастет тропа бурьяном,
Загорит зарей восток.
Не забудется поляна
И березовый мосток...

В это время в приемной появился Мелихан - представитель министерства, бессменный председатель всех комиссий по приемке объектов. Цупров его не видел, должно быть, месяца три. За это время он еще больше погрузнел, раздался в плечах, и его военный костюм, в котором он несколько лет назад вышел в отставку, уже расплзался по швам. В руках он держал тяжелую от дождя плащ-палатку.

Мелихан кивнул Цупрову и Девяткину, потом посмотрел, что печатает Света.

- Готово уже? - спросил он.

- Сейчас будет готово, - ответила Света, глядя на экран компьютера. - Оценку поставим сейчас или потом сами напишете?

- Давай сейчас, - не задумываясь, сказал Мелихан. - Чтобы не от руки. Официально. Пиши: "Принято с оценкой "хорошо".

- А может, с оценкой "отлично"? - спросила Света.

- Такого не может быть, - уверенно сказал Мелихан. - На "отлично" Посохин делал или Иофан какой-нибудь. Сейчас все делают на "хорошо".

Вскоре пришли еще человек десять - члены приемочной комиссии.

Среди них был знакомый Цупрову пожарник, маленький, худой человек с впалой грудью и золотыми зубами, и представитель мэрии, кандидат наук, фамилию которого Цупров забыл. Должен был прийти еще один представитель от санэпидемстанции, но Мелихан его дожидаться не стал.

- Ладно, - сказал он, - захотят - потом подойдут.

- Мне бы тоже поскорей, - откровенно сказал пожарник.

Кандидату наук и прочим членам, видно, ничего не надо было, и они промолчали.

Все вышли на улицу. Дождя не было, но он мог вот-вот пойти: низкие тучи неслись над землей. Было холодно. На пустыре глинистая почва размокла, пришлось идти в обход по асфальту. Мелихан в развевающейся плащ-палатке шел впереди, глядя под ноги и осторожно огибая сиреневые от машинного масла лужи. Цупров смотрел на его чистые ботинки с замшевым верхом и подумал, что Николаев был прав: ботинки председатель комиссии пачкать не захочет. Все подошли к объекту и остановились. Плотники уже разобрали забор, корпус виден был от дороги, он блестел серой плиткой под мрамор и стеклом с алюминием.

- Снаружи вроде бы ничего, - сказал Мелихан, - посмотрим, как-то там внутри.

- А это что? - показывая пальцем на выступ застекленного фойе, спросил кандидат наук, который до сих пор молчал.

- Где? - спросил Мелихан.

- А вон трещина. Выходит, не успели отделать корпус, а он уже треснул.

Члены комиссии не сразу поняли, в чем дело, а когда поняли, Мелихан переглянулся с пожарником, и оба они снисходительно улыбнулись.

- Это не трещина, - мрачно сказал Цупров. - Это осадочный шов.

Кандидат наук смутился, покраснел, но сказал очень строго:

- Проверим. Покажете потом проект.

Цупров понял, что хлопот с ним не оберешься.

Так оно и получилось. Пока все ходили по пятому цеху, где было, в общем, все в порядке, кандидат наук куда-то сбежал. Мелихан рассеянно тыкал пальцем в стены, осматривал подвесной потолок с каскадом светильников, колонны, пол. В одной месте он показал Цупрову отскочившую плитку.

- Надо было цементу в песок побольше класть, - хмуро сказал Мелихан, - чтоб схватило как следует.

Это была работа художника. Попался бы он Цупрову сейчас на глаза, он из него душу бы вытряс.

Пожарник занимался своими делами: смотрел пожарные рукава, красные шкафы, сигнализацию. Полы и колонны его не интересовали, их осматривали другие.

Комиссия обошла все этажи, и Цупров предложил председателю и пожарнику посмотреть третий этаж. Предложил Цупров это просто для очистки совести, наверняка знал, что они откажутся.

- Чего там смотреть? - сказал Мелихан. - Все ясно. Где акт?

Цупров вынул акт, сложенный вчетверо, из кармана. Цупров уже думал, что сейчас все кончится, и обрадовался. Если уж он не имеет возможности делать все, как полагается, так пускай хоть будет меньше возни.

В это время в пролет, где они находились, со стороны лестничной клетки вбежал кандидат наук, мокрый с ног до головы, в ботинках и брюках, облепленных грязью.

- Опять дождик пошел? - глядя на кандидата наук, насмешливо спросил Мелихан.

- Я был во втором цеху, - отдышавшись, сказал кандидат наук.

- Ну и что?

- Ничего. Все плохо. Объект принимать нельзя.

- Так уж и нельзя? - переспросил Мелихан.

- Нельзя, - уверенно сказал кандидат наук. - Я акт не подпишу.

- Подпишешь, - сказал Мелихан.

- Да вы пойдите посмотрите, что там творится.

Мелихан посмотрел на свои ботинки, потом на пожарника.

- Придется идти, - сказал пожарник, хотя тоже был недоволен этим.

Комиссия вышла на улицу. Вдоль стены были положены кирпичи, но расстояние между ними было слишком велико. Мелихану сохранить ботинки не удастся, это было понятно сразу. Кандидат наук, которому терять было уже нечего, уверенно плыл впереди.

Ничего страшного во втором цеху не было - обычная работа, спустя рукава. Кое-где потолок зиял дырами, кое-где плитка выщипалась...

- Вот, - сказал кандидат наук, - потолок еще делать и делать, а по полу опасно ходить, ноги о выбитую плитку переломаетесь...

- Потолок за пару смен вставят. Плитку посадят на крепкий раствор, - пояснил Мелихан.

Помолчали.

- А теперь поднимемся выше, - сказал кандидат наук.

Он говорил уже так уверенно, словно был самым большим начальником. Он пошел впереди, перепрыгивая через ступени, остальные члены комиссии не спеша плелись следом.

- Карьерист, - глядя кандидату наук в спину, тихо сказал Мелихан. - Такой молодой, а уже выслуживается.

- Смолоду не выслужишься, потом поздно будет, - деловито заметил пожарник. - Он в "Единую Россию" только что вступил...

Кандидат наук вывел комиссию на лестничную клетку и толкнул сильно металлическую стойку перил. Она оторвалась от крепления и закачалась. Это была та самая стойка, которую варил Бородачев.

- Вот видите, - сказал кандидат наук торжествующе и посмотрел на Мелихана.

Тот нахмурился.

- Это уже непорядок, - сказал он. - А вдруг кто свалится? Подсудное дело. Пускай сегодня же приварят.

- Потом подпишем акт, - добавил кандидат наук.

- Акт подпишем сейчас, - сказал Мелихан. - Перила Цупров приварит.

- А потолки? А пол? - сказал кандидат наук.

- Это ерунда, - сказал Мелихан. - Соберут, подмажут - и все будет нормально. Ты уж хочешь, чтоб вообще все было без придинок. А сроки у него какие?

- Сроки, - сказал кандидат наук. - Все гонят, лишь бы сдать объект, а потом сразу же в капитальный ремонт. Раньше объекты строили вон как. По пятьсот лет стоят.

- А удвоения ВВП кто будет добиваться? - философски спросил Мелихан и возвел выпученные глаза к потолку, грозно нависшему над ним. - Мы тут не бизнесмены какие-нибудь, мы государственную копейку расходует и бережем...

Разговор принимал отвлеченный характер. Цупров стоял в стороне, как будто его это все не касалось. Он был зол на Мелихана. Ему до этого объекта нет никакого дела, важно поскорее отделаться и сообщить в министерстве, что все в порядке. Цупров так разозлился, что ему было уже наплевать на все, что будет потом.

Поэтому, когда Мелихан предложил ему подписать акт, Цупров отказался.

- Ты что, шутишь? - удивился Мелихан.

- Не шучу, - сказал Цупров. - Он прав. ВВП на этом не удвоишь.

- Да ты понимаешь, что говоришь? Это ж будет скандал. Уж во все инстанции сообщили, что объект сдается, бюджетные сред-

ства освоены. Подумают, что мы тут все деньги разворовали... Мы же не ЮКОС какой-то там!

- Он прав, - сказал Цупров, - такой подарок "Единая Россия" не одобрит.

- Да вообще-то, может, и одобрит, - вдруг засомневался кандидат наук.

Должно быть, он пожалел Цупрова.

- Выйди, - строго сказал ему Мелихан, и кандидат наук вышел.

Следом и другие члены комиссии вышли "покурить".

Некоторое время Мелихан молча стоял у колонны и ковырял ногтем синтетическое покрытие.

- Ну, чего ты дуришь? - сказал он. - Ты представляешь, чем дело пахнет? Давай быстро подписывай, а мы тоже подпишем. Кандидат наук тоже подпишет.

На какую-то секунду Цупров заколебался, но потом его понесло. Он подумал, что будь что будет, подписывать акт он не станет. В конце концов, хорошая у него работа или плохая - она единственная. И если эту единственную работу он будет делать не так, как хочет и может, зачем тогда вся эта волынка?

- Вот что, - сказал он Мелихану, - вы идите, а объект я пока сдавать не буду.

Мелихан посмотрел на него и понял, что дальше спорить с Цупровым бесполезно.

- Как хочешь, - сказал он, - тебе же хуже.

В ОКС Цупров пошел не сразу, сначала заглянул в прорабскую. Там сидели все рабочие, они курили, переговаривались, ожидали Цупрова. При его появлении все замолчали и повернули головы к нему.

- Ну, чего смотрите? - сказал Цупров, остановившись в дверях. - Идите работать.

- Значит, объект не приняли? - спросил Крестников.

- Не приняли.

- Почему?

- Потому что надо работать как следует. Собери сейчас плиточников, пусть обойдут все помещения и посадят намертво плитку. Не успеют сегодня, будем работать до тех пор, пока не сделаем из корпуса игрушку. Бородачев, ты те перила так и не заварил?

- Я заварил, - сказал Бородачев неуверенно.

- Так вот походи еще раз перевари. А я потом проверю.

Зазвонил телефон. Цупров попросил Крестникова снять трубку.

- Алло, - сказал Крестников. - Кого? Сейчас посмотрю. Николаев, - шепнул он, прикрыв трубку ладонью.

- Скажи: ушел в дирекцию, сейчас будет там, - сказал Цупров.

Пока он дошел до дирекции, Мелихан уже, наверное, успел туда позвонить, там поднялся переполох. Секретарша Света куда-то звонила, просила отменить какой-то приказ. Возле нее стоял Мусинов и спрашивал, как же теперь с очерком, который уже набран.

- Может, мне поговорить с Николаевым, он даст кого-нибудь другого?

- Конечно, - сказал Девяткин, который опять здесь крутился в ожидании Калитина. - Тебе ведь только фамилию заменить, а все остальное сойдется.

- У хорошего журналиста все, если надо, сойдется, - сказал Мусинов, глядя куда-то мимо Цупрова, как будто его здесь не было вовсе.

- Николаев у себя? - спросил Цупров у Светы, устремляя взгляд в экран компьютера.

- У себя. Он ждет вас, - сухо ответила Света и стала что-то печатать.

Разговор с Николаевым не получился. Как только Цупров вошел, он стал на него топтать ногами и кричать, что Цупров подвел не только его, но и весь коллектив завода, что теперь заводу не выделят обещанные миллионы долларов...

Дальше - больше. Он сказал, что теперь ему облик Цупрова совершенно ясен, что должности главного инженера ему не видать как своих ушей и что вообще он считает Цупрова пособником пятой колонны, ЮКОСа и американцев...

Цупров все это терпел, думал, что дураки выдумали моду ненавидеть американцев, а умные вынуждены ей следовать, но, когда директор сказал, будто только служебное положение мешает ему набить Цупрову физиономию, Цупров не выдержал.

Он взял с его стола мобильный телефон и раздавил его одной рукой, как пустую яичную скорлупу. После этого сказал, что и с Николаевым мог бы сделать то же самое, если бы он посмел его тронуть. И вышел.

В дверях ему встретился Мусинов. Девяткин сидел у стены и молча курил. Света печатала на компьютере.

- Ну что, - спросил Девяткин, - поговорили?

- Поговорили, - сказал Цупров. - Нет Калитина?

Девяткин не успел Цупрову ответить: из кабинета Николаева высочил красный Мусинов, он осторожно прикрыл за собой дверь, пожал плечами и вышел в коридор. Цупров с Девяткиным подождали немного и тоже вышли.

Закурили. Зажигая спичку, Цупров почувствовал, что у него дрожат руки. Должно быть, от волнения. Никогда раньше руки у него не дрожали.

- Нервный ты стал, - глядя на него, сказал Девяткин, - лечиться надо.

- Пошли подлечимся, - сказал Цупров.

Они вышли из третьей проходной завода и направились напрямую через пустырь. На Цупрове были резиновые сапоги, поэтому он шел впереди, нащупывая дорогу. Половину пути прошли молча. Потом Девяткин сказал:

- Чего это ты сегодня со сдачей уперся?

- Я не уперся, - ответил Цупров. - Просто не хочу назад в социализм.

Они купили бутылку водки, зашли в столовую. Рабочий день еще не кончился, в столовой почти никого не было. Уборщица вытирала столы. Она заметила, что карман у Девяткина оттопырен, и покачала укоризненно головой. Они сели за столик в углу, Девяткин разлил водку в стаканы. Выпили.

- Дуб ты, - сказал Девяткин, закусывая горячей пиццей. - Сейчас бы главным инженером был.

- Обойдусь.

- Обойдешься, - сказал Девяткин. - Так вот и будешь всю жизнь начальником ОКСа, если еще до рядового инженера не понизят.

- Ты думаешь, все счастье в том, какое место занимаешь? - спросил Цупров.

- А ты думаешь в чем?

- Не знаю, - сказал Цупров. - Может, и в этом. А может, и нет. По крайней мере, я знаю, что живу, как хочу. Не ловчу, не подлаживаюсь под кого-то, не дрожу за свое место. Пишу стихи, как хочу...

- А-а, что там говорить! - Девяткин махнул рукой. - Давай выпьем. Таким серьезным Цупров его никогда еще не видал. Они выпили.

- Послушай новые стихи, - сказал Цупров и начал читать:

Мне надоело быть мишенью, -
За мною гонится судьба.
И зря придумывать ей мщенье,
Но все же догнала меня.
Мне холодно от слез и ветра,
Мне тяжело дышать, поверь.
Я не хочу быть королем, да,
Я пред судьбой открою дверь.
Мне не нужна толпа друзей в кавычках,
Которая вонзила б в спину нож.
Я задыхаюсь в этом грязном мире,
Лишь ты захочешь мне помочь.
Ты ангел в человеческом обличье,
Ты лучше всех и это знаю только я.
Ведь ты всегда поймешь и будешь нежной,
Сейчас ты слушаешь меня.
Забудь про все плохое в мире, позабудь
Хоть на полчаса о скучной жизни.
Побудь со мной, ведь мне так нужен друг! -
С тобой я здесь не буду лишним...

- Это ты о какой бабе?

- Да это так, - вздохнул Цупров, - собирательный лирический образ. Муза.

- Ну, давай врежем за Музу, - сказал Девяткин, наливая...

В прорабской сидели трое: Крестников, Бородачев и Художник.

- Крестников, - спросил Цупров, - плиточники работают?

- Работают, - сказал Крестников, - да что толку? Все равно не успеют, полчаса осталось до конца.

- Хорошо, - сказал Цупров, - сколько успеют, столько сделают. Бородачев, заварил перила?

- Нет.

- То есть как?

- Да так, - Бородачев флегматично пожал жирными плечами.

- Баллон с кислородом надо поднять на четвертый этаж, а лифт отключили.

- И вы, такие здоровые лбы, не можете поднять один баллон?
- спросил Цупров совершенно спокойно, но чувствуя, что скоро сорвется.

- Как же поднимешь, - сказал Бородачев, - когда в нем больше центнера весу?

- А ты знаешь, что египтяне, когда строили пирамиды, поднимали на высоту в сто метров глыбы по две тонны?

- Без крана? - недоверчиво спросил Художник.

- Без крана.

- Без крана навряд, - покачал головой Крестников.

Конечно, можно было на них орать и топтать ногами, но этим их не проймешь.

- А ну-ка пошли, - сказал Цупров и первым вышел из прорабской.

Баллоны лежали возле балок в грязи. Цупров поднял с земли щепку, поставил баллон на попа и очистил его немного. Потом взвалил на плечо. Крестников, Художник и Бородачев выступили в роли зрителей. Пройдя первые десять ступенек, Цупров понял, что слишком много взял на себя. Лет пять назад он мог пройти с таким баллоном втрое больше, теперь это было ему не под силу. Цупрова качало. На площадке между вторым и третьим этажом он споткнулся и чуть не упал. Но вовремя прислонил баллон к батарее отопления. Подбежал Крестников.

- Виктор Николаевич, давай подмогнем.

- Ничего, - сказал Цупров, - обойдусь.

Неужели он так ослаб, что ничего уж не может сделать?

Он пошел дальше. У него еще хватило сил осторожно положить баллон на пол.

- Ну что, - сказал Цупров, - поняли, как строились пирамиды?

- Вам бы, Виктор Николаевич, вместо крана работать, - почтительно пошутил Художник.

Цупров ему ничего не ответил. Цупров сказал Бородачеву, чтобы сейчас же заварил перила, и Крестникову, чтобы проследил за плиточниками. После этого Цупров пошел в дом культуры на занятие литературного объединения.

В большом мраморном фойе уже дожидались члены литобъединения.

- Здравствуйте, Виктор Николаевич! - приветствовали они.

- Добрый день, - отвечал Цупров.

Поднялись по широкой лестнице на второй этаж, прошли в фойе. Тут в кресле сидел профессор Иванов, лысый, бородатый, с трубкой, из которой вился сладковатый дымок. Проходят в репетиционный зал. У стены стоит огромный белый рояль. В центре - большой круглый стол. Рассаживаются. Цупров предлагает студийцам по кругу читать стихи. Как только они начинают читать, профессор Иванов тоскливо опускает голову и закрывает глаза. Полчаса, по всей видимости, он мучается от стихов. А когда Цупров предоставляет ему слово, говорит с нескрываемым раздражением:

- Кто вам сказал, что стихи являются литературой?

Все недоуменно затихают. А профессор Иванов встает, начинает расхаживать по залу, размахивать руками и говорить:

- Да, вот получается, что литературой считаются только стихи. А это все идет от неразвитого вкуса, который всегда в литературе рассматривает красоту, как стихи, а прозу и вовсе за искусство не считает. Из сказанного я прямо вывожу правило, что всякие стихи, уже сами по себе, свидетельствуют о невоспитанности. Потом нельзя забывать, что стихи, как правило, детская забава, а проза - дело позднего философского осмысления жизни, я бы сказал, позднего старта. Понимание простоты как эстетической ценности приходит на следующем этапе. Оно неизменно приходит как отказ от украшенности. Ощущение простоты искусства возможно лишь на фоне искусства "украшенного", память о котором присутствует в сознании зрителя-слушателя. Художественная проза возникла на фоне определенной поэтической системы как ее отрицание. И исходя из этого настоящая поэзия возникает как преодоление, даже отрицание выдающихся образцов прозы. Таким образом формула литературы выглядит так: 1. Разговорная речь. 2. Песня (текст+мотив). 3. Поэзия. 4. Проза. 5. Классическая поэзия. 6. Художественная классическая проза. Конечно, эти уровни могут уходить по спирали ввысь, как арифметика стремится стать высшей математикой, как народная мудрость стремится стать философией...

- Так что же получается, мы сюда впустую ходили?! - вырвалось у кого-то.

- Именно! - чуть ли не вскричал профессор Иванов, и нервно ощупал свою бороду. - Стихи - это сиюминутность, эстрада, цыганщина, пошлость, примитивизм, дебилизм, идиотизм! Вы-

скочил на сцену, пробарабанил “галка-палка”, получил цветы и гонорар, наелся колбасы и спит спокойно! А литература - это проза, и только проза, обеспечивающая бессмертие автору. Литература - это дело загробной жизни. Это построение себя в метафизической программе, бессмертной программе. Проза - это мышление в образах. Рождение, сотворение из ничего живого человека! Вот пришла ко мне на кафедру представительница отдела культуры со стихами никому не известного поэта Виктора Цупрова...

При этих словах Цупров покраснел. А профессор Иванов продолжил:

- Оказывается, он руководит литературным объединением! Мало того, что сам являет эстетическую наивность, он еще и других сбивает с толку, вводит в заблуждение насчет литературы. Рифмовка “галка-палка” - это не литература. Стихи - это первый, наивный, простодушный ход к литературе. Поэтому в любом литературном объединении собираются стихослагатели. То, чем они занимаются, поэзией я назвать не могу. Они рифмуют банальные просторечные зарисовки: березки, птички, “вздохи на скамейке”... А поэзия - это, если хотите, элитарный, рафинированный, философский, подобный формулам ядерной физики или высшей математики, раздел литературы, как на сцене - балет, это поэзия Мандельштама, Пушкина, Блока, Есенина...

- Друг мой, друг мой,
Я очень и очень болен.
Сам не знаю, откуда взялась эта боль.
То ли ветер свистит
Над пустым и безлюдным полем,
То ль, как рощу в сентябрь,
Осыпает мозги алкоголь...

Поэзия требует иного мировоззрения, и поэзия возникает на более высоком этапе развития творческой индивидуальности человека. Первый этап - это отход от разговорной будничной речи к стихам, мол, не буду говорить, как все, а начну говорить стихами. На этом первом этапе, как правило, очень примитивном, самостоятельном так и застывают “миллионы”, то есть 99,9 процентов от всех пишущих. Этот уровень закован в кандалы и наручники, стихоплет пребывает в замкнутом пространстве стоп и

рифм, и сочиняет все примитивнее и примитивнее. Второй этап заключается в отказе от вульгарной ритмизованной и рифмованной (придуманной) речи. Но на второй этап никто из рифмачей не переходит, в силу отсутствия мозгов. Исключения лишь, как говорится в таких случаях, подтверждают правила...

Цупров от таких речей так расстроился, что ушел из клуба почти что незамеченным и сразу поехал домой. Ему нездоровилось.

Дома жена помогла раздеться, согрела чаю. И они стали пить чай вместе. Цупров наливал ей в блюдечко, и она долго дула на чай, чтобы он остыл. Потом Цупрову стало плохо. Он поцеловал жену и пошел к кровати. Ему показалось, что кровать слишком далеко, и он опустил на пол. Жена засмеялась. Она подумала, что муж играет. Пол под Цупровым качался, и стены тоже. Цупрову вдруг показалось, что он летит куда-то вверх ногами. Так, говорят, наступает состояние невесомости.

Через неделю ударил мороз и прошел снег. Теперь все вокруг было бело: белый снег, белые простыни, белые халаты. В больнице, где лежит Цупров, тепло и уютно, много света и воздуха. И если вначале мешает запах лекарств, то потом постепенно к нему привыкаешь. В палате двенадцать коек. Люди все время меняются. Когда кто-нибудь должен умереть, санитарка заранее кладет у его постели чистое белье, потому что больничные койки не должны пустовать. И Цупров и его соседи знают, что если возле кого-нибудь кладут свежие простыни, то он уже не жилец. Санитарка утверждает, что за всю жизнь не ошиблась ни разу. А вообще она приветливая и услужливая женщина. Все двенадцать часов своего дежурства она проводит на ногах, ходит от койки к койке - там поправит одеяло, здесь подаст "утку" или еще чем услужит. Цупров ее всегда встречает одним и тем же вопросом: скоро ли она принесет ему белье? И санитарка тихо смеется - она рада, что ей попался такой веселый больной.

Однажды в палате появился Девяткин. Он был все такой же тощий, а Цупрову казалось, что за это время все должны были перемениться. На нем был белый халат и, по обыкновению, грязные ботинки. Просто удивительно, где человек может найти столько грязи в такую погоду. Санитарка посмотрела на его ботинки осуждающе, но ничего не сказала. Девяткин сел на стул рядом с Цупровым и положил на тумбочку кулек с мандаринами.

- Лежишь, значит?

- Как видишь.

- Что ж это ты так, - сказал Девяткин, - подкачал? От нервов, что ли?

- Нет, - сказал Цупров. - Просто я слишком много поднял. Что нового на заводе?

- Новостей вагон и маленькая тележка, - сказал Девяткин. - Тут вот я тебе подарок принес.

Он вынул из кармана затасканную заводскую многотиражную газету, развернул ее и протянул Цупрову. Там был напечатан очерк под рубрикой "Удвоим ВВП". Очерк назывался "Твердость". Начинался он так: "На заводе все хорошо знают начальника ОКСа Цупрова. Этот высокий широкоплечий человек с мужественным лицом и приветливым взглядом пользуется уважением коллектива. "Наш Цупров", - говорят о нем любовно рабочие..."

Больница - хорошее место для размышлений. Здесь можно оглядеть все свое прошлое и оценить его. Можно думать о настоящем, и будущем. Цупров прожил жизнь не самую счастливую, но и не самую несчастную - многие жили хуже его. Может быть, при других обстоятельствах он мог бы стать... А кем он мог бы стать? И при каких обстоятельствах? Да, конечно, если бы он не пошел в армию, как нынешние клерки, падкие на баксы, и вовремя окончил институт, и активничал на собраниях, и вступил тогда в партию, а теперь пошел бы в бизнес, и ни за кого не заступался, и был равнодушен к собственному делу, и кидался со всех ног выполнять распоряжение любого вышестоящего идиота, и лез наверх, распахивая локтями других... Но тогда он был бы не он. Так стоят ли любые блага того, чтобы ради них уничтожить в себе себя? Цупров всегда знал, что не стоят. Только один раз в жизни заколебался, но устоял и не жалеет об этом. Но иногда ему приходит на ум, что он что-то напутал в жизни, что не сделал чего-то самого главного, а чего именно - никак не может вспомнить. И тогда ему становится страшно. Цупрову всего сорок два года. Это ведь совсем немного. Он еще мог бы долго жить и сделать то самое главное, чего он никак не мог вспомнить. Тут помогают, вопреки соображениям профессора Иванова, собственные стихи:

Когда солнце одето в черные краски
Я шепотом твержу свое название,
Как будто я один средь горных скал.
Боясь любви, люблю твоё молчанье;
А мир так бесконечно мал...
Этот день для меня - траур.
В этот день гаснут звезды в ночи.
Словно птиц улетающих стая -
Свеча по теченью реки...
Я плету из травинок веночки
И смотрю в синеокою даль.
Вот - секунда - и я ангелочек...
Мне казалось. В душе печаль.
Мне казалось, что все на свете,
Все на свете состоит из меня!..
Солнце в небе и то не мечтает
О таком, о чем думал я.
Я закрыл солнце ладонью,
А вокруг, как и было - светло.
Тяжело осознать ничтожность,
Ничтожность себя самого.
Для меня этот день - траур.
Память душит душу мою.
И тоска бесконечная давит...
Пред тобой на коленях стою.
Я пришел, я, конечно же, помню,
Я кладу на могилу цветы.
Звука сердца - немое вдруг стонет! -
Я целую крест первой любви.

Если Цупров завтра умрет, от него ничего не останется. Почти ничего, может быть, стихи вот эти... Цупрова похоронят за счет завода. Девяткин или кто-нибудь такой же бойкий, как он, соврет над его гробом, что память о Цупрове будет вечно жить в сердцах огромного коллектива завода. И та часть коллектива, которая знала Цупрова, вскоре забудет о нем, и если и вспомнит при случае, то вспомнит какую-нибудь чепуху вроде того, что Цупров сгибал толстый железный прут на шее или нес на плече неподъемный газовый баллон... А сам Цупров тогда про себя, не говоря вслух никому, сочинял ритмично, оригинально, со злостью, как говорится, чтоб знали наших:

графоман

Если что-то где-то как-то
Почему-то и когда-то
Отчего-то и зачем-то
С кем-то что-то кое-как,
То тому тогда за это
Тем же самым, там же, где-то
Чтобы впредь потом за это
Кто-нибудь совсем никак!

“Наша улица”, № 3-2005

КАЗНЬ

...И бесполезно, накануне казни,
Видением и пеньем потрясен,
Я слушаю, как узник, без боязни
Железа визг и ветра темный стон!

Осип Мандельштам

1.

В особом отделе гарнизона стоял уже ксерокс. В гарнизоне дислоцировалось двадцать частей разных видов и родов войск, плюс тюрьма. Холманский, с бородкой, в очках-велосипеде из тонкой проволоки, родился в Староконюшенном переулке, с книгой, но долго там не жил, после пятого класса, в 1957 году, родители получили квартиру на Ленинском проспекте, поступал на филфак МГУ, но провалился, и его забрали в армию, попал служить в Мордовию, во внутренние войска, сначала охранял тюрьму, а потом стал гарнизонным библиотекарем. Читал и читал. И там же в армии, в библиотеке, начал заниматься самиздатом. Из Москвы в сколоченных из фанеры посылочных ящиках с едой присылали Замятина и Платонова, Флоренского и Некрасова, Синявского и Ахматову, Мандельштама и Булгакова, Бродского и Солженицына, Розанова и Бердяева... Стоял уже ксерокс в особом отделе. Холманский спокойно с сержантом из Тарту, заядлым читателем, втихаря, копировал любые книги... и переправлял по несколько экземпляров в Москву.

Это сейчас битые бутылки на асфальте и в метро. Раньше этого не было. Но тогда, конечно, вопреки всем уставам армии, и бородка у Николая была, хотя и жидкая, из мягких волосиков, светленьких, не привлекательных, как у нищего с Савеловского вокзала, самого тесного, задрипанного московского вокзала, и книжек навалом, а он не брился. Махнул рукой на него старшина, мол, чего взять с интеллигента московского. Да военврач разрешил не бриться, чтобы болезненную кожу не раздражать. Прыщики красненькие у Холманского все время вскакивали, как блошки.

Редко можно было встретить Холманского прогуливающимся, а часто, если не всегда, видели его сидящим, за столом, с книгой. Нельзя сказать, что он только антисоветчину читал. Нет. Возьмет, к примеру, книгу про подземелья, и сидит читает. Понятно, что сейчас довольно-таки хорошо известно, что подземные ходы в Москве начали строить чуть ли не с самого ее основания. Но настоящие лабиринты и большие тоннели возникли под городом во времена царствования Ивана Грозного. Однако даже сам царь не мог предположить, какие масштабы приобретет его начинание в XX веке! Метро, водостоки и прочие подземные коммуникации – это лишь видимая часть того, что с тех пор построили под столицей. Сегодня подземелье живет своей обособленной жизнью, отторгая законы людей, которые его создали. А тогда Холманский этого не знал и особенно не вникал, ибо переходил из подземелья в Петербург, и надо сказать, что текла его жизнь спокойно и мирно до того момента, когда в один день он был по почти от него не зависевшим обстоятельствам лишен свободы и заключен безвыходно в одинокое жилище, отделенное изнутри толстой, окованною железом дверью и снаружи железною решеткою у окна. Это было в конце апреля, когда начинали зеленеть деревья.

Говорил тогда Холманский (голос его – нечто уникальное, – скорее, это следовало бы назвать полным отсутствием голоса, но сиплый клекот – громок и доходит до каждого): “Многие лицезрел я события, совершаемые под звездными небесами, и понял я, что почти все – кружение по кольцевой линии метро и боязнь опоздания! Куда ты торопишься, когда дни твои учтены, и если был день первый, то будет и день последний. Сядешь на станции “Курская” и выйдешь на “Курской” же. Нет в мире ничего прямого. Все имеет форму круга, восьмерки, знака бесконечности. Стоя на кремлевской стене, говорил я: вот, я возвеличился и приобрел пост генерального императора, и приобрел десять звезд-гербов на погонах, и командовал Москвой, и от Москвы до самых до окраин, но ударил час, и я оказался в подземелье, и теперь хожу тут, как бледная тень Иоанна Грозного, читающего книги своей библиотеки и теряющего разум, ибо сказано давно, что во многой мудрости много печали; и кто умножает чтением книг познания, безмерно умножает скорбь”.

Холманский для виду немного поспротивлялся и пошел на встречу нажиму следствия: подтвердил факт своих разговоров с

однодельцами. Провокатором и сексотом оказался тот самый сержант из Тарту, заядлый читатель, и он чекистами из дела исключался и, несмотря на старания Холманского, в деле не участвовал. “Органы” своего добились, и следствие в целом было закончено всего за четыре месяца: по тем временам очень быстро. Холманский был уверен в правильности поведения, не испытывал никаких угрызений совести, и клял себя только за то, что допустил возникновение самой ситуации. Со временем Холманский осудил свое поведение и, неоднократно к нему возвращаясь, вынес себе обвинительное заключение.

Смертные грехи Холманского состояли не в том, что он горел ненавистью к бесовскому режиму и потому спорил, возражал, доказывал, а в том, что он не учел искусственно созданной уникальной обстановки, не ограничил себя железным кругом лиц, спаянных клятвой верности, а метал бисер перед теми, кто в этом совершенно не нуждался. Холманский ширял по верхам, искал посланцев с Запада, а у себя под боком не удосужился разглядеть катакомбную церковь. В сталинскую эпоху только в тайных, мельчайших ячейках был залог подлинной борьбы и одновременное возрождение людей, создание элиты новых россиян. Микробратства дают верный и надежный способ борьбы с депотией. Но до этого Холманский додумался много позднее, поняв, что тюрьма - это, по существу, недостаток пространства, размещенный избытком времени; для заключенного и то и другое ощутимо. Вполне естественно, что именно это соотношение, вторящее положению человека во вселенной, делает заключение всеобъемлющей метафорой христианской метафизики, а заодно и практически повивальной бабкой литературы. Что касается литературы, это в некотором смысле понятно, поскольку литература в первую очередь является переводом метафизических истин на любое данное наречие.

Говорил тогда Холманский: “Поехал я в Архангельск через Вологду, а попал в Ростов-на-Дону через Воронеж. Ибо сказано было еще классным руководителем, нечего по свету шляться, сиди на месте и учи уроки. Нет, не хотел учить арифметику, потянуло к географии, а она повсюду круглая, как баранка, и бесконечная, как обручальное кольцо, сковавшее тебя злою женою твоею. Лучше поселись в Москве, городе бесконечном, садись на кольцевую линию, и тогда никогда не попадешь на Красную пло-

щадь, вот пойдешь на нее, а придешь все равно на Курский вокзал. Ибо все - толкотня в гардероб, или беготня по эскалатору, а он к смерти везет, стоишь ли, идешь ли или бежишь, а эскалатор жизни, знак бесконечности, все к смерти везет”.

А Русская Правда не знала института смертной казни, который впервые был законодательно закреплен в 1398 году в Двинской уставной грамоте. В ст. 5 этого документа предусматривается назначение смертной казни только в одном случае - за кражу, совершенную в третий раз. Законодатель, устанавливая это суровое наказание за трижды совершенную кражу, скорее всего, исходил из повышенной общественной опасности преступника и реального предположения о возможности совершения кражи и в четвертый раз.

Конечно, тут Холманский задумчиво, в каком-то полусне отрывался от чтения и возводил глаза сквозь просветы в сирени на голубое высокое русско-немецкое небо.

И не замечал, как оказывался за столом, перед раскрытой книгой, на том месте, где подпольщики обследовали подземные сооружения под институтом Склифосовского. Они уже добрались до центрального корпуса, и тут фонарь выхватил из темноты необычные строения. Каково же было удивление подпольщиков, когда выяснилось, что это печи для сжигания останков. Но настоящий шок они испытали, обнаружив у дальней печи букет свежих гвоздик, на которых поблескивали капельки воды. Кто их положил? Человеку неоткуда было прийти сюда. После этого открытия одного подпольщика в полуобморочном состоянии пришлось отправить наверх, а остальные осторожно двинулись дальше. Следующей находкой подпольщиков стала груда свежееобглоданных костей какого-то крупного животного, скорее всего, коровы. Это обстоятельство еще больше напугало людей. Дальше по мрачному тоннелю они двигались гораздо медленнее и осторожнее.

Да, Холманский помнил тот день: он выбрался через какой-то люк на волю поздно вечером, стемнело, его как будто ждали, сразу грубо, бесцеремонно, даже хамски схватили и против воли повезли от мрачного Цепного моста в холодной, скрипящей, стонущей, как собака, карете. Как челюсти страшного монстра, мосты на широкой и сталисто-холодной Неве были уже разведены, и конвойного времени объезд был чрезмерно, чрезвычайно, да-

же страшно до боли долгий. Холманский ежился, потому что был в легкой одежде теплого весеннего дня, ему было холодно, жутко и тяжело на душе.

Только в конце четвертого месяца, когда медленное, будто бравшее на измор следствие фактически подошло к концу, Холманскому предъявили вдруг обвинение в измене родине по статье 58-1а. В те предвоенные годы это был самый страшный пункт, сравнимый лишь с обвинениями в терроре и шпионаже: все, осужденные по статье 58-1а, попадали в камеру смертников. Но, как ни странно, когда Холманский расписался под новым обвинением, у него стало легче на душе. Холманский сказал себе: "Ну, что ж, померяемся силами. У родственников об этих вещах допытываться не будут. Это не обвинение в антисоветской агитации. Теперь у меня ни на руках, ни на ногах гири не висят".

Через несколько ночей Холманского вызвали с вещами и куда-то повезли в "черном вороне". Холманский понял сразу, что его перевозят в Лефортовскую, бывшую военно-каторжную, тюрьму, так как тогда в ней велись следствия по самым тяжелым обвинениям. Многих тут же, в подвалах, расстреливали.

Осенний сумрак - ржавое железо
Скрипит, поет и разъедает плоть...
Что весь соблазн и все богатства Креза
Пред лезвием твоей тоски, господь!

Лефортовская тюрьма была построена сравнительно недавно и напоминала букву "К". На первом этаже, в центре, где скрещиваются коридоры, стоял тюремщик с флажком и регулировал движение арестованных, которых вели на следствие. Надзиратели были подобраны грубые и жестокие. Они всегда не вели, а тащили подследственного на допрос, хватали его за руку, толкали в спину.

На прогулках их злобные морды были всегда рядом. Многие из них участвовали в расстрелах. Холманского поместили в камеру на четвертом этаже; под ним был коридор смертников. Как раненый зверь, непрерывно выла там одна женщина. Спать днем не разрешали, за послушание полагался карцер. Допросы происходили только ночью. Неопределенность, зыбкость и паскудство бытия. Свет, тьма, сумрак, великое и ничтожное - смешные понятия, глупость, неуместная здесь. Их просто нет, все они - пустые

звуки. Оттенки плаваются, мешаются, проникают один сквозь другой в смутном странном смятении перламутровых переливов наслаждения, знакомого лишь цветам спектра в воображении Холманского.

Люди и без того спали плохо, сверхчутко: каждый думал, что пришли за ним, прислушивался к шагам, шорохам, звукам открываемых дверей. Нередко тюрьма оглашалась криками. Под утро обычно вопил вызванный на расстрел, пока ему не забивали кляп в рот.

Крайне редко, в припадке отчаяния шумел измученный арестант, грозил, что не пойдет больше на допрос, но чаще доносились стенания отправляемых в Сухановскую тюрьму, которая была пределом садизма и издевательства над человеком. В Сухановке вновь прибывшему тотчас заявляли, что правил здесь не существует, - попавший туда принадлежал к категории людей вне закона. И действительно: порции еды были ничтожны; по распоряжению следователя арестанту не давали спать круглые сутки, творили над ним все, что хотели. Обычно быстро можно было сломить даже очень крепкого человека, хотя отправляли в Сухановку на целые полгода.

Один из побывавших там заключенных, хотя его даже и не били, получил на память чахотку и психическое расстройство. С Холманским в камере Лефортово находился бывший красный комиссар гражданской войны, прошедший до этого полгода в Сухановке. Он был полностью сломлен, дал на себя и других совершенно фантастические показания и был уверен, что его расстреляют. Его много раз били резиновыми палками, и он "расколосился", то есть начал давать показания, после того, как подвергся этой процедуре во время приступа печени, о котором, по наивности, сам предупредил следователя, и тот, как стервятник, радостно набросился на свою жертву. Комиссар был необычайно эрудирован, имел феноменальную память, читал наизусть по-французски стихи из сборника "Цветы зла" Бодлера и их русские переводы.

Говорил тогда Холманский: "Служил я в армии, работал на вертолетном заводе, и не было счастья в душе. Другие до сих пор крутятся на вертолетном заводе. Утром идут в метро, а вечером - из метро. Садятся на "Речном вокзале", переходят на "Белорусской", едут до "Краснопресненской"... И так каждый день

человеческий, а, значит, и Божий. А потом отвозят их скорбно на Востряковское или Домодедовское или на новое другое кладбище. И зарывают в землю, ибо сказано, что земля состоит из праха человеческого”.

Вторым обитателем камеры был вор-профессионал, один из подставных убийц актрисы Зинаиды Райх, жены знаменитого режиссера Мейерхольда, погибшего в заключении. С помощью резиновых палок от него и его двух дружков добились признаний, и они подтвердили свое участие в совершенном преступлении. “Органы” занимались inferнальной деятельностью: чекисты не делали секрета, что сами убили Райх, и, тем не менее, велись “дела”, в тюрьмах для уголовников отыскивались подходящие типы, затем их перевозили в Лефортово и выбивали показания. Достаточно было придумать одну шайку, чтобы схоронить концы, но обычно имелись разные варианты убийц, запасные экземпляры. Так было и с убийством Горького: известно, что его отравили чекисты, но десятками исчисляются его врачи-убийцы... А теперь и врачи-убийцы - на том свете, и Сталин - на том свете, и все палачи - на том свете. Короче, и жертвы, и палачи - все на том свете. Если, разумеется, там есть свет.

Сквозь решетку маленького окна Холманский смотрит на черное небо. Внимание приковывает тонкий серп юной луны, он выглядывает из разрыва в тучах - и снова кокетливо кутается в вуаль, подхваченную ветром и оттого слишком символическую, не скрывающую профиля и огромного черного глаза под стрелой надменно приподнятой брови. Решительной и четкой.

2.

Темно-фиолетовый мрак окутал все углы и выпуклости. В сопровождении двух человек Холманский переходил горбатый мостик и за ним низкие своды; потом введен был в коридор полуосвещенный; в коридоре перед ним отворилась толстая дверь в боковую темную комнату - ему предложили в нее войти: темнота, спертый воздух, неизвестность, куда Холманский вошел, произвели на него потрясающее впечатление; Холманский попросил свечку, и ему показалось, что Крымский мост встречает его и Петрашевского радостными огнями, а могучий Петр I Зура-

ба Церетели сверлит сердитым взглядом, стоя по колено на своем бронзовом паруснике. Они идут в парк культуры - и Холманский немисливо счастлив оттого, что с Петрашевским все только начинается. И прохладную тишину утра нарушает только сытое каркаенье ворон в поле, голоса да гулкой стук падающих с деревьев яблок. В поредевшем саду далеко видна дорога к реке. Всюду сильно пахнет яблоками, тут - особенно. На террасе стоят раскладушки, на круглом столе - позеленевший самовар, в уголке - посуда. В полдень в саду на керосинке варится яблочное варенье, вечером греется самовар, и по саду, между деревьями, расстилается длинной полосой голубоватый дым. Он оборачивается... со скучающим и равнодушным выражением агатовых глаз, немного отливающих глубоким вишневым багрянцем старого вина.

Такой переход, конечно, может быть осуществлен и без заключения, и, возможно, с большей точностью. Но, в сущности, со времен Понтия Пилата вплоть до наших дней европейская линия с завидной упрямостью опиралась на арест как на способ, ведущий к обязательной исповеди. Теперь искусство и литература, построенные не на европейских, западных, ценностях и традициях, делают все возможное, чтобы поспеть за своей великой старшей сестрой - или, в японском варианте, младшей - в надежде, без колебаний, породить таким образом своих оригинальных Бодлеров и Толстых.

Сказал Холманский тогда: "Нет ничего в мире квадратного или плоского, а если и есть, то это всего лишь видимость, ибо все в этом мире, и все в том мире состоит из знака бесконечности, из круглого и вращающегося. Даже когда труп в земле разлагается, в нем все круглое и все вращается, как эскалатор на станции "Маяковская", новый вход и выход, там даже два эскалатора на разных уровнях, обвивают подземные ходы в библиотеку Иоанна Грозного. Фара - круглая, и шар - круглый. Атом, электрон. Что касается всех вообще, то не касается никого. Толпа на эскалаторе в час пик огромна, а никто никого не знает. Куда вы все едете? - кричу я. Цель ораторского искусства - не истина, а убеждение. Но меня никто не слышит. Расщепление. То есть попросту - шизофрения. Этого для понимания круглости достаточно. Ибо остальное все - беготня по магазинам, беготня из родильного дома через вертолетный завод на кладбище, то есть сплошная беготня".

Наконец-то принесли свечу, и Холманский обнаружил себя в маленькой, узкой комнате без мебели - у стены стояла кровать, накрытая одеялом серого солдатского сукна, табуретка и ящик. Затем Холманскому предложено было раздеться совершенно и надеть длинную рубашку из грубого подкладочного холста, и грубые, связанные из овечьей шерсти, почти до колен, носки. Холманскому указали на туфли и на халат из серого сукна. Платье его и все вещи, бывшие на нем, были у него взяты. Оставлена была у него только по его просьбе грубая шинель. Затем зажжена была на окне какая-то свечильня, висящая с края глиняного блюдечка; свеча унесена, дверь захлопнулась на ключ, и Холманский остался один в полумраке, в изумлении и в страхе оттого, что с ним случилось. Холманский сидел на кровати, смотря на тяжелую дверь, в которой несколько секунд еще ворочался ключ, запиравший его, потом слышны были шаги уходивших людей и гремевшая связка больших ключей.

Между тем до коридоров под приемным покоем больницы подпольщики добрались без приключений, но, войдя в какое-то помещение, люди окаменели от ужаса: из толщи бетонного свода появились человеческие ноги! Через мгновение из потолка показался и полупрозрачный силуэт человека. Это была женщина. Она умоляюще простерла руки к людям, но тут вдруг какая-то неведомая сила начала втягивать ее в бетонную стену. Подпольщики стояли как парализованные - до тех пор, пока призрак не исчез совсем. Оправившись от шока, подпольщики, не разбирая дороги, бросились прочь из этого места!

Вот, кстати, и дискотека. Прямо на улице, под открытым небом. На асфальтированном пятачке дергалось несколько фигурок, преимущественно девичьих. Широкоплечие тени стояли с краю, курили, отхлебывали пиво и всем видом показывали, что оказались здесь случайно. Увядаящая осень, холодная улица и бесперспективная, чужая танцплощадка - все это смешалось в Холманском в невиданную жгучую смесь. Она прогрызала всю его душу и сочилась наружу, заставляя развернуться и уйти прочь. "Ладно, ничего, - успокаивал Холманский себя. - Ничего, просто время нужно... Сейчас погуляем, привыкнем и все будет..." Петрашевский стоял рядом и грустно смотрел на танцующих. Холманский понимал его хорошо, как никто другой.

Смутное чувство убийственной тоски, мрачные, зловещие предчувствия овладели Холманским - ему казалось, что он стоит на пороге конца своей жизни; несколько минут он был без мысли, как бы ошеломленный ударом по голове. Немного придя в себя, Холманский стал разглядывать обстановку, которая показалась ему какой-то ненастоящей, кукольной, как детский мир потессы Нины Красновой, в котором были сделанные ею столики с выдвижными ящичками, в которых лежали кукольные, малюсенькие тетради и книги, стояли маленькие кровати, стулья, на стенах комнат из обувных коробок висели картины, и, разумеется, жили в этих комнатках-коробках сами куколки, тряпочные и пластмассовые, в миниатюрно сшитых платьицах и костюмчиках. "Может быть, я и сам уменьшаюсь, и неотвратимо наступает конец пути?" - в холодном страхе подумал Холманский. Основание, давшее повод к его аресту, было ему известно: он был в то время неоперенный молодой человек, увлекающийся мечтатель, с горячими и несбыточными желаниями, то экзальтированно оживленный, то минорно падающий духом. Но на душе не было не то что угрызения совести, но и не было вообще с его стороны никакого преступления. Идеи убийства, насилия были Холманскому вовсе незнакомы; он взирал на жизнь со своей идеальной точки зрения и вовсе не знал, не умел различать людей, а в размышлениях своих стремился найти истинный путь ко всеобщему благу человечества - но, как государственный преступник, за эти помышления был он обвинен и заключен в каземат.

И вот перед Холманским улица. Обычная улица с обычными домами. Таких сотни в Москве. Но это именно та улица. Та, которую, судя по многому, Холманский будет помнить еще очень долго. Деревья, ларьки, прохожие - все как обычно. Но странное, милое и одновременно дергающее чувство всякий раз вытаскивает эту картину наружу. И вот выплывает асфальт, возникают и смешиваются запахи. Вот тело пронзает тень того испуга и смущения, желание смотреть под ноги. А вот ни с чем не сравнимое ощущение ее удивительно нежной руки, зажатой в его ладони. Непривычное, до страха приятное ощущение.

Сказал Холманский тогда: "Жил человек в Москве девяносто лет, но ни разу не был в Третьяковской галерее. Зачем жил такой человек? Он отработал пятьдесят лет на заводе "Станколит", который отливал чушки для танков. Теперь нет ни завода "Станко-

лит", там на нем сплошная барахолка, один завод "Борец" напротив вместе со своими рабочими и инженерами едет по эскалатору станции "Савеловская" к финишу. Беготня по магазинам, сплошная беготня. И завода "Борец" не будет, потому что сказано, не надо бороться, если тебе дали в лоб, то смиренно подставь затылок, чтобы по нему ударили бейсбольной битой. И не будет "Борца". Ибо все называют опытом собственные ошибки. И возненавидел я военные заводы, и всякие заводы, потому что противны стали мне танки и рельсы; ибо все - беготня ради куска хлеба! И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под московским небом, потому что должен оставить его человеку, который не учтет мой опыт, а как слепой пойдет на военный завод ради куска хлеба".

Холманский перешел в мир догадок и предположений, мысли, одна страшнее другой, толпились, как люди перед бесконечным эскалатором метро, различные мысли и чувства: невозможность оправдаться, строгость закона, страх заключения и слухи, распространенные в народе об ужасах жизни в сырых, холодных казематах - все это вместе слилось в томящее душу ощущение, объяввшее Холманского внезапно. Он осматривал в потемках жилище, и виденное им поражало его своей мрачной пустотой. Халат на нем был заношенный, местами изорванный, из солдатского серого сукна.

Окно в небольшой камере казалось Холманскому большим. Надев кирзовые тюремные тапочки, Холманский встал с кровати, на которой неудобно было сидеть, - он скатывался с нее. Мысли перебивались в голове; то он осматривал жилище, то стоял вновь в раздумье. Вспомнить страшно двадцатый век, когда аресты литераторов осуществлялись чуть ли не всюду. Вряд ли можно припомнить язык, не говоря уже о государстве (разве что Лихтенштейн?), литераторов которых почти не коснулась подобная практика. Конечно, в одних литературах с подобным обращением с авторами дело поставлено помягче; в прочих - покруче. СССР, вне всякого сомнения и по первому взгляду, перещеголял остальных прочих. Однако, если взглянуть шире, Советский Союз представлял собою очень многолюдное царство. С кончиной марксистско-ленинской монархии ось вращения идеи подавления литературы и культуры сместилась к другим берегам, к другим океанам, драгг нах остен по Ост-оженке, куда-то в темно-небесную

Африку, или в желто-ветренную Азию, или к океану, зовущемуся почему-то Тихим. Но и это почти не ублажает душу, ибо перечисленные восточно-южные дали еще больше населены, нежели обжитая Европа, и даже перенаселены, как вагоны метро в Москве в часы пик, особенно на станции "Пролетарская", где осуществляется переход на станцию "Крестьянская застава". В глухой подземной паутине Москвы затуманенность географии, по-видимому, жаждет сравняться с российской историей.

Большую часть стены, справа от двери, составляла печь, затапливаемая снаружи - из коридора; вид печи был Холманскому утешителен. Его шинель была единственным остатком от его жизни, кроме его собственного тела. Холманский сбросил с себя на пол грязный халат и надел шинель. Подойдя к окну, он был поражен видом мрачного светильника комнаты: это был какой-то черепок в виде плоски, с края которой висел кончик фитиля; застывшая сальная масса наполняла его. Не зная, куда приютиться, - и в мыслях его, и в жилище его, - он заплакал и стал молиться; несколько минут стоял отрешенно на коленях и горько плакал, опустившись на пол.

Помещение не вентилировалось, и дышалось с трудом. К тому же было просто холодно. На Холманском болталась шинель и серый дырявый халат. Когда он лежал, то под ним простиралось что-то жесткое, неровное, и подушка была нечистая, туго набитая соломой. Полумрак, тишина, но они не располагают к отдыху: измученный тяжелыми впечатлениями того дня, он лежал, не двигаясь, его страшно клонило ко сну, и он засыпал, но вскоре просыпался от большой чувствительности в щеке и в виске, прижатых жесткою, бугристою подушкою; переворачивался на другой бок - и та же самая боль на другой стороне головы по истечении короткого времени пробуждает его снова; он ложится на спину и опять скоро просыпается от боли в затылке. Так, мучаясь, по временам сползая на край кровати, Холманский беспрестанно засыпал крепким сном и опять просыпался, чтобы переменить положение; не раз подкладывал он руки то под голову, то под щеку - так провел он ночь без отдыха, в тревожном сне, с болью головы и лица. Кроме того, он зяб: погода, бывшая теплою, 23 апреля вдруг переменялась в суровую стужу. Но вот рассветает, по временам слышатся какие-то громкие хождения в коридоре за дверью.

Москва-река... Черная прорва, совершенно равнодушная к Холманскому. Но он не будет смотреть на ее противоположный берег, который находится в такой предательской близости. А когда он поднимет глаза, то уже не увидит гранитных берегов. Черным куполом накроет его небо, ярко сияя звездами. А на горизонте оно почти незаметно сольется с таким же черным морем. Днем здесь было светло и просто.

На другой день Холманский увидел при дневном свете свое новое жилище, глазам его предстала стандартная унылая камера: она была узкая, длиною метров в 5 или менее, шириною метра три, с высоким потолком; стены, оштукатуренные известью, давно потерявшей свой белый цвет. Они были повсюду испачканы пальцем человека, не имевшего бумаги для обыкновенного употребления. С одной стороны было окно, очень большое (сравнительно с величиною комнаты), с мелкими клетками стекол, покрашенное все, почти до верхнего ряда, белою пожелтевшею масляною краскою. Верхний ряд стекол один только был не покрашен и оканчивался с правой стороны форточкою величиною с четверть листа писчей бумаги. За окном была железная решетка. С противоположной окну стороны - дверь массивная, окованная железом, и большое грязное зеркало изразцовой печи, затапливающейся снаружи. В комнате, кроме кровати, были столик, табуретка и ящик с крышкой; на подоконнике стоял питьевой бачок и догоревшая уже плошка...

Сказал Холманский тогда: "Слова живут совершенно свободно, как хотят, как облака, как вода, льются-переливаются от человека к человеку, от века к веку, от народа к народу, из книги в книгу, из вечности в вечность. Кто-то пытается управлять словами, давать указания языку. Но это те люди, которые не понимают, кто они, куда и откуда. Они смертны, как мухи, а язык вечен, и он - Бог".

Учиться им было неинтересно. А еще они любили готовить и любили есть персики. А вот кого они совершенно не любили, так это милиционеров. Проблемы семьи их не волновали, а на станции "Римская" они не были.

Думал ли Холманский когда-нибудь, что тюрьма ему будет новым жилищем, вспоминал ли он о тюрьме и суме? Конечно, не вспоминал, поскольку все это происходило как бы не с ним, ирреально. Немного оглядевшись, Холманский залез на подокон-

ник, но при малом его росте не мог достать глазом незакрашенный верхний ряд стекол, который оканчивался с правой стороны форточкою; Холманский приоткрыл ее; свежий воздух подул на него и ему принес как бы что-то родное. Холманский вдохнул его, упился им полной грудью и еще более почувствовал желание взглянуть в окно, но и, поднявшись на цыпочки сколько было сил, он не мог увидеть ничего; он подскочил - перед глазами его мелькнуло что-то вроде двора. Нельзя ли подставить что-либо под ноги?

Пустоликие длинноногие нимфетки с независимым видом сосали сигареты и скучно поддерживали рассказ Петрашевского о том, как он отдыхал на море.

На подоконнике, куда, проклиная судьбу, влез Холманский, стоял питьевой бачок; на донышке ее было немного воды, Холманскому показалась она чистою, и он выпил ее, потом снова влез на окно, встал на бачок и увидел небольшой мрачный дворик, странной треугольной формы. Против Холманского была массивная, тупая, тоталитарная, крепостная стена, замыкавшая дворик, у самого окна ходил часовой с ружьем. Холманскому и так уже было довольно холодно; всю ночь напролет укрывался он чем мог; погода была свежая, из окна дул ветер, и он скоро промерз, что заставило его спрыгнуть с подоконника.

Новизна новой жизни, приметы ее и предметы - обстановка тупого пространства, не зная стыда, окружавшая Холманского и сильно поразившая его своей неприглядностью, - были только отвлечением от смутных предчувствий и мрачных мыслей, которые преследовали его и ночью в беспрестанно сменявшихся коротких, цветных и черно-белых, как кадры Феллини, сновидениях.

3.

По поводу "страны, где все хорошо" - почитайте его подпись... Холманскому казалось, что она четко выражает его отношение к происходящему. Он пока что не нашел такой страны. Может быть, потому, что у него слишком большие требования. Он постоянно чем-то недоволен, все время ищет что-то лучшее.

Черный ворон на колесах, и карета черный ворон. Возят, возят, забирают, исчезают, завывают. Брали многих. Так с Холман-

ским одновременно взято было много других, - он видел мельком их почти всех; ему живо представлялась картина ареста: 23 апреля часов около 10 утра в карете он был привезен в III Отделение, что было у Цепного моста; его вели, сильно топая каблукками, по многим комнатам, в которых он видел других арестованных знакомых ему лиц, и между ними стояли часовые с ружьями. В особенности поразила Холманского большая зала своим многолюдством: арестованные стояли кругом, а между ними часовые, слышен был говор и по временам стук приклада о пол при разговоре (так приказано было).

Холманского привели, наконец, в маленькую комнату, где он нашел двух знакомых товарищей. Затем граф Орлов, высокого роста с маленькой головой, бледным лицом, сопровождаемый многими, обходил все комнаты. Один из чиновников нес за ним список, по которому поименно представляем был ему каждый из арестованных. При представлении ему одного из них - господина Белецкого - он спросил: "Вы - учитель кадетского корпуса?" - и, получив утвердительный ответ, он сказал: "Прекрасный учитель, отведите его в особую комнату". Холманского это поразило, тем более, что Белецкий ни разу, сколько известно, не был на собраниях Петрашевского, и Холманский считал его вовсе непричастным к возникшему делу. (Он и был впоследствии по суду оправдан.)

Вот что тогда произнес в сердцах своих Холманский: "Всему свое время, и время всякой вещи под небом: время рождаться, и время умирать; время разбрасывать камни, и время собирать камни... На Земле не было языка. Происхождение языка началось с понятий жизни, то есть отправления биологических надобностей. Страшно подумать, что когда-то не было слов. Никаких. Потом они стали появляться вроде междометий на разные голоса, как и у животных, птиц и рыб. Организация языка началась в Египте. Появились люди, фараоны и жрецы, которые стали фиксировать закономерности функционирования языка. Они догадались, что язык нужно строить по принципу нашей вселенной. В центре, как солнце, палящее, всежигающее одно главное слово - Яхве. По-русски оно всем хорошо известно, но не произносится явно, поскольку состоит из трех букв".

Можно было подумать, что их привели в ресторан, поскольку прямо в III Отделении угощали обедом, чаем и сигарами, но ни-

кому охоты не было вкушать чего-либо. Между прочим, подходили к новичкам служащие в отделении чиновники и, как бы с участием относясь к ним, заявляли, что они состоят на службе в другом отделении, но за недостатком места комнаты их отделения были заняты для помещения арестованных.

Здесь же им стало известно, что список, который носим был при обходе Орловым, начинался словами: “Антонелли Петр Дмитриевич - агент наряженного дела”. Впоследствии, Белецкий, о котором только что было упомянуто, по выходе своем из Петропавловской крепости встретил А... на Адмиралтейском бульваре и, будучи им приветствован как знакомый, по своему горячему характеру вскипев гневом, ударил его в лицо и указал на него прохожим как на доносчика, за что и был вновь арестован и послан на жительство в Вологду.

Недавно Холманский прочитал книгу Карнеги “Как побороть беспокойство” и слегка изменил свою точку зрения на этот счет... Самая главная мысль, которую Холманский оттуда вынес - это что “наша жизнь определяется тем, как мы к ней относимся - то есть нашим к ней отношением”. То есть важно не только - хорошая или плохая страна, в которой ты живешь, а то, как ты к этому относишься.

Сзади слышны шаги, кто-то идет сзади. И вдруг басовитый приказ: “Гражданин Холманский, вы арестованы!” Вот так, а не иначе, был взят он, и были взяты почти все в пятницу, в ночь с 22 на 23 апреля, сейчас по расхождению с собрания Петрашевского, часу в 4 ночи, когда все уже были по домам и спали; Холманский же не всегда бывал у Петрашевского и в эту пятницу не был, а по весеннему времени ночевал за городом и потому арестован был утром 23 апреля. В этот самый день погода изменилась и сделалась холодной. 23 апреля поздно ночью арестованных отвозили всех в крепость.

То, что происходило этим днем, смешалось в голове Холманского, и он погружен был в свои inferнальные мысли. Многие из взятых, - говорил он сам себе, - будут оправданы и освобождены, но ему не оправдаться: уж слишком много найдется улик, в сущности ничтожных, ничем его не порочащих, но по тогдашним взглядам считавшихся тяжеловесными и вполне достаточными для обвинения его в государственном преступлении. Это было время сороковых годов, когда вполне законными призна-

вались крепостное право, закрытый суд без присяжных, телесное наказание, и всякий разговор об уничтожении рабства и введении лучших порядков считался нарушением основных законов государства.

Погрузившись в глубокие, темные, страшные до дрожи думы, Холманский то нервно дергая руками и постоянно оглядываясь, ходил по камере, то одубело, то есть, как дуб на опушке, стоял, то в отчаянье садился на табурет за стол или на кровать, то подходил к окну или двери, не зная, куда приютиться в новом жилище, а мрачные мысли толпились в голове. “Господи, нет мне спасения, - думал Холманский, - так и многим моим товарищам”.

Все познается в сравнении и зависит оттого, что считать культурным и человеческим (т.е. опять же в нашем отношении).

Русский балет, которым восторгается масса людей (и не только русских), заслуживает похвалы, московские театры иногда для многих “потенциальных” эмигрантов были тем якорем, из-за которого они говорили - “я не могу уехать из Москвы - мне этого будет там не хватать”.

Вот что тогда произнес в сердцах своих Холманский: “От имени бога, состоящего по-русски из трех известных букв, от этого страшного, тайного, дающего жизнь в удовольствии слова, как лучи от солнца, стали разбегаться все слова мира. Всю биологическую массу прямоходящих покрыли слова, созданные в Египте. Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его. Что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было, - и Бог воззовет прошедшее. Еще видел я под солнцем: место суда, а там беззаконие; место правды, а там неправда. На месте Кремля - Курский вокзал. Сядешь на “Курской-кольцевой” и приедешь на “Курскую-кольцевую”. И так - до самого гробового входа. Ибо давно Кувалдин сказал, что нет ничего квадратного и плоского. Все вокруг круглое и бесконечное. А бесконечное - это эскалатор на станции “Курская-кольцевая”. Только встанешь на него - значит, родился, а сошел - стало быть, умер. Царство тебе небесное. А другие все встают и встают на эскалатор. И нет этому конца. Ибо нужны все новые и новые компьютеры (люди), чтобы читали повесть Кувалдина “Казнь” в назидание себе”.

Горько было за самого себя, но не только, еще горько было Холманскому за других, например, за судьбу двух ему близких друзей, которых он любил и уважал, - это двух братьев Дебу и в

особенности Ипполита Дебу, с которым был очень дружен; затем вспоминались Холманскому и прочие пострадавшие с ним вместе товарищи, и он не мог заглушить в себе досаду на Петрашевского и не упрекнуть его в случившемся с ними несчастье.

В эти темные, серые дни все более возникали в Холманском опасения вверять себя стольким незнакомым лицам, бывшим у него, но все имели же полное право рассчитывать, что Петрашевский, как человек весьма умный, очень осмотрителен в выборе своих посетителей, а между тем вот что случилось. Но, погубив всех их, ведь он и сам погиб, а потому и ставить ему это в вину было со стороны Холманского недостойно и малодушно.

Наверх подпольщики выбрались без приключений - вот только у одного из них лицо было залито кровью: убегая в темноте, он обо что-то сильно ударился головой и содрал на темени кожу. Пострадавшего доставили в приемное отделение и до прихода дежурного врача уложили на кушетку в одной из палат. Тут же стояла каталка с накрытым простыней трупом. Когда пришли санитары и приподняли простыню, Холманский пришел в ужас: это была та самая женщина, призрак которой он видел в подземелье. Из разговора с санитарями выяснилось, что несчастная скончалась от травм полчаса назад - как раз в то время, когда отряд находился внизу. Позднее следствие установило: женщина покончила с собой, бросившись под колеса автомобиля.

Если машина стоит на тротуаре вместо парковки - это культурно и прилично? или привычно?

Холманскому вспомнилось тоже, что Петрашевский имел уже некоторые сомнения в личности Антонелли. На предпоследнем собрании, 15 апреля, он отозвал Холманского в сторону и спросил: "Скажите, вас звал к себе Антонелли?" Холманский ответил, что звал, но он не пойдет, так как его вовсе не знает. "Я и хотел предупредить вас, - сказал Петрашевский, - чтобы вы к нему не ходили. Этот человек, не обнаруживший себя никаким направлением, совершенно неизвестный по своим мыслям, перезнакомился со всеми и всех зовет к себе. Не странно ли это? Я не имею к нему доверия".

Воспоминания сменялись воспоминаниями, и от них Холманский переходил к мысли о своем настоящем положении: как быть, что делать? Как теперь жить - в сей день - в этом новом жилище? Ужели Холманскому долго придется оставаться в нем? Как скверно, как холодно, как грязно.

Холманский забыл упомянуть при описании комнаты, что в середине двери было маленькое, величиною в четвертую долю листа бумаги отверстие, в которое вставлено было стекло. Снаружи, со стороны коридора, оно было завешено темной тряпкой, которую сторожу можно было поднимать и видеть, что делает арестованный. Холманскому было очень холодно, и он попробовал постучать: послышались шаги, и тряпка сейчас же поднялась; показалось смотрящее на него чье-то лицо. “Чего стучишь?” - спрашивало оно Холманского. “Надо затопить печь, очень холодно, затопите печь”. Ответа не последовало, тряпка опустилась, и все оставалось по-прежнему.

Сколько минуло минут или часов, неизвестно, но слышались в коридоре шаги, беготня и звон связки ключей. Холманский слышал, как втыкались в двери других келий ключи, и они отворялись, и шествие это производилось подряд во все отдельные помещения. Вот и до Холманского очень скоро дошла очередь. Ключ вставлен был не вдруг, казалось, ошибкой не тот, потом щелкнула крепкая пружина замка, дверь отворилась настежь; в нее вошел толстый старый генерал в сопровождении двух офицеров и служителей крепости.

- Итак, как дела? Как живете, все ли благополучно? Все ли имеете? Я - комендант крепости. (Это был генерал Набоков.)

- Ваш вопрос о делах бестактен, потому что здесь очень холодно, прикажите затопить печь, - нервно ответил Холманский.

Нервозность Холманского подействовала. Сразу же было отдано приказание затопить немедленно печи везде, “чтобы не жаловались более на холод”. С этими словами он вышел со своей свитой, и Холманский остался вновь один, запертый на ключ. Таково было быстрое посещение генерала!

Есть ведь и масса других нужд. Все ли Холманский имеет? У него ничего нет! Ни воды, ни пищи, он не умывался с утра... Но бачок стоит для воды, стало быть, полагается вода и, вероятно, подадут какую-нибудь пищу.

Спустя примерно полчаса раздалась ходьбения с отмыканием дверей; и вот растворилась и дверь Холманского, и в комнату быстрыми шагами вошел солдат с посудой и, поставив ее на стол, ни слова не сказав, поспешно вышел, и дверь захлопнулась на ключ. Наверху посуды лежал большой кусок черного хлеба, а под ним была миска с супом, и в нем лежали куски говядины. Несмо-

тря на голод, Холманский съел несколько супа и хлеба, до мяса же не прикоснулся. Причина тому отчасти лежала в предыдущей его жизни: уже более трех лет, как он оставил привычку есть мясо, желая по убеждению сделаться вегетарианцем.

Вот что тогда произнес в сердцах своих Холманский: “И сказал я в сердце своем: “праведного и нечестивого будет судить Бог; потому что время для всякой вещи и суд над всяким делом там”. Нужно помнить постоянно о линейке времени. Вот мы видим “Ноль”, или Зеро, или Херо. Вот и появилось первое слово: “Яхве”, произносимое как “Йаху”, или попросту в три буквы, начиная с “Х”. Основа основ, солнце русской, китайской и всякой другой поэзии. Это было в Египте. Сказал я в сердце своем о сынах человеческих, чтобы испытал их Бог, и чтобы они видели, что они сами по себе животные; потому что участь сынов человеческих и участь животных - участь одна: как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед скотом, потому что все - суета! Все идет в одно место: все произошло из праха и все возвратится в прах. Кто знает: дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз, в землю? Итак, увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него? Сказано же - сядешь на “Курской” и приедешь на “Курскую”, как бы ты на Красную площадь ни стремился. Единственно, куда можно отклониться - так это на площадь Борьбы”.

В России есть один большой город (да простит его Питер, о котором он не будет ничего говорить, т. к. не знает), в котором сосредоточены все деньги страны и все основные офисы, а, следовательно, и наибольший спрос на услуги и товары. Город, в котором цены на недвижимость растут по 5 процентов в месяц. В котором советский человек без регистрации чувствует себя менее социально защищенным, нежели находясь в Штатах по рабочей визе.

Учитывая такое особенное отношение Холманского к выбору пищи тюремный обед, поставленный перед ним на стол, пришлось ему очень не по вкусу, но он был голоден, и черный хлеб ему был очень приятен. Через полчаса вновь вошел солдат и за ним дежурный офицер, которого Холманский настойчиво просил приказать подать ему сейчас воды в количестве, достаточном для питья и для умывания, а также заявил и о необходимой надобности в полотен-

це. Бачок, стоявший у него на окне пустым, был схвачен служителем и, наполненный водой, принесен назад. Затем без лишних слов все исчезли, приняв остатки обеда, кроме черного хлеба, который был в достаточном количестве и оставлен был у него; затем он снова был накрепко захлопнут. Полотенце было обещано в будущем.

Все ушли, шаги стихли. Холманский стал умываться и вытерся рукавом рубашки. Вскоре затем заметил он, что в комнате стало теплее, и, приложив руку к печной стене, он убедился, что она нагревается. И так, он имеет все, что нужно, хозяева тюрьмы дали ему все, что они могли, - он сыт, умыт, одет и согрет.

Тут (в России) люди привыкли гадить там, где живут, - это тоже культурно? Обратите внимание на любую остановку транспорта, а лучше на ту, где масса людей - например, площадь Речного вокзала - там же к вечеру количество окурков, валяющихся на асфальте, - просто колоссально. Сколько людей идут по улицам и, не задумываясь, кидают окурки на асфальт, бутылки из-под пива оставляют прямо в поезде метро. Они не замечают того, что делают. Для них - это привычно.

4.

Человек ко всему привыкает, сживается даже с тюремными стенами, и Холманский сжился, а печку особенно полюбил, гладил теплый ее бок ладонями и улыбался. И потихоньку потекла жизнь Холманского в тюрьме; дни сменялись днями; каждый день по однообразию и безделью казался чрезвычайно долгим, недоживаемым до вечера; недели текли за неделями и месяцы, к ужасу Холманского, стали сменяться месяцами.

Ежедневно первое время, а потом два-три раза отворялась дверь, ставилась и принималась пища; черный хлеб стал его любимой пищей, и его было у него всегда достаточно. В первое время Холманский настойчиво требовал большего против обыкновенно приносимого количества воды для мытья и питья, но после это делалось уже и без его докучливого напоминания; полотенце было выдано тоже. Белье из грубого подкладочного холста, старое, состоявшее из длинной рубахи и чулок выше колен в виде мешков, подвязывающихся тесемками, сменяемо было каждую неделю.

Монотонно текла жизнь Холманского при переливе колокольного звона каждые четверть часа на колокольне Петропавловского собора. По временам, однако же, это однообразие тюремной жизни и жестокая темничная тоска были нарушаемы чем-нибудь выходящим из ряда обыкновенного течения, и всякое подобное, хотя бы и незначительное обстоятельство, освежало и развлекало Холманского. Но главное, что желал бы он разъяснить, это - мучительное его душевное болезненное состояние безвыходного и долгого одиночного заключения, чувство жестокой темничной тоски, мрачные мысли, преследовавшие его безотвязно, и по временам упадок сил до потери голоса и изнеможения. Холманский дни и ночи говорил сам с собою и, не получая впечатлений извне, вращался в самом себе, в кругу своих болезненных представлений.

Это можно назвать культурой? Да - в смысле обобщенного названия, показывающего "уровень культуры народа". Нет - в смысле того, является ли этот народ культурным.

Холманский тогда только что окончил курс в Петербургском университете по российской словесности. Несмотря на окончание курса в высшем учебном заведении и уже вполне зрелый возраст, Холманский был очень мало развит в понимании самых простых и обыкновенных для жизни вещей.

Оглянитесь на ту грязь, в которой живет Россия. На народ, собирающийся по трое на лавочках, чтобы раздавить свою бутылку водки.

Холманский, подумав, сказал: "Каждая буква алфавита - это Бог, "Аз есмь Альфа и Омега". И обратился я и увидел всякие угнетения, какие делаются под солнцем: и вот слезы угнетенных, утешителя у них нет; и в руке угнетающих их - сила, а утешителя у них нет. И ублажил я мертвых, которые давно умерли, более живых, которые живут доселе; а блаженнее их обоих тот, кто еще не существовал, кто не видал злых дел, какие делаются под солнцем. Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производят взаимную между людьми зависть. И это - суета и томление духа! Глупый сидит, сложив свои руки, и съедает плоть свою. Лучше горсть с покоем, нежели пригоршни с трудом и томлением духа".

Не только в силу культуры, образованности и воспитания Холманский ненавидел зло, но и по характеру своему мягкому, поэтому к людям был очень доверчив и очень скоро сблизился

с ними. Любил трудиться и составлять выписки из серьезных общеобразовательных книг, но, не имея средств, большую часть их покупал на толкучем рынке и много времени проводил в его книжных рядах.

Постоянно ходил Холманский на Апраксин двор, который вмещал в себя огромный склад книг самого разнообразного содержания. Гонения на букинистов затрудняли это дело, а пожар, бывший позже, окончательно разрушил этот драгоценный книжный склад. Там находил Холманский разнообразнейшие книги и, заплатив за них безделицу, как сокровище, нес к себе домой.

Да, не смейтесь! Они счастливее Холманского! Они не знают, что можно жить по-другому! И поэтому они счастливы.

Они не знают, что вокруг может быть не пыль и грязь, а зеленая стриженная трава на газонах. Что машина - это не роскошь, а средство передвижения. Что люди могут и должны улыбаться при встрече друг с другом! Что нельзя давать взятки полицейскому, так как можно сесть в тюрьму за это. Что не надо таскать с собой паспорт, удостоверяющий твою личность.

В это время жизнь Холманского носилась в каких-то идеальных мечтаниях. Петербург же со всем его разнообразием жизни и множеством общественных развлечений, которыми Холманский не имел ни малейшего желания пользоваться, казался ему ничтожеством в сравнении с привольной жизнью среди природы.

Русская злость - старая притча - когда у человека спросили - чтобы он попросил чего угодно, но у соседа будет в два раза больше - он сказал - заберите у меня один глаз. Почему люди радуются, когда у соседа корова сдохла?

Таков он был, когда от него потребовалось в жизни первое серьезное испытание совершенно иного рода, чем те, которые выдержал он в университете. Дело жизни в ее разнообразных проявлениях есть высшая школа человека. Высокая доблесть терпеть и безропотно, молчаливо и стойко переносить лишения всякого рода никому не дается сразу, но приобретается, вырабатывается более или менее продолжительным опытом, как в общественной среде, так и в отдельных личностях.

Холманский, подумав, сказал: "Рим стал двигаться на восток и уперся в Коран на границах нынешней Москвы. Здесь-то и столкнулись две ветви египетского языка, западная и восточная, и в этом противоборстве, условно говоря, латинского с арабским

появился великий и могучий, как Герой и Яхве стоящий во весь рост, Русский язык. Он начал полнокровно оплодотворять народы, жившие на территории современной России со времен Петра Великого. То есть мы можем сказать, что русский язык очень молод, но с другой стороны, входя ветвью в единый язык Бога (Йэбоха) он вечен как сам наш Херистос, Христос, Бог наш. И обратился я и увидел еще суету под солнцем; человек одинокий, и другого нет; ни сына, ни брата нет у него; а всем трудам его нет конца, и глаз его не насыщается богатством. "Для кого же я тружусь и лишаю душу мою блага?" И это - суета и недоброе дело! Двоим лучше, нежели одному; потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их: ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также, если лежат двое, то тепло им; а одному как согреться?"

Никто не сведущ достаточно в великой науке жизни, и только трудом, терпением и опытностью немногими приобретается мудрость - потому столько ошибок жизни, сожалений и упреков, которые людьми понимаются очень различно.

Несколько лет назад в интернете он наткнулся на одну ссылку "Почему я ненавижу Москву" - один человек описал некую ситуацию вымогательства и выложил свою историю на сайт...

Нужна демифологизация масонства, освобождение масонства от некоего ореола мифа, легенды, которым оно предстает во многих литературных источниках.

В чем же тогда состояла его вина и за что был он так внезапно схвачен как преступник и посажен в крепость? Всякое деяние человека может быть оценено различно, смотря по периоду времени, строю жизни, общественной среде и месту, где оно совершается. То, что в 1849 году вменялось им в вину и за что после восьмимесячного одиночного заключения полевым уголовным судом они были приговорены к смертной казни расстрелянием, в настоящее время показалось бы мало важным и не заслуживающим никакого преследования: у них не было никакого организованного общества, никаких общих планов действия, но раз в неделю у Петрашевского бывали собрания, на которых вовсе не бывали постоянно все одни и те же люди; иные бывали на этих вечерах, другие приходили редко, и всегда можно было видеть новых людей.

Вы бы видели ту злость и ненависть, с которой участники обсуждения обменивались мнениями - когда столкнулись москвичи и эмигранты из глубинки. Казалось, что если бы им дали оружие, они бы перестреляли друг друга!

Здесь можно было слышать калейдоскоп разнообразнейших мнений о современных событиях, распоряжениях правительства, о произведениях новейшей литературы по различным отраслям знания; приносились городские новости, говорилось громко обо всем без всякого стеснения. Иногда кем-либо из специалистов делалось сообщение вроде лекции: Ястржембский читал о политической экономии, Данилевский - о системе Фурье. В одном из собраний читалось Достоевским письмо Белинского к Гоголю по случаю выхода его "Писем к друзьям". Белинского избавила только болезнь и преждевременная смерть от общей с ними участи.

На каждый вечер Петрашевский поручал кому-либо из гостей наблюдать за порядком в качестве председателя. На собраниях этих не вырабатывались никогда никакие определенные проекты или заговоры, но были высказываемы осуждения существующего порядка, насмешки, сожаления о настоящем их положении.

А из-за чего? Да просто один из них сказал: "Я не люблю Москву!". Также можно сказать - я не люблю Россию. Зачем от этой фразы приходиться в жуткое состояние агрессии? Ну не любит человек что-то, ну и ладно... Но там творилось что-то ужасное.

Во что бы превратился кружок Петрашевского впоследствии, конечно, трудно предположить. Если и сказать, что по истечении многих годов могло бы образоваться общество, имеющее целью ниспровержение существующего государственного строя, к которому примкнули бы, может быть, весьма многие, то, во всяком случае, можно почти наверно довериться мысли, что по неопытности ведения такого дела действия его были бы в раннем периоде обнаружены и дальнейшее его развитие остановлено правительством. Их кружок, выражавший собою современные общечеловеческие стремления, был одним из естественных передовых явлений в жизни народа и, несомненно, оставил по себе некоторые следы.

Вся эта накопившаяся в них злость и ненависть душит их, не дает им жить по человечески тут. Попробуйте улыбнуться в метро в час пик! Как было написано в одном из журналов, "у нас хоро-

шо улыбаться тому человеку, который спрашивает у вас ночью - как пройти в библиотеку". В этом случае вы не рискуете получить по зубам или увидеть жест - когда покрутят пальцем у виска...

Количество взятых по этому делу, хотя и казалось незначительным, - оно доходило до ста, может быть, и превышало это число, - но они не были какими-либо вырожденками, происшедшими самопроизвольно и внезапно, они были произведения образованного класса земли русской, а потому и оставшихся на свободе людей одинакового с ними образа мыслей, им сочувствовавших, без сомнения, надо было считать не сотнями, а тысячами.

Кроме того, людям не нравится разброс зарплат в десятки раз между глубинкой и этим одним городом. Почему за одну и ту же работу человек может получать 200 долларов в своем родном городе и 20 в другом? Он умнее стал, оттого, что сюда приехал? Нет. Ну, может, посмелее других просто, которые так и остались на 200 и не дергаются...

Холманский, подумав, сказал: "И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него: и нитка, втрое скрученная, нескоро порвется. Лучше бедный, но умный юноша, нежели старый, но неразумный царь, который не умеет принимать советы; ибо тот из темницы выйдет на царство, хотя родился в царстве своем бедным. Видел я всех живущих, которые ходят под солнцем, с этим другим юношею, который займет место того. С одной стороны, слово в три буквы приводит в ужас не только дам в приличном обществе, но и милиционеров, хотя, полагаю, что и дамы, и милиционеры, знают, как произнести это слово и что оно означает. Знают, но не совсем. Слово в три буквы и есть Бог. Единый, всеобщий и неделимый. Чтобы укрывать его от нападок пошляков, еще жрецы Египта стали маскировать его, по принципу Федора Достоевского: "Красота спасет мир". Слово, которое означает маскировку Бога, мы все прекрасно знаем: "Химия". Что можно перевести на доступное нам понятие, как вечное изменение Бога, или, что значительно доступнее, развитие. Не было числа всему народу, который был перед ним, хотя позднейшие не порадуются им. И это - круговорот по кольцевой линии и томление духа! Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению; ибо они не думают, что худо делают".

Их небольшой, элитарный кружок, сосредоточившийся вокруг Петрашевского в конце сороковых годов, носил в себе зерно всех реформ шестидесятых годов.

Собрания у Петрашевского по содержанию разговоров, касавшихся преимущественно социально-политических вопросов, представляли большой интерес для них и потому, что они были единственными в своем роде в Петербурге. Собрания эти продолжались обыкновенно до поздней ночи, часов до двух или трех, и кончались скромным ужином.

Он не хочет сказать, что там - все хорошо. В Нью-Йорке, Сан-Франциско и Чикаго тоже полно нищих. Там тоже бывают грязные "плохие" черные районы, в которые белым просто советуют не соваться. Там тоже есть грязные туалеты в Макдональдсах.

Холманский имел честь познакомиться с Петрашевским весной 1848 года. Михаил Васильевич Бутаевич-Петрашевский был человек лет тридцати, среднего роста, полный собою, весьма крепкого сложения, черноволосый, на одежду свою он обращал мало внимания, волосы его были часто в беспорядке, небольшая бородка, соединявшаяся с бакенбардами, придавала круглоту его лицу. Черные глаза его, несколько прищуренные, как бы проникали вдаль. Лоб у него был большого размера, нахмуренный; он говорил голосом низким и негромким, разговор его был всегда серьезный, часто с насмешливым тоном; во взоре более всего выражались глубокая вдумчивость, презрение и едкая насмешка.

Он думал, что "там все хорошо", в 2000 году, когда уезжал в Штаты. В его голове крутилась одна мысль: "Я уеду из России, и все мои проблемы решатся!"

5.

Но получилось не совсем так, а точнее - совсем не так. Некоторые проблемы действительно решились, но появились новые. Холманский перестал думать о том, что надо выживать каждый день - чтобы заработать на еду и одежду. Холманский просто жил в нормальных условиях в хорошей квартире, ездил на нормальной машине, жил в нормальной стране. Да, район был не из дешевых, поэтому после возвращения у него в памяти осталось по большей части только хорошее.

Петрашевский был человеком сильной души, крепкой воли, много трудившийся над самообразованием, всегда углубленный в чтение новых сочинений и неустанно деятельный. Он воспитывался первоначально в лицее, но по своему резкому поведению был оттуда исключен, после чего поступил вольнослушателем в Петербургский университет по юридическому факультету и, окончив курс, состоял на службе при Министерстве иностранных дел.

Особенно Холманского, страстного читателя, привлекала в доме Петрашевского библиотека, состоявшая, в основном, из новейших сочинений, преимущественно по части истории, политической экономии и социальных наук, и охотно делился ею не только со всеми старыми своими приятелями, но и с людьми ему мало знакомыми, но которые казались ему порядочными, и делал это по убеждению для общественной пользы. Он говорил Холманскому, что в течение около 8 лет много людей перебивало у него и разъехалось в разные города России и преимущественно в университетские. Он давал читать всем просившим его и снабжал уезжающих книгами, которые, по его усмотрению, были полезны для умственного развития общества.

Сказал Холманский: “Поэтому гениальный Иммануил Кант догадался, что имя и само существо предмета - две совершенно различные вещи. И возникла его мысль о вещи в себе. Но, развивая Канта, скажу, что вещь в себе открывается Слову, поскольку без Слова ничто не движется в ноосфере. Система Станиславского призвана распечатывать эту вещь в себе. И она распечатывается через Слово. Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом; потому что Бог на небе, а ты на земле; поэтому слова твои да будут немноги. Ибо, как сновидения бывают при множестве забот, так голос глупого познается при множестве слов. Когда даешь обет Богу, то не медли исполнить его, потому что Он не благоволит к глупым: что обещал, исполни. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Не позволяй устам твоим вводить в грех плоть твою, и не говори пред Ангелом: “это - ошибка!” Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих?”

Петрашевский старался бывать повсюду: в учебных заведениях, в клубах, дворянских собраниях, маскарадах с единственной целью заводить знакомства для узнавания и выбора людей. Утро проводил он большей частью в чтении книг и в составлении

какого-либо им намеченного труда. Плодом таких занятий был известный в свое время напечатанный им словарь употребительных в русской речи иностранных слов, в котором разъяснялись в особенности подробно слова, обозначающие известные формы государственного управления.

Холманский плакал тихо, но горько; разлука с ними, независимо от всего остального, казалась ему великим горем, и прежняя свободная жизнь казалась идеалом счастья, потерянным раем. Не один Холманский, однако же, подавлен был до слез приступами жестокой тоски - по временам то с одной, то с другой от него стороны слышен был плач в кельях заключенных.

Хотя опять же в интернете он читал длинное жизнеописание человека, который нелегально пробрался в Нью-Йорк без денег, без работы, без друзей, без страховки, без ничего. С какой целью? Да просто "денег подзаработать"! Кем? Каким трудом? Да так, никем толком - неквалифицированным трудом! Знаете, как он потом писал про Штаты? "Я ненавижу Нью-Йорк!" Вам это ничего не напоминает?

Промучившись еще день, не зная, куда приютиться, Холманский то становился на окно, то ходил взад и вперед в клетке без всяких занятий; вращаясь все в одном и том же кругу безотвязных мыслей, ничем не перебиваемых, дожидаясь вечера; одиночество, безделье, томление мучили его. Холманский нередко садился на пол и, сидя на коленях, закрывая лицо обеими руками, громко сетовал и плакал, затем, поспешно вставая, вскакивал на окно; минутно упиваясь воздухом у форточки, сходил с окна, шел к двери, садился на кровать, на табуретку и опять лез на окно. Так метался он, запертый в тесном жилище. Снова были слышны хождения, звон ключей, отворялась дверь, приносима и принимаема была безмолвным солдатом пища.

Наступила вторая ночь, и на окне зажглась снова сальная плошка. Она издавала особый запах с копотью, и вид ее был противен; Холманский подошел к окну и задул ее. Замученный, он лег на кровать; спать хотелось, и он заснул, но от жесткой подушки на покато тюфяке беспрестанно просыпался и переменил положение. Так прошло не известно сколько времени, как в коридоре послышались движение и разговор у двери. Потом Холманский услышал стук в окно двери и слова, обращенные к нему: "Зачем потушили огонь?" Холманский ничего не отвечал и

старался забыться и заснуть, но в скором времени, однако же, услышал звон ключей у двери; дверь отворилась, и вошли дежурный крепостной офицер и сторож - Холманскому выговаривали за потушение светильни и нарушение заведенного порядка. Плошка была снова зажжена, и он остался один.

А вы ожидали услышать от него что-то другое? Прожить в нечеловеческих условиях два года в чуждой стране, пытаться свести концы с концами и пытаться выжить.

У всех участников подземной экспедиции резко подскочило давление, и сердце стало работать с перебоями. Кстати, все они проходили различные тесты и даже проверялись на детекторе лжи, который показал: обследуемые говорят правду! Люди, знакомые с паранормальными явлениями, их еще называют "охотниками за привидениями", рассказывают, что этот случай доказывает, что призрак, как они его описывают, видит окружающую реальность, ощущает себя в этой реальности и даже осознает весь ужас своего положения. По их словам, это был типичный случай реинкарнации. Поколения мертвых накапливаются в этих мрачных подземельях, сегодня их количество оценивается в двенадцать или пятнадцать миллионов, человеческие создания явились сюда, чтобы перемешать свои останки. Призраки чаще всего встречаются в местах, где раньше были погосты.

Рассвет Холманский едва различал, потому что замазанное окно закрывало его от всего живущего. Вот третий день, как он один, и все грознее встают одни и те же мысли. На душе так же душно, как и в комнате. Холманский отворил форточку - повеяло чистым воздухом, встал на кружку и уткнулся носом в открытое окно. Перед ним был крепостной вал и пустой дворик, где не было никого. Чистый весенний воздух пахнул Холманскому в лицо. Он стоял так несколько минут, как вдруг услышал стук; он обернулся и увидел, что в окошке двери тряпка поднята, сторож стучит пальцем в стекло и кричит: "Сойдите с окна!" В сердце как бы кольнуло что-то; Холманский медленно спустился с окна.

Как люди считают - возвращаясь к исходному вопросу - этот человек был "интегрированным" русским в Нью-Йорке?

Холманскому хотелось просто умыться, хоть насколько возможно, от грязи, его окружающей, и вот он моется, набирая в рот воды, наклонившись над упомянутым ящиком, моет лицо и руки, боится проронить напрасно каждую каплю воды, которой у него

было мало. Но вот он умылся. Что же он будет делать в настоящий день? Как доживет до вечера? И сколько дней еще придется сидеть взаперти?!

Неопределенность с первого же дня беспрестанно мучила Холманского, и он по простоте души разрешал ее очень наивно: через две недели, конечно, разъяснится уже все дело. Но как прожить эти две недели?! А затем начинался другой, еще более трудно разрешимый вопрос: “А после этого заключения, что будет с нами?!” Вопрос этот был безответен, но предчувствия были зловещи и давали повод к различным мрачным мыслям.

В общем-то, он кратко попытался объяснить свою точку зрения на некоторые вопросы. И просил никого не воспринимать любые из упомянутых тут фактов или названий лично! Он никого не желает обидеть.

Зима для Холманского была совершенно бесцветна и не прерывалась никакими новыми освещающими или отягчающими впечатлениями. Все выгоды, какие можно было извлечь из новой местности его помещения, были уже им исчерпаны. Более нельзя было выдумать, и оставалось ожидать происшествия чего-либо снаружи, извне в его тюремную гробницу, где он пропадал с тоски и терял, казалось ему, последние жизненные силы.

Срок отсидки без суда перешел уже на восьмой месяц, томление и упадок духа были чрезвычайные, занятия не шли вовсе, он не мог более оживать себя ничем, перестал говорить сам с собою, как-то машинально двигался по комнате или лежал на кровати в апатии. По временам являлись приступы тоски невыносимые, и чаще и дольше прежнего он сидел на полу. Сон был тревожный, сновидения все в том же печальном кругу и с кошмарами.

Сказал Холманский: “И гибнет богатство это от несчастных случаев: родил он сына, и ничего нет в руках у него. Как вышел он нагим из утробы матери своей, таким и отходит, каким пришел, и ничего не возьмет от труда своего, что мог бы он понести в руке своей. И это тяжкий недуг: каким пришел он, таким и отходит. Вообще же говоря, у Бога имен столько, сколько слов во всех языках мира, и не только слов, но и букв. Каждая буква - есть Бог. Ибо замаскированный Бог всегда участвует в карнавале жизни и на него указывают такие привычные слоги и слова: Ан, Аль, Иль, Аз, Альфа, Омега, Он, Один, Адонай, Ис, Из, Ос, Ов, Эль, Ель, Бог, Дин, Дон, Маран, Ра, Яхве, Иегова, Саваоф и так да-

лее и тому подобное... Недолго будут у него в памяти дни жизни его; потому Бог и вознаграждает его радостью сердца его”.

Что его ожидает в Австралии? Пока он не знает! Кое-что после Штатов его там тоже не устраивает - вредные насекомые, акулы в океане, “злые” штрафы на дорогах, отсутствие в каждом apartment-комплексе gum, swimming pool-ов и т.п., нехватка некоторых магазинов, которые были в Штатах, но не будут в Австралии.

В медленных страхах дожито было до 22 декабря 1849 года. В этот день, как во все прочие дни, проведя ночь беспокойно до света, часов в шесть Холманский поднялся с постели и по уставившемуся уже давно разумному обычаю инстинктивно направился к окну, встал на подоконник, отворил форточку, дышал свежим воздухом, а вместе с тем и воспринимал впечатления погоды нового дня. И в этот день Холманский был в таком же упадке духа, как и во все прочие дни.

Но его это не пугало! Он изменил свое отношение к жизни! Он будет воспринимать Австралию такой, какая она есть, и пытаться подстроить себя под нее. Он будет пытаться “интегрироваться” с этой страной, так как он уже устал от непостоянства и вечного поиска.

Когда еще было темно, на колокольне Петропавловского собора прозвучали переливы колоколов и за ними бой часов, возвестивший половину седьмого. Вскоре Холманский разглядел, что земля покрыта новым выпавшим снегом. Послышались какие-то голоса, и сторожа, казалось, чем-то были озабочены. Заметив что-то новое, Холманский дольше остался на окне и все более замечал какое-то происходящее необыкновенное движение туда и сюда и разговоры спешивших крепостных служителей. При виде такого небывалого еще никогда явления в крепости, несмотря на упадок духа, Холманский вдруг оживился; любопытство и внимание ко всему происходившему возрастали с каждой минутой.

И Холманский видит: из-за собора выезжают кареты - одна, две, три... - и все едут и едут без конца и устанавливаются вблизи белого дома и за собором. Потом глазам его предстало еще новое зрелище: выезжал многочисленный отряд конницы, эскадроны жандармов следовали один за другим и устанавливались около карет.

“Господи ты Боже мой, что бы это все значило? Уж не похороны ли снова какие? Но для чего же пустые кареты? Уж не настало ли окончание нашего дела?”

Очень хочется надеяться, что он наконец-таки найдет именно ту страну, в которой ему все будет хорошо!

Да ладно вам, профессор. Возьмите самолет, как говорится, и слетайте в Нью-Йорк. То, что выбрасывать мусор можно прямо из кармана на асфальт, он именно в Америке узнал. Идет эдакий выводок черных, а за ними шлейф из банок пепси, оберток всяческих. И это заметьте не в Бруклине каком-нибудь, а на Wall street. Он уж не говорит про метро, обильно политое мочой.

У Холманского часто забилося сердце.

Нетрудно было догадаться, что эти кареты приехали за ними!.. Неужели конец?! Вот и дождался Холманский последнего дня! С 22 апреля по 22 декабря, 8 месяцев сидел он взаперти. А теперь что будет?!

Крепостные служители в серых шинелях несут какие-то платья, перекинутые через плечи; они идут скоро вслед за офицером, направляясь к их коридору. Слышно, как они вошли в коридор; зазвенели связки ключей, и стали отворяться кельи заключенных.

Наконец и до Холманского дошла очередь; вошел один из знакомых офицеров со служителем; ему принесено было его платье, в котором он был взят, и, кроме того, новые теплые носки. Ему было сказано, чтобы он оделся и надел носки, так как погода морозная.

Давайте все же сравнивать корректно. Вы жили, понимаете ли, в тихом вылизанном месте, и на машине ездили в сити. А уж если хотите корректности, то вы из машины-то выйдете, да прогуляйтесь, поймете много экспиренса.

6.

Холманский оделся скоро. Связанные из овечьей шерсти носки были толстые, и он едва мог натянуть сапоги. Вскоре перед ним отворилась дверь, и он вышел. Из коридора он выведен был на крыльцо, к которому подъехала сейчас же карета, и Холманскому предложено было в нее сесть. Когда он влез, то вместе с ним сел в карету и солдат в серой шинели - карета была двухместная.

Они двинулись, колеса скрипели, катясь по глубокому, морозом стянутому снегу. Оконные стекла кареты были подняты и сильно замерзшие, видеть через них нельзя было ничего. Была какая-то остановка: вероятно, поджидались остальные кареты. Затем началось общее и скорое движение.

Они ехали. Холманский ногтем отскабливал замерзший слой влаги от стекла и смотрел секундами - оно тускнело сейчас же.

- Куда мы едем, ты не знаешь? - спросил Холманский.

- Не могу знать, - отвечал солдат.

- А где же мы едем теперь? Кажется, выехали на Выборгскую?

Он что-то пробормотал. Холманский усердно дышал на стекло, отчего удавалось увидеть кое-что из окна. Так ехали они несколько минут, переехали Неву.

Поехали по Воскресенскому проспекту, повернули на Кировую и на Знаменскую. Здесь опустил Холманский быстро и с большим усилием оконное стекло. Солдат не обнаружил при этом ничего неприязненного, и Холманский с полминуты любовался давно не виданной картиной пробуждающейся в ясное зимнее утро столицы. Прохожие шли и останавливались, увидев перед собою небывалое зрелище - быстрый поезд экипажей, окруженных со всех сторон скачущими жандармами с саблями наголо! Люди шли с рынков; над крышами домов поднимались повсюду клубы густого дыма только что затопленных печей, колеса экипажей скрипели по снегу. Холманскому слышалось множество голосов.

Конечно, Михаил Бахтин касается только некоторых проблем творчества Достоевского; специально избирает некоторые стороны его и подходит к ним по преимуществу и даже почти исключительно со стороны формы этого творчества. Бахтина заинтересовали некоторые основные, почти невольно из всей социально-психологической природы Достоевского вытекающие приемы конструкции его романов (и повестей), определившие их общий характер. В сущности говоря, формальные приемы творчества, о которых говорит Бахтин, вытекают все из одного основного явления, которое он считает особо важным у Достоевского. Это явление есть многоголосность. Бахтин даже склонен считать Достоевского "основателем" полифонического романа.

Что такое, по Бахтину, эта многоголосность?

“Множественность самостоятельных и неслиянных голосов в сознании, подлинная полифония полноценных голосов действительно является основной особенностью романов Достоевского”, - говорит он.

При том... “сознание героя дано как другое, чужое сознание, но в то же время оно не опредмечивается, не закрывается, не становится простым субъектом авторского сознания”.

Холманский выглянул в окно и увидел впереди и сзади карет эскадроны жандармов. Вдруг скакавший близ его кареты жандарм подскочил к окну и повелительно и грозно закричал: “Не отгуливай!” Тогда солдат спохватился и поспешно закрыл окно. Опять Холманский должен был смотреть в быстро исчезающую щелку. Выехали на Лиговку и затем поехали по Обводному каналу.

И это относится не только к герою, а вообще к героям, или, вернее, - к действующим лицам романов Достоевского. Бахтин хочет сказать, что Достоевский, создавая своих действующих лиц, отнюдь не делает их масками своего “я” и не располагает их в известной системе взаимоотношений, которая, в конце концов, привела бы к какому-то заранее поставленному себе авторскому заданию.

Действующие лица у Достоевского развиваются совершенно самостоятельно и высказываются (а в их “высказываниях”, как правильно отмечает Бахтин, заключается соль романов) независимо от автора, согласно логике того основного жизненного принципа, который является доминантой данного характера. Действующие лица Достоевского живут, борются и в особенности спорят, исповедываются друг другу и т. д., нисколько не насилюемые автором. Автор, по мнению Бахтина, как бы дает каждому из них абсолютную автономию, и в результате столкновения этих автономных лиц, словно независимых от самого автора, является вся ткань романа.

Езда эта продолжалась минут тридцать. Затем повернули направо и, проехав немного, остановились; карета отворилась перед Холманским, и он вышел.

С замиранием сердца посмотрев кругом, Холманский увидел знакомую местность - их привезли на Семеновскую площадь. Она была покрыта свежеевпавшим снегом и окружена войском, стоявшим в каре. На валу вдали стояли толпы народа и смотрели на арестованных; была тишина, утро ясного зимнего дня, и

солнце, только что взошедшее, большим красным шаром блистало на горизонте сквозь туман сгущенных облаков.

Подумать только, солнца не видел Холманский восемь месяцев, и представшая глазам его чудесная картина зимы и объявлявший со всех сторон воздух произвели на Холманского опьяняющее действие! Холманский ощущал неопишное блаженство, и несколько секунд забыл обо всем. Из этого забвения в созерцании природы выведен он был прикосновением посторонней руки: кто-то взял его бесцеремонно за локоть с желанием продвинуть вперед и, указав направление, сказал: "Вон туда ступайте".

Само собой разумеется, при таком построении автор не может рассчитывать на то, что все его произведение в конечном счете докажет какой-то дорогой автору тезис. По этому поводу Бахтин утверждает даже, что в настоящее время роман Достоевского является, может быть, самым влиятельным образцом не только в России, где под его влиянием в большей или меньшей степени находится вся новая проза, но и на Западе. За ним, как за художником, следуют люди с различнейшими идеологиями, часто глубоко враждебными идеологии самого Достоевского: порабощает его художественная воля... Художественная воля не достигает отчетливого теоретического осознания. Кажется, что каждый, входящий в лабиринт полифонического романа, не может найти в нем дороги и за отдельными голосами не слышит целого. Часто не схватываются даже смутные очертания целого. Художественные же принципы сочетания голосов вовсе не улавливаются ухом.

Можно сказать даже, что эти принципы не только остаются нераскрытыми, но даже, пожалуй, отсутствуют. Это оркестр не только без дирижера, но и без композитора, партитуру которого он выполнял бы. Это есть столкновение интеллектов, столкновение воли в атмосфере величайшего со стороны автора попустительства.

В таком углубленном виде понимает полифонию Бахтин, когда он говорит о полифонизме Достоевского.

Проштал Холманский сам для себя: "Он даже не видел и не знал солнца: ему покойнее, нежели тому. А тот, хотя бы прожил две тысячи лет и не наслаждался добром, не все ли пойдет в одно место? Все труды человека - для рта его, а душа его не насыщается. Какое же преимущество мудрого перед глупым, какое -

бедняка, умеющего ходить перед живущими? Лучше видеть глазами, нежели бродить душою. И это - также суета и томление духа! Мир движется только через удовольствие, через смакование. Через удовольствие совокупления продолжается жизнь”.

Холманский подвинулся вперед. Его сопровождал солдат, сидевший с ним в карете. При этом Холманский увидел, что стоит в глубоком снегу, утонув в него всей ступней; он почувствовал, что его обнимает холод. Петрашевцы были взяты 22 апреля в весенних платьях и так в них и вывезены 22 декабря на площадь.

Быстрый шаг свойственен натурам горячим, которые умеют быстро принимать решения. Чаще всего это невысокие люди, и во время ходьбы они имеют привычку глядеть по сторонам. Если скороходы при этом еще и размахивают руками, то они ясно видят цель и готовы немедленно к ней подступиться. Медленный шаг чаще всего принадлежит тем, кто, как ни странно, может на самом деле двигаться весьма быстро - то есть высоким людям или среднего роста, но с длинными ногами. Такой же журавлинный шаг свойственен романтикам и чудакам, которые целиком погружены в свои мысли, а потому двигаются порой автоматически, в полной задумчивости. Дрожащая походка, конечно, характерна для пожилых и людей с больными ногами. Но, подрагивая при ходьбе ногами, передвигаются и здоровые, излишне энергичные натуры, сжигая, таким образом, избыток адреналина. Вперевалочку ходят люди, у которых полные бедра или ноги. Такая походка отличает и широкоплечих мужчин и женщин с длинными руками. Холманский заметил, что обладатели подобной походки добры, великодушны, у них хороший характер, они чрезвычайно деятельны. А вот те, кто обычно держит руки в карманах, скорее всего, критичны и скрытны, стремятся к лидерству в семье и в коллективе. Бывает, что человек не отличается подобными чертами характера, но, переживая какой-нибудь стресс, меняет походку: погруженный в невеселые мысли, он и не замечает, как кладет руки в карманы, волочит ноги и смотрит не вперед или вверх, а на свои ботинки. Ну а если вы встретили на улице женщину с нарочито вызывающей походкой, на которую оборачиваются все проходящие мимо мужчины, - знайте: перед вами особа, абсолютно уверенная в своей неотразимости. Именно в этом заключен секрет обворожительной поступи многих известных супермоделей: они знают цену себе и нарядам, которые

демонстрируют. И еще одна хитрость: двигаясь по подиуму, манекенщицы слегка выдвигают вперед нижнюю часть живота, что делает походку весьма сексапильной. И, конечно, им в голову не придет во время дефиле шаркать, сутулиться и опускать голову.

Приказано было двигаться вперед. Холманский увидел налево от себя среди площади воздвигнутую постройку - подмости, помнится, квадратной формы величиной в 6-8 метров со входной лестницей, и все обтянуто было черным трауром - их эшафот. Тут же увидел Холманский кучку товарищей, столпившихся вместе и протягивающих друг другу руки и приветствующих один другого после столь насильственной злополучной разлуки. Когда Холманский взглянул на лица их, то был поражен страшной переменой; там стояли: Петрашевский, Львов, Филиппов, Спешнев и некоторые другие. Лица их были худые, замученные, бледные, вытянутые, у некоторых обросшие бородой и волосами. Особенно поразило Холманского лицо Спешнева: исчезли красота и цветущий вид; лицо его было болезненно, желто-бледно, со впалыми щеками, глаза как бы ввалились и под ними была большая синева; длинные волосы и большая борода состарили его.

Правда, Бахтин как будто бы допускает какое-то высшего порядка художественное единство в романах Достоевского, но в чем оно заключается, если эти романы полифоничны в указанном выше смысле, - понять несколько трудно. Если допустить, что Достоевский, заранее зная внутреннюю сущность каждого действующего лица и жизненные результаты их конфликта, комбинирует эти лица таким образом, чтобы при всей свободе их высказываний получилось, в конце концов, каким-то образом очень крепко внутренне спаянное целое, тогда надо было бы сказать, что все построение о полноценности голосов действующих лиц Достоевского, то есть об их совершенной независимости от самого автора, должно было бы быть принято с весьма существенными оговорками. Достоевскому, если не при окончательном выполнении романа, то при первоначальном его замысле, при постепенном его росте, вряд ли был присущ заранее установленный конструктивный план, что, скорее мы имеем здесь дело действительно с полифонизмом типа сочетания, переплетения абсолютно свободных личностей. Достоевский, может быть, сам был до крайности и с величайшим напряжением заинтересован, к чему же приведет, в конце концов, идеологический и эти-

ческий конфликт созданных им (или, точнее, создавшихся в нем) воображаемых лиц.

Петрашевский, тоже сильно изменившийся, стоял нахмурившись - он был обросший большой шевелюрой и густой, слившейся с бакенбардами бородой. "Должно быть, всем было одинаково хорошо", - думал Холманский. Все эти впечатления были минутные; кареты все еще подъезжали, и оттуда один за другим выходили заключенные в крепости. Вот Плещеев, Достоевский, Ханыков, Кашкин, Европеус... Все обнялись с особенным чувством кратковременного свидания перед неизвестной разлукой. Вдруг все их приветствия и разговоры прерваны были громким голосом подъехавшего на лошади генерала, как видно, распоряжавшегося всем, увековечившего себя в памяти всех следующими словами:

- Прекратить! Отставить прощание! Ставьте их! - закричал он.

Генерал не понял, что они были только под впечатлением свидания и еще не успели помыслить о предстоящей им смертной казни; многие же из них были связаны искренней дружбой, некоторые родством - как двое братьев Дебу. Вслед за громким криком генерала явился какой-то чиновник со списком в руках и, читая, стал вызывать каждого по фамилии.

Таким образом, Бахтину удалось не только установить с большей ясностью, чем это делалось кем бы то ни было до сих пор, огромное значение многоголосности в романе Достоевского, роль этой многоголосности как существеннейшей характерной черты его романа, но и верно определить ту чрезвычайную, у огромного большинства других писателей совершенно невысказанную, автономность и полноценность каждого "голоса", которая потрясающе развернута у Достоевского.

Осенний сумрак - ржавое железо
Скрипит, поет и разъедает плоть...
Что весь соблазн и все богатства Креза
Пред лезвием твоей тоски, господь!

Я как змеей танцующей измучен
И перед ней, тоскуя, трепещу,
Я не хочу души своей излучин,
И разума, и музы не хочу.

Достаточно лукавых отрицаний
Распутывать извилистый клубок;
Нет стройных слов для жалоб и признаний,
И кубок мой тяжел и неглубок.

К чему дышать? На жестких камнях пляшет
Больной удав, свиваясь и клубясь,
Качается, и тело опояшет,
И падает, внезапно утомясь.

И бесполезно, накануне казни,
Видением и пеньем потрясен,
Я слушаю, как узник, без боязни
Железа визг и ветра темный стон!

7.

Сразу же вызван был Петрашевский, за ним Спешнев, потом Момбелли, и затем шли все остальные; всех их было 23 человека (Холманский поставлен был по ряду восьмым). После того подошел священник с крестом в руке и, встав перед ними, сказал: “Сегодня вы услышите справедливое решение вашего дела. Последуйте за мной”. Их повели на эшафот, но не прямо на него, а обходом, вдоль рядов войск, сомкнутых в каре. Такой обход назначен был для назидания войска, и именно Московского полка, так как между петрашевцами были офицеры, служившие в этом полку, Момбелли, Львов...

Бахтин говорит, что все играющие действительно существенную роль в романе голоса представляют собой “убеждения” или “точки зрения на мир”. Это, конечно, не просто теории, - это теории, вытекающие как бы из самого “состава крови” действующего лица, неразрывно с ним связанные, составляющие основную его природу. Кроме того, эти теории являются активными идеями, они понуждают действующих лиц к определенным поступкам, из них следуют определенные индивидуальные и социальные нормы поведения, - словом, они имеют глубоко этический социальный характер, положительный или отрицательный, то есть действительно влекущий личность к общественности или, наоборот, - как это особенно часто бывает у Достоевского,

- отрывающий личность у нее. Романы Достоевского суть великолепно обставленные диалоги.

Первый раз это случилось восемь месяцев назад. Тихим сентябрьским вечером Холманский возвращался с работы. Дорога его проходила сквозь парк, в дебрях которого притаился ладненький усадебный домик. И этот парк, и эта усадьба принадлежали некогда известным князьям. Теперь же все изменилось. Парк остался парком, но не таился больше в гуще леса, а стал оазисом чистой природы в пыльном шумном городе. Что касается самой усадьбы, то в ней приютилось учреждение, которых в Москве тысячи. Холманский неторопливо шел по пустынной аллее, прислушиваясь к накапывающему дождю. Дождь монотонно барабанил по асфальту, редющим листьям уставших от летнего зноя деревьев.

Барабанил победоносно, ведь он прогнал со скамеек молодежь с пивом и старушек со сплетнями, лишь пьяный человек в соломенной шляпе и босой сиротливо скрючился на скамейке и деловито похрапывал. И еще дождь не поборол Холманского: он привычен к дождю, его дождем не напугаешь. Холманский тихо продолжал топтать по дорожке, углубляясь в то непередаваемое настроение, которое создавало все вокруг: сереющая в сумерках аллея, ленивый монотонный дождь, тихая музыка доносившаяся от метро. Особенно музыка. Исполняемая двумя озябшими музыкантами, она птицей уносилась в небо, а потом мягким покрывалом опускалась на парк вместе с дождем. Звуки трубы и аккордеона, густые, насыщенные, грустные и вместе с тем жизнеутверждающие. Не известно что, может и музыка, но что-то заставило Холманского тогда остановиться и посмотреть на тающие в туманной дымке деревья. От неожиданности Холманский замер: там, среди деревьев, в десятке шагов от него стояла девушка в одеждах девятнадцатого века. Девушка заметно нервничала: то всматривалась в завесу дождя, то вдруг начинала мерить шагами расстояние от одного дерева до другого. Но поразило Холманского не это: девушка была полупрозрачной, как дождь, который виден глазу, но особо не скрывает того, что судорожно пытается загородить. Холманский сквозь свои очки-колеса продолжал смотреть на нее, а она, видимо, что-то решив для себя, безнадежно опустила голову, ссутулилась, повернулась к нему спиной и растаяла в воздухе.

Однако! В привидения Холманский вроде бы не верил, но вывод напрашивался сам собой, причем не двусмысленный. Не успел Холманский прийти в себя, как навалилось новое потрясение: по дороге прямо на него скакал такой же полупрозрачный гусар. В сотне метров от него он остановился, выхватил саблю, склонился и рубанул в полумрак. Когда он распрявился и убрал саблю, в руке его была охапка призрачных роз. Всадник ударил коня в бока шпорами, проскакал сквозь Холманского, прежде чем он успел отпрыгнуть, и тоже растворился в воздухе. Прошла слякотная осень, наступила зима. С тех пор Холманский видел их еще несколько раз, но, как и в первый день, они растворялись, так и не встретив друг друга. Холманский как сейчас помнит тот студеный январский вечер. Холманский намеренно сидел на парковой скамейке, дожидаясь появления призрачной девушки. Собственно он дожидался ее уже четвертый день подряд и очень надеялся, что не напрасно. Она все-таки появилась из ничего и принялась всматриваться в заснеженную даль. Холманский не торопился, ждал. Чего? Да просто интересно было знать, что произойдет, если они все же встретятся. Поэтому, когда она в который раз безнадежно опустила голову, Холманский вскочил со скамейки и закричал:

- Девушка! Тьфу ты черт... Сударыня, остановитесь! Пойдите! На "сударыню" она повернула голову.

Вслушалась, всмотрелась в непроглядную темень. На какое-то мгновение она стала почти осязаемой. А может быть, ему так показалось? Но второму призраку хватило и этого мгновения. Всадник не заставил себя ждать, выскочил из ночной тьмы, сверкнув лысиной, не забыв приостановиться, чтобы срезать неизменные розы, и снова рванул коня вперед. Он скакал ей навстречу, он видел ее, а она увидела его... К сожалению, это было последнее, что увидел Холманский. Когда он очнулся, была непроглядная ночь. Вокруг ни души. Холманский посмотрел на часы, но вместо них увидел свою полупрозрачную руку и серебрящийся в свете фонаря сугроб. Вот после этого потрясения Холманский приходил в себя значительно дольше. Но пришел. Теперь он живет в этом усадебном домике. Покинуть парк он почему-то не может: как на стену натывается. Не ест, не спит, да и не хочется. Призраков больше не видит, освободил он их, что ли? Его вообще никто не видит, с Холманским некому поговорить.

Лишь один только раз на него как-то странно посмотрела уборщица и, не сказав ни слова, брякнулась без сознания.

Холманский вспомнил, как однажды на опушке леса он сел с Библией под высокий, могучий, толстый, одинокий, гордый дуб, ветви которого были узловатые, прочные, разлапистые, раскинутые, жадные, заботливые, с листьями зелеными, по контуру идущие волною, грубыми, плотными, широкими, а ствол дуба, к которому спиной привалился Холманский, был необъятным, надежным, пузатым, крепким, морщинистым, шершавым, корявым, и этот ствол опирался на старые, сильные, ненасытные корни. Закрыв глаза, Холманский подумал: “Поразительно, что священниками фараонов Египта был создан конструктор из нескольких букв (алфавит), из которых можно составить все, что угодно. Не говори: “отчего это прежние дни были лучше нынешних?”, потому что не от мудрости ты спрашиваешь об этом. Хороша мудрость с наследством, и особенно для видящих солнце: потому что под сенью ее то же, что под сенью серебра; но превосходство знания в том, что мудрость дает жизнь владеющему ею. Смотри на действие Божие: ибо кто может выпрямить то, что Он сделал кривым? Во дни благополучия пользуйся благом, а во дни несчастья размышляй: то и другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против Него. Всего насмотрелся я в суетные дни мои: праведник гибнет в праведности своей; нечестивый живет долго в нечестии своем. Не будь слишком строг, и не выставляй себя слишком мудрым; зачем тебе губить себя? Не предавайся греху, и не будь безумен: зачем тебе умирать не в свое время? Хорошо, если ты будешь держаться одного и не отнимать руки от другого; потому что кто боится Бога, тот избежит всего того. Мудрость делает мудрого сильнее десяти властителей, которые в городе”.

Впереди шел священник с крестом в руке, за ним все шли один за другим по глубокому снегу. В каре стояли несколько полков, потому обход по всем четырем рядам был довольно продолжительный. Перед Холманским шагал высокий Павел Николаевич Филиппов, впоследствии умерший от раны, полученной им при штурме Карса в 1854 году, сзади Холманского шел Константин Дебу. Последними в этой процессии были: Кашкин, Европеус и Пальм.

Во главе мирового масонства стоял Всемирный Масонский Верховный Совет, состоявший из Достопочтимых и Премудрых. В

этом Совете русским не было разрешено иметь свое собственное место. Русские масоны входили в него вместе с Французской делегацией. Вследствие этой зависимости, все свои решения русские масоны должны были координировать с французскими. Согласно мнению Нины Берберовой, Всемирный Верховный Совет влиял в разные годы с различной силой в странах республиканских, менее сильно в странах, где правили монархи, конституционные и самодержавные". Если до 1914-1915 годов в России можно было кое-что сделать, то в эмиграции можно было влиять друг на друга. Влиять на Ленина, а затем и на Сталина никому не приходило в голову. 50 процентов масонов Ленин ликвидировал в первые годы после революции, часть была отпущена на Запад, а остальные были прикончены Сталиным в Процессах. Задача масонства влиять на внешнюю и внутреннюю политическую жизнь мира русскими масонами никогда не могла быть осуществлена...

Или, возможно, это история равняется на географию. По большей части писатель оказывается за решеткой, приняв некую сторону в политическом споре, что, конечно же, признак истории. (Отсутствие подобного спора, несомненно, является главной характеристикой географии.) Он может даже утешаться таким объяснением своего затруднительного положения, которое к нынешнему дню приобрело вид благородной традиции. Однако с этим объяснением в камере он долго не протянет, - слишком общее, оно не сделает ее комфортнее. Неважно, в какой исторический колокол звонит тюрьма - он всегда пробуждает вас - обычно в шесть утра - к неприятной реальности вашего собственного срока.

Их интересовало, что будет с ними далее. Вскоре их внимание обратилось на серые столбы, врытые с одной стороны эшафота. Арестанты шли переговариваясь. "Что с нами будут делать? Для чего ведут нас по снегу? Для чего столбы у эшафота? Привязывать будут, военный суд - казнь расстрелянием. Неизвестно, что будет; вероятно, всех на каторгу..."

В дальнейшем русское уголовное законодательство в определенной мере идет по пути византийского законодательства в части норм, предусматривающих смертную казнь.

Псковская судная грамота 1497 года значительно расширяет случаи применения смертной казни по сравнению с Двинской уставной грамотой. Смертная казнь устанавливается здесь за воровство в церкви, конокрадство, государственную измену,

поджоги, кражу, совершенную в посаде в третий раз. Судя по всему, Псковская грамота, устанавливая смертную казнь, ставила задачу избавиться от наиболее опасных для общества элементов.

На смертной казни вплоть до конца XV века лежал отпечаток обычая кровной мести. Став официальным государственным установлением, смертная казнь преследовала, прежде всего, цель возмездия, а также неразрывно связанную с ним цель устрашения. Вместе с тем напрашивается мысль, что с образованием и развитием государственности на Руси верховная власть проявляла определенную заботу о жизни, собственности и правах граждан, а также и о своей собственной безопасности. Поэтому смертная казнь применялась также в целях безопасности всего общества и относительного спокойствия отдельных граждан.

Дальнейшее расширение круга преступных деяний, за которые полагалась смертная казнь, произошло в Судебниках 1497 и 1550 годов и продолжалось в дальнейшем. Достаточно сказать, что, например, в Уложении 1649 года смертная казнь могла быть назначена уже за 63 преступления, а по Воинским артикулам Петра 1 и другим уголовно-правовым актам этого времени - в 123 случаях.

Мрачная затайливость и жестокость способов исполнения смертной казни поражают воображение. Так, в XVII веке это были: отсечение головы, повешение, утопление, сожжение, заливание горла расплавленным металлом, четвертование, колесование, закапывание в землю по плечи, посадение на кол...

Такого рода мнения высказывались громко то спереди, то сзади от Холманского, и они медленно пробирались по снежному пути и подошли к эшафоту. Войдя на него, они столпились все вместе и опять обменялись несколькими словами. С ними вместе вошли и сопровождавшие их солдаты и разместились за ними. Распоряжались офицер и чиновник со списком в руках. Начались вновь выкликание и расстановка, причем порядок был несколько изменен. Арестантов поставили двумя рядами перпендикулярно к городскому валу. Один ряд, меньший, начинавшийся Петрашевским, был поставлен с левого фаса эшафота. Там были: Петрашевский, Спешнев, Момбелли, Дуров, Григорьев, Толль, Ястржембский, Достоевский Федор.

При этих условиях глубокая самостоятельность отдельных голосов становится, так сказать, особенно пикантной. Приходится предположить в Достоевском как бы стремление ставить различные жизненные проблемы на обсуждение этих своеобразных, трепещущих страстью, полыхающих огнем фанатизма “голосов”, причем сам он как бы только присутствует при этих судорожных диспутах и с любопытством смотрит, чем же это окончится и куда повернется дело? Это в значительной степени так и есть.

Хотя Бахтин стоит в своей книге главным образом на точке зрения формального исследования приемов творчества Достоевского, но он вовсе не чуждается и некоторых экскурсий в область социологического их выяснения. Он сочувственно цитирует Кауса (“Достоевский и его судьба”) и в основном соглашается с его мнением. Приведем и мы (в переводе) некоторые положения Кауса, цитируемые Бахтиным.

В другом ряду стоял Кувалдин Юрий, потом Холманский, подле него Дебу-старший, за ним его брат Ипполит, затем Плещеев, Тимковский, Лесин из “Независимой газеты”, Головинский, Кашкин, Европеус и Пальм. Всех было 23 человека. Когда они были уже расставлены в означенном порядке, войскам скомандовано было “На караул”, и этот ружейный прием, исполненный одновременно несколькими полками, раздался по всей площади свойственным ему ударным звуком. Затем скомандовано было нам: “Шапки долой!” - но арестанты к этому не были подготовлены, и почти никто не исполнил команды; тогда повторено было несколько раз: “Снять шапки, будут конфирмацию читать” - и с запоздавших приказано было стащить шапку сзади стоявшему солдату.

Сегодня многие дома стоят на снесенных кладбищах. Человек кощунственно поправ святыни, проложив по ним канализации. Тем самым он открыл inferнальные врата, через которые поднимаются темные силы, некроэнергия. В таких местах изменилась карма города. Внутри образовались разломы и трещины, из которых выходят газы; появляются неизвестные биообъекты. Хорошо еще, что они погибают в верхних слоях. А представьте, если они вдруг мутируют и выйдут на поверхность в виде спор?! Кроме того, недавно микробиологи доказали: под землей есть

грибы, споры которых могут жить в легких человека. Страшно даже предположить, что, разносясь в пространстве доступных для себя систем, они попадут в систему метрополитена или водопровода. Заражены будут тысячи и тысячи людей.

И воскликнул в этот момент Холманский: "Пусть нам это нравится, или не нравится, но мы не в силах изменить, переделать, запретить, или изобрести новый мировой язык! Следовательно, нельзя запретить, изменить, переделать Бога, а Бог - один, и имя ему - Х... Отсюда - крест (Херэст), как начало всего, с пересечения двух палочек начинается жизнь. Кто - как мудрый, и кто понимает значение вещей? Мудрость человека просветляет лицо его, и суровость лица его изменяется. Я говорю: слово царское храни, и это ради клятвы пред Богом. Не спеши уходить от лица его, и не упорствуй в худом деле; потому что он, что захочет, все может сделать. Где слово царя, там власть; и кто скажет ему: "что ты делаешь?" Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла: сердце мудрого знает и время и устав; потому что для всякой вещи есть свое время и устав; а человеку великое зло оттого, что он не знает, что будет; и как это будет - кто скажет ему?"

Достоевский - это хозяин дома, который умеет хорошо обойтись с самыми пестрыми гостями, с каким угодно дико составленным обществом, причем он владеет им и умеет держать его в напряжении... Здоровье и сила, самый радикальный пессимизм и пламенная вера в искупление, жажда жизни и смерти - все это борется неразрешающейся борьбой; насилие и доброта, высокомерие и самоотверженное смирение, необозримая полнота жизни и т. д. Ему не нужно насиловать своих действующих лиц, ему не нужно произносить последнее слово поэта. Достоевский многогранен и непредвиден в своих движениях, его произведения насыщены силами и намерениями, которые, казалось бы, разъединены друг от друга непроходимыми пропастями.

История масонства до сих пор составляет специальный и очень сложный предмет исследования, в силу того, что мало что сохранилось из на самом деле достоверных источников. В общем своем виде, литература о масонстве представляет вымышленные факты, зачастую отсебятину, в которую приходится верить, так как другого ничего нет. Очень много критики было вылито на голову бедных масонов. В чем их только не обвиняли! Их деятельности приписывали все смертные грехи, какие только су-

ществовали на свете. Такая позиция критики исходит из того, что масонство, как тайное общество, имело конспиративный характер. А все тайное, скрытое от глаз людей всегда было пугающим. Масонство не могло держаться открыто на людях, быть общественным достоянием в силу тех клятв, которые они давали при вступлении в ложу, в силу тех ценностей, которыми масоны дорожили и которые потеряли бы смысл при своем рассекречивании и оглашении. Некоторые заявляют, что ритуалы, обрядность и многообразие степеней все это представляет наивную атрибутику масонской жизни. Вопрос внешней стороны масонства служил поводом для усилий общественности, тех, кто по слухам представлял в уме всю церемонию проведения масонских сессий. По моему мнению, те, кто судит о масонстве не зная его, не бывая и не состоя в нем, не знают вследствие этого и истинного содержания их учения. Все критики своего рода обыватели.

Кроме аномальных, необъяснимых явлений подземелья таят немало и других опасностей. Например, в канализационных отстойниках издревле живут мутировавшие насекомые и масса крыс. Крыс там всегда достаточно, но иногда бывают вспышки, когда они мигрируют по тоннелям просто полчищами. Значит, на том месте, откуда они бегут, будет либо крупный пожар, либо провал, либо разрыв труб. Такое нередко происходит при миграциях крыс. Причем они уходят, как правило, еще за сутки до начала катастрофы. Кроме крыс, вольготно себя чувствуют под землей и другие твари. Подпольщикам доводилось находить мутировавшую полуметровую сколопендру, ухвертку величиной с сардельку и прочих гадов, достигших просто невероятных размеров. В клоаках, которые источают, по определению Виктора Гюго, “смрадный дух Мефистофеля и его свиты”, водится даже рыба!

В дальнейшем (после жесточайших петровских указов) российское законодательство о смертной казни развивалось иначе. Первую попытку отказаться от этого наказания сделала дочь Петра I императрица Елизавета. В 1744 году Елизавета в опубликованном 7 мая сенатском указе предписала прекратить на территории России экзекуции над приговоренными к смертной казни, заменив эту меру другими наказаниями. Приостановление исполнения приговора к смертной казни привело к тому, что тюрьмы оказались переполнены людьми, осужденными к этому нака-

занию. В 1754 году издается указ, в котором подтверждается приостановление приговора смертной казни, а чтобы преступники не оставались без наказания, предписывалось их ссылать, наказывать кнутом, рвать ноздри и клеймить. В том же году была создана очередная кодификационная комиссия, в задачу которой входило составление проекта нового уложения. В апреле 1755 года комиссия направила в сенат “судную” и “криминальную” части проекта. В “криминальной” части была снова закреплена смертная казнь, но в соответствии с указами сената 1753 года она могла заменяться другими наказаниями.

Всем было холодно, и шапки на них были хотя и весенние, но все же закрывали голову. После того чиновник в мундире стал читать изложение вины каждого в отдельности, становясь против каждого. Всего невозможно было уловить, что читалось: читалось скоро и невнятно, да и притом все содрогались от холода. Когда дошла очередь до Холманского, то слова, произнесенные им в память Фурье, “о разрушении всех столиц и городов”, занимали видное место в его вине. Чтение это продолжалось добрых полчаса. Все страшно зябли. Холманский надел шапку и заворачивался в холодную шинель, но вскоре это было замечено, и шапка с него была сдернута рукой стоявшего за ним солдата. По изложению вины каждого конфирмация оканчивалась словами: “Полевой уголовный суд приговорил всех к смертной казни расстрелянием, и 19 сего декабря государь император собственноручно написал: “Быть по сему”.

Каус полагает, что мир Достоевского является чистейшим и подлиннейшим выражением духа капитализма. Те миры, те планы, - социальные, культурные и идеологические, - которые сталкиваются в творчестве Достоевского, раньше довлели себе, были органически замкнуты, упрочены и внутренне осмыслены в своей отдельности. Не было реальной, материальной плоскости для их существенного соприкосновения и взаимного проникновения. Капитализм уничтожил изоляцию этих миров, разрушил замкнутость и внутреннюю идеологическую самодостаточность этих социальных сфер. В своей всенивелирующей тенденции, не оставляющей никаких иных разделений, кроме разделения на пролетария и капиталиста, капитализм столкнул и сплел эти миры в своем противоречивом становящемся единстве. Эти миры еще не утратили своего индивидуального облика, выработанного веками, но они

уже не могут дозветь себе. Их слепое сосуществование и их спокойное и уверенное идеологическое взаимное игнорирование друг друга кончились; и взаимная противоречивость их и в то же время их взаимная связанность раскрылись со всей ясностью. В каждом атоме жизни дрожит это противоречивое единство капиталистического мира и капиталистического сознания, не давая ничему успокоиться в своей изолированности, но и в то же время ничего не разрешая. Дух этого становящегося мира и нашел наиболее полное выражение в творчестве Достоевского.

“Спору нет, - пишет Гюго в романе “Отверженные”, - парижская клоака последние десять веков была язвой города, но клоака - это порок, который у города в крови. Кто хочет жить в городе, должен смириться с его смрадом”. Слова знаменитого француза как нельзя лучше отражают сегодняшнюю действительность не только Москвы, но и всех крупных городов России. По мнению подпольщиков, некоторые чиновники только припудрили столичный лик и совершенно забыли, что колосс постепенно становится глиняным. Поэтому провалы (особенно в центре Москвы) сделались чуть ли не обыденным явлением. А ведь в городских подземельях, кроме клоак, есть и исторические памятники. В подземелья лезут все, кому не лень. Одни ищут там приюта, другие, из числа романтиков, надеются найти клады и исторические ценности. Например, библиотеку Ивана Грозного. Кстати, подпольщики тоже пытались ее отыскать. Причем эти поиски проходили под контролем властей.

Они двигались по подземелью в районе Боровицких ворот. В одном месте в стене обнаружили небольшую дверь с маленьким отверстием. Просунули туда телеглаз и на мониторе увидели сундуки - точно такие, как их описывали историки, когда говорили о библиотеке. Ну, подумали, нашли! Но внезапно прорвало водопровод, и весь район затопило. То есть произошла странная и непонятная вещь. После этого подпольщики туда не спускались. Возможно, это была камера, связанная именно с исчезнувшей библиотекой Ивана Грозного, кто знает?

Все стояли в изумлении; чиновник сошел с эшафота. Затем арестантам поданы были белые балахоны и колпаки, саваны, и солдаты, стоявшие сзади, одевали несчастных в предсмертное одеяние. Когда все уже были в саванах, кто-то сказал: “Каковы мы в этих одеяниях!”

И воскликнул в этот момент Холманский: “Есть и такая суета на земле: праведников постигает то, чего заслуживали бы дела нечестивых, а с нечестивыми бывает то, чего заслуживали бы дела праведников. И сказал я: и это - суета! И похвалил я веселье; потому что нет лучшего для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться: это сопровождает его в трудах во дни жизни его, которые дал ему Бог под солнцем. Когда я обратил сердце мое на то, чтобы постигнуть мудрость и обозреть дела, которые делаются на земле, и среди которых человек ни днем, ни ночью не знает сна, - тогда я увидел все дела Божии и нашел, что человек не может постигнуть дел, которые делаются под солнцем. Сколько бы человек ни трудился в исследовании, он все-таки не постигнет этого; и если бы какой мудрец сказал, что он знает, он не может постигнуть этого”.

Шли по нижнему течению реки Неглинки под гостиницей “Россия”. Вдруг впереди за дымкой тумана что-то заблестело. Подойдя ближе, подпольщики увидели: путь им преградило нечто, похожее на дрожащее зеркало. Кто-то осторожно потрогал пальцем, от него пошли разводы, как по воде. Палец остался невредимым и совершенно сухим. Тогда подпольщик сунул всю руку - тоже ничего. Осторожно сунул туда голову и увидел широкое помещение. Но ведь в этом месте вроде должен продолжаться тоннель?! Холманский и еще один его товарищ вошли внутрь. Посмотрели на пол - он сухой, а речка течет над головой. Вот такой эффект. Попытались на пленку все снять, но ничего не получилось. Между тем, счетчик на видеокамере насчитал почти два часа, а наверху прошло четыре. Хотя на самом деле подпольщики находились по ту сторону таинственного “зеркала” не больше десяти минут. Все это произошло на глубине восьми метров: вокруг были в толщах земли только тоннели с силовым кабелем, еще какие-то коммуникации. Наверху, чуть впереди, расположена церковь, рядом двор ГУМа - вот и все, что можно сказать об этом месте. Не исключено - это было окно, через которое можно связываться, допустим, с параллельными мирами. Тому, что люди считают сверхъестественным, рано или поздно найдется научное объяснение. А сами подпольщики называли это явление “тоннелем времени”.

Бахтин дополняет к этому, что самой благоприятной почвой для полифонического романа явилась именно Россия времен Достоевского, где капитализм наступил почти катастрофически и

застал нетронутое многообразие социальных миров и групп, не ослабивших, как на Западе, своей индивидуальной замкнутости в процессе постепенного наступления капитализма. Здесь противоречивая сущность становящейся социальной жизни, не укладывающаяся в рамки уверенного и спокойно созерцающего монологического сознания, должна была проявиться особенно резко, а в то же время индивидуальность выведенных из своего идеологического равновесия и столкнувшихся миров должна была быть особенно полной и яркой. Все это очень хорошо и верно.

Попытки отменить смертную казнь не нашли поддержки ни у дворянства, ни у представителей государственной системы. Напротив, это вызвало определенное противодействие идеи об отмене смертной казни. Да и сама Елизавета не была последовательной в реализации замысла: с одной стороны, она считала целесообразным сохранение смертной казни для устрашения, с другой - выражала отвращение к смертным казням и приостанавливала их.

В эпоху Екатерины II законодательство о смертной казни не претерпело никаких изменений. Однако сама императрица большое внимание уделяет проблеме этого вида наказания в Наказе по вопросам уголовного наказания. Она проводит мысль о необходимости соответствия наказания преступлению и о назначении различных наказаний за различные преступления. Екатерина II, была противницей смертной казни, но допускала возможность ее применения, рассматривая ее как воздаяние.

Во второй половине XVIII века в русском уголовном законодательстве наблюдается тенденция к сокращению смертной казни, а на практике - к ограничению ее применения.

9.

Донесся из ближней церкви басовитый гул колокола. На эшафот поднялся священник - тот же самый, который вел с евангелием и крестом - и за ним принесен и поставлен был аналой. Поместившись между приговоренными на противоположном входу конце, он обратился к ним со следующими словами: "Братья! Перед смертью надо покаяться... Кающемуся спаситель

прощает грехи... Я призываю вас к исповеди". Никто из приговоренных не отозвался на призыв священника; все стояли молча, священник смотрел на всех них и повторно призывал к исповеди. Тогда один из них - Тимковский - подошел к нему и, пошептавшись с ним, поцеловал Евангелие и возвратился на свое место. Священник, посмотрев еще на приговоренных и видя, что более никто не обнаруживает желаний исповедоваться, подошел к Петрашевскому с крестом и обратился к нему с увещанием, на что Петрашевский ответил ему несколькими словами. Что было сказано им, осталось неизвестным: слова Петрашевского слышали только священник и весьма немногие, близ него стоявшие, а даже, может быть, только один сосед его Спешнев. Священник ничего не ответил, но поднес к устам его крест, и Петрашевский поцеловал крест. После того он молча обошел с крестом всех приговоренных, и все приложились к кресту. Затем священник, окончив дело это, стоял среди приговоренных как бы в раздумьи. Тогда раздался голос генерала, сидевшего на коне возле эшафота: "Батюшка! Вы исполнили все; вам больше здесь нечего делать!"

Бахтин понимает, однако, что такое представление о Достоевском было бы не совсем правильным. Прежде чем мы перейдем к изложению дальнейших мыслей по поводу того, какое именно значение имеет у Достоевского его полифоничность, и постараемся внести некоторые поправки или пояснения к интересным идеям Бахтина, сделаем краткое сравнение полифониста Достоевского с некоторыми другими писателями-полифонистами. Бахтин утверждает, что в драматургическом произведении полифония типа Достоевского невозможна, что драматическое произведение вообще не может быть полифоничным и что вывод, к которому приходили некоторые исследователи Достоевского, будто бы романы его представляют собой, в сущности, своеобразно изложенные драмы, - совершенно неверен. Бахтин считает такой вывод неверным по самым глубоким причинам. Ему кажется, что хотя в драме и имеются действующие лица, которые говорят и действуют в определенном сопоставлении друг с другом, но на самом деле они всегда являются как бы марионетками в руках автора, который непременно направляет их по заранее предопределенному им плану.

Так ли это?

Потупив взор, сказал Холманский ближним, чтобы слышали дальние: “Почему же скрывается мат? Потому что система тайны увлекает, поскольку тайна связана с удовольствием. Только тайное движет человечество. Это проверено миллионами лет. Вообще, датировка движения Логоса невозможна. Ученые постоянно раздвигают границы. Но все сходятся на том, что человек появился в Африке, потом заселил Азию и Европу, да и весь мир. Без препятствий (запретов) ослабевает естественный отбор. Победителем становится только преодолевший. В русском языке буква “х” называлась “хер”, или “херос”, что то же самое, только прошедшее через маскировку химией слова, слово “Х...”. Когда мы видим архитектурное сооружение, как Иван Великий в Кремле, то мы сразу понимаем, что это памятник Х... но боимся, стесняемся, а то и просто не знаем, что откуда и куда идет и почему? А идет все так, как и везде всюду, от вхождения Х... в п...у, от выброса спермы и проникновения ее в матку, от плацентарного созревания плода в утробе матери, от выхода на свет Божий, то есть рождения через жизнь к смерти. Каждый живущий, вспомни как ты созрел в плаценте и как ты вылезал покидал родину, ибо родина - матка твоей матери! А раз ты родился, стало быть, неумолимо через жизнь продвигаешься к смерти. Все умирает. Кроме одного - языка. О, вот тут к каким истинам я прихожу. Х... бессмертен. И он не х... в бытовом смысле слова, а он основа и сущность всей ноосферы, всего того, что живет и движется по спирали, замыкаясь в знак бесконечности “8”. На все это я обратил сердце мое для исследования, что праведные и мудрые и деяния их - в руке Божией, и что человек ни любви, ни ненависти не знает во всем том, что перед ним. Всему и всем - одно: одна участь праведнику и нечестивому, доброму и злему, чистому и нечистому, приносящему жертву и не приносящему жертвы; как добродетельному, так и грешнику; как клянущемуся, так и боящемуся клятвы. Это-то и худо во всем, что делается под солнцем, что одна участь всем, и сердце сынов человеческих исполнено зла, и безумие в сердце их, в жизни их; а после того они отходят к умершим. Кто находится между живыми, тому есть еще надежда, так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву”.

Наркоманов, бомжей, бродяг и всякого рода неформалов в московских подземельях тоже хоть пруд пруди. Они живут семьями и поодиночке. А привокзальные и “подвокзальные” терри-

тории вообще поделены как пасхальный пирог: чужому там очень сложно найти пристанище. В последнее время бомжи “сменили окрас”, замаскировавшись под дворников: добыть оранжевый жилет не составляет особого труда. Они воруют на вокзалах чемоданы и потом потрошат их под землей. Поэтому появившиеся здесь посторонние воспринимаются как опасные враги. “Ты проник в царство арга, не будучи его подданным, ты преступил законы нашего города и должен понести наказание. Кто ты? Оправдывайся!” - эти слова произнес король воров, один из героев Гюго, обращаясь к человеку, случайно попавшему в мир подземелья. В московских подземельях вору и наркоманы вряд ли станут утруждать себя подобным изысканным выяснением личности: они попросту убьют. Ну а если перевес сил окажется не на их стороне - растворятся в темных коридорах. Подпольщики всегда рискуют столкнуться под землей с “нежелательными” людьми.

Когда с подпольщиками идет спецназ, они защищены. А вообще, их главное оружие - это либо психологическое воздействие на тех, кто там находится, либо быстрый уход из опасного места. Конечно, есть еще определенный риск нарваться на сатанистов, вооруженных людей и так далее. Поэтому раньше подпольщики спускались по 40 человек: разведка, группа прикрытия и прочее. Как-то наткнулись на агрессивную группу людей. Тогда подпольщикам действительно пришлось применять физическую силу: выбивать ножи, ломы. Среди подпольщиков были тренированные люди, поэтому они их все-таки уложили. Вызвали представителей спецслужб, поскольку в то время как раз произошли два случая приношения в жертву сатанистами маленьких детей. Но эти оказались не сатанистами, а беглецами от правосудия.

В 1813 году был разработан новый проект Уголовного уложения. В нем впервые в истории русского уголовного законодательства была разработана система наказаний, включенная в Общую часть. Проект определял семь родов наказаний с подразделением их на разные степени: смертная казнь, лишение всех политических и гражданских прав (гражданская смерть); лишение свободы и чести; бессрочное лишение свободы; денежные пени; церковное покаяние. Но в 1824 году проект Уголовного уложения не был принят Государственным Советом. Основная причина состояла в том, что имели место серьезные возражения

относительно включения смертной казни в систему наказаний. Восшествие на престол императора Николая I ознаменовалось восстанием на Сенатской площади, подавлением его и казнью пяти декабристов. Суд над ними осуществлялся не высшим судебным органом России - Сенатом, а созданным по указанию императора Особым судебным присутствием - Верховным уголовным судом. Смертный приговор был вынесен 36 декабристам. В обоснование применения смертной казни суд ссылался на Уложение 1649 года, Морской устав 1720 года, Военский устав 1716 года, Полевое уголовное уложение для действующей армии 1813 года и другие акты. В приговоре был определен способ применения смертной казни: четвертование, предусмотренное 19 Артикулом воинского устав 1716 года.

Член Верховного суда, судившего декабристов, - граф Мордвинов, принес апелляцию на приговор, считая его незаконным. Надо отметить, что именно Мордвинов выступал против проекта Уголовного уложения 1813 года. Возражая против приговора, он ссылался на Указ 1753 года, который предписывал не исполнять смертные приговоры и не делавший никаких исключений для политических преступлений. Николай I, хотя и оставил апелляцию без внимания, тем не менее, утвердил только пять смертных приговоров через повешение. Остальным приговоренным смертная казнь была заменена каторгой.

Не надо, конечно, заподозривать Бахтина, показавшего в своей книге достаточную тонкость суждения, будто он предполагает, что все вообще драмы (трагедии, комедии и т. д.) представляют собой непременно "пьесы с тезисом". Вопрос о драмах, доказывающих некоторый тезис, и о свободной драме, представляющей собою просто повышенный, крепко скованный кусок жизни, - вопрос давний, и углубляться в него сейчас мы намерения не имеем. Но нам кажется странным, что Бахтин, утверждая невозможность полифонии в драме, забывает о величайшем представителе драматургического искусства - о Шекспире. Конечно, на самом деле Бахтин забыть его не мог, и, конечно, повторяем, Бахтин вовсе не думает, чтобы всякая драма была "тенденциозной". Он полагает только, что, так как всякая драма представляет собой весьма стройное и закономерно развивающееся целое, то тут допустить "полноценность голосов" было бы уж крайне нерасчетливо и совершенно невозможно для автора. По край-

ней мере, так объясняю я себе решительное заявление Бахтина относительно необходимо царящего в каждой драме монизма. Я позволю себе радикально не согласиться с Бахтиным, и именно, прежде всего, на примере Шекспира. Разве не характерно, что относительно Шекспира в течение чрезвычайно долгого времени констатировалось полное отсутствие каких бы то ни было руководящих идей или норм в его произведениях? Шекспир в своих драмах - автор необычайно "безличный", почти никогда нельзя ничего сказать о его тенденциях. Мало того, он, по-видимому, в огромном большинстве своих произведений до такой степени чужд какой бы то ни было тенденции, что невольно напрашивается мысль о его внутреннем, осознанном или бессознательном, могучем отвращении к такой тенденциозности. Шекспир словно бы кричит каждым своим произведением, что жизнь сама по себе грандиозна и великолепна, несмотря на то, что она преисполнена скорбей и катастроф и что всякое суждение об этой жизни представляется жалким и односторонним, не улавливает всего ее разнообразия, всей ее ослепительной иррациональности. Будучи бестенденциозным (как по крайней мере очень долго судили о нем), Шекспир до чрезвычайности полифоничен. Можно было бы привести длинный ряд суждений о Шекспире лучших его исследователей, подражателей или поклонников, восхищенных именно умением Шекспира создавать лица независимые от себя самого и притом в невероятном многообразии и при невероятной внутренней логичности всех утверждений и поступков каждой личности в этом бесконечном их хороводе. Тот самый Гундольфнейт, на которого в одном месте ссылается Бахтин, проводя параллель между Гете и Шекспиром, утверждает, что Гете всегда черпал материал для своих произведений (по крайней мере, значительных) из своих переживаний, а фигуры своих героев - из своей собственной личности, и видит в этом нечто контрастирующее Шекспиру, который, по его мнению, наоборот, умел порождать независимые от себя и вне всякой связи с личными переживаниями стоящие, словно самой природой сотворенные, человеческие фигуры. О Шекспире нельзя сказать ни того, чтобы его пьесы стремились доказать какой-то тезис, ни того, чтобы введенные в великую полифонию шекспировского драматического мира "голоса" лишились бы полноценности в угоду драматическому замыслу, конструкции самой по себе. И,

однако, когда мы ближе присмотримся к Шекспиру (чему особенно помогает, может быть, еще не доказанная, но весьма вероятная гипотеза о Шекспире-Рютлэнде), мы видим, что в полифонизме его имеется, тем не менее, некоторый упорядочивающий момент, - "хозяин дома", выражаясь термином Кауса.

Сердце замерло в ожидании, и страшный момент этот продолжался с полминуты. При этом не было мысли о том, что и Холманскому предстоит то же самое, но все внимание было поглощено наступающей кровавой картиной. Возмущенное состояние Холманского возросло еще более, когда он услышал барабанный бой, значение которого он тогда еще, как не служивший в военной службе, не понимал. "Вот конец всему!"

Потупив взор, сказал Холманский ближним, чтобы слышали дальние: "Как рыбы попадают в пагубную сеть, и как птицы запутываются в силках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них. Вот еще какую мудрость видел я под солнцем, и она показалась мне важною: город небольшой, и людей в нем немного; к нему подступил великий царь и обложил его и произвел против него большие осадные работы; но в нем нашелся мудрый бедняк, и он спас своею мудростью этот город; и, однако же, никто не вспоминал об этом бедном человеке. И сказал я: мудрость лучше силы, и, однако же, мудрость бедняка пренебрегается, и слов его не слушают. Слова мудрых, высказанные спокойно, выслушиваются лучше, нежели крик властелина между глупыми. Мудрость лучше воинских орудий; но один погрешивший погубит много доброго".

Подземелье - это ничка, аль ничей, иль ничек, аль ничье, иль изнанка, тыл, испод, исподинка, или выворот, али, короче говоря, выворотная сторона. Хорошее выражение: "Или-али!" Стало быть, противоположное наверху - то ли лицо, то ли лицевая, али личная сторона. А в подземелье можно увидеть столько всего, что жизнь на поверхности покажется просто раем. Багровые сполохи, пронзительно-белые иглы и когти молний, образы, наплывающие волнами, беспорядочные, дразнящие, прекрасные, задумчивые, неожиданные, нечеткие, искаженные, туманные, дробящиеся в осколках зеркал... Подземные ходы в Москве начали строить чуть ли не с самого ее основания. Но настоящие лабиринты и большие тоннели возникли под городом во времена царствования Ивана Грозного. Однако даже он не мог предполо-

жить, каких масштабов достигнет его начинание в XX веке! Метро, водостоки и прочие подземные коммуникации - это лишь видимая часть того, что построили под столицей за последние 70 лет. Сегодня, как и вчера, как и позавчера, как и до потопа, подземелье живет своей обособленной жизнью, отторгая законы людей, которые его создали.

Правда, все, что касается Шекспира, - для нас крайне темно, и темнота эта весьма мешает анализу (что служит одним из доказательств неверности положения некоторых литературоведов, которые говорят, что личность автора и биография его совершенно бесполезны при толковании его сочинений). Мы не можем даже сказать с точностью, являлся ли фактически в драматическом мире Шекспира кто-либо единоличным хозяином. Не говоря о многочисленных позаимствованиях, переделках чужих пьес, не говоря о пьесах, навязанных Шекспиру, нельзя отделаться от весьма оригинальной и глубокой гипотезы Гордона Крэга, видящего в Шекспире еще совсем особую многоголосность и слышащего в его произведениях несколько авторских голосов. Все это чрезвычайно затемняет для нас понимание шекспировской полифонии. Однако, повторяю, ближе присматриваясь к этому грандиозному литературному явлению, нельзя не признать, что некоторая личность, хотя мало уловимая уже в силу своей многогранности и титаничности, чувствуется за произведениями Шекспира.

10.

И вот сказал Холманский: “Стало быть, что русский язык, что испанский и прочие языки - это одно и то же, один язык? Именно так. Это как дерево. Ствол пошел из Египта, а потом пошли ветви: китайские, немецкие, французские и так далее. Из Египта язык двинулся; много позже возник Израиль, и совсем в позднюю эпоху возникли Эллада и Рим. Да, язык двинулся из Египта, и в России закончится”.

С 1 января 1835 года вступил в силу Свод законов Российской империи 1832 года. В соответствии с ним смертная казнь в России сохранялась, но применялась только в отношении трех категорий преступлений: 1) политических (“когда оные, по осо-

бой их важности, предаются рассмотрению и решению верховного уголовного суда"); 2) на нарушение карантинных правил (то есть за так называемые карантинные преступления, совершенные во время эпидемий или сопряженные с совершением насилия над карантинной стражей либо карантинными учреждениями); 3) за воинские преступления. Предусматривалась смертная казнь и по Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года и по Уголовному уложению 1903 года. Количество выносимых смертных приговоров резко увеличилось после подавления первой русской революции 1905 года. Так, в 1906 году было казнено 574, в 1907 году - 1139, в 1908 году - 1340, в 1909 году - 717, в 1910 году - 129, в 1911 году - 73, в 1912 году - 126 человек. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года воспроизвело все положения о смертной казни Уложения 1845 года. Эти законодательные акты так же, как и Уложение 1903 года, сократили применение смертной казни по сравнению с ранее действовавшим уголовным законодательством. Справедливость, базирующаяся на принципе эквивалента, - основного принципа наказания - влечет за собой требование смертной казни за убийство...

Какие социальные факты отражались в шекспировском полифонизме? Да, в конце концов, конечно, те же, по главному своему существу, что и у Достоевского. Тот красочный и разбитый на множество сверкающих осколков Ренессанс, который породил и Шекспира и современных ему драматургов, был ведь, конечно, тоже результатом бурного вторжения капитализма в сравнительно тихую средневековую Англию. И здесь так же точно начался гигантский развал, гигантские сдвиги и неожиданные столкновения таких общественных укладов, таких систем сознания, которые раньше совсем не приходили друг с другом в соприкосновение.

Когда священник ушел, сейчас же взойшли несколько солдат к Петрашевскому, Спешневу и Момбелли, взяли их за руки и свели с эшафота. Они подвели их к серым столбам и стали привязывать каждого к отдельному столбу веревками. Разговоров при этом не было слышно. Осужденные не оказывали сопротивления. Им затянули руки позади столбов и затем обвязали веревки поясом. Потом отдано было приказание: "Колпаки надвинуть на глаза", - после чего колпаки спущены были на лица привязанных. Раздалась команда: "Клац", - и вслед затем группа солдат - их было че-

ловек 16, - стоявших у самого эшафота, по команде направила ружья к прицелу на Петрашевского, Спешнева и Момбелли. Момент этот был поистине ужасен. Видеть приготовление к расстрелу и притом людей близких по товарищеским отношениям, видеть уже наставленные па них почти в упор ружейные стволы и ожидать - вот прольется кровь, и они упадут мертвые - было ужасно, отвратительно, страшно.

И вот твердо сказал Холманский: "Кто копает яму, тот упадет в нее, и кто разрушает ограду, того ужалит змей. Кто передвигает камни, тот может надсадить себя, и кто колет дрова, тот может подвергнуться опасности от них. Если притупится топор, и если лезвие его не будет отточено, то надобно будет напрягать силы; мудрость умеет это исправить. Если змей ужалит без заговаривания, то не лучше его и злоязычный. Слова из уст мудрого - благодать, а уста глупого губят его же: начало слов из уст его - глупость, а конец речи из уст его - безумие. Глупый наговорит много, хотя человек не знает, что будет, и кто скажет ему, что будет после него?"

Чем выше ценится человеческая жизнь, тем выше должно быть и наказание за ее отнятие... В последние два десятилетия XIX века и в начале XX века смертная казнь в России применялась на основе Положения о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия от 4 сентября 1881 года. Положение предоставляло высшим административным чинам передавать на рассмотрение военных судов для осуждения по законам военного времени дела о вооруженном сопротивлении властям, умышленном поджоге, приведении в негодность предметов воинского снаряжения и о некоторых других преступлениях.

Как бы сквозь пелену Холманский увидел, что ружья, прицеленные, вдруг все были подняты стволами вверх. От сердца отлегло сразу, как бы свалился тесно сдавивший его камень. Затем стали отвязывать привязанных Петрашевского, Спешнева и Момбелли и привели снова на прежние места их на эшафоте. Приехал какой-то экипаж, оттуда вышел офицер - флигель-адъютант - и привез какую-то бумагу, поданную немедленно к прочтению. В ней возвещалось осужденным дарование государем императором жизни и взамен смертной казни каждому по виновности особое наказание. По окончании чтения этой бумаги с арестан-

тов сняли саваны и колпаки. Затем взошли на эшафот какие-то люди вроде палачей, одетые в старые цветные кафтаны, - их было двое, - и, став позади ряда, начинавшегося Петрашевским, ломали шпаги над головами поставленных на колени ссылаемых в Сибирь, каковое действие, совершенно безразличное для всех, только продержало арестантов, и так уже продрогших, лишние четверть часа на морозе.

Очередная попытка отмены смертной казни была произведена 19 июня 1906 года на заседании первой Государственной Думы при обсуждении проекта закона об отмене смертной казни. Однако после принятия этого закона в Государственной Думе он не был утвержден Государственным Советом. После февральской революции 1917 года Временное правительство в первые дни своего существования приняло ряд прогрессивных демократических актов. 12 марта 1917 года было опубликовано правительственное постановление о повсеместной отмене смертной казни. Однако уже 12 июля 1917 года она была восстановлена на фронте за убийство, разбой, измену, побег к неприятелю, сдачу в плен, уход с поля боя, то есть за ряд государственных и воинских преступлений в военное время.

И вот твердо сказал Холманский: "Труд глупого утомляет его, потому что не знает даже дороги в город. Горе тебе, земля, когда царь твой отрок, и когда князья твои едят рано! Благо тебе, земля, когда царь у тебя из благородного рода, и князья твои едят вовремя, для подкрепления, а не для пресыщения! От лени обвиснет потолок, и когда опустятся руки, то протечет дом. Пирей устраиваются для удовольствия, и вино веселит жизнь; а за все отвечает серебро. Даже и в мыслях твоих не злословь царя, и в спальне твоей не злословь богатого; потому что птица небесная может перенести слово твое, и крылатая - пересказать речь твою".

Не тюрьма заставляет забыть абстрактные представления. Напротив, она урезает их до наиболее сжатых формулировок. В действительности, тюрьма является переводом вашей метафизики, этики, чувства истории и прочего на сухой язык повседневного поведения. Наиболее эффективное место для этого, конечно, одиночка с ее сведением всей человеческой вселенной к бетонному прямоугольнику, постоянно освещенному светилу в 60 ватт, под которым вы кружите, пытаясь сохранить остатки душев-

ного здоровья. Через пару месяцев солнечная система полностью скомпрометирована в отличие, надо надеяться, от ваших друзей и сотоварищей - и, если вы поэт, вы можете сложить десяток приличных стихотворений в уме. Поскольку ручка и бумага редко доступны узнику. С рифмой и размером жить там всего удобнее - так оно лучше запоминается, особенно учитывая некоторые методы допросов, которые делают ваш затылок зачастую ненадежным. Вообще же, в одиночке поэтам лучше, чем беллетристам: их зависимость от профессиональных орудий минимальна, ибо ваше повторяющееся движение взад-вперед под этим электрическим светилом само по себе вызывает в памяти стих, несмотря ни на что. И еще потому, что стихотворение, по сути, бессюжетно и, в отличие от вашего дела, разворачивается в соответствии с внутренней логикой языковой гармонии.

Фактически, писание - точнее, сочинение в голове - метрической поэзии может быть предписано в одиночке как род терапии, наряду с отжиманиями и холодными обливаниями. В общей камере дела обстоят несколько иначе, и прозаик уживается там лучше, нежели поэт. Проза, как известно, является искусством, укорененным в общественных отношениях, и беллетрист быстрее найдет общий знаменатель со своими сокамерниками, нежели поэт. Будучи рассказчиком, он любопытен почти по определению, и это помогает ему установить отношения со своими товарищами по несчастью, расспрашивая об обстоятельствах их дела, а заодно потчужая их собственными или заемными сюжетами. Он может воображать, что собирает материал для будущих произведений, или так будут думать его сокамерники, которые только рады одарить его собственными, очень часто приукрашенными историями из своей жизни.

11.

В завершение дали каждому арестантскую шапку, овчинные грязной шерсти тулупы и такие же сапоги. Тулупы, каковы бы они ни были, были поспешно надеты, как спасение от холода, а сапоги велено было самим держать в руках.

Прикрыв глаза, чуть помедлив, вымолвил Холманский: "Отпущай хлеб твой по водам, потому что по простествии многих дней

опять найдешь его. Давай часть семи и даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле. Когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь; и если упадет дерево на юг или на север, то оно там и останется, куда упадет. Кто наблюдает ветер, тому не сеять; и кто смотрит на облака, тому не жать”.

Затем на середину эшафота принесли кандалы и, бросив эту тяжелую массу железа на дощатый пол эшафота, взяли Петрашевского. Выведя его на середину, двое, по-видимому, кузницы, надели на ноги его железные кольца и стали молотком заклепывать гвозди. Петрашевский сначала стоял спокойно, а потом выхватил тяжелый молоток у одного из них и, сев на пол, стал заколачивать сам на себе кандалы. Что побудило его накладывать самому на себя руки, что хотел он выразить тем - трудно сказать, но мы были все в болезненном настроении или экзальтации.

Прикрыв глаза, чуть помедлив, вымолвил Холманский: “Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости во чреве беременной, так не можешь знать дело Бога, который делает все. Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет. Сладок свет, и приятно для глаз видеть солнце. Если человек проживет и много лет, то пусть веселится он в продолжение всех их, и пусть помнит о днях темных, которых будет много: все, что будет, - суета!”

Созданные в зоне произведения посвящены, главным образом, мужеству и переживаниям. Тюрьма сама по себе жутко страшит и вызывает острое любопытство у читателей, которые все еще блаженно воспринимают заключение как исключение из правил. Именно для того, чтобы это представление сохранилось в грядущем мире, написанное в зоне должно быть прочитано. Поскольку нет большего искушения, чем рассматривать заключение людей как норму. Так же как нет ничего проще, чем усматривать в тюремном опыте - и даже выносить из него - пользу для сердца.

Ты, поразившая Денницу,
Благослови на здешний путь!
Позволь хоть малую страницу
Из книги жизни повернуть.

Дай мне неспешно и нелживо
Поведать пред Лицом Твоим
О том, что мы в себе таим,
О том, что в здешнем мире живо,
О том, как зреет гнев в сердцах,
И с гневом - юность и свобода,
Как в каждом дышит дух народа.
Сыны отражены в отцах:
Коротенький обрывок рода -
Два-три звена, - и уж ясны
Заветы темной старины:
Созрела новая порода, -
Угль превращается в алмаз.
Он, под киркой трудолюбивой,
Восстав из недр неторопливо,
Предстанет - миру напоказ!
Так бей, не знай отдохновенья,
Пусть жила жизни глубока:
Алмаз горит издалека -
Дроби, мой гневный ямб, камня!

Человек имеет обыкновение обнаруживать высокую цель и смысл в очевидно бессмысленной реальности. Он склонен рассматривать руку власти как орудие - хоть и тупое - Провидения. За этим стоит ощущение вины и отсроченного возмездия, которое делает человека легкой добычей, причем он еще гордится тем, что достиг новых глубин смирения. Это старая история, такая же старая, как сама история угнетения, которая, надо сказать, так же стара как история покорности.

Прикрыв глаза, чуть помедлив, вымолвил Холманский: "Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих; только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. И удаляй печаль от сердца твоего, и уклоняй злое от тела твоего, потому что детство и юность - суета".

Через какое-то время подъехала к эшафоту кибитка, запряженная курьерской тройкой, с фельдъегерем и жандармом, и Петрашевскому было предложено сесть в нее, но он, посмотрев на поданный экипаж, сказал: "Я еще не окончил всех дел".

- Есть ли у вас какие еще дела? - спросил его как бы с удивлением генерал, подъехавший к самому эшафоту.

- Да. Мне хочется проститься с моими друзьями, - отвечал Петрашевский.

- Я позволяю вам это сделать, - последовал великодушный ответ. (Можно полагать, что и у него сердце было не каменное, и он, по своему разумению, исполнял выпавшую на его долю трудную служебную обязанность, но под конец уже и его сердцу было нелегко.)

Но частичное лишение свободы - каковым является тюрьма - хуже абсолютного лишения, поскольку последнее отнимает у вас способность это лишение регистрировать. И еще потому, что в тюрьме вы находитесь не во власти загадочных неосязаемых демонов; вы в руках ваших сородичей, чья осязаемость чрезмерна. Вполне возможно, что большая часть образности загробного мира в нашей культуре происходит прямо из тюремного опыта.

Холманский увидел, как Петрашевский первый раз пошел в кандалах; с непривычки ноги его едва передвигались. Он подошел к Спешневу, сказал ему несколько слов и обнял его, потом подошел к Момбелли и также простился с ним, поцеловав и сказав что-то. Он подходил по порядку, как все стояли, к каждому из них и каждого целовал, молча или сказав что-нибудь на прощание. Подойдя к Холманскому, он, обнимая его, сказал:

- Что ж, прощайте, Холманский, более мы уже не увидимся.

На это Холманский ответил ему со слезами:

- Господи, может быть, еще и увидимся.

Обойдя всех, Петрашевский поклонился еще раз всем и, сойдя с эшафота, с трудом передвигая непривычные еще к кандалам ноги, с помощью жандарма и солдата сошел с лестницы и сел в кибитку; с ним рядом поместился фельдъегерь и вместе с ямщиком жандарм с саблей и пистолетом у пояса; тройка сильных лошадей повернула шагом и затем, выбравшись медленно из кружка столпившихся людей и за ними стоявших экипажей и повернув на Московскую дорогу, исчезла из наших глаз.

Неоднозначным был подход советской власти к исследуемой мере наказания. 26 октября 1917 года II Съезд Советов отменил смертную казнь. Но с началом гражданской войны она была восстановлена. Законодательно смертная казнь в виде расстрела была закреплена в Руководящих началах по уголовному праву РСФСР 1919 года и считалась временной, исключительной и чрезвычайной мерой. 17 января 1920 года ее вновь (на очень

непродолжительный период) исключают. Затем смертная казнь с учетом военной обстановки или под флагом усиления борьбы с “врагами народа” вновь восстановилась.

Пораженные всем, что происходило на глазах вольнодумцев, по отъезде Петрашевского стояли они еще на своих местах, закутавшись в шубы, отдававшие противным запахом.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 мая 1947 года “Об отмене смертной казни” это наказание было отменено в мирное время, а преступления, за которые предусматривалась высшая мера, наказывались лишением свободы сроком на 25 лет, когда можно было Холманскому читать с утра до вечера о том, как на ранней заре, когда еще кричат петухи и по-черному дымятся избы, распахнешь, бывало, окно в прохладный сад, наполненный лиловатым туманом, сквозь который ярко блестит кое-где утреннее солнце, и не утерпишь - велишь поскорее заседлывать лошадь, а сам побежишь умываться на пруд. Мелкая листва почти вся облетела с прибрежных лозин, и сучья сквозят на бирюзовом небе. Вода под лозинами стала прозрачная, ледяная и как будто тяжелая. Она мгновенно прогоняет ночную лень, и, умывшись и позавтракав в людской с работниками горячими картошками и черным хлебом с крупной сырой солью, с наслаждением чувствуешь под собой скользкую кожу седла, проезжая по Выселкам на охоту. Осень - пора престольных праздников, и народ в это время прибран, доволен, вид деревни совсем не тот, что в другую пору. Если же год урожайный и на гумнах возвышается целый золотой город, а на реке звонко и резко гогочут по утрам гуси, так в деревне и совсем не плохо. К тому же наши Выселки спокон веку, еще со времен дедушки, славились “богатством”. Старики и старухи жили в Выселках очень подолгу, - первый признак богатой деревни, - и были все высокие, большие и белые, как лунь...

12.

Холманский преодолевал границы пространства и времени, как ни в чем не бывало, словно не о чем было вспоминать и нечего переживать. Он не выпускал из рук какую-то постоянно заперщенную властями книгу, и вполне самостоятельно взмахивал крыльями и парил в высоте, лоя потоки ветра и скользя на

них... это книжное наслаждение - воздушные горы и пропасти, замирание сердца и взлеты ввысь, иглы дождя сквозь тело в тот момент, когда дыхание и вздохи ветра сливаются в одно движение грудной клетки, словно целуешь его и покоишься в его руках, на его крыльях, в его черном бархатном плаще.

Затем смертная казнь Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 января 1950 года "О применении смертной казни к изменникам Родины, шпионам, подрывникам-диверсантам" допускалась в изъятие из предыдущего Указа. В последующем (в 1954 году) смертная казнь допускалась в отношении осужденных за убийство при отягчающих обстоятельствах. Основы уголовного законодательства 1958 года, признавая смертную казнь исключительной мерой наказания, допускали применение ее вплоть до полной отмены за государственные преступления (при наличии ее в санкции соответствующей статьи, за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах и, в специально предусмотренных случаях, за некоторые другие особо тяжкие преступления). УК РСФСР 1960 года в ст. 23 в редакции Закона РФ от 24.04.93 устанавливал возможность применения смертной казни путем расстрела за особо тяжкие преступления, если это предусмотрено в конкретных статьях УК.

Развершаяся внизу бездна вполне устраивала Холманского своими тьмой и неопределенностью, спиральями и переплетениями облаков. Тучи разошлись, и ветер потихоньку замолкал, лишь иногда позволяя себе осторожно шевелить волосы.

Какой общий вывод можно сделать из приведенных положений Бахтина и Кауса, на которого первый в социологической части своего анализа опирается? Достоевский, будучи сыном своего века и отражая в себе ту колоссальную этическую разруху, которую пестрота капиталистических отношений, бурно хлынувших на дореформенную Россию, является художественным зеркалом, в котором это разнообразие нашло свое адекватное отражение. Разнообразно кипит жизнь, сталкиваются между собой отдельные мировоззрения, отдельные морали, законченные ли в виде теории, осознанные ли своими носителями, или почти подсознательно прорывающиеся в действиях и дисгармоничных речах: и у Достоевского идет такой же спор, такая же борьба. Так же точно нет камертона, по которому можно было бы настроить эту какофонию, и нет гармонии, которая могла бы ее превозмочь

и, так сказать, впитать в себя, нет силы, способной какофонию эту организовать в некоторый хорал.

“Итак, я остаюсь в полете, - думал Холманский. - Лучшего мне не найти!” И, скрестив руки на коленях, он стал смотреть в Балтийскую даль, которая ускользала от его взгляда, стушевывалась, укрываясь от него за однотонной туманной дымкой. Холманский любил море по причинам достаточно глубоким: из потребности прильнуть к груди простого, стихийного, спасаясь от настойчивой многосложности явлений; из запретного, прямо противоположного сути его работы и потому тем более соблазнительного тяготения к нераздельному, безмерному, вечному, к тому, что зовется Ничто. Отдохнуть после совершенного - мечта того, кто мечтает о хорошем, а разве Ничто не одна из форм совершенства? И вот, когда он так углубился в созерцание пустоты, горизонтальную линию береговой кромки вдруг перерезала человеческая фигура. А когда Холманский медленно отвел взор от бесконечного и с усилием сосредоточился, он увидел, что это красивая девушка прошла недалеко от него по песку. Она шла босиком, видно собираясь поплескаться в воде; ее стройные ноги были обнажены много выше колен, шла неторопливо, но так легко и гордо, словно весь свой век не знала туфель, шла и оглядывалась на Холманского. Но едва он заметил надзирателей, как на лицо его набежала туча гневного презрения, лоб его омрачился, губы вздернулись кверху, и с них на левую сторону лица распространилось горькое дрожанье, как бы разрезавшее щеку; брови его так нахмурились, что глаза глубоко запали и из-под тени бровей заговорили темным языком ненависти. Холманский потупился, потом еще раз обернулся, словно угрожая, передернул плечом, отмахиваясь, отстраняясь, и оставил врагов в тылу.

В этот момент следователь протянул Холманскому конфету. Самые противные в этих конфетах были не столь сами вафли, и даже не шоколад, а прослойки между вафлями, кисло-приторные, ехидно расползающиеся из-под пальцев, пачкающие нос, руки и щеки... На самом деле, если бы в конфетах вафля была сплошным ломтиком, без всяких дурацких прослоек, то жить было бы не в пример легче.

Девушка рассказывала Холманскому, как создать образ довольно строгий и в то же время сексуальный. Для этого нужно попробовать новую версию классического хвоста. Вымытые и

высушенные полотенцем пряди от корней до кончиков надо просушить феном, используя большую круглую расческу. Затем опустить голову и соединить волосы в высокий хвост на макушке. После этого, поднимая голову и придерживая хвост одной рукой, нужно подобрать выпавшие пряди расческой. Не стоит беспокоиться об остальных волосах. Следует лишь зачесать их спереди как можно более гладко, потом туго закрепить хвост резинкой. Затем расчесать хвост по всей длине, аккуратно вытащить небольшую прядь волос снизу хвоста и обернуть вокруг резинки, чтобы ее не было видно, и с помощью заколок прочно прикрепить эту прядь к основному хвосту.

В УК 1960 года смертная казнь предусматривалась за совершение довольно значительного числа преступлений (за 17 преступных деяний в мирное время и 16 - в военное время и в боевой обстановке). Однако это не означало ее фактического широкого применения. Как правило, к тому же в единичных случаях высшая мера назначалась лицам, совершившим убийства с особой жестокостью, нескольких лиц, малолетних детей, извращенным способом и т. д. По данным статистики за 1987 год, 96 процентов приговоров к смертной казни были вынесены судами в связи с осуждением именно за эти преступления. В общей структуре наказаний, назначенных в течение пяти лет (1985-1989 годов), объем смертной казни составил менее 0,05 процента. А что такое эти ноль запятая ноль пять процента? Только успеешь открыть книгу и прочитать о том, как только войдешь в дом, то, прежде всего, услышишь запах яблок, а потом уже другие: старой мебели красного дерева, сушеного липового цвета, который с июня лежит на окнах... Во всех комнатах - в прихожей, в зале, в гостиной - прохладно и сумрачно: это оттого, что дом окружен садом, а верхние стекла окон цветные: синие и лиловые. Всюду тишина и чистота, хотя, кажется, кресла, столы с инкрустациями и зеркала в узеньких и витых золотых рамах никогда не трогались с места. И вот слышится покашливание: выходит тетка. Она небольшая, но тоже, как и все кругом, прочная. На плечах у нее накинута большая темно-вишневая шаль. Выйдет она важно, но приветливо, и сейчас же под бесконечные разговоры про старину, про наследства, начинают появляться угощения: сперва "дули", яблоки, - антоновские, "бель-барыня", боровинка, "плодовитка", - а потом удивительный обед: вся насквозь розовая ва-

реная ветчина с горошком, фаршированная курица, индюшка, маринады и красный квас, - крепкий и сладкий-пресладкий... Окна в сад подняты, и оттуда веет бодрой осенней прохладой...

Проговорил тогда Холманский медленно: "И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить: "нет мне удовольствия в них!", доколе не померкли солнце и свет и луна и звезды, и не нашли новые тучи вслед за дождем".

Решительный шаг в направлении сокращения смертной казни сделала новая Конституция РФ. В соответствии с ч. 2 т. 20 "смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей".

Дело было окончено. Двое или трое из начальствующих лиц вззошли на эшафот и возвестили осужденным, по-видимому, с участием, о том, что они не уедут прямо с площади, но еще прежде отъезда возвратятся на свои места в крепость и, вероятно, позволят им проститься с родными. Тогда все они перемешались и стали говорить один с другим.

В соответствии со ст. 59 УК РФ смертная казнь как исключительная мера наказания может быть установлена только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь. В Особенной части УК РФ смертная казнь в качестве меры наказания предусмотрена п. 2 ст. 105, устанавливающей ответственность за убийство с отягчающими признаками, ст. 277 - за посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, ст. 295 - за посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование, ст. 317 - за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, ст. 357 - за геноцид.

Когда событие проходит, остается о нем лишь память, а потом и та исчезает. А пока вольнодумцы жили впечатлением, произведенным на них всем пережитым ими в эти часы совершения обряда смертной казни и затем объявления заменяющих ее различных ссылок, было столь же разнообразно, как и их характеры. Старший Дебу стоял в глубоком унынии и ни с кем не говорил. Ипполит Дебу, когда Холманский подошел к нему, сказал:

- Черт возьми, лучше бы уж расстреляли!

Ни за какие другие преступления, даже столь тяжкие, как государственная измена или шпионаж, смертная казнь не назначается. Однако следует согласиться с мнением о том, что лицо, виновное в терроризме, захвате заложников, бандитизме или другом особо тяжком преступлении, может быть приговорено к смертной казни, если его действия сопровождалось умышленным убийством пострадавших. В данном случае имеет место так называемая идеальная совокупность, при которой наказание назначается отдельно за каждое деяние, квалифицируемое самостоятельной статьей.

Проговорил тогда Холманский медленно: "В тот день, когда задрожат стерегущие дом и согнутся мужи силы; и перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось; и помрачатся смотрящие в окно; и запираются будут двери на улицу; когда замолкнет звук жернова, и будет вставать человек по крику петуха и замолкнут дочери пения; и высоты будут им страшны, и на дороге ужасы; и зацветет миндаль, и отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс. Ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его по улице плакальщицы; доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем. Теперь я должен обратить ваше внимание на человека, который в большей степени подвиг меня на излагаемые здесь мною идеи. Конечно, это сверхгениальный Зигмунд Фрейд. В 1914 году Фрейд анонимно опубликовал в журнале "Имаго" исследование "Моисей Микеланджело", открывающее сборник "Очерки по прикладному психоанализу". Широко известно, что его отношение к фигуре Моисея было очень глубоким, окрашенным попытками идентификации. Обращаясь к Юнгу в то время, когда Фрейд считал швейцарца последователем и принцем-наследником, он называл его "Иосифом", для которого сам Фрейд был "Моисеем". И вот, наконец, он посвящает еврейскому пророку последние годы своей жизни. Редактированием и доведением до печати книги "Моисей и монотеизм" Фрейд занимается с 1934 по 1939 год. Это последняя головешка, которую он в возрасте восьмидесяти трех лет бросает в мир культуры. И сегодня этот мир от соприкосновения с идеями Фрейда, трансформирующего Отца - Основателя иудаизма, в египетского священника и

рисующего смущающий портрет еврейского народа, который, отягченный убийством Отца - Моисея и Иисуса, - упорно отказывается признать преступление... В отличие от этой своей книги, где он стремится очистить от шелухи ядро исторической правды, в небольшом анонимном очерке 1914 года Фрейд интересуется, прежде всего, эстетической формой: речь идет о мраморной статуе Моисея, выполненной Микеланджело, которую он часто и подолгу созерцал в церкви Сен-Пьер-о-Льен во время счастливого пребывания в Риме и которая, как он вспоминает, является лишь "Фрагментом огромного мавзолея, заказанного художнику для могущественного папы Юлия II". К этому новому предмету анализа он применяет так называемый метод "отходов", то есть внимательного и тонкого наблюдения за вещами скрытыми или незначительными, невыразительными деталями, по которым обычно взгляд бегло проскальзывает, а то и вовсе не замечает их, и которые, однако, для психоанализа оказываются в высшей степени значащими. Весь очерк Фрейда о Моисее Микеланджело построен на двух крошечных деталях скульптуры, оставшихся незамеченными или неточно описанными: погружение двух пальцев правой руки в складки длинной бороды Пророка и небольшой выступ на нижнем крае таблицы Свода законов, которую Моисей поддерживает правой рукой... Как удалось Фрейду рассмотреть этот незначительный рельеф, в то время как статуя расположена в нише, в полутьме, видна лишь спереди, а край таблицы со Сводом законов более или менее скрыт за складками тоги? К тому же, как вспоминает Фрейд, этот рельеф совершенно не точно воспроизведен на большой копии из гипса в Академии изящных искусств в Вене и почти незаметен на маленькой копии с подписью "Сантони", которую можно видеть в церкви Сен-Пьер-о-Льен. Из этих деталей Фрейд с помощью рисунков, заказанных художнику, восстанавливает состояние ярости, охватившее Пророка при виде древних евреев, поклоняющихся идолам. Но вместо того, чтобы разбить таблицу Свода законов, он овладевает собой и ловит ее в тот момент, когда она начала падать, перевернулась и оказалась вверх ногами. Так скульптору удалось передать самый замечательный психический подвиг, на который способен человек: победить свою страсть во имя предназначенной ему миссии. Не увидел ли Фрейд здесь движения собственной страсти, смешавшейся в нем с движением его собст-

венной “миссии”? Не почувствовал ли он, что совершил, как и Моисей, самый замечательный подвиг, на который способен человек: с помощью разума и знания овладел ощущаемой в себе инстинктивной яростью и спустился в Ад, в царство бессознательного? Если “героическая” и “мозаичная” идентификация и существует, то она существенно осложняется благодаря другому фактору - сложному и противоречивому самоотожествлению Фрейда с еврейским народом, которое заставляет его избегать “гневного и презрительного взгляда героя”. “Порой, - пишет он, - я осторожно выскальзываю из тени храма, как будто сам принадлежу к сброду, на который направлен этот взгляд, сброду, не способному на верность убеждениям, который не умеет ни ждать, ни верить, но издает крики радости, как только ему возвращают иллюзорного идола”. Несомненно, эта картина Фрейда навеяна отголоском статуса “неверного еврея”, который он часто относил к себе. Но нам важно увидеть здесь выраженное от противного утверждение Фрейда о “верности своим убеждениям”, которые в течение всей жизни заставляли его отвергать и разоблачать “иллюзорного идола” (идола Иллюзии) даже в своем последнем поступке, последнем движении мысли, направленном против самого Моисея - доминирующей фигуры в иллюзии евреев, идола религиозной иллюзии. Представляя в письме Джонсу от 3 марта 1936 года свою работу “Моисей и монотеизм” как опровержение национальной еврейской мифологии, Фрейд ожидает встретить активную оппозицию со стороны еврейских кругов. Он оказался прав: с момента появления книги в 1939 году начались негодующие отклики, критики обвиняли Фрейда в антисемитизме, в лучшем случае неосознанном, и заключали, что в глубине души он ненавидит иудаизм. Суждение известного специалиста по библейским текстам и еврейской истории Абрахама Шалома Иегуды обобщает реакцию широкой публики на положения Фрейда: “Мне кажется, что я слышу голос одного из наиболее фанатичных христиан, выражающего свою ненависть к Израилю, а не Фрейда, который ненавидит и презирает фанатизм такого рода от всего сердца и изо всех сил”. Для нас вопрос стоит по-другому: действительно ли “Моисей...” является последним мощным усилием Фрейда, предпринятым с целью атаковать и попытаться разрушить фанатизм в его истоке, структуру иллюзии, порождающей и питающей его. Он проделывает это на себе

самом, действуя через посредство поразительного выхода в самоанализ: он разрушает себя в своем "героическом" отождествлении с Моисеем, в своей "мифологической" сущности еврея, разбивая фигуру Моисея, внося раскол, трещину в еврейскую реальность, что как нельзя более ясно видно из нижеследующих строк: "Чтобы в наиболее лаконичной форме представить результаты нашей работы, мы скажем, что к известным проявлениям двойственности в еврейской истории: два народа сливаются, формируя нацию, два королевства образуются при разделении этой нации, божество имеет два имени (X... и Хер Ис Т Ос) в библейских источниках, - мы добавили еще две формы двойственности: образование двух новых религий, одна из которых, подавленная вначале другой, вскоре вновь победно проявилась, и, наконец, два основателя религии, оба по имени Моисей, личности которых мы должны различать". Нелегко блуждать по лабиринтам двойственностей, но если мы последуем за Фрейдом до конца в его мозаичном пути, нас ожидает странное открытие. Схема фрейдовской интерпретации, на первый взгляд, достаточно проста: Моисей, великий пророк, фигура которого доминирует в Ветхом Завете, Герой - основатель иудаизма, человек, "создавший евреев", как пишет Фрейд, - Моисей не является евреем, он египтянин. Используя различные источники, Фрейд показывает, что Моисей был священником из окружения Эхнатона (правильно - X...натон, или первоначально - X...хер), фараона, совершившего грандиозную монотеистическую революцию и удалившего всех древних богов из египетского пантеона ради единственного самого древнего бога - X... Но новой религии, выдвигающей новые требования духовности, угрожают возвращением с помощью силы более популярные языческие иды. Моисей, решительный сторонник религиозной революции, в которой он сам принимал непосредственное участие и одним из авторов которой, возможно, являлся, решает сохранить ее суть, покинув (эмигрировав, как наши диссиденты; из этого видно, что никакого пленения евреев не было, поскольку еще не было евреев, а были интеллектуалы-египтяне) Египет во главе племен, названных им потом семитами (от семян... - семя X...я), кочевых и достаточно беспокойных. Он внушает им новые принципы, обращая их в монотеизм; таким образом, родилось то, что исторически стало еврейским монотеизмом - новой эрой в истории ре-

лигии. Повторяю, слово “Моисей” распечатывается как Мойх... (Моше), и переводится как Единый Х... И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратился к Богу, Который дал его. Суета сует, все - суета!”

Кроме того, санкции всех статей Особенной части УК, предусматривающих возможность вынесения смертного приговора, допускают альтернативный выбор судом наказания в виде либо смертной казни, либо пожизненного лишения свободы, либо лишения свободы на срок от 8 или 12 до 20 лет. При чем поставлена она не на первое, а на второе место.

Что касается Холманского, то он чувствовал себя вполне удовлетворенным как тем, что просьба его о прощении, столь мучившая его, не была уважена, так и тем, что он выпущен, наконец, из одиночного заключения; жалел только, что назначен был в арестантские роты неизвестно куда, а не в далекую Сибирь.

Допустимость применения смертной казни за особо тяжкие посягательства на жизнь продиктована не соображениями возмездия, тем более она не может иметь своей целью исправления виновного, а, прежде всего, выполнением задачи восстановления социальной справедливости и предупреждения новых преступлений как самими осужденными, так и другими лицами. Сохраняя временную, исключительную меру наказания, законодатель предусматривает ряд существенных ограничений, как материального, так и процессуального характера на пути возможности вынесения смертного приговора. Даже при совершении преступления, за которое предусмотрено назначение смертной казни, она все же не применяется к женщинам, лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет, мужчинам, достигшим 65-летнего возраста к моменту вынесения судом приговора (а не к моменту совершения преступления). Таким образом, ограничение сферы применения смертной казни в качестве исключительной меры наказания кругом особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь, дополняется критериями пола и возраста. Следует обратить внимание на такой нюанс законодательной формулировки: применительно к несовершеннолетним закон говорит о не достижении ими 18 лет на момент совершения преступления, применительно к мужчинам - возраст указан на момент вынесения приговора.

Век девятнадцатый, железный,
Воистину жестокий век!
Тобою в мрак ночной, беззвездный
Беспечный брошен человек!
В ночь умозрительных понятий,
Матерьялистских малых дел,
Бессильных жалоб и проклятий
Бескровных душ и слабых тел!
С тобой пришли чуме на смену
Нейрастения, скука, сплин,
Век расшибанья лбов о стену
Экономических доктрин,
Конгрессов, банков, федераций,
Застольных спичей, красных слов,
Век акций, рент и облигаций,
И малодейственных умов,
И дарований половинных
(Так справедливей - пополам!),
Век не салонов, а гостиных,
Не Рекамье, - а просто дам...
Век буржуазного богатства
(Растущего незримо зла!).
Под знаком равенства и братства
Здесь зрели темные дела...
А человек? - Он жил безвольно:
Не он - машины, города,
"Жизнь" так бескровно и безбольно
Пытала дух, как никогда...
Но тот, кто двигал, управляя
Марионетками всех стран, -
Тот знал, что делал, насылая
Гуманистический туман:
Там, в сером и гнилом тумане,
Увяла плоть, и дух погас,
И ангел сам священной брани,
Казалось, отлетел от нас:
Там - распри кровные решают
Дипломатическим умом,
Там - пушки новые мешают
Сойтись лицом к лицу с врагом,
Там - вместо храбрости - нахальство,
А вместо подвигов - "психоз",
И вечно ссорится начальство,
И длинный громоздкий обоз
Волочит за собой команда,

Штаб, интендантов, грязь кляня,
Рожком горниста - рог Роланда
И шлем - фуражкой заменя...
Тот век немало проклинали
И не устанут проклинять.
И как избыть его печали?
Он мягко стлал - да жестко спать...

Среди процессуальных ограничительных мер следует указать на то, что в соответствии с ч. 2 ст. 20 Конституции РФ обвиняемому, которому грозит смертная казнь, должно быть предоставлено право на рассмотрение его дела с участием присяжных заседателей или коллегий в составе трех профессиональных судей. Более подробно процессуальные требования, выполнение которых должно гарантировать права подсудимого, если ему грозит смертный приговор, изложены в УПК. В данном случае такого рода гарантии приобретают особое значение, поскольку при вынесении смертного приговора должна быть исключена опасность судебной ошибки. К сожалению, горечь непоправимых ошибок знала судебная практика прошлых лет. Многим памятен процесс по обвинению насильника и убийцы Чикатило. Его настигла справедливая кара. Но не все знают, что за злодеяния, совершенные этим преступником, до него были казнены два человека. Произошла судебная ошибка. Не первая и, к сожалению, не последняя. В условиях обвальная криминализации нашего общества лавина оперативных "ориентировок", рассылаемых спецслужбами, повышает вероятность оказаться лицом подозреваемым и для законопослушного гражданина.

Двадцатый век... Еще бездомней,
Еще страшнее жизни мгла
(Еще чернее и огромней
Тень Люциферова крыла).
Пожары дымные заката
(Пророчества о нашем дне),
Кометы грозной и хвостатой
Ужасный призрак в вышине,
Безжалостный конец Мессины
(Стихийных сил не превозмочь),
И неустанный рев машины,

Кующей гибель день и ночь,
Сознание страшное обмана
Всех прежних малых дум и вер,
И первый взлет аэроплана
В пустыню неизвестных сфер...
И отвращение от жизни,
И к ней безумная любовь,
И страсть и ненависть к отчизне...
И черная, земная кровь
Сулит нам, раздувая вены,
Все разрушая рубежи,
Неслыханные перемены,
Невиданные мятежи...

Смертный приговор может быть приведен в исполнение только после вынесения окончательного приговора компетентным судом (ст. 6 Международного пакта о гражданских и политических правах). Это значит, что жалоба осужденного к смертной казни должна пройти все судебные инстанции, прежде чем приговор будет исполнен. Согласно сложившейся практике уголовное дело, по которому вынесен смертный приговор, истребуется Верховным Судом РФ для проверки в порядке надзора даже при отсутствии жалобы осужденного. Лицо, имеющее право принести протест в порядке надзора, может приостановить исполнение приговора.

После отклонения жалобы всеми судебными инстанциями осужденный к смертной казни может быть помилован Президентом РФ (п. "в" ст. 89 Конституции РФ).

В соответствии с п. 3 ст. 59 УК РФ смертная казнь в порядке помилования может быть заменена пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок двадцать пять лет. Это же право суда предусмотрено ст. 57 УК РФ "Пожизненное лишение свободы".

Проговорил тогда Холманский медленно: "Слова мудрых - как иглы и как вбитые гвозди, и составители их - от единого пастыря. А что сверх всего этого, того берегись: составлять много книг - конца не будет, и много читать - утомительно для тела. Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека; ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или худо. Язык в мире, на

Земном шаре, да и везде - один, и он начинается со слова "Х...". Все религии мира, даже не подозревая о том, поклоняются Х... И строятся на нем путем сокрытия букв, как на фундаменте. Бежит история литературы, как река. И теперь мы докапываемся до корней, до оснований. Вникаем в происхождение топонимов. Так, например, получаются у меня поучительные и занимательные рассуждения о происхождении названия российской столицы. Значение Москвы в истории российского и советского государств настолько велико, что неудивительно то большое внимание, которое ей оказывается. Делались попытки объяснить этимологию названия столицы, но... На предложенных вариантах останавливаться не будем, поскольку они изложены в книгах Михаила Горбаневского "В мире имен и названий" и Евгения Осетрова "Живая древняя Русь". Любопытства ради заметим, что Осетров, исследовав предложенные варианты и видя тупиковую ситуацию, пустился, как говорится, во все тяжкие: ведь Москву можно было назвать по одноименной реке! Протаскивается мысль, что река имеет способность к самоназванию. До настоящего времени вопрос, однако, не нашел положительного решения. Поэтому вполне вероятно и закономерно появление новых версий и гипотез, так как всякий нерешенный вопрос привлекает внимание и возбуждает любопытство. Без учета исторического, религиозного и политического процессов невозможно понять происхождение целого ряда топонимов. При изучении топонима Москва допускается, по крайней мере, две ошибки. Первая ошибка состоит в том, что название Москвы не связывается с именем какого-либо лица. Вторая ошибка состоит в том, что не учитывается изменение слов во времени и пространстве. Наша страна почти тысячелетие развивалась как государство религиозное. Православное христианство наложило свою печать на страну в Восточной Европе, называемой на Западе вплоть до XVII века Московией. Поэтому есть основание исследовать топоним Москва с помощью литературных (религиозных) источников. Я полагаю, что Москва названа в честь литературного героя Библии (Ветхого Завета) пророка Моисея (Моше, Мохуя). Если это утверждение верно, то мы должны найти еще города, названные его именем. Действительно, такие города есть, в Германии - Мосбург (правильно - Мосбурх..., Мосхерх... и при окончательном сокращении - Херх...), в Ираке - Мосул (Мох...). Первое

письменное упоминание о Москве встречается в письме московского князя в 1147 году: "Приезжай ко мне, брате, в Москов". Сначала город назывался Мох..., затем после прикрытия сочетание "сков" Бога Хуя, стал - Москов, а со временем - Москва. Имя Моисей, Мох... (Моше) первоначально означает - Мой Х... - один Бог, затем это имя приобрело значение - дитя. Вспомним, что в Коране (Корах..., Хорах..., ХерХ...) он идет тоже как пророк, и называется Муса. Отсюда - термин мусульманство... Итак, с моей точки зрения и с точки зрения Кувалдина, египетского жреца, славянина из Венеции и писателя, вопрос об этимологии топонима Москва можно считать исчерпанным. Итак, повторяю для наиболее тупых: Москва названа в честь пророка Моисея, а сам Моисей был Мох...ем, жрецом фараона и служителем Х... и, что главное, Моисей был египтянином, потому что тогда все были египтянами, и Библия (Ебиблиях...) была написана жрецами фараонов. Из этих рассуждений следует еще и то, что Москва была основана значительно раньше, году в 700, когда был пассионарный взрыв и появилась новая религия поклонения Х...ю - Ислам (где "Ис" - это Х..., а "лам" - это Лях...). Кстати, слово "Москва" можно (и нужно!) читать как Эм Ос Ка Ов, что означает: Эм - мать, пизда; Ос - хуй, Ка - душа матери; Ов - отец, Бог, Х... (авод, овод - отец), то есть, все слово "Москва" означает совокупление полов, смешение, как Вавильон (Вавилон), где Баб - врата, пизда (П Из Да - место для Бога Х...); иль - Х..., Бог, он - и есть Он, то есть Бог. Добавлю, что слово "Moschee" (моше) по-немецки означает "мечеть", и "Mosque" (моск) по-английски означает то же самое - "мечеть". Это еще раз свидетельствует о том, что арабская ветвь единого египетского языка сначала накрыла территорию, на которой впоследствии родился новый - русский - язык, давший в свою очередь название людям, проживавшим на этой территории - русские. В Рязани обрежут, в Казани казнят".

Отрезвление и внезапная, до дрожи пробирающая тело свежесть, обожженные болью руки, вцепившиеся в окропленные темно-красным рамы распахнутого окна, взгляд в черную, иррациональную, изломанную в перспективе пропасть, ледяной ветер, развевающий волосы, платье плотно обхватывает тело. За спиной - отвратительно дребезжащий звон медленно падающих осколков стекла. Гул и шелест в ушах сменяются смиренной и сочувствующей тишиной.

Бытие не отказывается открывать свою цель, цель движения, пути, развития, итог жизни. Оно просто честно признается в бессмысленности всего сущего. И как-то пусто становится от всего этого, верно? Или, может, это в пустоте содержится хаос, из которого возродится гармония? Усмешка Млечного Пути растягивается в оскале. Итак, бытие сдается. А небытие, как общепризнанная его противоположность, разворачивает бурную и бредовую по своим результатам деятельность. Оно ведет за собой. Так просто и искренне - спасая и принимая, мешая страсть и ярость в одно неистовое, первобытное, чистое чувство, завершенное и бесконечное, как лепесток пламени.

Уголовно-исполнительное законодательство регламентирует порядок, и условия исполнения смертной казни. Основанием для ее исполнения являются вступивший в законную силу приговор суда и уведомление об отклонении жалоб осужденного (при их наличии) в порядке надзора и ходатайства о помиловании.

Смерть тоже с глазами зеленого цвета. Женщина с бледным лицом, холодными руками, и ледяным сердцем. Нет, у нее его попросту нет, на его месте пустота, такая же всепоглощающая и необъятная, как "Черный квадрат" Малевича. Она протянула ему руку, и он принял эту помощь, и лишь поднявшись, взглянул на нее. Он долго смотрел в ее глаза, пока не осознал, что смотрит в свои собственные. Это всего лишь очередное приключение, подумал он улыбнувшись. "Смерть тоже с глазами зеленого цвета", - прошептал Холманский, закрывая глаза и выпуская из рук фотографию - глухой удар дерева по каменному полу, звон разбившегося стекла. Он опустил голову на руки, стараясь скрыть свою слабость и свои слезы от самого себя. Он не знал, сколько прошло времени, прежде чем тихие шаги нарушили его уединение. Женщина опустилась на колени и, смахнув осколки, подняла фотографию. На ней смеялся мальчик с изумрудно-зелеными глазами и иссиня-черными волосами.

Они все ушли, но остались другие, те, ради кого мы должны продолжать жить. Он молчал, теперь не отрывая взгляда своих темных глаз от огня. Она вздохнула и ушла. Она оставила фото на столе, и он больше не смотрел на него. Вскоре ушел и он. Маленький, с тех пор он не вырос, волосы всегда ершиком, а сейчас - седые, он вызывающе смотрит в глаза каждого проходящего мимо конвоира. Интеллигентишка!.. Смешон и нелеп. Очки на

болезненно-бледном лице подрагивают, руки нервно шелестят в глубоких карманах. Впечатление такое, что там у него песок с галькой... На миг увеличенные линзами глаза сталкиваются с глазами разводящего и тут же убегают в сторону.

Багровые сполохи, пронзительно-белые иглы и когти молний, образы, наплывающие волнами, беспорядочные, дразнящие, прекрасные, задумчивые, неожиданные, нечеткие, искаженные, туманные, дробящиеся в осколках зеркал, они легко и беззвучно разбиваются - и вниз неизбежно низвергаются потоки алого, тягостного, теплого забвения, такого сладкого и запретного... и безумие обволакивает взгляд, только бы припасть губами к теплу и неподдельному источнику жизни... странный, манящий, полный, дикий соленый вкус.

Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной.

Только с горем я чувствую солидарность.

Но пока мне рот не забил глиной,

из него раздаваться будет лишь благодарность.

Смертная казнь в отношении Холманского была исполнена непублично, в подвале, путем расстрела. При исполнении этой казни присутствовал прокурор, начальник учреждения, в котором исполнялась смертная казнь, и врач. Об исполнении приговора был составлен фиолетовыми чернилами ручкой-вставкой протокол, который подписали указанные лица и скрепили гербовой печатью.

Ничка, ничей, ничек, наничье, изнанка, тыл, испод, исподинка, выворот, выворотная сторона; противоположное - лицо, личевая, личная сторона. Не тот пьяный, что ничком падает, а тот пьяный, что навзничь. Цветы от недогляда никнут. Колос поник. Приник ко мне головую. Дождь проникает насквозь. Ницые лозы, стланец таловатый, ветловый, ракитовый...

ВЫХОЖУ ИЗ ШКОЛЫ

С утра Самарина, у которой один глаз страшно косил и был карим, а другой был голубым и смотрел прямо, пошла за хлебом. Было еще холодно и неприветливо. Сейчас у Самариной было чертовски дрянное настроение. Ей ничего не хотелось делать. Она с досадой вспоминала вчерашний день. На уроке пения Хивинский и Комм все время шептались и указывали на нее и Третьякову, которая, по обыкновению, вела себя невыносимо. Когда Самарина шла домой, то все ее раздражало, и бестолковая болтовня Авруниной, и смех Третьяковой. Самарина была разочарована, хотя собственно разочаровываться ей было и не в чем, но какое-то чувство разочарования наполняло ее. Ее волновали ее же собственные поступки в школе. Когда она научится сдерживать себя? Что это - обещала не садиться близко от Хивинского, а села рядом, зарекалась не ждать его около школы, а наоборот, смотрела во все глаза и, увидев, по примеру остальных неистово кричала. Как не сходятся разумные правила поведения с взбалмошной действительностью.

Самарина жила в бывшем доходном доме в Девяткином переулке. Доходный дом построил в 1904 году художник-архитектор Борис Николаевич Кожевников. Здесь в 1920-1930-х годах в квартире № 8 жил композитор, музыкальный общественный деятель, позднее - лауреат Государственной премии Виктор Аркадьевич Белый, известный написанными им хорами на слова Пушкина, Фета, Есенина...

Отец вечером с чувством, при этом глаза его горели, читал вслух отпечатанные на пишущей машинке на тонкой прозрачной бумаге стихи некоего Мандельштама. Горела настольная лампа с зеленым абажуром. Тень от взмахов одной руки отца трепетала на стене, как птица. В другой его руке шелестела бумага. Самарина впервые слышала имя этого поэта. Отец читал, а она, открыв рот, затаив дыхание, слушала:

За гремучую доблесть грядущих веков,
За высокое племя людей
Я лишился и чаши на пире отцов,
И веселья, и чести своей.

Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей,
Запихай меня лучше, как шапку, в рукав
Жаркой шубы сибирских степей.

Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,
Ни кровавых кровей в колесе,
Чтоб сияли всю ночь голубые песцы
Мне в своей первобытной красе,

Уведи меня в ночь, где течет Енисей
И сосна до звезды достает,
Потому что не волк я по крови своей
И меня только равный убьет.

Потом пришел какой-то нежданный Сергей, друг Веры, длинный и худой парень с некрасивым лицом. Отец с сожалением вздохнул, быстро спрятал стихи в нижний ящик письменного стола. Разговор у этого Сергея с сестрами в их комнате, куда пришла и Самарина, зашел о том, кто к кому клеится, и откровенно сознавались все, а Самариной было немного странно и неприятно слышать, как они рассказывали об этом. Вообще, чертовски плохо жить, на Самарину опять находит хандра, минутное возрождение кончилось, и уже не тянет в школу, а голубые глаза Хивинского почти не волнуют. Как Самарина могла так неожиданно и порядком влюбиться, и так скоро разлюбить?! Она раньше осуждала тех, кто быстро влюбляется и охлаждается, любовь в ее понимании была крепким, сильным и постоянным чувством. Сейчас же странно и немножко смешно вспомнить об этом.

Что такое жизнь? Зачем жить? Живи, ответят тебе, пока не умрешь. Так вот в юности влюбиться, потом выйти замуж, нарожать детей, а к старости готовить обеды, окутывая себя беспросветным ворчанием - и это жизнь? А разве такой хочется жизни? Хочется стать великой, необыкновенной. Мечты, мечты! Мечты - это то самое, что дает Самариной возможность хоть иногда быть счастливой. Но только не утром, когда нужно рано вставать и опять идти в школу.

Первым уроком была биология. Они пришли в кабинет, когда уже прозвенел звонок, и учительница была в классе. Николаев,

подойдя к Самариной, дал небольшой клочок бумаги и проговорил, смеясь:

- Прочти объявление. - И сел на место.

Самарина развернула и прочла следующую фразу: "Класс сошел с ума потому, что Хива втюрился в Самару". Как же не смеяться? Самарина оглянулась на мальчишек. Комм, разевая и без того большой рот, кричал:

- Ну что, Самара?

Ничего, хорошее дело. Урок прошел весело и без напряжения. Второй урок был физкультура, но учитель не пришел. Ребята вели себя не особенно хорошо, и скоро в класс пришла учительница из соседнего класса, по виду провинциалка. Задав классу составить рассказ из слов: "империалисты, капитализм, коммунизм, фестиваль, целинные земли, новое общество", - она ушла, но в течение урока навещала класс. А после уроков, попрощавшись с Соколовой, Самарина, Аврунина и Третьякова пошли к Сверчкову переулку, свернули в него и, примостившись на низком заборе, стали ждать Тамару Петровну и Хивинского. Девочки и раньше нередко ожидали их, но подходить так близко к переулку, по которому Хивинские должны были проходить, они еще не решались. Они сидели у дома, который когда-то принадлежал купцам Золотаревым, а в 1862-м его вместе с садом купил известный предприниматель, миллионер Козьма Терентьевич Солдатенков для своей гражданской жены Клемансо Карловны Дебуи.

Так все и идет в каких-то намеках. И, смотришь, опять нужно встать и... В школу Самарина тащилась одна, так как опоздала, и девочки уже ушли, но Самарина не особенно жалела об этом. На первом уроке был русский, и учительница вызвала Хивинского. Он вышел к доске со спокойным видом, взял мел и остановился в выжидательной позе. Его изящная фигура как-то невольно напоминала фигурку Тамары Петровны. По его ответам видно было, что он совсем не занимался, и весь класс хором подсказывал ему, а Самарина многозначительно спросила Аврунину:

- Ты знаешь, почему ему все подсказывают?

На немецком Хивинский так разбаловался, что учительница вынуждена была пересадить его на другое место, но и там он не успокоился и стал перебрасываться бумажными голубя-

ми с ребятами, причем раза два кинул голубя на парту Самариной. На следующем уроке по труду творилось что-то невообразимое. Учитель собрал всех у токарного станка, чтобы объяснить его устройство, но сам за чем-то вышел из мастерской. Сначала было тихо. Потом ребята начали подставлять друг другу ножки, и нужно было видеть всю комичность их маневров.

Хивинский вскочил на стол и хохотал от всей души, смотря, как Комм немилосердно кривлялся и беспрестанно падал на скользкий каменный пол. Кстати о Комме, что-то особенное подмечала Самарина в отношении его к ней, и на уроках, взглянув на него, почти каждый раз встречалась с ним глазами. Увы, как редко Самарина видит голубые глаза, так часто видит карие, смотрящие на нее. Это вызывает у Самариной одновременно приятное и неприятное чувство, как будто кто-то слегка щекочет. По дороге домой она заметила, смеясь:

- А ведь это чертовски глупо.

- Чем глупо? - спросила с оттенком некоторой злости Аврунина.

- Да всем, вся эта история с Хивинским, - стараясь говорить спокойно, ответила Самарина.

- Ничуть не глупо! Я не понимаю, объясни? - останавливаясь и беря Самарину за пуговицу, сказала Аврунина.

После долгого разговора с Авруниной, каждая из них, конечно, осталась при своем мнении.

Думая об этом, Самарина даже не заметила, как оказалась дома. Вскоре пришла мама и велела сестрам идти за продуктами. По обыкновению не обошлось без ссоры, все трое ругались, кричали, а Самарина, как в лихорадке, сидела в своей комнате и молила Бога, чтобы не вспомнили о ней. Оля и Вера продолжали ругаться. Смешно и жалко было на них смотреть и думать, до чего они, да и Самарина, не дружны между собой. И отец с мамой нередко ворчат, а уж они и подавно.

Вечер пролетел за чтением. Она читала и с фонариком в кровати, когда все спали. Утром проснулась с трудом.

Кто же мог подумать, что сегодня в школе случится такая вещь? Итак, день начался самым обыкновенным образом, после второго урока Самарина с Авруниной ходили по залу, разговаривая, вдруг перед ними очутился Хивинский с устремленными куда-то вперед глазами. У Хивинского в руках были какие-то

книги. Неожиданно он перевел взгляд на девочек, причем, Самариной особенно ясно бросилась в глаза их мутноватая густая голубизна.

- Несите эти книги в класс! - воскликнул он, протягивая Самариной книги.

И он, и девочки засмеялись и смутились. Самарина неожиданно поняла, в чем дело, взяла книги, круто повернулась и, давясь от неудержимого смеха, бросилась в класс. Пряча книги в парту, Самарина нагнулась к Авруниной, произнося со смехом:

- Хивинский определенно заигрывает с нами.

На уроке русского языка она почти ничего не слушала, какая-то магнитная сила тянула ее глаза к первой парте у окна, к светлому профилю Хивинского, и она, быстро перебегая с предмета на предмет, вдруг неожиданно вскидывала на него свои некрасивые разные глаза, совсем не останавливаясь, и так без конца. Он все чаще смотрел в окно, иногда на учителя и редко в сторону Самариной. Когда они пришли на третий этаж, Хивинский и Комм немилосердно толкались на них, и им с Авруниной оставалось только молчаливо пожимать друг другу руки, перебрасываясь изредка почти беззвучными словами. Однако негасимое самолюбие Самариной торжествовало, поскольку она ясно чувствовала, что ей отдается большее предпочтение.

Было о чем подумать.

На прошедшем уроке Самарина услышала, как неистово смеялась Соколова, и увидела, как она краснела и прятала лицо. Самарина взглянула на Хивинского, он смотрел на девочек и шептался с Коммом. Каждой из девочек, то есть Авруниной, Самариной, Соколовой и Третьяковой, казалось, что он смотрит на нее, а Самарина, вообще, об этом распространяется немного, а остальные, особенно Третьякова, трубят об этом во все рога, поэтому Самарину всегда охватывало болезненное чувство неизвестности, тайной надежды и разочарования. На кого же он смотрит, когда поворачивается к девочкам? Сегодня неизвестности не было, Самарина встретила с ним взглядом, и они довольно долго, улыбаясь, смотрели друг на друга, пока Хивинский медленно не отвел глаза.

Самарина не знала, каким образом, но они с Авруниной решили сегодня найти дом Хивинского (адрес они знали), и реше-

ние возникло как-то само собой, втайне от Третьяковой и Соколовой. После уроков они вышли из школы, вокруг никого, кроме них, не было. Было поразительно тепло.

- Идем, - тихо сказала Аврунина, и они пошли по Армянскому переулку. Вдруг пронесся знакомый крик:

- Самара! Подождите.

Это был голос Третьяковой.

- О, скотина! - не оборачиваясь, шептала Самарина, увлекая подругу идти быстрее.

Третьякова не унималась, но, наконец, как-то отвязавшись от нее, Самарина и Аврунина свернули в Сверчков переулок и пошли прямо к цели.

Было немножко жутко, и приятное возбуждение разливалось по всему телу Самариной. Девочки, прижавшись друг к другу и зорко осматриваясь, быстро шли к цели, перебегая с одной стороны переулка на другую. Вот и его желтобокий старомосковский дом. Девочки раза два прошли мимо него, и Самарина не могла передать того напряжения и возбуждения, охватившего ее там. На обратном пути они встретили Николаева, который, увидев их, удивился:

- Самара! - и засмеялся.

Отойдя на порядочное расстояние, Самарина с досадой воскликнула про себя: "Вляпаться, так глупо вляпаться!"

Каждый раз Самарина создает в своем воображении что-то благородное и простое, и каждый раз этот образ разбивается о действительность, мерзкую, но яркую действительность. Насколько чисты в воображении Самариной мужчины и мальчики, настолько они пошлы и развратно распущенны в действительности. О, жестокая действительность, как она грубо и бесцеремонно касается сердца. А все-таки Самариной Хивинский порядком нравится, с его поразительно тонкой и упругой фигурой.

На другой день всех вернули в класс за плохое поведение. Потом Хивинский подбежал к парте Самариной и, схватив со стола ручку, воскликнул:

- А, Самара, ручку забыла!

Самарина схватила его крепко за руку и, отняв ручку, как-то иронично и насмешливо сказала:

- Спасибо.

Хивинский молча сел на место, а Самарина еще долго ощущала его тонкую и упругую руку. Теперь Самарину интересует один вопрос: обращает ли на нее Хивинский хоть немного внимания? Конечно, это трудно заметить, но все же у нее теплится в душе искра надежды...

Каждый день предстает перед ней с мельчайшими подробностями, а пройдет и - ничего не остается. Что за чертовщина! Самарина с подругами собралась съездить на Цветной бульвар, узнать, когда начинается предварительная продажа билетов в цирк. Из дому она вышла без трех минут час. На улице было холодно и сыро. Мелкий холодный дождь моросил с самого утра. Самарина подошла к трамвайной остановке на углу Чистых прудов и решила немного подождать Аврунину и Третьякову. Одной не хотелось ехать, но они не шли. Дождь все шел и шел, и, казалось, нет конца этой беспросветной осенней серой мгле.

Подъехал трамвай, Самарина поднялась в вагон, народу там было мало, и немногие присутствующие как-то неопределенно угнетали Самарину своим присутствием. И эта неприятная тишина, царившая в вагоне, и чужие незнакомые лица, на которые Самарина хотела и боялась смотреть - все стесняло ее. Самарина, не глядя ни на кого, села на свободное место и, мельком взглянув на сидевшего напротив парнишку, отвернулась к окну в надежде увидеть Аврунину или Третьякову. Трамвай тронулся, Самарина пристально смотрела сквозь стекло на бульвар, где перед ней мелькали неясные фигуры людей. Толчок в плечо и громкий окрик: "Билет, гражданка", - отрезвил ее. Самарина повернулась к кондуктору и, подавая двадцатикопеечную монету, машинально сказала:

- Один до Трубной...

На следующий день в раздевалке школы было мало народу, и почти не было пальто. Около вешалки, где раздевалась Самарина, стояли ребята из класса и несколько девочек. Самарина молча прошла к другому концу вешалки, медленно разделась, вложила в рукав шапку и зачем-то расстегнула и застегнула портфель. Ей не хотелось одной идти в класс, но делать было нечего, и она очень медленно поднялась по лестнице, не спеша прошла зал, где ее и догнали девочки вместе с которыми она и вошла в класс.

Около двери на столах стояли с одной стороны Комм и Николаев, с другой - Хивинский. Они одной рукой брались за провод, другой соединялись между собой.

- Самара, попробуй, возьми! Давай руку.

Самарина положила портфель и, усевшись на край парты, подала одну руку Николаеву, другую Хивинскому. Не странно ли? Ток легкой дрожью пробежал по телу, Хивинский тихонько пожал ее руку. Вдруг кто-то крикнул:

- Шухер! - И все, как воробы, быстро и шумно разбежались по своим местам.

Водворилась выжидательная тишина. В двери показался мужчина, оглядел класс и, проворчав что-то, ушел.

- Хивинский! - закричал Комм. - Садись здесь.

- Сейчас.

Он взял со стола свои тетради и пересел в ряд, в котором сидела Самарина, наполняя ее счастьем и потребностью открыться перед кем-нибудь. Самарина выскочила в зал и пошла к раздевалке, в которую вливался поток учеников. Заметив среди них красную шапку Авруниной, Самарина быстро подошла к ней и, идя рядом, радостно шепнула:

- Хивинский сидит сзади нас.

- Как? - спросила Аврунина.

- Раздевайся скорее, - сказала Самарина.

Не дожидаясь Третьяковой, девочки пошли в зал, и Самарина рассказала Авруниной утренние приключения.

- Ты знаешь, - заявила Аврунина, - я предчувствовала, что сегодня случится что-нибудь необыкновенное.

Самарина молча улыбнулась, так как не особенно верила ей.

Но вот начался урок. Комм сел сзади них с Николаевым, так как Хивинского в это время не было. Позднее он сел в четвертый ряд и тоже сзади девочек, чему они не особенно были рады, ведь приходилось, чтобы взглянуть на него, оборачиваться назад. Первый и второй урок была география, учитель делал опрос, а Самарина с Авруниной весь урок географии перекидывались с мальчишками записками, хотя легко сказать, а как трудно сделать. Они видели, что другие девчонки смотрят на них и смеются, но было поздно, Самарина с Авруниной пришли в такое состояние, когда ничто уже не может остановить от глупости, которую они делали, зная, что это глупость. Правда, Самарина сама

не помнила, знала она или нет, что это глупость, в ту минуту, вообще, Самарина ни о чем не думала, кроме Хивинского и сознания собственного веселья. На перемене Самарина с Авруниной немножко пришли в себя и дали друг другу слово покончить со своей дурью.

Уроки летели невообразимо быстро, на немецком был тоже опрос. Хивинский сидел то сзади, то сбоку, Самарина невольно и как-то боязливо, как будто делала что-то недозволенное, взглядывала на него. Поймав ее взгляд, он спросил:

- Погасить свет?

- Слабо! - сказала Самарина.

- Что? - прошептал, округляя глаза Хивинский.

- Слабо, повторила она.

Он молча отвернулся, вероятно, не разобрав, но все же потушил свет. Некоторое время класс сидел в приятном полумраке, лицо учительницы, сидящей спиной к свету, было темным пятном. Хивинский зажег, потушил и опять зажег свет.

- Кто там балуется? Хивинский, сядь вот сюда! - И учительница указала на первую парту первого ряда.

Хивинский послушно пересел.

Самарина думала, как скучно, бесконечно скучно и пусто кругом. Хивинский, по обыкновению, ноль внимания, фунт презрения, глаза его устремлены куда-то мимо. Самарина несколько раз разговаривала с ним, это ее несказанно смешит и, зачем же самой себе врать, порядком радуется, ее как-то приятно волнует, когда его глаза смотрят на нее. На уроках Самарина все время шутила с ребятами и, вообще, очень хорошо себя чувствовала. На немецком Хивинский немилосердно ей подсказывал, и она, обернувшись к доске, еле сдерживалась от смеха.

Но когда они пошли в мастерскую, Самарина чувствовала себя уже неважно, поэтому напевала чуть слышно: "Глобус крутится-вертится, словно шар голубой..." Тихо пела и, глядя перед собой, вяло пилила, боль и досада сжимала ее сердце. Самарина поглядывала то на Аврунину и Соколову, то на Хивинского, который стоял сегодня к ней лицом, то на других ребят. Перед концом урока к Самаринной подошла Третьякова, обняла и, чуть улыбаясь, посмотрела на нее. Самарина всматривалась в ее ясные голубые глаза, вся отдавшись какому-то щемящему чувству, и

еще раз тихо напела: “Глобус крутится-вертится, словно шар голубой...” Третьякова, слегка подняв свои тонкие брови и смеясь, говорила:

- Плакать хочется.

Видимо, Третьякова понимала ее, и было нестерпимо приятно чувствовать, что есть человек, который видит, что творится в ее душе, и пытается как-то помочь.

Когда они не спеша, переговариваясь, возвращались домой, их всю дорогу занимал вопрос семейных отношений Тамары Петровны. Так хотелось представить ее в домашней обстановке, да и не только ее, но и Хивинского. Когда они расстались с Авруниной, Третьякова вдруг спросила ее:

- Что мы, с ума сошли?

- Да, совсем сошли. Ах, этот Хивинский, хоть бы его не было, - вздохнула Самарина.

- А что он чувствует? Наверно, ничего или же то же, что и мы, - сказала Третьякова.

- А он смотрит на нас, - сказала Самарина.

- Разве он так смотрит, как мы, - сказала Третьякова.

На одной из перемен в драке с мальчишками Хивинский ушиб глаз. Самариной было нестерпимо жаль видеть, как он, прикрывая его рукой и, покраснев, шел в класс. Какая-то нежность зашевелилась в душе Самариной при виде этого тоненького миниатюрного мальчика со светлыми волосами и раздосадованным выражением лица...

А, в сущности, ничего особенного в школьной жизни Самариной нет. Хивинский? Но у нее, кажется, все кончилось. Сегодня не раз, поймав его взгляд, Самарина ничего не чувствовала, кроме легкого удовольствия, и, заметив его взгляд на других девочках, она почти не обращала внимания. В общем, довольно скучно. На последний урок пришла Тамара Петровна с маленьким братом Хивинского. Аврунина рассказала Самариной, что Хивинский, увидев малыша, бросился к нему, поднял на руки и поцеловал. Самарина не могла этого видеть, но, когда она, уже одевшись, шла из раздевалки, то увидела Хивинского, стоящего около двери с братиком. И опять назойливый вопрос всплыл в голове: “Каковы их семейные отношения?” По крайней мере, теперь она знает, что Хивинский любит брата.

А любит ли ее? Вот вопрос так вопрос!

После школы она пошла погулять по переулкам, которые очень любила, особенно Кривоколенный. При радиально-кольцевой планировке Москвы переулки стали тропами, соединяющими между собой дороги-улицы. Кривоколенный переулок - не совсем обычный. Уходя от улицы Кирова, он круто поворачивает влево, образуя "кривое колено", становится параллельным Кировской. Затем еще один поворот, и, неожиданно обрываясь, переулок доходит лишь до Телеграфного переулка, а на улицу Чернышевского можно пройти по Потаповскому переулку. Кривоколенный переулок делился на три части: Кривое колено - в начале, где стоит дом вечно юного поэта Веневитинова, у которого Пушкин читал "Бориса Годунова"; затем Кривой, Коломенский - по соседнему подворью; его продолжение называлось Шуваловским, затем - Банковским переулком, а конец - Котельниковским...

На другой день в мастерской, когда учитель рассказывал о частях станка, Хивинский с Николаевым стояли немного позади и немилосердно коверкали названия частей, причем, Хивинский прямо-таки захлебывался от смеха. Когда закончился опрос, все перешли на другую сторону мастерской, а Самарина с Авруниной остались, о чем-то разговаривая. Вдруг Самарину кто-то дернул за руку, она обернулась и вытаращила и так некрасивые глаза от удивления. Перед ней стоял Хивинский с сияющими голубыми глазами и, указывая куда-то вперед, захлебываясь от смеха, говорил:

- Самара, смотри, Николаев мотор пустил!

Самарина чувствовала, что надо что-то ответить и, взглянув одним карим глазом на сияющее восторгом лицо Николаева, а косым голубым на Хивинского, что было очень смешно, нраво-учительно сказала:

- Дурак ты! - и поскорей отвернулась, чтоб не фыркнуть ему в лицо.

На четвертом уроке было пение. Подруги, по обыкновению, сели так, чтобы видеть Хивинского. Он сидел рядом с пианино и посередине урока начал писать мелом на крышке: "Самара!". И так без конца писал, смотрел на нее и смеялся, показывая симпатичные продолговатые ямочки на щеках. Когда подруги шли на четвертый этаж, Хивинский очутился впереди них, но подождал, когда они пройдут, и пошел за ними.

Это Самариной было интересно увидеть. Вечером она долго читала, а потом мечтала, лежа в кровати.

У Самариной сейчас появилось новое желание - это учиться играть на рояле. Недурная, конечно, идея, но невыполнимая. А как хочется! Сегодня вечером Вера и Оля, придя из института, играли на пианино и пели, Самарина присоединилась к ним. На душе было как-то легко и спокойно, она любила такое состояние наплыва необузданной доброты. В общем, Самарину частенько тревожит мысль о том, что без умения играть она будет плохо чувствовать себя на будущих вечеринках. Да, она совсем не представляет, что будет там делать, и ей немного страшно и любопытно.

Тянет ли ее эта веселая жизнь? Да, тянет определенно. Под звуки фокстрота и тому подобной музыки ей невольно рисуется картина с оживленной молодежью, веселой, но не легкомысленной, и она мечтает быть душой общества, но только мечтает. Разум же ей говорит твердо и настойчиво, что она не годится в эту компанию остроумных людей с живым умом и высокими побуждениями. И, твердо веря в одно, Самарина продолжает думать о другом и рисовать блестящие перспективы в будущем. Мечты, мечты! О, неужели каждая девочка в ее возрасте мечтает так же? Если да, то последние надежды гибнут, если нет, то, может быть, Самарина еще будет жить, как ей хочется, познает счастье жизни и молодости.

Любопытно было вот что. Впрочем, вчера ей пришлось сидеть с Хивинским почти рядом. Самарина догадывалась, что он в своих симпатиях очень непостоянен. Он, к величайшему смеху с ее стороны, о чем-то заговаривал с ней и, вообще, дурил порядком. С Николаевым тоже творится что-то неладное: придет в класс, сядет где-нибудь на соседней парте и давай болтать с Самариной о том о сем, в частности, о предстоящей классной вечеринке...

Когда не было отца, она доставала из стола машинописные стихи Мандельштама и увлеченно, погружаясь с головой, читала эти странные и прекрасные стихи...

К Авруниной Самарина пошла в половине шестого. Шла медленно, раздумывая. Аврунина была, конечно, еще дома и, к радости Самариной, совсем не наряжалась. Должна была еще подойти Третьякова. Проходили минуты, а Третьякова

все не шла. Самарина уже начала волноваться, но вскоре она пришла, и они все тронулись в путь. На улице было приятно прохладно, тускло светили фонари, и Самарина старалась не думать о вечеринке, наполняющей ее каким-то неясным волнением. Третьякова тоже боялась. Но вот они у цели, подошли к дому Комма, где должна быть вечеринка. Поднялись на пятый этаж, за дверью чудился шум и смех. Аврунина позвонила, кто-то открыл дверь, они вошли в переднюю и огляделись.

В комнатах еще никого не было.

- Неужели же мы первые? - сказала Аврунина.

Да, нет, были еще девочки. В большой комнате, куда их пригласили, стоял рояль, а по стенам висели многочисленные зеркала. Они сели, не зная, что делать и о чем говорить. Третьякова очень стеснялась и даже немного раздражала этим Самарину. К счастью, все скоро пришли, кто-то сел играть на рояле, а остальные начали играть в лото, и Самарина удивлялась, как развязно Николаев себя вел среди девочек. Скоро пришли Тамара Петровна с сыном, Хивинским. Самарина, искоса оглянувшись, увидела обращенное на нее его лицо в модной вельветовой кепке.

- Он опять в джинсах! - шепнула Самариной Аврунина. - Где он их только берет?!

- А, Хивинский! Я бить тебя буду! - закричал Николаев, а когда тот разделся и сел рядом с Самариной, то он спросил его: - Что ты не приходил, я ждал тебя?

- Я мать ждал, она меня одного не пускала, - сказал Хивинский.

Через некоторое время к ним подошла Тамара Петровна и весело воскликнула:

- Бросьте эту игру, давайте бегать и смеяться!

Она сложила карточки и погнала ребят в другую комнату. Там, встав в круг, все стали играть в "фанты". Сколько смеха! Самарина была не очень оживленная, сначала просто не освоилась, потом уже намеренно, а Третьякова все время стояла рядом с Хивинским и, встречаясь с Самариной глазами, смеялась. Потом Самариной досталось быть оракулом. Пришлось подчиниться, и когда к ней подводили ребят с вопросом: "Что этому?" - то она старалась ответить с юмором, например: "Быть делегатом от на-

шей школы на Всемирном фестивале молодежи и студентов". Все смеялись.

Сначала Самарина отвечала ничего, потом пошло все хуже и хуже, она уже не знала, что придумать и что отвечать, чувствуя, что невыносимо краснеет. Тамара Петровна пыталась подсказывать ей, и Самарина так была ей благодарна. Третьяковой досталось подойти к кому-либо и поцеловать, а она выбрала Самарину. Поставили ряд стульев друг против друга, посадили ребят и завязали Третьяковой глаза.

- Самара, давай поменяемся, - предложил Николаев.

- Давай, - согласилась Самарина.

Она посадила его на свое место, накрыла его шалью, а сама села на его место. Вот подошла Третьякова, обняла его сильно и искренне, намереваясь поцеловать. Самарина с силой потянула ее назад, оттащила его и быстро села на свое место, но Третьякова заметила Николаева. Боже! Сколько же хохота было! Николаев слегка покраснел и, садясь на место, с чувством заметил:

- А она обнимается!

За чаем Самарина сидела недалеко от Хивинского и Николаева, и ей не было скучно. Она, как всегда, молча наблюдала за всеми, чувствуя себя вполне хорошо. Аврунина старалась остричь, и эта разговорчивость с ее стороны оставляла в Самариной какой-то неприятный осадок. Потом были танцы, и как же Самарина жалела, что ничего не умеет: ни играть на рояле, ни танцевать. Хивинский тоже не танцевал и все время стоял около рояля, облокотившись рукой о крышку в артистической позе. Когда опять стали играть в лото, он встал рядом с Самариной, и она слегка касалась его колен. В общем, прекрасно провели время, и хотя Самарина не любит всякие игры, это не помешало ей хорошо повеселиться.

На ночь долго читала, так что утром едва открыла глаза.

Ужасно было скучно в школе, совсем неинтересно. Это, кажется, первый день, когда Самарина осталась недовольна школой. Сидя в солнечной комнате, ей вдруг вспомнилось летнее время, когда она ездила с отцом в парк Горького. Самарина вспоминала ряд ярких огней вдали и неясные силуэты людей. Какой-то неведомой, беспечной и заманчивой жизнью веяло на нее от этих огней. Тогда ее сердце неспокойно билось и волновалось.

В те дни, когда ночи были так прекрасны, Самарина не раз, сидя в темноте на окне, начинала думать о Хивинском. Тогда этот образ вызывал в ней жгучую боль и краску на лице, тогда эта миниатюрная фигурка в узких джинсах так ласкала ее воображение, и кажущиеся громадными голубые глаза переворачивали все внутри. Но это прошло. Ночи стали холодные, глаза поблекли, и сердце оставалось спокойно, когда они смотрели на нее, слегка мерцая. Самарина теперь равнодушна. Она про себя восклицает: “И, Боже мой! Какое счастье было и что осталось. Поневоле поверишь, что любовь великая вещь”...

В школе Самарина, как заговорщица или революционерка-подпольщица, отозвала в сторону Хивинского и показала машинопись со стихами Мандельштама. В это время подошел Комм. Но Самарина уже не могла остановиться. Она, кося глазом, вдохновенно читала:

За гремучую доблесть грядущих веков,
За высокое племя людей
Я лишился и чаши на пире отцов,
И веселья, и чести своей.

Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей,
Запихай меня лучше, как шапку, в рукав
Жаркой шубы сибирских степей...

- Вот это да! - воскликнул Хивинский.

- Откуда у тебя? - спросил Комм.

Самарина не ответила. Комм удивленно пожал плечами, глядя, как она уходит на свое место.

Когда дома Самарина открыла портфель, чтобы достать стихи и положить их на место в нижний ящик письменного стола отца, то их портфеле не оказалось. Она мучилась до самого прихода отца, и, когда он пришел, сказала ему о том, что без спросу взяла стихи Мандельштама, чтобы почитать стихи друзьям, и... они пропали. Отец только развел руки в стороны...

Любовь прошла, в душе осталась лишь слабая тень, отголосок этой любви. Самарину уже не тянет в школу, и она не раз

подумывала остаться дома. Зачем ей теперь школа? Как ни странно, она нужна была только для одного, а “это” прошло почти бесследно. Хивинский производит на Самарину впечатление только тогда, когда он рядом бегаёт и смеётся. Но стоит скрыться этой фигурке, и обаяние проходит. Хивинский, между тем, вел себя сегодня немного странно, он не раз глядел в ее сторону, чему-то смеялся и шептался с ребятами. Самарина все замечала, но так, что он этого не видел, чаще всего обо всем сообщала ей Аврунина, которая постоянно глядит на него. Авруниной, кажется, нечем рисковать, она и Соколова думают, что он глядит только на Самарину, которая иногда тоже так думает, но не уверена. Может, с его стороны это просто шутка, насмешливая шутка! Самарина, как ей самой кажется, хорошо разыгрывала равнодушие, когда он отпускал всевозможные остроты, чтобы привлечь, кажется, ее внимание. Аврунина шептала ей:

- Он все делает, чтоб ты на него посмотрела.

Самарина или молча кивала, или коротко отвечала:

- Знаю.

Самарину жутко злили двусмысленные улыбки Третьяковой, которыми она ее награждала, как-то немного оскорбляло такое легкомысленное отношение к происходящему. Самарина считала, что нужно было быть как можно серьезней, а главное, равнодушной. Ноль внимания и фунт презрения! Но, когда Самарина невольно взглядывала на него, то все время ловила на себе его взгляд, и чуть улыбалась или просто отводила глаза, но в душе ее все вертелось и клокотало. Сейчас уже не раз ей вспоминается то время, когда в душе еще горело пламя, теперь же оно затухло и лишь тускло тлеют угольки. Ее манило недавнее прошлое, и как бы Самарина хотела, чтобы оно вернулось, чтобы со щемящей болью она могла вспоминать этот милый образ голубоглазого мальчика.

А на другой день на втором уроке Комм начал бросаться хлебом. Самарина в это время рылась в книжках, и вдруг сильный удар в висок заставил ее поднять голову. Ей не было больно, но как-то ошеломляюще подействовал на нее этот удар. Она, кажется, даже слегка выругалась и сердито осмотрела класс. Комм стоял у доски со слегка поднятой рукой, его смуглое лицо не смеялось, а было как будто удивленно. Хивинский

сидел около окна и смотрел на Самарину серьезно и даже с участием.

- Комм, ты очумел? - тихо сказал он, и в его словах выражалось все то, что было написано на его лице.

Самарина слегка столкнула с парты большой кусок черного хлеба, и спокойно начала рыться в тетрадах. В голове пробежали обрывки мыслей, все внимание ее было устремлено на то, чтобы сохранить наружное спокойствие, но вместе с оскорбленным чувством в душу вливалась искорка радости и легкого, приятно ласкающего удовольствия от заступничества Хивинского, от его серьезного взгляда.

На уроках Самарина почти не смотрела на него, лишь мельком или урывками, хотя один раз они встретились с ним глазами. Раньше Самарина не понимала выражения - встретились глазами, но теперь понимает это чувство, будто сталкивается взглядами, и эта встреча легким толчком отдается в сердце. Как-то сильно и всем своим существом она почувствовала, что эта пара ясных голубых глаз смотрит именно на нее. Когда пошли домой, начался сильный снег. Мокрые белые хлопья липли к одежде и приятно покалывали лицо. В воздухе стоял сырой туман, сквозь покров снега проглядывали черные следы ног и лужи, наполовину заваленные. Переулки были все белые, лишь кое-где сквозила желтизна домов, и тонко вырисовывались на снегу силуэты лип и голые сучья кустов.

Самарина, кажется, никогда так не наслаждалась зимой. Какая чудесная картина: снег-снег, белые рыхлые кучи стоят по бокам переулков, и светло-желтой дорожкой бегут тротуары. Небо серое и печально спокойное. И деревья, и дома, и земля - все находится под покровом снега. Идешь, разговариваешь и вдруг видишь группу деревьев, стоящих как-то особенно неподвижно, с растопыренными ветвями. Толстый белый слой на этих ветвях, сквозь их сетку просвечивают дома, большей частью такие же неподвижно-спокойные, освещенные красные, зеленые, желтые окна и эта паутина серебряных переплетающихся нитей деревьев, сквозь которые немного туманно очерчиваются здания. Поглядишь на синеватый сумрак, плавающий кругом в застывшем воздухе, на белую легкую пелену и как-то особенно щемяще станет на душе.

Странная вещь жизнь. Одно время Самарина как-то свободно отдавала себе отчет во всем, а сейчас при всем желании не может. Вот понимает, что это любовь, а вот это радость, а это еще что-то, но ко всему примешивается какое-то странное чувство, которое таится в самой глубине души. И не показывается вполне, а так, какой-то неясной тенью. И объяснить его Самарина не может, хотя не раз старалась заглушить его.

Часовые стрелки размеренно идут по кругу.

Вот уже два дня Самарина сидит дома. Скучно, вернее не скучно, а как-то немного странно, как будто чего-то не достает... Прервана связь между прошлым и будущим, образовалась пустота, которую уже не заполнить. Самарина делает что-нибудь, а в голове ее жужжит постоянная и раздражающая мысль о школе, даже не мысль, а что-то подсознательное. Читает она, например, а где-то в глубине мозга стучит и ползет нескончаемой нитью мысль о школе: "Вот не пошла в школу, а там занимаются, программа продвигается, совершаются события, которые я уже не увижу". В душе шевелится легкое сожаление и досада, и так целый день.

Самарина не особенно скучает о школе, но как-то длинно идет время. Вчера Самарина утешала себя тем, что пропускает школу из-за болезни, но сегодня температуры у нее уже не было. Вечером, правда, сестры, попробовав ее голову, уверяли, что у нее жар, и Самарина как-то смущалась в их присутствии, чувствовала на себе их взгляды и неожиданно невпопад начинала смеяться, краснела, вскакивала и ходила по комнате, невольно возбуждая их подозрения.

- Ты что, влюблена? - спрашивала Вера.

Самарина отвечала шуткой, а в душе говорила себе, смеясь: "Ведь совесть моя чиста?" Но сама Самарина все-таки не знала, чиста ли.

В некотором забытии она вдруг опоминалась перед зеркалом.

Хивинского в школе не было, а без него так скучно и пусто, вчера же, когда Самарина входила в класс и по обыкновению взглянула на парту у окна, то с удовольствием увидела его. Что ни говори, но Самарина соскучилась, а, может, просто привыкла, глядя на парту у окна, видеть светлый затылок, или сияющее

хорошенькое лицо с поразительно голубыми глазами, или, гуляя по залу, следить за мелькающей фигурой, что вдруг не увидеть его в толпе ребят или не услышать его разбитного голоса кажется просто невозможно. На уроке физкультуры Самарина столкнулась с Соколовой так, что сильно ушибла себе нос. В начале следующего урока, когда все уже сидели, Самарина заметила, что около ее парты вертится Хивинский, который неуверенно топтался, потом медленно отходил, поглядывая на нее с Авруниной. Наконец, он подошел и спросил, показывая черную ручку Авруниной:

- Чья это ручка?

Самарина не могла удержаться и, уткнувшись в парту, неудержимо смеялась, говоря себе: "Выдал, он себя выдал с ног до головы". В общем, они с Авруниной сделали очень интересный вывод, что Хивинский после каждой своей выдумки взглядывал на них и, разумеется, смеялся.

На последнем уроке сказали, что класс распускается на каникулы. Желание, которое за последнее время целиком овладело Самариной, исполнилось. Какое блаженство не думать некоторое время о школе, не рыться в тетрадях, не зубрить древнюю Вавилонию или физические свойства почв по биологии. До чего приятно ощущение полной свободы: захочешь, будешь рисовать, захочешь - писать или читать, а то, подхватив коньки, пойти на каток, куда так манит матово прозрачный лед и мчащиеся стрелой фигуры. Скоро будет вечеринка у Тамары Петровны, а, стало быть, у Хивинского. Самариной немного жутко от этого, хотя она и старается прогнать страх, но все же при воспоминании об этом в глубине ее души начинает что-то шевелиться, слегка покалывая.

Еще раньше Самарина решила не идти, но когда появилась возможность сделать это, и она очутилась в положении добровольного заточения, чувства ее начали двоиться. Сначала так нестерпимо хотелось на вечеринку, что она еле сдерживала себя, старалась заглушить голос, который уговаривал остаться. Весь день она была сама не своя, ничего не делала, ходила по комнатам и чуть не плакала от досады. К вечеру она все-таки вырвалась на несколько минут к Авруниной, и, когда вернулась домой, настроение было веселое и спокойное - все, как рукой сняло.

И погрузилась в тишину, вернее, с трудом нашла ее в квартире. Самарина читала у бабушки только потому, что в комнате все время кто-нибудь находится, но и, читая, ухитрялась думать о другом. У каждого есть свои недостатки. Например, как хочется сделать сразу и прекрасный рисунок, и хорошо играть на рояле, и много читать. Попробуй, ухитрись. Кроме того, еще ходьба за картошкой в магазин, занятия немецким языком, поход на каток.

Она, чтобы развеяться, ходила по переулкам: из Девяткина в Сверчков, из Сверčkова в Армянский, в сторону усадьбы Тютчевых... В усадьбе, в которой поселилась семья Тютчевых, с XVI века жили знатные боярские семьи - Милославские, Шаховские, Собакины... Было у этого переулка и другое название: Никольский или Столпов переулок - по названию здешней церкви Николы в Столпах, построенной во второй половине XVII века. В этом месте жило много иностранцев, в том числе богатых купцов - с Запада и Востока. В середине XVIII века из Персии в Москву приехал знатный армянский купец Лазарь Лазарян, ставший в России родоначальником прославленной семьи Лазаревых, много сделавшей для русской культуры и развития русско-армянских связей. Он поселился в Столповом переулке, вслед за ним здесь стали обосновываться и другие армянские семьи. К концу XVIII века влияние армянской колонии стало столь велико, что весь переулок получил новое название - Армянский... Из Армянского Самарина шла в Кривоколенный переулок, а из него в Потаповский, а там можно было выйти на улицу Чернышевского и опять повернуть направо в свой Девяткин переулок, или из Потаповского сразу свернуть в Сверчков...

Она не спеша ходила и о многом за это время думала. Самарина становилась все замкнутой и молчаливой. Хорошо это или плохо? Иногда она начинает искать различные доводы, опровергает их, опять находит, чтобы сделать себе все ясным и понятным, и все-таки перевес остается на последнем ее решении - быть как можно скрытней. Самарина уже беспричинно не смеется и не шутит с родными и постепенно удаляется от них.

Но у нее, кажется, нет и внутреннего мира, в котором она могла что-либо созерцать. Самарина живет, как во сне, спокойно, тихо, без всяких событий. Событий нет, конечно, никаких,

но есть внутренние переживания и подчас довольно сильные. Что такое внутренний мир? Возможно, Самарина и ошибается, говоря, что у нее его нет, но не все ли равно, внешний мир или ее переживания? Странная человеческая душа - она способна надеяться в любом положении. Кажется, уже все кончено, но где-то робко начинает шевелиться надежда, постепенно увеличиваясь, нарастая и, в конце концов, захватывая все ее сердце. В последнее время Самариной несколько раз пришлось испытать на себе это умерщвление и возрождение надежд, а как мучительно и больно было чувствовать, что надежда, особенно долго лелеянная, вдруг пропадает, и в сердце становится как-то пусто и тяжело...

Первый случай произошел в школе по отношению к Хивинскому - Самарину вдруг оставила всякая надежда, что он ее любит. Как странно и смешно произносить это слово. Случилось это на уроке немецкого языка. Самарина, вероятно, показалась смешной мальчишкам, они заржали, потом начали кричать "дура", и ей даже показалось, что Хивинский кричит "косая". Самарина вспыхнула и, продолжая что-то писать, почувствовала вдруг, как что-то рушится в ее душе и, смешиваясь с оскорблением, исчезает надежда. Как неприятны такие минуты... Теперь Самарина, конечно, нашла ряд доводов и восстановила мир в душе, хотя, рассуждая здраво, то все это самообман.

Как обманом была, кажется, зима. Поскольку уже веет весной. В каждом порыве ветра чувствуется запах весны. В каждой струе воздуха есть что-то новое, свежее и молодое. Весна... Незаметно и неслышно подкрадывается она, и лишь изредка долетает ее теплое дыхание. Вчера таяло, солнце уже довольно сильно припекает, и на мостовой образуются мокрые черные полосы. Весна проникла в душу Самариной, и так нестерпимо тянет куда-то, "туда", ближе к ней, в лес и поля.

В воскресенье ездили с сестрой Верой в Коломенское. О, как Самарина наслаждалась весной. Шла и как будто старалась захватить как можно больше весеннего воздуха в свои легкие; глядела на конус церкви времен Алексея Михайловича, на светлое голубое небо с легкими весенними облаками, на холодную широкую реку, по которой проносились тонкие льдинки, на чуть зеленеющие деревья; и в каждом звуке ударяющейся о бе-

рег льдины, в каждом крике веселых воробьев, в каждом дуновении ветра Самариной чудились тысячеголосные крики: “Весна!” Природа ликовала и приветствовала приход долгожданной красавицы. И Самарина стремилась в чащу кустов, на высокие крутизны, чтобы слиться в одно целое с природой и присоединиться к громкому крику... Когда они возвращались домой в десятом часу вечера, и Самарина с восторгом вспоминала прошедший день, к ее наслаждению присоединялось еще какое-то чувство, от которого она старалась освободиться, которое не понимала и не могла высказать... и которое давило на нее. Чувство какой-то неудовлетворенности, непонятной тоски о чем-то...

Сегодня Самарина не пошла ни в школу, ни на немецкий язык, потому что плохо себя чувствовала, а, вернее, у нее было такое дурацкое настроение, что ничего не хотелось делать, даже за чтение не принималась. Недавно Оля и Вера посоветовали ей записывать книги, которые она прочитывает. Довольно интересная идея, и, главное, это, вероятно, развивает, так как Самарина постарается книги критиковать.

Скоро опять вечеринка у Тамары Петровны. На вечеринках все предстают в ином свете. Аврунина не идет, Самарина тоже хотела не пойти, но заговорило вдруг самолюбие, ей стало стыдно, что без Авруниной она не может, так что решила идти, хотя и страшно. Вечером они с Олей и Верой дурили на эту тему, вот Самариной и засела в голову эта мысль. О Хивинском Самарина почти не думает, а, думая, представляет его очень смутно и туманно, хотя это еще не значит, что Самарина к нему равнодушна. Голубые большие глаза у него и у Тамары Петровны тоже большие, любит их Самарина и сама не знает, у кого глаза больше.

Около пяти часов вечера Самарина шла с замиранием сердца к Авруниной: “Пойдет или не пойдет?” Сумерки незаметно сгустились, но что Самариной было до этого. Она вошла во двор, поднялась по лестнице, позвонила в дверь. Через минуту Самариной открыли. Самарина прошла в столовую. Аврунина была одета в белую блузку и красный джемпер, на груди она приколотла изящную брошку...

Они выскочили из дома и пошли переулками к дому Тамары Петровны, и когда подошли, то парадный вход был закрыт. Через

некоторое время его открыли, и они по лестнице поднялись к двери.

- Ой, страшно! - воскликнула Аврунина.

Но делать было нечего, не стоять же все время на лестнице. Самарина собралась с духом и позвонила.

У дверей раздался голос Тамары Петровны, она открыла, и они вошли в длинный коридор.

- Раздевайтесь, девочки, - сказала Тамара Петровна, после чего провела их в свою комнату.

Какое-то время чувствовалась неловкость, и общий разговор как-то не вязался, но вскоре пришли другие девочки, с ними же появился откуда-то Хивинский, впрочем, он вскоре скрылся, но им стало уже как-то веселее. На Самарину удручающее впечатление произвела квартира Тамары Петровны, может быть, потому, что вокруг шныряли чужие люди или же виной была скука, которая сначала овладела всеми пришедшими. Потом перешли в столовую, а оттуда в небольшую комнату, где Самарина, Аврунина и кто-то еще сели на диван. Постепенно все разыгрались, а когда стали пить чай, настроение почти у всех было приподнятое и веселое, все ели с аппетитом. Перед уходом Тамара Петровна собрала ребят в комнате и начала разговаривать о школе. Самарина, почти не моргая, смотрела в голубые глаза Тамары Петровны и внимательно слушала ее, а потом вышла на улицу с чувством тихого счастья.

Хотя на другой день счастье быстро улетучилось. Комм начинает Самарину порядком злить. Смешной парень, если бы он был немного попроще, немного обычным мальчиком, ведь на него нельзя смотреть без смеха: маленький джентльмен (он любит употреблять это слово), всегда чистенький, с презрительной и немного надменной улыбкой, с умными, часто насмешливыми темно-карими глазами. И главное, с большим запасом знаний и сообразительной головой. Дурачится ли он? Или это у него совершенно естественно? Вот что Самарину занимает, ведь вместе со смешным в нем есть и хорошие черты. Иногда он так по-детски и заразительно хохочет, что, глядя на него, остается только удивляться.

Он принес в школу свою стенную газету, в которой высмеивал некоторых ребят, газета получилась очень смешной и веселой. Когда все сбежались читать ее, и кругом слышался смех, он

прохаживал рядом, изредка косясь на свое произведение. К несчастью, Самарина все чаще и чаще начинает думать, что она - простая смертная, и виной этому отчасти этот Комм, ведь именно в нем Самарина увидела не совсем обыкновенного мальчишку и ярче поняла себя. Однако трудно примириться с тем, что Самарина обыкновенная, как-то досадно думать, что у каждого есть такой же сложный внутренний мир, что каждый так же, как она, глубоко переживает. В общем, это так, но, все же, читая про подростков в книгах, Самарина ни разу не встречала собственных черт, хотя у взрослых она их и встречает - это придает Самаринной некоторую гордость.

Вообще, Самарина жаждет переживаний, сильных нравственных переживаний, от которых в душе может происходить какая-то работа, какая-то борьба. Самарина начинает жить нравственно. Эти душевные переживания Самарина черпает во многих и разнообразных вещах: главное - в книгах, потом - в музыке, в красоте как природы, так и людей, в жизни, но не в той, которой сама живет и многие другие, а в деятельной, полной смысла, творчества и страданий жизни, опять-таки основанных на переживаниях. Таким образом, создается неразрешимый круговорот, может быть, тот круг событий и переживаний и называют жизненным водоворотом. Возможно, Самарина еще не начинала жить. Если детство лишь приятное предисловие к жизни, то Самарина может надеяться на будущее, в котором для ее ненасытной на переживания души найдется много пищи. Но иногда Самаринной кажется, что все это вздор. Часто говорят, что человеку свойственно надеяться. И Самарина считает, что это правда, нет человека, который бы жил, не надеясь, ведь надежда не покидает людей даже в самые безнадежные минуты жизни.

Часов в пять, когда Самарина сидела у бабушки и читала книгу, пришел отец. Самарина, как и всегда за последнее время, посмотрела вопросительно на него: "Ну, что?". Дальше этого вопроса Самарина редко заходила. Да и зачем? За последние дни Самарина сильнее полюбила отца. И раньше она питала к нему много чувств, но теперь, после того, как его исключили из партии за распространение стихов Мандельштама, то есть, иначе говоря, велели убираться с кафедры, совсем другое дело. Первопричиной этого ведь была она сама. Но

отец ей не сделал ни одного замечания, только как-то сказал, что в стране стукачей нужно быть гораздо осмотрительнее. Самарина любит отца за колоссальный ум, за честность, любит его человеком идеи, человеком дела, человеком, стойко держащимся передовых взглядов, не променявших их ни на какие блага жизни. За последнее время он сильно осунулся, пожелтел, морщины стали резче вырисовываться на хмуром суровом лице...

Как будто совсем недавно был январь, и Самарина с ужасом думала, что осталось учиться еще так много, а теперь? Теперь осталось только полмесяца. Только полмесяца! И она будет свободна. Иногда ее начинают разбирать сомнения: будет ли она счастлива, когда окончит школу? Прекратятся ли когда-нибудь эти страдания из-за некрасивости, которые измучили ее? Не останется ли все по-старому? Но это было бы ужасно!

Последние два-три дня Самарина совсем гадко себя чувствовала. Ощущение того, что она страшная, мучает ее, как никогда. За сегодняшнее утро Самарина столько раз подходила к зеркалу и не могла смотреть без отвращения на свое лицо. Она не может выйти на улицу, такой противной кажется она самой себе, так ужасно больно ходить со всеми этими простыми, обыкновенными людьми, дышать с ними одним воздухом, смотреть на них и чувствовать, что не одна пара глаз смотрит на нее, может быть, с затаенным отвращением.

Когда Самарина была поменьше, лет десяти, она особенно сильно чувствовала насмешки мальчишек и обижалась на их крики. Одно время это начало сглаживаться, да и сейчас она на них не обращает внимания, но самоощущение ужасное. Ей хотелось иногда не думать об этом, забыть и не обращать внимания, но последнее время почти никогда не забывает об этом. А с этим счастье невозможно... Юность со своим весельем закрыла для нее дверь. Не может же Самарина находиться среди веселой, счастливой молодежи и чувствовать, что портит им настроение своим присутствием. Сидит, бывало, в школе, как будто ничего, весело и хорошо смотрит, наплевав на все, в глаза девчонкам, но вдруг вспоминает про свое "личико", и с болью отворачивается.

Как бы была счастлива Самарина, если бы ее оставили совершенно одну, дали бы книги, позволили бы уйти совершен-

но в себя и забыть, что делается на свете, тогда, может быть, она была бы совершенно спокойна и счастлива. Позавчера вечером пропали ее очки, пропали в собственной квартире и пропали совершенно. Как нестерпимо раздражает ее это, ищет-ищет, а их нет - не знает, на кого и думать. Как будто все сговорились ухудшать ее настроение: кто-то очки взял, или спрятал, или Третьякова взяла, Самарина понять не может.

Плохая у Самариной особенность - с течением времени обиды на кого-либо остывают, и она идет на компромисс. Однако сейчас Самарина все-таки старается сдерживать себя и не заводить слишком дружественных отношений. Какими в последнее время ребята стали хулиганами, почти все, включая и Хивинского! У Самариной все-таки к нему стало другое чувство, чем к остальным, совсем уже не то, что было год назад, но все же... ведь он потрясающе красив!

Как-то на физике он и Николаев что-то нарисовали и бросили бумагу на ее стол. Третьякова передала ей, а Самарина, не долго думая, разорвала ее. На переменке Николаев подошел к ней и спросил:

- Самара, ты прочла наше произведение?

- Вот еще! Я разорвала его, - с чувством сказала Самарина.

- Ну, и хорошо сделала, - вставил Хивинский, хитро улыбаясь.

Черт возьми, а ведь он красивый парень! Надо сознаться, к величайшему ее стыду, что она еще до сих пор краснеет, когда разговаривает с Хивинским. Не так давно он вдруг на уроке обернулся к Самариной, взглянул пристально и долго, и так хитро и лукаво, с таким задором прищурил левый глаз. Самарина, как будто не обратив внимания, отвернулась, а потом все смеялась про себя да вспоминала пару голубых блестящих глаз. Все-таки Хивинский порядочный балбес, а Самарина почти и не замечает этого.

Настроение у Самариной страшно быстро меняется: то безнадежно тоскливое, то вызывающее, полное странных мечтаний и надежд. Эти перемены очень раздражают, злят ее, заставляют нервничать, хотелось бы всегда быть одинаковой: или радостной и сильной, или ненавидеть жизнь. Но весь ужас в том, что душа ее не слушает разума и воли. Сегодня у Самариной настроение одно, и она мучается, проклинает жизнь и

готова всех растерзать, а завтра взгляд ее вдруг круто меняется, жизнь кажется не такой уж гадкой. С удовольствием возьмется за ненавистные уроки и построит вдобавок блестящий и грандиозный замок желаний о своем будущем. Но цели, определенной и реальной цели у Самариной нет. Зачем она живет? Во имя чего? Одному Богу известно, просто она коптит даром небо.

Интересно иногда ей было рассматривать свое прошлое, разбирая его по ниточкам. С малых лет у Самариной появились в характере некоторые слабости: подозрительность, доходящая иногда до нелепости, и мечтательность. О чем она думала, что представляла, или, вернее, во что "играла", как она называла это, вероятно, не решится никому рассказать. А в последние годы она любила по целым часам сидеть в комнате и сочинять различные вещи, разговаривать, изображать и переживать, на разные лады переделывая одно и то же.

Когда Самариной было семь-восемь лет, подозрительность ее доходила до болезненности, она в каждом слове чувствовала скрытый смысл и заговор против нее, всего боялась и, оставшись одна, осматривала все углы и закоулки - нет ли кого. В те годы Самариной часто снились поразительно яркие и страшные сны, которых она с ужасом ждала, и от которых просыпалась в холодном поту и с сильным сердцебиением. Один сон, часто повторяющийся, сам по себе не представлял ничего особенного, но он внушал чисто физическое и тошнотворное отвращение. Несколько лет это ощущение повторялось уже наяву, и Самарина пыталась понять, внимательно изучая его, что же это такое, но не могла...

Что с ней сделалось? Всего три-четыре дня назад Самарина была весела и довольна, смеялась в школе, много болтала. И вдруг все перевернулось, опять скука и тоска, но она хочет понять причину этой перемены, хочет и не может пока. В школу она не пошла, ей надо было ехать в больницу - отец записал ее к врачу. Странное дело, на каникулах перед школой Самарина страшно страдала из-за своих глаз, боясь, что в школе после такого большого перерыва она будет чувствовать свое уродство особенно болезненно. И вдруг... ничего подобного! Ничего не тревожит и не волнует, про глаза она совсем забыла, не хотелось даже идти к врачу, ведь ее "это" уже не тревожит.

Самарина представляла себе, что станет нормальной, но она ведь знает, что счастье от этого не придет. Сделают ей операцию или нет, все равно, о ней не думала. Так почему же испортилось настроение тогда? Не могло же на него повлиять собеседование в школе? Нет, дело совсем не в этом. Самарина почувствовала всю бесплодность, все безобразие современной жизни и это ее страшно стало тяготить. Видеть эту несправедливость, ложь и жестокость и чувствовать, что ты бессильна. Но что делать? Неужели никогда человек не будет совершенно свободен? Неужели свобода - это только иллюзия? Неужели вся та бесконечная многовековая борьба, которую ведет человечество за свободу - погибла даром?

“Наша улица” № 96 (11) ноябрь 2007

Сон был главной радостью Федора Павловича Фомичева, радостью, не сравнимой ни с чем, просто-таки земным раем. Ах, этот сон - не пробуждался бы вовсе, лишь бы спать, спать, спать и смотреть сны, а они - эти сны - так и шли один за другим. Но вот беда: приходилось открывать глаза и вставать, против воли открывать глаза, против всего своего существа, потому что это существо вдруг очень настойчиво давало о себе знать каким-то чудовищным бурлением в животе, какой-то даже противоестественной жадностью - мол, вставай и точка, далее спать не могу. Причина? Ну, каждому понятна эта причина: голод проснулся, не совсем, конечно, настоящий голод, а такой нормальный, присущий каждому голод, голодок, голодушечка, когда на завтрак-то поел, а обед часа на три-четыре проспал, вот он голодок и поднимает с постели, из-под ватного одеяла, с пуховых огромных подушек, на которых так любил отдыхать Федор Павлович и которые ему каждый год, летом, перетряхивала жена Нюра, перетряхивала, не выходя из квартиры, потому что сама последние три года не выходила даже на лавочку перед подъездом, ибо так располнела от своего сахарного диабета, что даже на кухню шла, придерживаясь за стены и со многими передышками.

Итак, Федор Павлович разлепил веки и как-то нервно сбросил с себя тяжелое ватное одеяло. Хотя на улице была середина мая, солнце припекало, а Федор Павлович все равно укрылся этим ватным одеялом и окна держал в своей каморке плотно закрытыми, даже заклеенными, поэтому в каморке (комнатой этот закуток из пяти квадратных метров назвать было трудно) обильно пахло потом, какой-то затхлостью, скорее всего от нательного белья (кальсон и рубашки), которое Федор Павлович не менял месяцами, а может быть, от портянок, которые Федор Павлович не желал менять ни на какие носки: как привык с детства к портянкам, так всю жизнь и прошел с ними: и в армии, и на войне, и после войны... Да и работать ему было сподручнее в сапогах, потому что всю жизнь Федор Павлович малярничал на стройке, а там, известное дело, сквозняки, а зи-

мой батареи еще не включают, а ты кистью машешь в пустой квартире, вот в сапогах оно и лучше, ноги в тепле, а уж когда совсем похолодает, то Федор Павлович с удовольствием перелезает в валенки с галошами.

Сбросив с себя одеяло, Федор Павлович почувствовал какое-то трусливое и болезненное ощущение, которого стыдился вот уже вторую неделю, как съездил в Рязань и побывал там у сорокалетней сестры жены, Дуси. Еще не вставая с кровати, огромной и высокой никелированной кровати с блестящими шарами на стойках, Федор Павлович услышал из большой комнаты (относительно большой, потому что там было четырнадцать метров) стон Нюры. Плачущим голосом она извещала, что ей опять плохо. Федор Павлович матерно выругался про себя и с ненавистью подумал о жене как о пудовой гире, которая тянет его на дно. Подумал и тут же трусливо вздрогнул, поскольку шевельнулась в голове мыслишка, которая, как червячок в орех, залезла к нему в эту голову и сверлила ее все последние дни. Чтобы отогнать эту привязавшуюся мыслишку, Федор Павлович спросил, что там Нюре еще потребовалось, но в ответ через дверь услышал все тот же стон, такой противный, осточертевший Федору Павловичу стон. Он опять выругался про себя и сунул ноги в стоптанные тапочки; и, пока вставал, мыслишка так и полоснула по сердцу: а не придушить ли Нюрку прямо сейчас, сию же минуту? Но тут же эта мыслишка схлынула, и Федор Павлович задрожал, на какую-то минуту задрожал, а потом успокоился, взял себя в руки и посмотрел на широкий подоконник, на котором стояли коробки из-под молока, куда Федор Павлович насыпал земли и посадил помидоры, зернышки помидорные сунул в землю эту. Коробок было штук пятьдесят, и каждую осень Федор Павлович снимал прямо в своей каморке неплохой урожай помидоров.

В замызганных кальсонах и нательной рубашке Федор Павлович вышел в большую комнату, где стояли сервант с позвякивавшими стеклами, когда мимо него проходили, кровать, на которой в позе умирающей лежала двухсоткилограммовая Нюра, диван, купленный в 1952 году, круглый стол образца 1956 года, а на стене над диваном висел коврик самодельной работы с вышитыми крестиками лебедями. На столе лежала газета "Труд", сложенная так, чтобы была видна телевизионная программа.

Эта газета “Труд” была единственной в доме принадлежностью для чтения: ни книг, ни журналов отродясь у Федора Павловича не бывало, ибо читал он плохо, по слогам, окончив когда-то в деревне два класса, а Нюра вообще ни читать, ни писать не умела и всегда, к месту и не к месту, говорила, что она неграмотная. Сам же Федор Павлович, по сравнению с ней, считал себя грамотным и письма в Рязань писал с большим подъемом аршинными буквами с множеством орфографических ошибок, которые, разумеется, сам не замечал, и без знаков препинания. В газете же “Труд” он читал лишь столбец на последней странице, который был составлен из коротеньких заметок о разных небывалых случаях, например о рыбах под десять кило, которых ловили на крючок для плотвы, или о долгожителях, которые проживали по сто лет... Читал он этот столбец долго, вдумчиво, самое интересное зачитывал вслух Нюре, но та ничего не понимала, а потом пересказывал прочитанное мужикам во дворе... Еще он в этой газете любил читать про всякие льготы участникам войны, что напрямую касалось его, и про пенсионные дела, что также его касалось.

Выйдя в большую комнату, Федор Павлович с отвращением посмотрел на Нюру и опять про себя выругался: она лежала с открытым ртом и закрытыми глазами, толстое лицо ее было красно и в поту. Нюра стонала. Федор Павлович, матерясь, сходил на кухню, принес чашку холодного чая и таблетки. Молча и нервно сунул несколько таблеток в открытый рот Нюры и поднес к ее губам чашку. Нюра шумно отхлебнула чаю и, проглотив таблетки, облегченно, не открывая глаз, вздохнула. Федор Павлович почесал под рубахой живот, зевнул и побрел на кухню. Он прокипятил кастрюлю щей, налил себе полную эмалированную миску, отрезал три огромных ломтя черного хлеба, взял большую деревянную ложку, сел на самодельный табурет к столу и принялся хлебать, чавкать и втягивать в себя сопли. Да, именно так ел Федор Павлович, и вместе с ним вряд ли кто мог выдержать этот обед. Съев миску и тщательно облизав ложку, Федор Павлович рыгнул, посмотрел в окно на линию железной дороги, подумал и налил еще целую миску, но не доел ее, вылил остаток в кастрюлю, вновь прокипятил щи, а затем уж, потягиваясь, пошел в свой закуток одеваться на вечернюю прогулку. Он натянул на себя армейские брюки-галифе, намотал на ноги пор-

тянки и сунул ноги в хромовые сапоги. Потоптался перед зеркалом у шкафа, надел байковую рубашку, полосатый пиджак с загнутыми трубочкой большими лацканами, на одном из которых был привинчен орден Красной Звезды. На лысую голову надел армейскую фуражку без кокарды, прихватил дерматиновую сумку и пошел на улицу.

Вечерний обход магазинов начался с булочной, где он купил буханку черного и два батона. Потом шел вдоль линии железной дороги к гастроному, а мыслишка эта, как червячок в орешке, так и прыгала в голове его, так и выскакивала. Федор Павлович вздрагивал, оглядывался, уж не слышит ли кто этих его мыслишек, и почему-то в это время видел Дусю, ее молодое тело, ее огромные груди, которые так понравилось целовать Федору Павловичу. Увидев в воображении Дусю, он весь напрягся, даже остановился, и сладкая слюна наполнила рот. Федор Павлович улыбнулся, сдвинул фуражку на затылок и как-то осторожно сплюнул на обочину, не на асфальт, а на землю, как культурный гражданин. С Дусей все сладилось как-то само собой: ну, приехал в Рязань, ну, пришел к ней, выпили бутылку, он ей руку на ляжку положил, а потом уж и в постель легли. Утром как ни в чем не бывало поехал в деревню к другой сестре Нюры, к Марусе, за салом, за которым, собственно, Нюра и посылала Федора Павловича. Федор Павлович шел вдоль линии железной дороги и сам дивился себе: это в семьдесят лет он такой молодец, такой способный на любовь! Дуська, вспомнил с усмешкой Федор Павлович, так и визжала, стерва! А хороша баба, хороша, подумал Федор Павлович перед самым гастрономом, возле которого стояла длинная очередь в винный отдел. Увидев эту очередь, Федор Павлович поколебался и уже решил пройти мимо, как его из первых рядов этой очереди окликнул Митька, работавший когда-то вместе с Федором Павловичем на стройке, окликнул и предложил выпить на двоих. Федор Павлович снял фуражку, смахнул пот с лысины и подумал, что выпить-то оно даже лучше будет, не так страшно будет, и с этой мыслью Федор Павлович достал мятую пятерку из "пистона".

Взяв бутылку белой, с Митькой, беззубым и небритым, зашли в гастроном, где Федор Павлович купил колбасы, сыру и сливочного масла. Пока шли к кустам у линии железной доро-

ги, Федор Павлович все бубнил наставительно Митьке о том, что уж очень хорошо жить в Москве - тут тебе и колбаса, и масло, и молоко "каждый божий день", не то, что в проклятой деревне, где ничего нет и где нужно задарма "ишачить" с утра до ночи. Митька соглашался и тут же начинал что-то плести про свою деревню, в которой-то всего два дома осталось, а остальные "сбегли, кто куда". Митька, заметил Федор Павлович, был уже под мухой. Они спустились к линии, сели на молоденькую травку под кустик. Митька достал из своей сумки стакан, а Федор Павлович разложил на обрывке бумаги довески колбасы и сыра. Налили, выпили. Прошел, содрогая землю и подвывая гудком, скорый из Ленинграда. Провожая его взглядом, Федор Павлович опять стал развивать мысли о преимуществах жизни в Москве. Митька медленно жевал "закус" и согласно кивал. Вдруг Федор Павлович переменял тему и спросил, а что, ежели жена, Нюрка, помрет, сможет ли он прописать к себе иногороднюю бабу. Митька спросил о жене, плоха ли очень? Федор Павлович посопел носом и ответил, что, мол, на ладан дышит. Митька сказал, что должны прописать бабу, коли Федор Павлович с ней по всем правилам распишется. Это-то дело сам Федор Павлович знал, и спросил он не в том смысле, а в том, что у него на площади прописаны оба сына, а не выписывались они потому, что, когда жили в бараке, сам Федор Павлович им не велел выписываться, потому как не дали бы ему отдельную квартиру эту. Митька задумался.

Визгливо проскочила электричка, и под ее визг Федор Павлович налил по второй. Выпили. Настроение у Федора Павловича заметно улучшилось, и он сказал, что у него отличные сыновья, во всем его слушаются, а дочь, Зинка, еще лучше, но она уж лет двадцать назад выписалась, уж у нее у самой отдельная квартира, только вот два сына ее не хотят никак жениться. А что им жениться, если у них в старом доме теперь отдельная квартира, муж Зинки выхлопотал от завода, они там сначала комнату имели, рассказывал Федор Павлович Митьке, потом, когда первый внучок появился, им вторую комнату отдали за выездом жилички, и вот недавно там у них последняя соседка, старуха, померла, ну, муж Зинки, молодец, проворный такой, выхлопотал, бумаг разных от завода насобирав, что он и член профсоюза, что там эти, как их уж, "зобритения" имеет. Мить-

ка, захмелевший совсем, поддержал, что у него тоже свояк “зобритает” по разным металлам и что тоже, мол, квартиру “за это дело дали”. После некоторого молчания Митька вдруг сказал, что нехорошо при живой жене “об этом деле” говорить. Федор Павлович улыбнулся, да и отшутился, мол, он об этом “пластинку завел” просто-таки на всякий случай и сослался на то, что жизнь длинная и что наперед надо кое-что предугадывать, а то, случись что, так в дураках и останешься. На это Митька согласился. Затем, по последней, выпил Митька, а после него Федор Павлович “поправил усы”.

Попрощавшись с приятелем, Федор Павлович, не ощущая уже ни волнения, ни страха, обогнул огромный красный дом и вышел на шоссе. На противоположной стороне находился универмаг, и Федор Павлович решил заглянуть в него, просто так. Пока спускался в подземный переход, вспомнил о своей стальной коробочке. Лет эдак десять назад он попросил сварщика сварить ему из листовой стали эту коробочку со щелочкой, то есть просто-напросто копилку. Федор Павлович до самого последнего времени продолжал халтурить, иначе говоря, красить кому что требуется. В районе его знали как старательного маляра и приглашали делать ремонт. Но теперь малярных работ не так много требовалось: окна побелить, двери покрасить, кухню, батареи и трубы; а так все больше обои клеить. В этой клейке обоев Федор Павлович уж очень был ловок - за день тридцатиметровую комнату мог один без подручных оклеить. Тут вся хитрость в подготовительной работе: кромку с одного боку обоев срезать, в размер подогнать, да чтоб цветочки рисунка совпадали. Потом клею наварить как следует и по стопе обоев длинной кистью мазать, чтобы не нагибаться, а то поясницу ломить начнет. Так вот, пока спускался в подземный переход, стал Федор Павлович прикидывать: сколько же денег у него в копилке накопилось? Десять лет она у него? Десять. “Кажный” месяц червонцев по пять, а то и больше в нее засовывал? Засовывал. Стало быть, нужно, по меньшей мере, прикидывал Федор Павлович, пятьдесят помножить на десять лет. Сколько же это будет? Пятьсот рублей, быстро сосчитал Федор Павлович, выходя из подземного перехода к универмагу. И тут же остановился: что-то уж очень мало денег получалось. Как же так? И тут Федор Павлович ударил себя по затылку: деньги-то он на

месяца не перемножил! И так, сначала: пятьдесят рублей нужно помножить на двенадцать месяцев. Получится шестьсот рубчи-ков! И эти шестьсот на десять годков? Шесть тысяч! Федор Пав-лович блаженно улыбнулся и проговорил про себя, что это ми-нимум. Ведь совал-то он не только десятки, в иной раз и чет-вертные опускал, а однажды, вспомнил Федор Павлович, сотню сунул! Стало быть, “тыщенок” десять должно быть. Но тут же Федор Павлович как-то внутренне себя одернул: лучше по меньшему считать, а то губы раскатаешь, а там, глядишь, и шес-ти не будет.

Удовлетворенно вздохнув, Федор Павлович зашел в уни-вермаг и, не собираясь ничего покупать, начал осмотр товаров с отдела тканей. Прощупав все висевшие на стендах материа-лы, Федор Павлович, так и эдак перекачивая в мозгу знакомую мыслишку, перешел в отдел посуды. Ему бросилась в глаза большая, с золотым узором, фарфоровая кружка за восемнад-цать рублей. А что, если купить ее для Нюрки, зловеще подум-ал Федор Павлович и тут же осуществил эту идею: взял да и купил, достал четвертную бумажку из паспорта, который носил всегда при себе, подошел к кассе и так это небрежно сказал: “Мине осьнадцать рублев за бокал”. Получил в отделе эту кружку, завернутую молоденькой продавщицей в фирменную бумагу, да и пошел себе, крутя мыслишку в голове, перекручи-вая ее на все лады. По этой стороне дошел до перекрестка, вы-пил в квасной палатке, постояв в очереди минут пять, кружку кваса, утер рукой губы и на зеленый сигнал светофора пере-шел на свою сторону.

Поднявшись к своей отдельной малогабаритной квартире и отперев дверь, Федор Павлович увидел Нюру, сидящую на сун-дуке в тесной прихожей. Когда Нюре становилось легче, она всегда выползала на этот сундук, а уж с него до уборной - два шага. Федор Павлович зло взглянул на нее и спросил, была ли она там - он кивнул на дверь уборной - или не была? Нюра простонала, мол, еще не добралась. Федор Павлович повесил фуражку на крюк, поставил сумку у стены, подхватил жену и помог ей втиснуться в узкую уборную, при этом Федор Павло-вич матерился про себя что есть мочи. Тут бы все сразу сде-лать, думал попутно он, а она взяла да встала. Вода прошумела в уборной, и следом донесся стонущий голос Нюры: “Федь-

ка, вынь мне отсель". Скрипя последними зубами, Федор Павлович выволок жену из туалета и усадил на сундук. Мутные глаза Нюры смотрели, казалось, на Федора Павловича, но как-то будто мимо него, так что даже Федор Павлович оглянулся: нет ли кого сзади, вздрогнул, прежде чем оглянуться, но, оглянувшись, разумеется, никого не обнаружил. Нюра простонала, чтобы он отвел ее в комнату к телевизору. Она, видите ли, посмотреть маленько желает. Федор Павлович с каким-то необычным отвращением подхватил эту тушу и перетащил ее к телевизору на диван.

Экран телевизора засветился, а Федор Павлович, перебарывая себя, чтобы тут же не прибить Нюрку, вышел в прихожую, достал из сумки кружку, развернул бумагу и, успокаиваясь, полюбовался золотом. Затем, прикинувшись добреньким, принес кружку в комнату и поставил на стол перед женой, сказав, что это он ей подарок купил, а то она, мол, питье любит пить, а та, старая, чашка ей мала. Нюра как-то бессмысленно улыбнулась и что-то в знак благодарности простонала. Федор Павлович матернулся про себя и пошел в свой закуток снимать сапоги. Переобувшись в тапочки на босу ногу (в квартире, никогда не проветриваемой, было очень жарко), пошел с сумкой в кухню раскладывать продукты в старенький холодильник "Север". Раскладывал, а сам все думал, как бы она поскорее отсмотрелась телевизор (он знал, что больше получаса она никогда его не смотрела), да и легла. Но прежде нужно было как следует накормить ее ужином. Он размотал шерстяной платок с кастрюли, в которой была сваренная им еще в шесть утра (вставал Федор Павлович в пять утра, а ложился в девять вечера) гречневая каша, затем поставил на плиту разогреваться гуляш. Когда гуляш закипел, Федор Павлович навалил полную миску гречки и залил ее этим кипящим гуляшом, в котором куски мяса были с кулак величиной. "Живем, чтоб поесть как следоват!" - частенько восклицал Федор Павлович.

Разглядев перед собою миску с едой, жена как бы вся преобразилась, взгляд ее принял осмысленное выражение, она поспешно схватила деревянную ложку и принялась быстро и жадно глотать пищу, которая действовала на нее, как наркотик. Минуты за три съев всю миску, она попросила Федора

Павловича перевести ее на кровать, что Федор Павлович быстро и с удовольствием исполнил. Только она легла, как сразу же захрапела. Федор Павлович с дрожью выключил телевизор, схватил со стола миску и ложку и удалился на кухню. А мыслешка так и буравила мозг, так и буравила. Федор Павлович стоял у раковины, мыл посуду и думал нервно, как все это он проделает, как это все у него получится. Хмель благотворно действовал на его психику. Разумеется, Федор Павлович нервничал, трусливо поглядывая по сторонам, но не так уж очень нервничал, как если бы был трезвым. Из комнаты слышался храп Нюры, но Федор Павлович знал, что минут через двадцать она очнется и попросит чаю, поэтому он вскипятил чайник, принес из комнаты новую кружку и, когда чайник вскипел, налил ей чаю и стал ждать, сидя на табурете за столом на кухне, когда Нюра позывно простонет. Федору Павловичу самому ужасно захотелось спать, он даже опустил голову на руки и чуть было не заснул, как до него донесся голос жены: “Федька, где ты, чаю!”

Как доброжелательная медсестра, Федор Павлович исполнил требуемое: напоил больную чаем, после чего она уж заснула крепко. Он вошел в свою комнатку и стал осматривать поочередно свои подушки: их на кровати, очень широкой, было четыре штуки. Остановившись на самой большой, обхватив ее и прижав к груди, Федор Павлович бросил взгляд на настенные часы: было десять минут десятого. “Рановато”, - подумал Федор Павлович и так, с подушкой, направился на кухню. Подушку положил на стул, где стояла кастрюля с гречкой, вновь завернутая в платок. Федор Павлович сел на табурет, но тут же встал и нервно заходил по кухне. Спать уже не хотелось. “Рановато, - повторил Федор Павлович про себя и добавил: - К утру остынет”. Тогда он решил вот что, сделать: завести будильник на три часа ночи и тогда уж, проснувшись, все и осуществить.

Раздевшись, он лег, закрыл глаза и увидел Дусю: ах, как она была хороша! Не спалось. Федор Павлович провел ладонью по щеке, почувствовал подростую за день щетину и решил пойти в ванную побриться, а то потом и времени на это дело не будет, подумал он, вставая и нащупывая босыми ногами тапочки. Горячая вода успокаивала. Федор Павлович намыливал щеки и смот-

рел на себя в старое деревенское зеркало: помнится, рамку, резную, делал сосед, и вся-то изба у соседа была резная. Теперь, правда, рамка вся была изъедена червячками или жучками, вся в точечках, но по-прежнему очень нравилась Федору Павловичу. Побрившись, Федор Павлович как следует умылся и подеколонился “Шипром”.

И тут Федор Павлович задумался: а вдруг да все откроется, вдруг да догадаются, вдруг да... “К черту!” - прошептал Федор Павлович, прошел в свою каморку, завел будильник и лег. Некоторое время Федор Павлович ворочался, затем, как-то особенно удобно подложив ладони под голову, задремал. И увидел он Дусю, увидел, как она через голову снимает платье, а под платьем ничего нет, и Федор Павлович хочет броситься к ней, но его кто-то не пускает, обхватили его чьи-то руки и не пускают. И видит Федор Павлович самого себя как бы со стороны, видит себя маленьким мальчиком, а его держит пастух дядя Семен. И вроде как стоят они в хлеву, а Дуся, сняв платье, оказалась лохматой козой. Пастух дядя Семен что-то шепчет Федору Павловичу на ухо, обдает его горячим своим дыханием, а Федор Павлович никак не может понять, что же тот ему шепчет. И вдруг, когда Дуся сдернула со своего козлиного тела платье, на весь хлев раздался звонок. Пастух дядя Семен выпустил Федора Павловича из объятий и бросился к двери открывать. Федор же Павлович протянул руки к Дусе, а та вдруг стала превращаться в корову, и вымя с пальцами сосков мягко прижалось к лицу Федора Павловича. Он уже стал задыхаться в этом вымени, а звонок все звенел. Пастух же дядя Семен никак не мог справиться с замком. Тогда Федор Павлович оттолкнул от себя вымя... и проснулся. Звонок будильника делал последние обороты. Федор Павлович ударил по кнопке и будильник замолчал.

Первым делом Федор Павлович сходил умыться холодной водой. Затем, вздрагивая и страшась самого себя, принес с кухни подушку, подошел к кровати жены, примерился и с этой подушкой упал на закрытые глаза и открытый рот, упал всем весом и лежал так полчаса, не меньше, лежал, ничего не чувствуя и ничего не страшась, как бы во сне или в каком-то невероятном припадке смелости. Потом Федор Павлович встал вместе с подушкой и, не оборачиваясь, пошел в свой закуток, бросил подушку под

другую подушку, лег, укрылся с головой ватным одеялом и, как бесчувственное животное, заснул и проспал до начала седьмого утра.

Одевшись, он вышел на улицу и позвонил из телефона-автомата в "скорую". Минут двадцать сидел у подъезда на лавочке в ожидании. Наконец машина подъехала, и Федор Павлович с врачом и медсестрой поднялся в квартиру. Федор Павлович для верности включил верхний свет, хотя на улице уже было довольно-таки светло. Врач только взглянул на труп, даже не прикоснулся, сел к столу и написал справку: мол, так и так, тяжело болела, при этом всякие болезни, со слов Федора Павловича, перечислил, да и написал заключение: кровоизлияние в мозг. Когда врач это вслух произнес, только тогда Федор Павлович осмелился, дрожа, взглянуть на Нюру: лицо ее было очень красное, но уже чужое, тихое. И Федор Павлович понял, что уже не будет стонов, не будет ничего, что так раздражало его последние годы, и с этими мыслями он вдруг пуще прежнего задрожал и в голос зарыдал.

Врач кивнул медсестре и та дала понюхать овдовевшему на шатыря.

Старший сын Федора Павловича Фомичева - Алексей Федорович - весь день, когда у Федора Павловича был червячок в орешке в голове, находился в "походе". Сначала, в восемь утра, он подошел к магазину "на горке", чтобы подыскать клиента. Клиентом этим мог быть любой человек, который не знает, как купить бутылку ранним утром. Алексей Федорович мог и сам бы купить бутылку, но в том-то и состоял весь фокус, что без клиента он этого сделать не мог: в карманах не было ни копейки. Все было пропито подчистую и занять было негде. И так всем задолжал. В доме ничего не осталось, что бы можно было продать. Жена закрывала свою комнату на два замка, да и так бы он не позарился на ее добро. Это уж последнее дело. Алексей Федорович стоял у магазина и поджидал клиента. Тут же стояли ханыги, но вперед Алексея Федоровича они никогда не полезут. Однако с каждым из них Алексей Федорович любезно по приходе раскланялся и ему тем же отвечали, даже с неким подхалимажем, ибо ценили Фомичева за его пробивной

характер и еще за то, что он лихо сходился с любым человеком, причем делал это ненавязчиво и даже с известным тактом, и что особенно умиляло ханыг - Алексей Федорович никогда не матерился. Эта черта в него как бы уж вросла, вьелась. По-видимому, с тех пор, как он был мастером производственного обучения в строительном ПТУ. До армии кончил техникум, после армии устроился в это ПТУ, где жена, Светка, работала секретаршей.

Со Светкой он познакомился на танцах и на третью неделю знакомства подали заявление в загс. Поженились. Светка жила с матерью и бабушкой. Бабушка умерла через полгода после их свадьбы, а мать Светки спустя четыре года. Все бы было хорошо, но Светка сразу рожать не захотела, поступала в институт, и Алексей Федорович пошел ей навстречу: разрешил сделать аборт. Но так ей это дело сделали, что рожать она теперь не могла. Алексей Федорович, конечно, хотел иметь детей, даже порывался сначала разводиться, но уж очень ему нравилась Светка, и он так и не развелся. Двадцатый год живет с ней. А чего разводиться? - спрашивал он себя. - Девочка на стороне навалом!

Беда теперь заключалась в другом: Алексей Федорович вот уже полгода был безработным. Иногда встанет утром, посмотрит в окно - люди на работу бегут, и так ему горько делается, так завидно, что они работают, что даже слезы на глазах появляются. Соберется уж идти устраиваться, а тут какой-нибудь ханыга навстречу, мол, давай! Алексей Федорович подумает-подумает, махнет рукой да и скажет: "Давай!" И понеслось! Главное же вот что обидно Алексею Федоровичу: ведь работа отличная была - начальник службы снабжения, - но потерял! Как? Очень просто: какая-то собака вагон украла! Был же вагон, под погрузку готовой продукции подали, но утром кинулись - нет вагона! Директор кричит, мол, ищи вагон! Все обыскали, нет нигде. Алексей Федорович и говорит директору, что, быть может, этот вагон уже во Владивостоке, что же за ним бежать прикажете? А директор ему, мол, и прикажу! Скандал. Тут еще кадровик, щучья морда такая, вмешался, гундосит, что, мол, до работы не допускаю, не допускаю, пока этот вагон не будет стоять здесь, и тычет пальцем себе под ноги. А сам, паразит, стоит на асфальте. Ему Алексей Федорович говорит, что, мол, вагоны по асфальту не ездят, что, мол, они только по рельсам бегают, а эта щучья морда

продолжает тыкать себя под ноги и разоряется, чтобы вагон был тут - и все!

Трудовая книжка там осталась, жалко. Хотя у Алексея Федоровича есть вторая, но там пропуск лет десять. Надо бы как-то прикрыть. С ребятами уже говорил на эту тему, из кооператива одного, обещали закрыть: шлепнут пару печатей - и готово дело. Но они закроют последних два года, до этого-то кооперативов не было! Надо думать, надо думать, что делать. А тут, в это утро, не до дум, башка раскалывается, тошнота подпирает, руки трясутся: ведь полгода сплошная пьянка. Алексей Федорович как-то поехал, но тут же улыбнулся, завидя поднимающегося по лестнице к магазину клиента. Алексей Федорович сразу же понял, что это клиент: хорошо одет, но лицо бледное и тело как-то всё вздрагивает. Алексей Федорович перекрыл путь клиенту наверху лестницы, а тот и сам ему пошел в руки: мол, так и так, всю ночь гудели, голова не своя, и спрашивает: нельзя ли чего достать? Отчего же нельзя, тут же улыбается Алексей Федорович и хочет уже взять из рук клиента двадцатипятирублевую бумажку, но тот крепко сжимает ее в руках и не отдает. Говорит, чтобы вместе пошли, а то, однажды, он так дал - и ждал час вхолостую.

Алексей Федорович даже оскорбился этим замечанием, потупил взор. Подошедший ханыга, слышавший эту недоверительную сентенцию, сказал, что Алексею Федоровичу можно доверять как самому себе. Клиент брезгливо взглянул на небритую, с синяком под глазом физиономию подошедшего и упрямо повторил, что он хотел бы вместе с Алексеем Федоровичем пойти. В другой бы раз Алексей Федорович культурно послал этого клиента куда подальше, но тут было не до раздумий: нужно было срочно поправлять голову, а то сердце как-то перебойно стало стучать. Вместе с клиентом Алексей Федорович зашел в магазин и хотел уж вести его в подсобку, но передумал, решив прежде попробовать через мясника Кольку. В очереди за мясом навывстраивалось множество старух. Алексей Федорович зашел спереди, из-за чего старухи возбужденно закричали и замахали на него руками, думая, по-видимому, что он станет без очереди брать мясо, но Алексей Федорович успокоил их, сказав, что он лишь пару слов другу-продавцу скажет. Тут появился и сам продавец с тяжелым лотком мяса

в руках. По очереди пробежал оживленный говорок. Алексей Федорович моргнул Кольке и задал лаконичный вопрос из одного слова: есть? Колька тут же в свою очередь спросил: сколько? Этот же вопрос переадресовал Алексей Федорович клиенту, стоявшему чуть поодаль, у прилавка кондитерского отдела. Клиент подошел и спросил: а почём? Пятнашка, ответил Алексей Федорович едва слышно. Тогда клиент полез в карман и присовокупил к двадцатипятирублевой бумажке пятерку и сказал: две.

Мясник кивнул головой в знак того, чтобы Алексей Федорович зашел в подсобку. Когда бутылки утонули а карманах Алексея Федоровича и когда они с клиентом вышли на улицу, Алексей Федорович деликатно спросил, сколько клиент желает налить ему за работу, на что тот без раздумий ответил, что с удовольствием тут же где-нибудь у магазина разопьет с ним одну бутылку. Алексей Федорович удовлетворенно потер руки, и солнечный свет этого майского утра показался ему очень ласковым. Завернули за угол, прошли во двор магазина, к ящикам, в одном из которых Алексей Федорович тут же нашел стакан. Налили, выпили. У клиента в кармане оказались две шоколадные конфеты, которыми и закусили. Поговорили о том, о сём, еще раз налили - выпили и разбежались: клиент домой, а Алексей Федорович, почувствовавший некоторое облегчение во всем организме, - к дверям магазина. Он стоял у лестницы, прислонившись к ограждению, и задумчивым взглядом обводил прохожих. На нем были трикотажные спортивные брюки с двумя белыми полосами по бокам, синяя шелковая футболка с такими же полосами вдоль рукавов, на ногах - почти что новые кроссовки. Изредка Алексей Федорович приглаживал коротко стриженные волосы от затылка ко лбу, волосы светло-русые, редкие, да он и стригся коротко для того, чтобы не облысеть. И вот эти-то волосы, счесанные наперед, заканчивающиеся небольшой остроугольной челкой над тонким, несколько орлиным носом, делали Алексея Федоровича похожим на Наполеона. И фигура-то у него была наполеоновская: среднего роста, в меру упитанности, с небольшим животиком.

Постояв некоторое время у ограждения, обменявшись репликами с ханыгами, Алексей Федорович походил туда-сюда вдоль витрин магазина. Походка у него была какая-то раскачивающа-

яся, неспешная: так ходят мастера спорта по футболу, знающие себе цену и не бегающие, как мальчишки, за каждым шальным мячом, так они идут от ворот противника после забитого ими же гола к центру поля, для пущей важности с ленточкой поворачивая голову то направо, то налево. Точно так ходил Алексей Федорович, потому что он сам был кандидатом в мастера спорта и когда-то, в юности, играл за дубль "Торпедо".

Издали еще Алексей Федорович разглядел идущего на "горку" Олега Павловича, соседа с третьего этажа, который работал в автосервисе на окружной дороге. Когда Олег Павлович подошел, то по его бледности, небритости, помятости, бегающим глазам можно было легко догадаться, что он мучается с похмелья. Постояв у магазина минут десять, не больше, Олег Павлович не выдержал и предложил идти с "горки" "вниз", к стадиону "Медик". Да и Алексею Федоровичу надоело уже здесь околачиваться. Пошли. Проходя мимо высокой башни, в которой находилась пивная в застекленном помещении, переглянулись. Олег Павлович пошарил в карманах и нашел тридцать четыре копейки медью. Перед входом в пивную стояли, сидели, ругались, кричали многочисленные посетители. Из-за отсутствия достаточного количества кружек пили из банок, бидонов, кастрюль, молочных бутылок. Лица красные, многие с синяками и ссадинами ("асфальтовая болезнь"), небритые. Протиснувшись в помещение, Алексей Федорович сразу услышал многочисленные приветствия, обращенные к нему. Он поприветствовал всех знакомых энергичным взмахом руки и у первого же попавшегося попросил любезно одолжить ему шесть копеек, чтобы взять две кружки. Тут же эти шесть копеек были сысканы и без очереди налиты для Алексея Федоровича обе кружки.

За одним из столов играли в шахматы. Алексей Федорович мигнул Олегу Павловичу и прошел, вернее, протиснулся сквозь горячие тела к играющим. Играли по трояку. Алексею Федоровичу тут же уступили место сыграть с каким-то очкастым зазнайкой, который до этого всех подряд обыгрывал и скопил уже достаточную сумму. Алексей Федорович выиграл сначала одну, потом вторую, потом третью, потом четвертую партии. Прошло полтора часа. Очкастый смущенно развел руки в стороны и сказал, что поиграл бы еще, но на работу нужно бежать.

Олег Павлович, несколько повеселевший, потому что тут же в пивной успел одолжить у кого-то сто граммов водки, весело смотрел на то, как Алексей Федорович выглаживает на столе мятые рубли и трешки и бережно убирает их в карман. Вышли из пивной, солнце ударило в глаза, направились “вниз”, к стадиону. Шли, весело переговариваясь, а пришли - помрачнели. У Клавки в подсобке был только коньяк за 15 р. 80 к. Не хватало трех рублей. Клавка, смеясь, говорила, что она бы и без трех рублей дала бутылку Алексею Федоровичу, если бы он не был ей должен двадцать пять рублей. Пришлось стоять и у этого магазинчика в ожидании клиента. Пять, десять минут прошло - никого, одни ханыги, да все так любезно подходят к Алексею Федоровичу, да руку жмут, а он ко всем так это приветливо, с вопросиком, мол, “салды-балды?”, те в ответ, смеясь и утвердительно: “салды-балды!” Пока эти “салды-балды” говорились, лицо Алексея Федоровича просияло: он увидел идущего к магазину старого приятеля - Феликса Евгеньевича Заводовского. Вот так удача? Интеллигентнейший Феликс Евгеньевич! Аккуратно выбритый, в белом костюме, при галстучке, в белых туфлях... и кружевной платочек из нагрудного кармана пиджака торчит! Ай да жизнь, умеет же вернуться хорошим боком! Тут уж не выдержал Алексей Федорович, тут уж он вскричал своим несколько сипловатым и высоким голосом:

- Господин-товарищ-барин! Сколько лет, сколько зим! Куда, откуда и зачем?

Феликс Евгеньевич щелкнул каблуками, расставил руки в стороны и обнял Алексея Федоровича как брата. Это объятие еще больше воодушевило Алексея Федоровича, и он поцеловал Феликса Евгеньевича в щеку. Затем, обернувшись к Олегу Павловичу, который в это время улыбался их встрече, бросил:

- Прошу любить и жаловать - русский дворянин Заводовский Феликс Евгеньевич!

Феликс Евгеньевич расцепил объятия и протянул руку Олегу Павловичу, потом деликатно отвел Алексея Федоровича в сторону и сказал, что хотел бы взять несколько бутылочек коньяку, поскольку у него в квартире сидит гость и с нетерпением дожидается быстрой поправки. Он бы сам, Феликс Евгеньевич, мог бы попросить в подсобке, но ему могут и не дать, а

уж Алексею Федоровичу обязательно дадут. На это Алексей Федорович усмехнулся, сказав, что у него самого не хватает какой-то трешки на бутылку, а то бы он тут уж не стоял, но вот эта самая трешка удержала его у магазинчика до этой встречи с ним, Феликсом Евгеньевичем. Вот такой незначительный случай, а сколько решает! Схватил бы бутылку, ушел и не встретил друга! Тут же Феликс Евгеньевич достал из внутреннего кармана своего белоснежного пиджака кожаный бумажник и извлек из него несколько бумажек. Алексей Федорович удивленно уставился на эти бумажки, не просто даже удивленно, а как-то оторопело и спросил, мол, что это за бумажки? Феликс Евгеньевич непринужденно рассмеялся и сказал, что не в то отделение бумажника попал, что это всего-навсего доллары, а рубли у него в другом отделении, и тут же эти самые доллары вернулись на место, а из другого отделения бумажника, из толстой пачечки, была выдернута сотенная наша бумажка. У Алексея Федоровича холодок приятного предчувствия отдыха пробежал по спине. И он тут же, чтобы все по-решить сразу, сказал, что должен Клавке двадцать пять рублей. Феликс Евгеньевич благородно разрешил вернуть долг из этой суммы и протянул извлеченную из кармана шелковую сумку для бутылок.

Тут же покупка была совершена, сумка вручена Феликсу Евгеньевичу, а одна бутылка утонула в кармане спортивных брюк Алексея Федоровича. Но ему не хотелось расставаться с Феликсом Евгеньевичем, хотелось пойти с ним. Да тут и сам Феликс Евгеньевич предложил Алексею Федоровичу зайти к нему, но мешал Олег Павлович, который нетерпеливо ожидал выпивки. Тут же решили понемножку выпить в лесочке. Первые зеленые листочки, первая молоденькая травка. На сучке орешника - стакан. Феликс Евгеньевич выпил с донышка, и Алексей Федорович столько же, а Олег Павлович засадил стакан и минут через пятнадцать, пока говорили о весне, о цветении, о травах, закачался и упал под дерево. Подняли, повели, довели, открыли его ключами квартиру и уложили на диван. Алексей Федорович удовлетворенно вздохнул, а Феликс Евгеньевич, когда спускались по лестнице, сделал замечание Алексею Федоровичу, чтобы не пил с разными ханыгами. Алексей Федорович погрустнел и, пока шли к дому Феликса Евгеньевича,

ча, рассказал ему о своем незавидном положении безработного, об украденном вагоне, о том, что с завистью по утрам смотрит на идущих на работу людей. Феликс Евгеньевич со всем вниманием выслушал рассказ и посоветовал: первое - завязать, второе - устроиться на работу. Алексей Федорович возразил, что, де-мол, легко сказать - устроиться, а куда? И про трудкнижку рассказал.

Феликс Евгеньевич на минуту остановился, подумал, что-то вспоминая, и сказал, что у него есть одна знакомая кадровичка в НИИ и что он с нею переговорит, да что там откладывать - сейчас же, по приходе домой, он ей позвонит. Сердце радостно екнуло в груди Алексея Федоровича, ему тут же захотелось обнять Феликса Евгеньевича, но он сдержался. Он шел и думал о том, что в жизни нужно держаться за хороших, интеллигентных людей, а всякую рвань гнать от себя взашей. Он стал вспоминать, когда же познакомился с Феликсом Евгеньевичем, и вспомнил, что то было лет десять назад и... опять у гастронома "на горке", правда, не утром, а вечером, после закрытия. Тогда Феликс Евгеньевич подошел к нему, потому что Алексей Федорович кому-то уже бутылку вынес, и попросил сделать для него то же самое. Алексей Федорович вынес, а Феликс Евгеньевич потащил его к себе домой. Вот и разговорились, вот и подружились. Какая-то странная сила толкала, тянула Алексея Федоровича к интеллигентным людям. Здесь, в районе, у него таких интеллигентных знакомых было много, но он их как бы стеснялся, никогда к ним просто так не приходил, не досаждал и не занимал у них денег, разве уж они сами как-то незаметно давали во время выпивок, а все эти интеллигентные знакомые любили выпить, но не так, разумеется, как всякие ханыги, а культурно, за столом, с хорошей закуской, под приятный и содержательный разговор. Изредка им хотелось ранним утром похмелиться, и тогда уж они без Алексея Федоровича прожить не могли, самим-то им совесть не позволяла входить в контакт с мясниками да с кладовщицами, вот и звонили по телефону Алексею Федоровичу или у магазина встречали, а он уж это взятие бутылок в любое время дня и ночи исполнял на счет "раз!"

Возникает вопрос: почему все эти мясники, кладовщики так хорошо относились к Алексею Федоровичу? Да потому, что он был очень общительным и искренним человеком и еще обладал

каким-то фантастическим чутьем - где и что можно достать. Для одного ПТУ, в котором преподавал когда-то, черт-те чего только не достал: и пару токарных станков, и компьютер, и облицовочную плитку, и паркет, и краску... А уж когда снабженцем работал, и рассказывать нечего - просто-таки заваливал разными материалами и товарами... Если б не этот треклятый вагон! А уж тут, в районе, его знали во всех магазинах: продавщицам из книжного доставал колбасу финскую, колбасницам - книги, шляпницам - кофемолки, кофе - молочницам, молочницам - кофточки, кофточницам - сантехнику и т. д. и т. п. Одним словом, Алексей Федорович был мастером бартерных сделок. И при встрече с ним каждый не забывал спросить, может ли он достать то-то и то-то, и почти что всегда получал утвердительный ответ. Причем всегда с доброжелательной улыбкой. Нет ничего невозможного. Наполеон!

Пришли к белой девятиэтажке Заводовского. Он набрал код пропускного устройства в подъезде, и они направились к лифту. Эту дверь Феликс Евгеньевич, дверь лифта, открывал и закрывал всегда с каким-то почтением, тихо, совсем неслышно, как бы опасаясь побеспокоить соседей, и это очень нравилось Алексею Федоровичу. И сам Алексей Федорович, когда где-нибудь пользовался подобным лифтом, всегда тихо закрывал дверь. Он любил перенимать хорошие манеры. Одной из лучших его манер, как уже говорилось, было отсутствие матерщины в речи. Лифт в доме Заводовского был устроен так, что останавливался между этажами. И чтобы попасть на шестой этаж, где жил Заводовский, нужно было нажать "пятую" или "шестую" кнопку, что он и предложил сделать на выбор Алексею Федоровичу. Тот нажал "пятую". Вышли из лифта, и сам Алексей Федорович бесшумно закрыл дверь. Поднялись по лестнице и прошли к квартире 43. Дверь была открыта. В комнате у стола стоял элегантный мужчина с веревочкой в руках, а на конце веревочки был привязан бумажный бантик. За этим бантиком бегали и прыгали сиамская кошка и ее котенок: черно-бурый, в белых носочках. Мужчина так заигрался с ними, что не заметил вошедших.

Феликс Евгеньевич представил Алексея Федоровича гостю. Тот, не выпуская из рук веревочку, протянул свободную руку и отрекомендовался:

- Бахрак Александр Самойлович!

- Американец, - добавил Феликс Евгеньевич, выставляя на стол, уже сервированный закусками, коньяк.

Алексей Федорович смущенно оглядывал квартиру. Хотя ему многое здесь было знакомо, но кое-что появилось и новое, например, на стенах прибавилось картин. Алексей Федорович принялся рассматривать один пейзаж. Феликс Евгеньевич, заметив это, пояснил:

- Это художника Подлужного... По-моему, замечательная вещь!

Алексей Федорович согласился и перевел свой взгляд на другую картину, затем принялся оглядывать книжные полки. Он отметил про себя, что книг у Заводовского стало значительно больше, чем прежде. Почти что год он не виделся с Заводовским.

Сели за стол. У Бахрака глаза были красноватые. Он с удовольствием выпил первую рюмочку и, не закусывая, повторил. Закусив баночным балыком, на который положил дольку посахаренного лимона, он сказал:

- Вчера так здорово посидели в ресторане, что до сих пор голова чужая...

Алексей Федорович со всем вниманием смотрел на нового знакомого, в знак понимания кивал головой и не спеша намазывал на белый хлеб с маслом черную икру. Разве может сравниться это застолье с ханыжничаньем у магазина! Аппетит у Алексея Федоровича разыгрался. Вслед за бутербродом с икрой он проглотил пару ломтей балыка, затем прихватил вилкой несколько маслинок.

- Мы только вчера из Нью-Йорка, - пояснил для Алексея Федоровича Заводовский. - Прилетели уставшие и решили поужинать прямо в аэропорту. Так поужинали, что Александр Самойлович не в состоянии был попасть в гостиницу! В четвертом часу утра на такси попали ко мне.

- Вы были в Нью-Йорке?! - с оттенком недоумения спросил Алексей Федорович у Заводовского.

- Да, дорогой Алексей Федорович, а вы разве не знали? Надо было бы позвонить, жена всегда вечерами дома.

- Неудобно вас беспокоить, - сказал Алексей Федорович, придвигая к себе мисочку с салатом из крабов.

- Что ж тут неудобного? Я уж полгода как ушел из своего НИИ и вот теперь вместе с Александром Самойловичем работаю в одном американско-советском совместном предприятии... Да! Самому не верится, - проговорил Феликс Евгеньевич и налил всем коньяку.

- И кем же вы там? - спросил Алексей Федорович.

- Александр Самойлович - президент, а я - генеральный директор, - сказал Феликс Евгеньевич и добавил: - А не поставить ли нам пластинку?

Бахрак блаженно откинулся к спинке стула, закурил и в этот момент к нему на колени запрыгнул котенок. Бахрак ласково погладил его и сказал:

- Да, ты мне обещал дать послушать Агафонова.

Феликс Евгеньевич включил проигрыватель, поставил пластинку, зазвучала гитара и полилась чудесная цыганская песня. Бахрак поднял котенка над головой, встал и принялся с ним танцевать. Под ногами у него вертелась кошка, глядела вверх на своего котенка и зазывно мяукала, а котенок молчаливо крутил головой и, казалось, что он улыбался. Пока Бахрак танцевал, Алексей Федорович напомнил Заводовскому, что тот обещал позвонить знакомой кадровичке. Вышли в соседнюю комнату, где стоял телефон. Феликс Евгеньевич тут же дозвонился, объяснил суть дела, и, как понял Алексей Федорович, на том конце дали согласие помочь, но с одним каким-то условием. Когда Феликс Евгеньевич положил трубку, то это условие прояснилось: за две печати - сто рублей.

Алексей Федорович засмутился, когда Феликс Евгеньевич полез в бумажник и протянул ему сотню, а затем и еще двадцатипятирублевую бумажку на такси, чтобы сейчас же ехать к этой кадровичке. Алексей Федорович выпил рюмочку на дорожку и побежал вниз. У метро взял первую подвернувшуюся машину, заехал домой за трудовой книжкой и через пятнадцать минут был у нового застекленного корпуса НИИ проблем автоматки, на первом же этаже отыскал дверь с табличкой "Начальник отдела кадров Сименс Берта Рудольфовна", постучал и вошел. Кадровичка предложила ему сесть, полезла в сейф, достала какую-то амбарную книгу, взяла из рук Алексея Федоровича трудовую книжку, полистала и спросила, мол, кем у них Алексей Федорович работал, на что тот без запинки ответил:

снабженцем. Запись была совершена, печати поставлены, сто рублей вручены.

Счастливый Алексей Федорович выбежал на улицу, сел в машину и не знал, как отблагодарить Феликса Евгеньевича. Заметив цветочный киоск, он попросил шофера остановиться и купил целую охапку тюльпанов: и для Феликса Евгеньевича, и для его жены. Когда Алексей Федорович вошел в квартиру, то услышал, что все еще звучит Агафонов.

- Третий раз ставим, - сказал Феликс Евгеньевич, - и всё Александр Самойлович наслушаться не может. А ты, Алексей Федорович, джентльмен! - добавил Феликс Евгеньевич, принимая тюльпаны. - Какие великолепные цветы, не правда ли, Александр Самойлович?!

- Прелестно, прелестно! - ответил Бахрак, неизвестно что имея в виду, то ли Агафонова, то ли тюльпаны. На сей раз на коленях его сидел не только котенок, но и сама мамаша, а Бахрак в каком-то умилении их поглаживал.

Алексей Федорович с удовольствием сел к столу и, когда Заводовский всем налил, произнес тост за процветание американо-советского совместного предприятия. Александр Самойлович взглянул на часы и сказал, что как бы им не забыть к пяти часам подъехать к китайскому кафе, где назначена деловая встреча. Феликс Евгеньевич успокоил его, сказав, что до пяти еще далеко, и взглянул на Алексея Федоровича, добавив, что он не даст им прозевать время. Алексей Федорович был польщен этим доверием, и теперь то и дело бросал взгляд на настенные часы; свои, электронные, он как-то пропил по надобности.

Феликс Евгеньевич принялся развивать мысли о конвергенции, но его перебил Александр Самойлович и попросил еще раз повторить Агафонова. Феликс Евгеньевич пожал плечами, но спорить не стал и вновь поставил пластинку.

- А в Москве где ваша фирма размещается? - спросил Алексей Федорович у Феликса Евгеньевича.

- Пока арендуем номер в гостинице, - сказал тот, оглядывая свои картины. - С нуля начали. Даже машины своей пока нет. Приходится на такси ездить. Мы в самом начале пути.

- И штаты у вас все заполнены? - вдруг вклинил Алексей Федорович вопрос.

Бахрак впери́л в него свой взгляд и стал внимательно рассма-
тривать. Наконец он сказал:

- Кого-то вы мне сильно напоминаете...

- Нет, штаты у нас плавающие, - сказал Феликс Евгеньевич. -
Кто нам необходим, того и возьмем. Сами этот вопрос, без про-
волочек, решаем. Мы же не государственная контора!

- Кого же вы, Алексей Федорович, мне напоминаете? - про-
должал Бахрак, поглаживая кошек.

- А может, меня, Феликс Евгеньевич, возьмете, а? Снабжен-
цем, а?

Феликс Евгеньевич какими-то новыми глазами уставился на
него.

- А что?! - сказал он.

- Я что хочешь вам достану! - воодушевился Алексей Федоро-
вич.

- Ну, дай Бог памяти, - талдычил свое Бахрак, - кого же вы на-
поминаете? - и неотрывно смотрел на Алексея Федоровича.

- Вагон кирпича достанешь? - довольно резко спросил Фе-
ликс Евгеньевич.

- Достану! - не моргнув глазом, сказал Алексей Федорович,
хотя по части кирпича он еще ни разу не работал. Но тут же он
вспомнил прораба Пашку, который жил в красном доме и кото-
рый строил теперь здание института на пустыре за кинотеатром.

- Точно достанешь? - удивился столь бодрому ответу Феликс
Евгеньевич.

- Достану! - резюмировал Алексей Федорович и прихлопнул
ладонью по столу.

- Ну, кого же вы мне напоминаете? Кого? - в который раз за-
дался вопросом Бахрак и встал. Кошки слетели с его колен под
стол и принялись возиться между собой.

Феликс Евгеньевич тоже поднялся из-за стола и сказал:

- Вот достанешь, тогда сразу же тебя оформлю...

- Ну, это надо письмо мне написать, на бланке, - сказал Алек-
сей Федорович, - мол, так и так, просим выделить сто тысяч штук
кирпича...

- Так это десять вагонов! - удивленно воскликнул Феликс Ев-
геньевич. - В вагон, кажется, входит только десять тысяч?

- Десять, - подтвердил Алексей Федорович, хотя, честно, не
знал, сколько в него входит, ибо, как уже было сказано, кир-

пичом не занимался. Подумав, он спросил: - А для чего вам кирпич?

- Кого же вы мне, все-таки, напоминаете? - в который раз спросил Бахрак, пританцовывая под пение Агафонова.

- Мы с Александром Самойловичем участок земли купили под Москвой, для загородного офиса... А кирпич - на фундамент. Страшно дефицитная вещь оказался этот кирпич... Да теперь все в дефиците. Брус, доски, шифер... Что ни возьми - все в дефиците, все фондировано, все Госпланом расписано! Страна протянутых рук: дайте, дайте, дайте! Все что-то просят! Бабки у подъезда сидят, кроют кооператоров, а я им однажды сказал: чем крыть кого-то, взяли бы да и открыли свой кооператив, пироги пекли бы, носки вязали... А они мне: а разве, сынок, можно? Ну, что тут говорить... Дисквалифицированное население!

Феликс Евгеньевич пошел на кухню и принес на огромном блюде запеченную в духовке индейку. Тут же налили, выпили и принялись разрезать ее.

- Так когда же ты сможешь достать кирпич? - спросил Феликс Евгеньевич, работая ножом и вилок над розоватым куском индюшатины.

- На следующей неделе сделаю! - сказал, как отрезал, Алексей Федорович и принялся, подражая Феликсу Евгеньевичу работать ножом и вилок над своим куском. А ведь сначала хотел схватить его руками.

- Хорошие все-таки у меня картины! - обводя стены глазами, сказал Феликс Евгеньевич.

- Прелестные! - сказал Бахрак и вновь взглянул на Алексея Федоровича. - Кого же вы мне в самом-то деле напоминаете?!

- А утюги с самоварами вам не нужны? - спросил вдруг Алексей Федорович.

Тут уж оживился Бахрак и сразу же сказал:

- Нужны! У нас палатка в гостинице здесь, в Москве есть. Для товарооборота нужны, на валюту нужны. А самовары и в Нью-Йорке нужны! Сколько вы можете достать? Как часто вы сможете доставать?

Алексей Федорович взял салфетку и, промокнув губы, ответил:

- Хоть миллион самоваров и утюгов! Каждый месяц! На постоянные поставки поставлю!

Тут уж Алексей Федорович знал, что говорит: и на заводе самоваров, и на заводе утюгов у него были свои люди. Однажды он выручил универмаг, что рядом с пивной находится, четыре трайлера пригнал им для выполнения квартального плана. После чего директриса отвалила в знак благодарности дубленку Светке-жене.

Между тем время приблизилось к четырем часам, и Алексей Федорович напомнил, что встреча в китайском кафе начинается в пять. Феликс Евгеньевич переглянулся с Бахраком и сказал:

- А не взять ли нам тебя с собой, Алексей Федорович?

- Конечно, взять, обязательно, господин-товарищ-барин! - сам решил он этот вопрос.

- Тогда, раз ты все умеешь доставать, - сказал Феликс Евгеньевич с благообразной улыбкой, - гони машину к подъезду!

- Слушаюсь, господин-товарищ-барин! - отчеканил Алексей Федорович и помчался к метро, на "плешку" за машиной.

Там уже дежурил Косой, и первая черная "Волга" (Алексей Федорович заказал именно такую машину) была его.

Феликс Евгеньевич успел переодеться в черный, в полосочку вечерний костюм. Бахрак, садясь в машину, в сотый, наверное, раз спросил:

- Кого же вы мне напоминаете?!

Алексей Федорович облегчил задачу:

- Наполеона!

- Точно! - вскричал, пугая шофера, Бахрак. - Вылитый Наполеон!

Феликс Евгеньевич, садясь на переднее сиденье, обернулся, окинул взором Алексея Федоровича и подтвердил:

- Да похож. Даже очень похож! Машина тронулась. Развалившись на заднем сиденье и опустив стекло, Бахрак сказал:

- Да, я вижу, Алексей Федорович, что вы умеете доставать то, что нужно!

Мимо трех вокзалов пролетели по Красносельской и остановились у неприметного домика. Позвонили, дверь открыл самый настоящий китаец, чему Алексей Федорович очень удивился. Стол был накрыт за ширмой, в полумраке. Неярко горели разно-

цветные, с павлинами, фонарики. Стол был необычный, с вертящейся круглой столешницей.

Сели. Только Алексей Федорович принялся открывать бутылку водки, как к столу подошел невысокий черноволосый, с ровным пробором человек лет сорока и представился:

- Виталий Семенович!

- Виталья! - вскричал Бахрак и принялся лобызать пришедшего. - Десять лет не виделись! Я же впервые в Москве после разлуки!

Виталию Семеновичу предложили лучшее место, и пошел под водочку и китайские деликатесы разговор о компьютерах, о земельных участках под гостиницы в Крыму и на Кавказе, и о слиянии капитала, и о процентах, и о налогах, и о бартерных сделках, и о конвертируемости рубля, и о третьих странах, где совместное предприятие предполагало размещать свои заказы и реализовывать продукцию, и об обменах туристскими группами, и о фрахте авиалайнеров, и о грузопотоках по воде, и еще бог весть о чем.

Алексей Федорович замороженно слушал, изредка вставляя, что можно достать, а что трудно, и наливал в рюмки. Наконец, когда сам Бахрак воскликнул: "Наливай!", наливать было нечего. Подозвали официанта, а тот отвечает, что водка в кафе кончилась. А на часах уже десятый, все магазины закрыты.

- Доставай, Алексей Федорович! - сказал Феликс Евгеньевич и протянул ему сотню.

Алексей Федорович выскочил на улицу. Район был незнакомый, но схема действий - та же, что и везде: магазин, подсобка, черный ход. На всякий случай - у таксистов. Тут же какая-то женщина и подсказала, где магазин. Покрутившись у витрин и никого не высмотрев, Алексей Федорович нырнул со двора, дверь была открыта. По узкому коридорчику, где пахло селедкой, прошел на свет, в комнату, а там очень полная торгашка деньги считает.

- Вам кого, товарищ?

- Вас, только вас! - воскликнул приветливо Алексей Федорович - и всю правду на стол, мол, сидят в кафе с американцами, дела миллиардные прокручивают, а у несчастных китайцев водка кончилась. И сотню на стол.

По пятнашке уступила торгашка три бутылки.

- Вот это класс! - воскликнул Бахрак, увидев бутылки. - За пятнадцать минут все дело обделал! Класс!

И опять разговор про то про сё. Очень интересный разговор, но Алексей Федорович уже захмелел и начал терять нить этого разговора. Потом он бегал за машиной, потом завозили Бахрака в гостиницу, потом ехали с Заводовским. Потом у его дома машину отпустили, потом Алексей Федорович поплелся домой. На "плешке" его кто-то окликнул, оказалось Пашка-прораб. Алексей Федорович ему про кирпич, а тот говорит, что со стройки взять не сможет. Алексей Федорович огорчился, даже совсем нахмурился, тогда Пашка-прораб налил ему сто граммов и Алексей Федорович выпил. А не надо было пить. Он пожал руку Пашке-прорабу и пошел в сторону дома, но перед самым кинотеатром, решив срезать угол по газону, упал в клумбу с цветами и проспал мертвым сном до самого рассвета. Очнулся, не понимая, где он. Только аромат цветов так и бьет в нос, так и бьет. Поднялся Алексей Федорович из клумбы и поплелся домой. Разделся, лег. А утром его жена Светка в бок толкает, и глаза у нее испуганные-преиспуганные, и дрожащим голосом говорит, что, мол, отец к телефону зовет.

Подошел Алексей Федорович к телефону и услышал из отцовских уст, что мать его, Анна Николаевна, умерла час назад.

Дочь Федора Павловича Фомичева - Зинаида Федоровна - вышла замуж в восемнадцать лет за тридцатилетнего токаря-инструментальщика. Тогда Зинаида Федоровна училась в химическом техникуме, но, забеременев, бросила со второго курса. После декрета пошла работать в химлабораторию на завод к мужу. С мужем она познакомилась в клубе завода, куда с новыми подругами ходила довольно часто на танцы, не ради самих танцев, но чтобы именно с кем-нибудь познакомиться, потому что с шестнадцати лет уже мечтала о муже, о семье, о детях.

Однажды, на праздник, в этом же клубе она увидела на сцене участника художественной самодеятельности, солиста самодеятельного хора - будущего мужа, - певшего "Коробочку", и

самой Зинаиде Федоровне захотелось быть самодеятельной артисткой - и голосок у нее был, правда, визгливый, но для народных песен в самый раз. После этого самодеятельного концерта были танцы, и солист пригласил ее на танец, и она очень волновалась, поскольку солист - будущий муж - казался очень степенным, достигшим известности в "ящике", и лысина придавала ему еще больший вес в глазах юной Зинаиды Федоровны, которая во время вальса вся как бы трепетала. В перерыве между танцами Николай (так звали солиста) наливал в буфете в тонкие стаканы портвейн "Три семерки" и потчевал Зинаиду Федоровну бутербродами с сыром и конфетами. А потом массовик объявил какой-то конкурс, и Николай плясал, скинув пиджак, вприсядку, одновременно выкрикивая бойкие частушки. Вспотевший, он плясал и все время смотрел на Зинаиду Федоровну, а затем протянул к ней руки, призывая выйти в круг, и она вышла, и затопала каблучками, и тоже закричала визгливо частушками, которые с молодых ногтей слышала от матери и от ее деревенских родственников и без которых (частушек) не обходился ни один праздник.

Миновало то время, и вот теперь справили Николаю шестидесятилетие, подарили от завода самовар, а Зинаида Федоровна и не хотела совсем отмечать этот день рождения мужа, потому что уже третий год они лаялись между собой, как собаки, без всяких на то видимых причин. Хотя, если подумать, причины можно было отыскать. Ну, например, Зинаиде Федоровне не нравилось, что Николай жил теперь в отдельной комнате (это после того, как старуха-соседка умерла и он выхлопотал от завода эту комнату, то есть всю квартиру теперь записали на Николая). Николай приходил со смены и прямым ходом шел в свою комнату, даже вешалку там, паразит, себе приделал за шкафом. И телевизор, старенький, себе поставил там. Вот придет с завода, ляжет на диван и давай смотреть свой телевизор. А Зинаида Федоровна готовь! Руки обламываются готовить на этих оглоедов! Трое мужиков! Мало того, что Николай нырял в свою комнату, он еще изнутри запирался. Однажды, в порыве ненависти к нему, Зинаида Федоровна чуть не сожгла его дверь: плеснула керосинчику на половичок и спичку поднесла. Правда, в тот момент она была под сильной мухой.

В лаборатории у нее спирту было видимо-невидимо! С подругами настаивали разведенный и на лимончике, и на клюковке, и на каком-нибудь варенье. И так Зинаида Федоровна пристрастилась к этим напиткам, что через день бывала (мягко скажем) пьяненькой. Эдак едет с работы в хорошем расположении духа, весело ей, а приезжает домой - Николай уже закрылся! Хотя и работали они в одном "ящике", а на работу и с работы вместе не ездили. Зинаида Федоровна говорила ему, мол, нечего мне позориться: с таким стариком ездить! И матери всегда в последнее время говорила, что стариком стал Николай, а мать отвечала, что, мол, никто ее не гнал за него, мол, сама выбрала себе, да и дети теперь. Эти дети шлялись где-то целыми днями (одному двадцать пять, другому шестнадцать), приходили поздно, да и под хмельком. Старший нигде не работал, бросил завод (он там слесарем был), одно время ящики разгружал в магазине. Зинаида Федоровна кричала на него, а он бурчал, что трудовая книжка у него в одной фирме лежит, и что за это (то, что она там лежит) ему платят пятьдесят рублей. Младшего выгнали из школы, вернее, не перевели в девятый класс, сунули аттестат за восьмилетку и иди, гуляй, куда душе заблагорассудится. Ну, тут уж Зинаида Федоровна не растерялась, взяла его за шкирку и отвела в заводское ПТУ учиться на шлифовщика, а он там дружков себе нашел! Уже пару раз вызывали в милицию.

Зинаида Федоровна к матери приезжала поплакаться, но чем могла помочь больная мать. Лежит на кровати или сидит на сундуке в прихожей и вздыхает со слезами на глазах. Зинаида Федоровна ее более или менее в порядок приводила: подстрижет "кружочком", оботрет всю влажным полотенцем (мать уж не могла в ванну залезть). А раз в полгода состричит ей Зинаида Федоровна платье-мешок: прошьет тряпку с двух сторон и сверху - вырез для головы, вот тебе и платье!

Сама же Зинаида Федоровна следила за собой, как ей казалось, самым тщательным образом: завивка на голове каждую неделю, раз в месяц - новое платье, или юбка, или костюмчик, или брючки, или туфли, или сапоги. Сама все достает, с Николая в зарплату все до копейки выскребет, да со своей получкой сложит, вот вам и навар. От природы русая, она с восемнадцати лет стала белой, вытравила волосы и травила их регулярно, и шести-

месячную завивку делала: вся в кудряшках! Лицо круглое, деревенское, но “выкрашено” косметикой до неузнаваемости под городское! Посмотрит на себя в “зергило”, как она сама говорила, научившись так произносить это слово, да и многие другие слова, от отца-матери, и воскликнет с чувством, что, мол, какая она красивая!

Спала Зинаида Федоровна на трех маленьких подушечках-думках, чтобы только под щеку они приходились, а кудряшки прически как бы на весу оставались, чтобы эта прическа не портилась. Вообще к себе и к вещам Зинаида Федоровна относилась чрезвычайно бережно. И очень любила вещи. Как только поженились с Николаем, сразу же купили полированный шкаф. Этот шкаф был давней мечтой, и она осуществилась. Затем купили широкую деревянную кровать. А уж потом - цветной телевизор, когда они стали появляться. Этот цветной телевизор сделался тоже причиной многих скандалов, потому что Зинаида Федоровна не давала его никому смотреть, ну разве что на полчаса включит, да и гасит. А как же, ведь испортиться может. Николай и дети возмущались, мол, его для того и купили, чтобы смотреть, а Зинаида Федоровна гасит и все! Ей - слово, она в ответ десять, и все слова вылетают из ее рта визгливые, скандальные, и при этом вся Зинаида Федоровна трясется. Тогда и купил Николай подержанный черно-белый “Рекорд” и назло жене включал его каждый день на целый вечер!

Но что особенно любила Зинаида Федоровна, так это застолья. Даже не сами застолья, а предпраздничную суету. На голове у нее к этому времени целый дом кудряшек, упрятанных под шелковую косынку для придания кудряшкам формы. На кухне все кипит, шипит, варится-парится. Холодец, заливное. А за неделю до этого с Николаем каждый день несут в дом добытые с боем продукты. Там ножки для холодца достали, там горбушу, там селедку... Дня три Зинаида Федоровна в каком-то экстазе готовит, готовит и готовит. А в сам праздник - ящик водки, все пьяные, пляшут, кричат песни, перемешают-попортят все закуски-блюда, кто-то падает головой в заливное, кто-то опрокидывает на пол винегрет, кто-то гасит окурок в салате... Эх! Одна ва живем! Да, можно сказать, именно подобное воскликнет пьяная Зинаида Федоровна, завизжит: “Меня милый обнимал

днем на сеновале!”, - топнет каблучком импортных туфель - и пошла пляска! Тут уж все пьяные гости в круг, кто-то, пытаясь пойти впрыскаду, падает и укатывается под кровать и дурным голосом вопит оттуда: “Бродяга Байкал переехал...” А Николаю, как бывшему солисту самодеятельности заводского клуба, хочется успокоить всех, рассадить, чтобы самому спеть. С трудом он это проделывает, предварительно выпив стакан и поплясав как следует, и когда все усаживаются за столом, заводит “Коробочку” (так он называет эту песню). Но едва Николай успевает в тишине пропеть: “Располным-полна моя коробочка”, - как (кто в лес, кто по дрова) въезжают в песню пьяные надрывные голоса: “Есть в ней ситец и парча!” Николай злится, замолкает и принимается закусывать, а уж его никто и не помнит, песня сама гремит, звенит, визжит: “Пожалей, душа-моя зазнобушка, молодецкого плеча!” И особенно громко вопит своим сипатым голосом “брательник” Зинаиды Федоровны - Алексей Федорович, да не просто вопит, а вскакивает на стул ногами, раздирает рубашку на груди, так что пуговицы сыплются в закуски, и, как на пожаре кричат “караул!”, воет: “Цены сам платил немалые, не торгуйся, не скупись: подставляй-ка губы алые, ближе к милому садись!” Когда все, наконец, замолкают, так как слов до конца песни никто не знает, и Зинаида Федоровна кричит, подняв рюмку, что пора выпить, вот в этот тихий момент из-под кровати слышится голос забытого: “Рыбацкую лодку берет...”

Все смеются.

На другой день Зинаида Федоровна с утра до вечер приводит дом в порядок, изредка проглатывая рюмочку-другую. Николай же, чтобы не мешать, уходит в пивную, что находится возле кладбища. Через час-другой он приходит домой повеселевшим, миролюбиво обменивается впечатлениями с Зинаидой Федоровной, кое в чем ей помогает, а уж затем укладывается отдыхать. Проспав до вечера, встает, ужинает и опять ложится, чтобы проснуться на работу в полшестого утра. От дома до работы полчаса езды на трамвае. В шесть тридцать начинается смена. В проходной выдают пропуск, и до конца рабочего дня никуда из “ящика” не выйдешь. У Зинаиды Федоровны такой же режим.

Летом Николай во время отпуска ездит к себе в деревню, а Зинаида Федоровна - на юг, к сестре матери, Валентине. За ре-

кой в материнской деревне располагался аэродром, туда бежала эта Валентина на танцы, сошлась там с солдатом и уехала с ним к нему на родину, в Алушту, устроилась посудомойщицей в столовой дома отдыха и зажила припеваючи. На лето сдавала комнату, сарай, пристройку отдыхающим и размещала Зинаиду Федоровну. Когда муж Валентины умер, она стала попивать, и особенно ей нравилось попивать с Зинаидой Федоровной во время ее наездов. В деревню Николая Зинаида Федоровна не любила ездить, хотя одно время ездила, но там однажды поскандалила с сестрой Николая, которая приперлась на лето туда со всей семьей своей. Николай объяснял, что сестра имеет такое же право на дом, как и он сам, но Зинаида Федоровна сказала, что пока эта сестра сюда ездит, ее ноги в деревне не будет.

Самому же Николаю очень нравилось проводить время в деревне. Ходил на рыбалку, выпивал с Ученым, соседом-пастухом. А Ученым его прозвали за то, что он стадо догонял только до леса, а сам возвращался домой, не проявляя дальнейшей заботы о поголовье. Коровы сами бродили по лесу, жевали траву и дисциплинированно возвращались по домам.

Два раза Николай возил в деревню Федора Павловича на девятое мая. Ездили на "Жигулях" младшего сына Федора Павловича, Владимира Федоровича. В багажнике - ящик водки. Садись под яблоней в саду за стол, пили, пели, закусывали. Пели всю ночь, и Ученый присоединялся. Утром похмелялись и сажали картошку, которая уже к июню зарастала травой. В этих поездках принимал участие и Алексей Федорович. И так, сзади в "Жигулях" - Федор Павлович, Алексей Федорович, впереди за рулем - Владимир Федорович, рядом Николай. Едут за двести километров веселые, трезвые. Туда. Обратное - разбитые, уставшие. Кроме, разве, Владимира Федоровича, который пил мало. Он вообще не любил пить, да и жены своей побаивался и опять-таки же - за рулем. В последнее время Владимир Федорович в гости к сестре перестал ходить, и она прозвала его "куркулем".

И опять наступало утро и нужно было вставать, идти на работу. Зинаида Федоровна садилась за свой стол среди химических реактивов, брала пробирки и начинала что-то с чем-то смешивать. А сама думала о том, как быстро проскочила жизнь, только

вчера, казалось, ходила на танцы, и вот, пожалуйста... Но эти мысли быстро исчезали, потому что подружки принимались сплетничать о чем-нибудь или о ком-нибудь, и Зинаида Федоровна с удовольствием подключалась к разговору. Во время этого разговора ее пригласили к телефону, она подошла и услышала голос отца.

- Плохие дела, - сказал отец и сделал паузу, во время которой Зинаида Федоровна побледнела от предчувствия, а отец закончил: - Давай приезжай, мать преставилась...

- Ой! - воскликнула Зинаида Федоровна и села на стул.

Сердце ее от страха забилось очень часто, губы затряслись, и она заплакала. Подбежали подружки, узнали о скорбной новости, стали, кто как мог, успокаивать. Тут же Зинаиду Федоровну отпустили с работы. Позвонив Николаю в цех, она побежала к проходной. Николай, молодец, догадался занять пятерку на такси.

Младший сын Федора Павловича Фомичева - Владимир Федорович - в этот день выехал из автокомбината в три часа тридцать минут утра, когда еще на улице было темно, небо светилось звездами, и за будкой механика в кустах пел соловей. На своем "ЗИЛе"-фургоне он приехал на мясокомбинат, в специальный цех, загрузился отборными мясными продуктами и помчался в центр. Там, возле ГУМа, въехал в подвал и подвалами поехал по широкой улице. Разгрузив полкузова, выехал из подвала и поехал развозить остальное по гастрономам по своему усмотрению, так как работал и за экспедитора. Проезжая мимо одного гастронома, подумал, что в него давать ничего не будет, потому что в прошлый раз директриса дала ему вместо четвертака всего пятнадцать рублей. У другого гастронома, прямо у фасада, не въезжая во двор, остановился и посигналил. Тут же выскочил директор в белом халате, Владимир Федорович не спеша открыл дверь кабины, директор, скрестив руки на груди, уговорил Владимира Федоровича сгрузить ему кое-чего повкуснее. Что ж, этот директор хороший. Владимир Федорович загнал машину во двор, магазинные грузчики под присмотром Владимира Федоровича выгрузили несколько ящиков, а директор сунул Владимиру Федоровичу четвертак. В последующих трех гастрономах Владимир

Федорович проделал то же самое и в итоге у него в кармане оказалось сто рублей. Для начала неплохо! К десяти был вновь на мясокомбинате, но уже в цеху “для простых советских людей”, затоварился вареной колбасой, фаршем, суповым набором и поехал по обычным продовольственным магазинам. Да и то останавливался не у каждого. Здесь такса была поменьше, но можно было поторговаться. Там сбил червонец, в другом магазине - двенадцать рублей, в третьем... в общем, схема ясна.

Владимир Федорович работал через день, со сменщиком, но теперь сменщик пошел в отпуск, и Владимир Федорович пахал каждый день. В гараж мчался в крайнем левом рядку, как легковушка, не уступая никому дорогу. От его тяжеловесного “ЗИЛа” эти легковушки так и шарахались в сторону. А Владимир Федорович сидел в высокой кабине, как на троне, и жал на газ. В три тридцать дня он уже ставил машину носом к толстой трубе, из которой зимой дул на радиатор горячий воздух, под окном будки механика. Отметив и сдав путевку, сунул механику за отличную разрядку тридцатку, пересел в свои бежевые “Жигули”, которые стояли тут же у входа в будку, и покати́л домой. По пути остановился у универсама, зашел, осмотрел товары и, приметив в отделе женской одежды очередь, зашел к директору и спросил, что дают. Тот выдал ему тут же то, что “давали”, и попросил подбросить ему на праздник кое-какого “мясца”.

Дома Владимира Федоровича встретил приветливым лаем коричневый и кудрявый, как ягненок, пудель Филя, и когда Владимир Федорович закрыл за собой входную дверь, прыгнул на руки к хозяину и лизнул влажным языком в щеку. Дочка сидела в маленькой комнатке за письменным столом и делала уроки. Квартира у Владимира Федоровича была очень тесная (не его квартира - он был прописан у родителей, - квартира тещи), из двух проходных комнаток, тесной кухни и двухметровой прихожей.

Пройдя на кухню, Владимир Федорович налил себе тарелку борща с огромными кусками мяса, взял ложку и принялся есть, чавкая и втягивая в себя влагу ноздрей. Затем, подумав, достал из холодильника колбасу, отрезал огромный ломоть и принялся прикусывать им борщ. По мере поглощения пищи Владимир Фе-

дорович чувствовал неумолимое наступление сна: глаза сами собой слипались, по телу разливалась блаженная истома, и не хотелось ни о чем думать.

В школе он учился очень плохо и один раз остался на второй год. Но был смиренным учеником, с учителями не спорил, и когда ему делали замечания, все больше молчал, насупившись, глядя в одну точку. Потом учился в ПТУ на токаря, ходил в тяжелых черных кирзовых ботинках, черных суконных брюках и в гимнастерке, подпоясанной широким ремнем с пряжкой. Владимир Федорович был очень дружен с отцом, потому что отец везде таскал его с собой: и на малярные халтуры, и на рыбалку, и за грибами. Особенно им нравилась зимняя рыбалка. Они надевали ватные брюки, валенки с галошами, брали рыбацкие ящики и отправлялись на электричке к замерзшим водоемам в четыре утра, когда еще на улице стояла ночь. Сидели над лунками и говорили о том о сем. Чаще же всего разговор сводился к тому, как и где лучше работать, чтобы была и зарплата неплохая, и халтурить можно было. Так что учебу в ПТУ на токаря рассматривали как временное явление, до службы в армии. В армии Владимир Федорович забыл о токарном деле, выучился на шофера и возил на огромной дизельной машине ракеты.

До армии, на танцах, он познакомился с будущей своей женой, Лидочкой. Эта Лидочка с какой-то фанатической верностью ожидала его возвращения, регулярно навещала его родителей и молчала. Это была какая-то феноменальная молчунья. Придет, скажет “здрасьте”, сядет и молчит. С ней пытаются разговаривать, а она молчит. Сидит себе и молчит. Федор Павлович и так и эдак, а она молчит. После восьмилетки Лидочка устроилась в паспортный стол, так до сих пор там и работала, и молчала. Ну, как в рот воды набрала, молчала. Федор Павлович сначала злился, а потом привык, сам скажет пару-тройку слов и тоже молчит. Он любил собирать детей на застолья, и первое время все они приезжали к нему, когда еще мать могла ползать и кое-что готовить. Да и Зинаида Федоровна помогала. Та приезжала накануне, с ночевкой, и варила, и жарила, и парила. У Алексея Федоровича Светка веселая, говорливая, песни поет, Николай Зинаидин тоже поет и сама Зинаида Федоровна поет, и мать поет: “Над рекой туман, за рекой граница”, - а Лидочка сидит и молчит.

Зинаида Федоровна сразу к ней стала относиться с подозрением, мол, Владимира Федоровича хочет от семьи отбить. Так оно в дальнейшем и случилось: перестали они приезжать к родителям на застолья. Но поначалу приезжали, сидели, выпивали-закусывали. Владимир Федорович тоже пел, да громко так, басом: “Расскажи, расскажи, бродяга...”. Он запоет и пропоет уж целый куплет, а Лидочка так на него взглянет, что он и затыкается поспешно. Потом он через год после возвращения из армии купил себе машину. Сразу после армии он на эту продовольственную автобазу устроился по блату, через тещу. Теща его, мать Лидочки, работала приемщицей вторсырья, палатка у нее была возле линии железной дороги, ну она - теща - без пятидесяти рублей каждый день домой не возвращалась, и знала всю эту “бражку” торговую. Пристроила Владимира Федоровича за триста рублей на автобазу. Вот с тех пор и стала Зинаида Федоровна ревновать брата к Лидочке. Каждый раз, когда встречались у родителей, Зинаида Федоровна замечала на Лидочке новые наряды и украшения, в основном из металла желтого цвета, да и сам Владимир Федорович приоделся, даже перстень из такого же металла носил!

Машину же он купил через отца как ветерана войны - там у них своя, небольшая очередь на машины. На имя отца купил, одна фамилия - Фомичевы, но на всякий случай с отца доверенность взял. Сначала на ней в деревню к Николаю ездил, а потом перестал, потому что купил себе дом по казанке - бревенчатую избу с сараями да с огородом. Зинаида Федоровна называла теперь его “помещиком”, называла и злилась, мол, у него денег мешок, а подарки на дни рождения дарит грошовые. Однажды так и лягнула ему за столом:

- Куркуль!

Тут уж прорвало, как плотину, молчаливую Лидочку:

- Ты, Зинаида, пылинки-то в чужих глазах брось замечать, ты бревна в собственных увидь! Что вы нажили за жизнь? Ничего! А у нас и машина, и дом, и на книжке кое-что есть! Вы пьянствуете, а мы каждую копейку бережем! Нашлась, тоже мне, обзывать! Ты хочешь, чтобы Володя, как твой Николай, напивался? Нет, этого не будет! Он все своим горбом зарабатывает! Не ворует!

Зинаида Федоровна - в краску, и кричит:

- Как это не ворует! Он вовсю ворует! Колбасу финскую возит! Финскую! Знаю я! А теща-помощница тоже, скажешь, не ворует? А?!

- Не трожь мать, стерва! - вопит Лидочка и вцепляется в кудряшки Зинаиды Федоровны лаковыми ногтями.

- А-а-а! - истошно вопит Зинаида Федоровна.

К ним бросается Алексей Федорович разнимать и получает оплеуху от Владимира Федоровича.

- Не трогай мою жену! - ревет басом Владимир Федорович.

С горем пополам дерущиеся разнимаются. Попадает и Светке ни с того ни с сего от Лидочки:

- Потаскуха, детей не нажила, а туда же!

То ли послышалось что-то Лидочке, то ли Светка действительно что-то сказала, но тут уж за Светку вступается Алексей Федорович:

- Ты, вобла! (Лидочка действительно была тощей.) Молчи, как прежде, а то язычок-то укорочу!

- Да, я вобла, - с достоинством отвечает Лидочка и, взглянув на мать, добавляет: - А вы свиньи!

Тут уж Федор Павлович не выдерживает и бьет кулаком по столу, так что тарелки падают на пол и разбиваются:

- Молчать!

Все замолкают.

Слышатся всхлипы.

Зинаида Федоровна, оскорбленная до глубины души, плачет. Глядя на нее, плачет и Алексей Федорович, но у него слезы больше от выпитого, чем от горьких чувств. Чтобы заглушить этот плач, Николай заводит пластинку на проигрывателе. Утесов поет "Мишку". Федор Павлович откупоривает очередную бутылку водки.

Наливает. Алексей Федорович, утирая слезы, берет рюмку, Светка берет рюмку, все берут рюмки, даже Лидочка.

- Ну, дай бог, не последняя! - говорит Федор Павлович, и все выпивают.

Затем молча закусывают.

Николай, Владимир Федорович и Алексей Федорович идут как ни в чем не бывало на кухню курить.

Все эти застолья Владимиру Федоровичу порядком надоели, и он перестал реагировать на приглашения.

Отобедав, он встал, потянулся, зевнул и пошел на диван. Дочка, сделав уроки, перешла в большую комнату, чтобы не тревожить сон отца.

В девять часов вечера Владимир Федорович просыпался и ужинал. Теща, высушенная старушка, подсовывала ему то одно, то другое блюдо, приговаривая: "Поешь, Володенька, поешь..." И он ел, ел, ел.

Он был большой и здоровый, еще молодой, но животик уже намечался. Владимир Федорович ел много и жадно, громко глотая, шевеля носом и ушами.

- Ешь, ешь, - говорила теща, подвигая к нему новую еду.

А он, поднимая еще сонные глаза от тарелки, благодарно взглядывал на Лидочку, которая за компанию сидела за столом и любовалась мужем. Она была красива неяркой бледной красотой, и сохранялось в ней что-то от девушки - стеснительное выражение глаз, угловатость движений.

- Надо бы купить мне шапку, старая износилась, - говорила Лидочка.

- Купим, - отвечал Владимир Федорович, приступая к чаю с вареньем.

- Я присмотрела верблюжье одеяло, - говорила теща.

- Купим, - отвечал Владимир Федорович.

- А палисадник будем делать? - спрашивала Лидочка.

- Обязательно, - говорил Владимир Федорович. - Штакетник купим.

- Говорят, сейчас плохо со строительными материалами, - замечала теща.

- Купим, - отвечал Владимир Федорович.

- Второй этаж надо бы этим летом сделать, - говорила Лидочка.

- Сделаем.

- Бригаду нанимать? - спрашивала теща.

- Найдем. Да и Витька поможет.

- Витька поможет, - говорила теща о своем сыне.

- Я магнитофон японский хочу купить, - говорил Владимир Федорович, позевывая.

- Купи, - говорила теща. - Чего же не купить.

- А может, и бригаду нанимать не буду, - говорил Владимир Федорович. - Я в отпуск пойду, Витька приедет, да соседа попрошу.

- А и то, - соглашалась Лидочка. - Чего деньги зря выбрасывать.

- Ну, на это денег не жалко, - говорила теща. - Здоровье дороже. Поломайся на крыше!

Так проходили вечера. И все укладывались спать озабоченными, что завтра нужно что-то добывать, покупать, нести в дом, чтобы вечером, за ужином, обговорить сделанное и наметить дела на будущее. Утром звонил будильник, Владимир Федорович поднимался, умывался, одевался, а теща уже ждала его в кухне с завтраком.

- Поешь, поешь, Володенька.

Владимир Федорович ел, потом выходил на ночную улицу, два квартала проходил пешком до стоянки, садился в машину и ехал в гараж под звучание автомобильного приемника. Владимир Федорович глядел вперед и позевывал. Его упитанное тело и излишняя сытость стесняли его, и он, чтобы легче дышалось, приоткрывал окно. Он обдумывал, в какой гастроном он сегодня будет заезжать, а в какой нет, кто сколько ему сегодня подкинет в обычных продмагах, и сколько чего нужно будет прихватить сегодня домой, потому что обещала приехать жена Витьки за продуктами. Потом он думал о пятнадцатилетней дочери Витьки, которая родила двойню, а ухажер от нее смылся. Потом думал о том, что в ближайшее время нужно просить отца, чтобы через совет ветеранов записался в очередь на "Волгу".

Поставив "Жигули" у будки механика и взяв путевку, он пересел на свой огромный "ЗИЛ" и поехал загружаться товаром на мясокомбинат. День прошел удачно, с хорошим калымом. Вернувшись домой, он застал тещу и Лидочку в тревожном состоянии. А дочка, бросившись радостно ему навстречу, воскликнула:

- Твоя бабушка умерла!

Разбуженный Светкой, Алексей Федорович встал с больной головой, и первое, после мрачного известия, что пришло в голову, - похмелиться. С этой мыслью он и выбежал на улицу и даже дошел до "горки", но передумал, потому что понял, что неприлично приходить на такое дело поддатым. Но руки тряслись, голова гудела и давила горло тошнота. Чтобы избавиться от этих ощущений, Алексей Федорович завернул в аптеку, ку-

пил флакон валерьянки в таблетках и мятных лечебных конфеток. Выйдя из аптеки, насыпал на ладонь штук десять желтеньких таблеточек и проглотил. Затем бросил в рот несколько зелененьких карамелек. После этого направился к метро и хотел уже входить в здание станции, но передумал, потому что не был уверен в том, что сможет ехать. Поэтому прошел до другой станции пешком. Он знал, что если не похмеляться, то будет плохо часа три-четыре, и что это время нужно пережить. Еще в такой ситуации помогает сок. В нем есть фруктоза, которая довольно-таки успешно борется с алкогольными тельцами. Эти тельца Алексей Федорович представлял в виде рыбок. Вот за этими рыбками и должны гоняться тельца фруктозы, которые, однако, он никак не представлял. Он зашел в гастроном и, держа стакан обеими руками, выпил подряд три стакана виноградного сока. Его все еще продолжало тошнить, подташнивать, но Алексей Федорович мужественно крепился, только сплевывал по сторонам. И в другую станцию метро он не стал входить, решив пройти пешком до следующей. И он шел, и ему становилось легче. Светило солнце, зеленели кусты, пестрели желтые одуванчики на газонах. Алексей Федорович шел, сосал мятные конфетки и отгонял от себя мысли о смерти матери. Минутами ему становилось не по себе от мысли, что вот он сейчас увидит мертвую мать. Как это произойдет? Где она лежит? На кровати? Или уже в гробу?

От слова “гроб” Алексея Федоровича всего затрясло. Он успешно открыл флакончик валерьянки и проглотил еще с десятка таблеток. Но его продолжало трясти, как будто на улице был не май, а декабрь. Однако минут через пять Алексея Федоровича бросило в жар, и на лбу выступили крупные градины пота. Во рту пересохло. Увидев квасную палатку, он встал в очередь и выпил две больших кружки горьковатого квасу. Затем сел на скамейку отдохнуть и задремал. По всей видимости, повлияла валерьянка. Дремал он каких-нибудь минут пятнадцать, но ему показалось, что он проспал часа два. Испугавшись, побежал в метро, забывая на ходу о своем похмельном состоянии. Вдруг бодрое, здоровое настроение овладело им.

Только когда подходил к дому родителей, почувствовал, что тошнота опять надвигается, и заболела голова. Поднимаясь по лестнице, ощутил в себе беспокойный страх, что вот-вот упадет.

И в самом деле, ноги как будто совсем онемели, так что от ступеньки к ступеньке он переставал ощущать их, и поражался, что еще поднимается и не падает. Перед самой дверью сердце у него так забилося, что, казалось, сию же минуту разорвется. Даже под левой лопаткой заболело.

Алексей Федорович остановился перед дверью, глубоко вздохнул и несколько раз поднял вверх левую руку. Он позвонил. Дверь открыла сестра, Зинаида Федоровна, вся заплаканная, со сбившимися кудряшками на голове.

- Горе-то, горе какое, Лешенька! - воскликнула она.

Он не мог ответить и, как казалось ему, не мог даже стоять. Зинаида Федоровна, утираясь платком, прошла в глубь тесной прихожей, Алексей Федорович увидел Николая, в черном костюме с галстуком. Николай, по всей видимости, не находил себе места, то скрещивал руки на груди, то убирал их за спину, то укладывал в карманы брюк. Дверь в комнату была плотно закрыта. Федор Павлович, чисто выбритый, сидел за столом на кухне. Алексей Федорович, окончательно забыв о своем похмельном состоянии, поздоровался со всеми и спросил, можно ли ему зайти в комнату, но Зинаида Федоровна сказала, что там сейчас обмывают тело соседки. У Алексея Федоровича опять затряслись поджилки, и чтобы отделаться от этого дрожания, он подошел к Николаю и спросил:

- Давно приехали?

Николай был бледен и как-то особенно серьезен.

- Полчаса назад, - сказал он тихо и добавил: - На такси.

Алексей Федорович постоял некоторое время молча, затем прошел на кухню. Он не знал, о чем и как говорить с отцом, с Зинаидой, с Николаем, но чувствовал, что нужно что-то говорить.

- Как она умерла? - спросил он у отца.

Отец сцепил руки, лежащие на клеенке стола, посмотрел на Алексея Федоровича каким-то испытующим взглядом, затем отвел глаза на окно.

- Как-как? Взяла да умерла. Как люди помирают? Слышу утром зовет: "Федя, Федя!". Ну, я, думаю, пить ей надо или еще чего. Не поспешил. Замолкла, а я задремал. Вышел потом, а она уж мертвая. М-да, проклятая жизнь.

Зинаида Федоровна, стоявшая у стены, с последними словами Федора Павловича простонала:

- Ой, мамочка!

Чувство страха не покидало Алексея Федоровича; чтобы не думать о том моменте, очень близком, когда он увидит мертвую мать, он спросил:

- Володе сообщили?

- Звонил, а как же, - сказал отец. - Но он нонче пашет. Лидочка сказала, что, как только с гаража придет, сразу же они приедут.

- А деревенским дал телеграмму?

- Вон, Зинка бегала, - сказал отец.

- Отбила, - кивнула Зинаида Федоровна, продолжая вытирать слезы платком. Глаза ее покраснелись.

Дверь из комнаты открылась и вышла одна из соседок.

- Надо переложить ее на кровать, - сказала она.

Алексей Федорович первым вошел в комнату и увидел мать, лежащую на полу, на большой полиэтиленовой пленке. Полное лицо матери показалось ему еще полнее и сохраняло еще жизненный цвет. Николай встал напротив Алексея Федоровича в головах, а Федор Павлович, Зинаида Федоровна и обе соседки - в ногах. Подняли. Тело показалось Алексею Федоровичу таким тяжелым, что у него едва не расцепились руки. Уложили мертвую на кровать. Алексей Федорович, сдерживая слезы, поцеловал еще теплый лоб матери.

Вышли на кухню. Зинаида Федоровна сказала:

- Она еще не совсем умерла.

- Как это? - удивился отец.

- Я слышала, кто-то говорил, что мертвые еще всё слышат, мозг у них будто бы еще работает.

- Чушь, - махнул рукой Федор Павлович.

- Я тоже слышал, что они не сразу умирают, - сказал Николай.

Соседки сказали, что они уходят, а потом, когда нужно, придут и помогут готовить стол. Федор Павлович поблагодарил их, и когда они ушли, сказал, что скоро должен прийти похоронный агент.

Наступило молчание. Чтобы как-нибудь отвлечься от тяжелых мыслей, Алексей Федорович стал про себя припоминать эпизоды своего детства. Мать тогда была стройная, красивая. Жалела Лёшеньку. Она вообще как-то по особенному тепло относилась к нему. Может быть, оттого, что он рос болезненным,

много раз лежал в больницах. В последующие годы она жалела его еще и потому, что у него со Светкой не было детей. Володьке что, он сам матери подбрасывал мяско да денежки, а она, как только Алексей приезжал, снаряжала ему сумку харчей да десяточку совала.

- Пойдем покурим, что ли? - сказал Николай.

- Идите, прогуляйтесь, - сказала Зинаида Федоровна. - Погода-то, вишь, отличная.

- Да и этого агента покарауйте, - добавил Федор Павлович. Спустились к подъезду, закурили.

- Ну, как живешь? - спросил Николай. - Пьешь всё?

Алексей Федорович смутился.

- Бывает. А кто теперь не пьет? - сказал он. Последнее время, чтобы его не расспрашивали, Алексей Федорович перестал бывать и у матери, и у сестры. А у Владимира Федоровича не был уже года три, с тех самых пор, как занял у него тридцатку и все не мог отдать.

- Мать еще до смерти говорила, что ты нигде не работаешь, - сказал Николай.

- Было дело, - вздохнул Алексей Федорович. - Теперь кое-что подыскал.

- Что?

- Да так, одно советско-американское предприятие... Вроде, хотят меня снабженцем взять...

Николай вскинул удивленные брови, спросил:

- Это, что ж, в Америку поедешь?

- Не исключена возможность, - соврал Алексей Федорович и стал напряженно думать, где бы ему раздобыть кирпич.

- А мне так офонарела работа, что решил прямо с июня выходить на пенсию, - задумчиво проговорил Николай.

- Правильно, - поддержал Алексей Федорович. - Я бы не смог трубить в твоём "ящике". Я к свободным профессиям привык. Помню, в ПТУ, как сыр в масле катался. Отбарабанишь своё время по расписанию и - гуляй. А снабженцем работал - вообще малина! И как ты, Николай, только пашешь там всю жизнь?!

- Привычка, - вздохнул Николай.

- У тебя нет каких-нибудь знакомств, чтобы кирпич достать? - вдруг спросил Алексей Федорович.

- Зачем тебе кирпич? Строиться, что ли собираешься?

- Для дела нужно. Вагон кирпича для начала, а?
Николай задумался, закурил новую сигарету, затем, что-то вспомнив, сказал:

- Есть у меня один еврей знакомый... Спрошу. Вот мать похороним, позвони мне тогда на работу. Телефон помнишь?

- Помню, - сказал Алексей Федорович, - в книжке записан.

- Как жизнь проскочила! - вздохнул Николай. - Своих я схоронил, уж сколько прошло? Восемь лет! Вот и матушка твоя... Больная была, диабет, давление...

- Есть ей нужно было поменьше, - сказал Алексей Федорович.

- Да, ела она много, - согласился Николай.

Помолчали.

- Получу расчет и - в деревню! - сказал Николай. - Буду там жить!

- А Зинаида?

- Да ну ее к черту! - сказал Николай. - Мы и не живем, наверно, год. У меня своя комната!

Алексей Федорович увидел, что к подъезду идет хорошо одетая женщина с черной сумочкой. Когда она приблизилась, глядя на табличку с нумерацией квартир, Алексей Федорович спросил:

- Не к Фомичевым?

- К Фомичевым, - сказала женщина.

- Стало быть, вы - агент? - спросил Николай, выбрасывая сигарету.

- Да, - сказала женщина и вошла в подъезд.

Алексей Федорович и Николай вошли следом. Агентшу усадили на кухне за стол, и она принялась выписывать справки и накладные: на гроб, на венок, на похоронную машину, на могилу. В заключение Федор Павлович расплатился с ней и дал пять рублей сверху, потом, подумав, добавил еще три рубля. Агентша поблагодарила и сказала, что гроб и венок привезут сегодня же, часам к пяти, а чуть раньше приедут врачи для заморозки и вскрытия.

Мало-помалу все привыкали к процедуре похорон. На глазах у Зинаиды Федоровны уже не было слез. Федор Павлович принялся в ванной вскрывать свою стальную копилку при помощи зубила и молотка. Ему помог Николай, как заводской специалист. Федор Павлович выгреб все деньги и с ними ушел через большую комнату, где лежала покойница, к себе в ма-

ленькую. Там он был долго, очень долго, все считал деньги. Время незаметно проходило. Приехал Владимир Федорович с Лидочкой. Постояли над телом матери, поплакали. Федор Павлович стал совать Владимиру Федоровичу деньги на продукты и водку, но тот не брал, говоря, что у него свои есть и что он хочет похоронить мать, как положено, и на свой счет. Потолкавшись на кухне, Николай, Алексей Федорович и Владимир Федорович спустились вниз, сели в “Жигули” и поехали по магазинам. У гастронома за водкой была огромная очередь, но Владимир Федорович заехал во двор и минут через пять вынес ящик водки и погрузил его в багажник. Так же покупали мясо – десять килограммов говядины и пять свинины. Затем в одном гастрономе набрали всяких деликатесов, в том числе дюжину баночек красной икры и пяток – черной. Когда приехали, поднимаясь к квартире с тяжелыми сумками (Алексей Федорович тащил ящик с водкой и неприятно морщился), увидели на лестничной площадке, у окна, крышку гроба, стоящую вертикально. Сам же красный гроб стоял уже в комнате на табуретах. За время их отсутствия в квартире побывали и патологоанатомы, все сделали с умершей, что было нужно, и оставили банку с формалином, в котором Зинаида Федоровна смачивала марлю и протирала лицо покойной. Вызвали еще раз соседок, они одели мать в последний путь, а затем уж Николай, Алексей Федорович и Владимир Федорович уложили заметно полегчавшую покойницу в гроб. После этого слезы у всех хлынули сами собой.

Ночевать было негде и Алексей Федорович поехал домой. Светка расспрашивала: что да как, он вяло отвечал и наблюдал за тем, как она гладит свое черное платье. И глядя на это приготовление к похоронам, Алексей Федорович испытывал одно только мучение. Не проходило и полчаса после более или менее неплохого физического состояния, как он начинал чувствовать слабость в ногах и перебои в работе сердца. Он садился в кресло с газетой, но читать не мог, через минуту поднимался, ходил по квартире, потом опять садился. Во рту сохло, голова кружилась. Чтобы скрыть от Светки свое состояние, он то и дело пил воду, кашлял, часто сморкался, точно ему мешал насморк, на вопросы Светки отвечал невпопад и каким-то сдавленным голосом.

- Я отвыкла от тебя трезвого, - сказала Светка.

- Угу, - выдавил он.

Он лег в своей комнате и через некоторое время услышал, что дверь открылась и вошла Светка. Она легла рядом. Затем положила руку на его плечо.

На другой день, когда Алексей Федорович приехал, в квартире уже были деревенские и среди них - Дуся. Тут же была и южанка - Валентина. Все в черном, они сидели у гроба, плакали, а кое-кто сидел на кухне, тихо переговариваясь. Зинаида Федоровна вертелась у плиты. В огромной кастрюле у нее варился холодец. Следом за Алексеем Федоровичем приехал Владимир Федорович. Зинаида Федоровна прикидывала, сколько народу соберется завтра на похороны и поминки. Оказывалось, что недостаточно мужчин. Гроб муж и сыновья нести, по обычаю, не могли. Остальные были женщины, кроме Николая. Владимир Федорович, посоветовавшись с отцом, предложил пригласить своих ребят из гаража. С Алексеем Федоровичем съездили туда. "ЗИЛ" Владимира Федоровича стоял у будки механика. Сам механик обещал организовать троих свободных от смены шоферов.

Наступил день похорон. В квартире было не протолкнуться. Приехали на своих "Жигулях" приглашенные Владимиром Федоровичем шофера. Простились с покойной сначала в комнате, выстроившись в живую очередь. Последним в комнате простился Федор Павлович:

- Прощай, Нюра! - и зарыдал.

Понесли гроб на улицу. Там, перед подъездом, поставили на лавку, простились, и здесь все знавшие по дому умершую простились. Подняли гроб, а лавку перевернули вверх ногами, как того требовал все тот же обычай. Гроб вдвинули сзади в похоронный автобус. Далее - кладбище, могила, земля, вечность!

Обратно возвращались чуть повеселевшими, переговаривались, вспоминали добрыми словами покойницу. Расселись за длинным столом, опять вспоминали хорошими словами умершую, выпивали, не чокаясь. Федор Павлович был бледен и пил очень мало. Все сочувствовали ему в его горе. Курить выходили на кухню, и один раз Алексей Федорович остался на кухне наедине с Зинаидой Федоровной и она ему сказала:

- Ты знаешь, что отец придумал? Нет? Не знаешь? А я все видела. И Маруся, и Валентина, и все видели... Дуська, сука, ночью

из его комнатки в одной сорочке в туалет бегала! Спал он с нею при всех! Это когда гроб-то стоял в квартире!

У Алексея Федоровича перехватило дыхание.

- Что ты придумываешь, - прохрипел он.

- Я тебе точно говорю! Спроси вон у Маруси!

Чтобы не продолжать этот разговор, Алексей Федорович пошел в комнату, сел около Николая, налил себе и ему водки, и сказал:

- Вечная память! - и выпил.

Краем глаза он следил за отцом: тот был трезв и необычайно серьезен. Сидел как бедный родственник и ничего не ел. Потом поднялся и пошел на кухню. Через минуту-другую послышался оттуда его громкий голос:

- Убирайся отсюда, ты мне не дочь!

Кто-то догадался прикрыть дверь плотнее и голос смолк. Алексей Федорович встал из-за стола и пошел на кухню, но застекленная дверь туда была закрыта. Через стекло он увидел, что и Зинаида Федоровна, и Федор Павлович размахивают руками и говорят друг другу шепотом какие-то колкости. Алексей Федорович в волнении рванул дверь.

- Не дочь ты мне! - шептал Федор Павлович. - Убирайся отсюда! И все, все убирайтесь! - воскликнул он громче, завидя Алексея Федоровича.

- Что ты разбушевался?! - урезонил его Алексей Федорович.

- Убирайтесь все! Это вам не пьянка! Выпили по три рюмки и - по домам! Я сам помру от вас тут! Убирайтесь. Иди и скажи всем, - ткнул он пальцем в грудь Алексею Федоровичу, - что праздник закончен!

- Да ты что, спятил! - воскликнул Алексей Федорович. - Мы же только что сели!

На кухню потянулись люди: Николай, Владимир Федорович, Маруся...

- Убирайтесь! - кричал уже во всю глотку Федор Павлович, но, завидев Дусю, осекся и, обращаясь к ней, сказал: - А ты - оставайся!

Тут уж взвопила Зинаида Федоровна и, обращаясь к Алексею Федоровичу, подвела черту:

- Ну что, видал? Видал? Он же с ней спутался!

- Замолчи! - взревел Федор Павлович и ударил Зинаиду Федоровну по лицу.

На него бросился Николай, но бить не стал, а только усадил его на стул. У Федора Павловича текла пена изо рта, и он продолжал в конвульсиях кричать:

- Убирайтесь все!

В комнате за столом наступило тягостное молчание: ничего еще не выпили, не съели, и уже такой поворот событий. Обида и неловкость скользнула по лицам. Московские родственники потянулись на лестничную клетку. Шофера подошли к Владимиру Федоровичу, который стоял возле Алексея Федоровича, и сказали:

- Надо уходить, он не в себе.

- Да, пойдете, - сказал Владимир Федорович и кивнул Лидочке, чтобы она выходила на улицу.

Вместе с Лидочкой ушла и Светка. Зинаида Федоровна шепнула на ухо Алексею Федоровичу:

- Не уходи, жди меня внизу, я пару бутылок припрятала и закуски набрала. Вон моя сумка, возьми ее. Мы сейчас ко мне поедем.

Алексей Федорович, как оплеванный, поплелся к выходу. У зеркала в прихожей стояла Дуся и красила губы. Алексей Федорович, все еще не веря сплетням Зинаиды Федоровны, обратился к ней:

- Вас проводить?

- Да. Я такси поймаю. У меня знакомые в Чертаново.

Алексей Федорович взял сумку и вышел из квартиры. У окна на лестничной площадке остановился. Следом вышла Дуся, большегрудая и круглолицая. За ней - Федор Павлович. Дрожа, он стал умолять ее остаться. И тут в Алексее Федоровиче зашевелился червь сомнения: а не так ли уж не права Зинаида Федоровна?!

- Нет, - сказала Дуся. - Я завтра приеду.

Мимо, с грустными лицами, спускались гости. Вышли на улицу, Дуся сразу же схватила такси и укатила.

- Блядь! - крикнула ей вдогонку, появившаяся из подъезда Зинаида Федоровна.

Алексей Федорович сказал Светке, чтобы ехала домой, а сам он поедет к сестре поминать мать как следует.

Ну и помянули. Николая рвало под конец, а то он все песни пел! Так разгулялись, что и о покойной забыли. Алексей Федо-

рович не помнил, как доехал домой. Первой мыслью при пробуждении было: похмелиться. Но он вспомнил мать в гробу и передумал. Следующей мыслью было: неужели отец в самом деле пошел на такую подлость?! Эту мысль Алексей Федорович отогнал от себя, пошел на кухню и выпил два пакета кефира. После этого лег на кровать и пролежал трупом до полудня. Когда он встал, то почувствовал себя значительно лучше. Сказался трехдневный перерыв в питье. Даже съел тарелку щей с черным хлебом.

До девятого дня он все искал кирпич, и нашел через того знакомого Николаю еврея. Прямо на кирпичном заводе загрузил два трейлера и отвез по указанию Заводовского куда надо.

На девятом дне во всю хозяйничала в квартире Дуся. Зинаида Федоровна молчала и через час с Николаем уехала. Алексей Федорович выпил пару рюмок и тоже уехал. Через день позвонил отец и сказал, чтобы он заехал по очень важному делу.

- По какому? - спросил с дрожью в голосе Алексей Федорович.

- Дусю прописать нужно, - сказал Федор Павлович. - Мы подали заявление в загс.

Вот тебе и удар обухом по голове. Вот тебе и Зинаида Федоровна!

- Ты бы хоть год подождал, как порядочный!

- Да я понимаю, - проблеял отец. - Но не могу я один жить!

Алексей Федорович только вздохнул на это. И поехал. И подписался в бумаге, что не возражает на прописку Дуси.

- Ты бы с Володей поговорил, - сказала Дуся. - Он не дает согласия.

- Что я ему скажу? Пусть он сам решает! - сказал Алексей Федорович. - И ты, отец, хорош, все кричал, мол, ваша, дети, квартира, ваша! А теперь?

Что-то уж очень скоро их расписали в загсе. Наверное, Федор Павлович из своих сбережений сунул там кому положено.

А Владимир Федорович не давал согласия на прописку Дуси. Когда к нему с "мирной миссией" приехал Алексей Федорович, он сказал:

- Только через мой труп!

Потом Алексей Федорович, чтобы уйти от позора, сам выписался с родительской площади и, с согласия Светки, прописался

к ней. А Федор Павлович каждый день обрывал телефон: мол, поговори с Володей, он же брат всё же! И против воли Алексей Федорович звонил Владимиру Федоровичу и уговаривал. Что же толкало на это Алексея Федоровича? Только та простая мысль: неизвестно, что случится в старости с ним самим и что Федор Павлович, какой ни есть, все же отец. А Владимир Федорович этого понимать не желал, потому что всю жизнь надеялся на родительскую площадь. Тогда Алексей Федорович сделал заход через Зинаиду Федоровну. Она звонила Владимиру Федоровичу, но тот наотрез отказался выписываться и добавил, что Алексея Федоровича отец подкупил, мол, сунул ему тысячу рублей, и тот выписался. От этого Алексей Федорович так возмутился, что перестал вообще поддерживать какие бы то ни было отношения с родней.

В книге "Философия печали", Москва, Издательское предприятие "Новелла", 1990. Тираж 100.000 экз.

Юрий Кувалдин Собрание сочинений в 10 томах Издательство "Книжный сад", Москва, 2006, тираж 2000 экз. Том 2, стр. 95.

ОБ АВТОРЕ

Писатель Юрий Александрович Кувалдин родился 19 ноября 1946 года в Москве, на улице 25-го Октября (ныне и прежде - Никольской) в доме № 17 (бывшем "Славянском базаре"). Учился в школе, в которой в прежние времена помещалась Славяно-греко-латинская академия, где учились Ломоносов, Тредиаковский, Кантемир. Работал фрезеровщиком, шофером такси, ассистентом телеоператора, младшим научным сотрудником, корреспондентом газет и журналов. Окончил филологический факультет МГПИ им. В.И.Ленина. В начале 60-х годов Юрий Кувалдин вместе с Александром Чутко занимался в театральной студии при Московском Экспериментальном Театре, основанном Владимиром Высоцким и Геннадием Яловичем. После снятия Хрущева с окончанием оттепели театр прекратил свое существование. Проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил СССР в течение трех лет (ВВС) под командованием генерала, Героя Советского Союза Ивана Кожедуба. Автор книг: "Улица Мандельштама", повести ("Московский рабочий", 1989), "Философия печали", повести и рассказы ("Новелла", 1990), "Избушка на елке", роман и повести ("Советский писатель", 1993), "Так говорил Заратустра", роман ("Книжный сад", 1994.), "Кувалдин-Критик", выступления в периодике ("Книжный сад", 2003), "Родина", повести и роман ("Книжный сад", 2004), "Сирень", рассказы ("Книжный сад", 2009), "Ветер", повести и рассказы ("Книжный сад", 2009), "Жизнь в тексте", эссе ("Книжный сад", 2010), "Дневник: kuvaldinur.livejournal.com" ("Книжный сад", 2010), "Море искусства", рассказы ("Книжный сад", 2011). Печатался в журналах "Наша улица", "Новая Россия", "Время и мы", "Стрелец", "Грани", "Юность", "Знамя", "Литературная учёба", "Континент", "Новый мир", "Дружба народов" и др. Выступал со статьями, очерками,

об авторе

эссе, репортажами, интервью в газетах: “День литературы”, “Московский комсомолец”, “Вечерняя Москва”, “Ленинское знамя”, “Социалистическая индустрия”, “Литературная Россия”, “Невское время”, “Слово”, “Российские вести”, “Вечерний клуб”, “Литературная газета”, “Московские новости”, “Гудок”, “Сегодня”, “Книжное обозрение”, “Независимая газета”, “Ex Libris”, “Труд”, “Московская правда” и др. Основатель и главный редактор журнала современной русской литературы “Наша улица” (1999). Первый в СССР (1988) частный издатель. Основатель и директор Издательства “Книжный сад”. Им издано более 100 книг общим тиражом более 15 млн. экз. Среди них книги Евгения Бачурина, Фазиля Искандера, Евгения Блажеевского, Кирилла Ковальджи, Льва Копелева, Семена Липкина, А. и Б. Стругацких, Юрия Нагибина, Вл. Новикова, Льва Разгона, Ирины Роднянской, Александра Тимофеевского, Л.Лазарева, Льва Аннинского, Ст. Рассадина, Нины Красновой и др. Член Союза писателей и Союза журналистов Москвы.

В 2006 году в Издательстве «Книжный сад» вышло Собрание сочинений в 10 томах.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ

Станция Энгельгардтовская	3
Сплошное Бологое	62
Счастье	116
Юбки	167
Графоман	241
Казнь	284
Выхожу из школы	367
Свои	395
Об авторе	445

Юрий Александрович Кувалдин

Счастье

повести

Редактор Юрий Кувалдин
Художник Александр Трифонов

ISBN 978-5-85676-137-4

ЛР № 061544 от 08.09.97.

Сдано в набор 13.03.11. Подписано к печати 21.07.11. Формат 84х108 1/32.

Бумага офсетная. Гарнитура "OfficinaSansCTT". Печать офсетная.

Уч.-изд. л. (авторских листов) 23,1. Тираж 1000 экз.

Издательство "Книжный сад"
www.kuvaldinur.narod.ru

A portrait of an elderly man with white hair and glasses, wearing a dark suit jacket over a blue and green plaid shirt. He is standing outdoors in front of a brick building with a blue tractor in the background. The image is framed by a red vertical bar on the left side.

Юрий Кувалдин Счастье

Издательство Книжный Сад Москва 2011